

ПОКУШЕНИЕ

или

УБИЙСТВО

по политическим
мотивам:

**Юлия Цезаря,
Авраама Линкольна,
Александра II,
Петра Столыпина,
Энгельберта Дольфуса,
Луи Барту,
Льва Троцкого,
Джона Кеннеди**

**Покушение
или
Убийство
по
политическим
мотивам:**

Юлия Цезаря,



Авраама Линкольна,

Александра II



Петра Столыпина,

Луи Барту,



Льва Троцкого,

Джона Кеннеди



ПОКУШЕНИЕ

или

УБИЙСТВО

**по политическим
мотивам:**

**Юлия Цезаря,
Авраама Линкольна,
Александра II,
Петра Столыпина,
Энгельберта Дольфуса,
Луи Барту,
Льва Троцкого,
Джона Кеннеди**



ББК 63.3(0)

П 48

Составитель и автор вступительной статьи
В. Т. ВОЛЬСКИЙ

Покушение, или Убийство по политическим
П 48 мотивам/Сост. и авт. вступ. ст. В. Т. Вольский. —
Мн.: Беларусь, 1993. — 432 с.

ISBN 5-338-00891-2.

В сборнике документально-художественных повестей и отрывков из исторических романов и мемуаров писателей, журналистов и ученых рассказывается о покушениях на известных политических деятелей разных стран: Юлия Цезаря, Авраама Линкольна, премьер-министра Франции Луи Барту, Александра II, Петра Столыпина, минского губернатора Курлова, Льва Троцкого, Джона Кеннеди.

В книге представлены и материалы о покушавшихся: Джоне Буте, Дмитрие Богрове, Игнатии Гриневицком, Александре Измайлович.

Для массового читателя.

0503010000—010

П ————— 06—92

М 301(03) — 93

ББК 63.3(0)+84(0)

ISBN 5-338-00891-2

© Составление, вступит.
статья. В. Т. Вольский, 1993

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Идея этой книги витала в воздухе, вернее, в той политической атмосфере, в которой мы нынче живем. Она навеяна размышлениями о роковых мгновениях монархов и диктаторов, которые правили миром в минувшие века, и о сложных, подчас трагических судьбах нынешних лидеров государств в наше беспокойное, тревожное время.

В подтверждение сказанного сошлюсь на печальную участь бывшего первого президента Страны Советов, превратившейся в Содружество Независимых Государств. Еще совсем недавно, в конце 80 — начале 90-х годов, этот известный политический деятель, прозванный главным «прорабом перестройки», уверенно восседал в Кремле, выступая в двух ипостасях — генсека компартии и главы государства. Казалось, это до скончания века. Но события неожиданно начали развиваться очень бурно и не в том направлении, как замышлял творец нового мышления. В результате он оказался, мягко говоря, на мели.

Гласность в бывшем СССР и демократизация всей жизни общества вызвали цепную реакцию и в стане всего так называемого соцсодружества. Там так же, как и у нас, сильные мира сего настолько погрязли в коррупции и крупных махинациях, в произволе и беззаконии, что держались на «тронах» и «трониках» только в общей обойме, поначалу сокрытой за «железным занавесом», а потом за льдами холодной войны.

Надо заметить, что были попытки разъединить эту обойму, выбить из нее отдельные звенья и вырваться из лоно демократии. В 1956 году такую попытку сделали венгры, а в 1968-м — чехи. Но на отступников обрушивалась вся мощь обоймы, и снова все возвращалось на круги своя, впадало в летаргический сон.

Однако в простом народе зрел праведный гнев, и когда он мощным фонтаном в одночасье выплеснулся на улицы столиц и городов стран Восточной Европы, то смысл всех диктаторов — больших и малых. Чем, как не всеобщим возмущением и ненавистью, можно объяснить тот

факт, что румынский «царек» Николае Чаушеску был схвачен восставшим народом и казнен без суда и следствия вместе с его женой. Менее трагической, но очень печальной оказалась участь и иных, входящих в обойму. Тодор Живков, который почти тридцать лет сидел на болгарском «троне» в Софии, вынужден был по всеобщему волеизъявлению переселиться на скамью подсудимых. А Эрих Хонеккер, спасаясь от законного возмездия немцев былой его вотчины — ГДР, после долгих поисков пристанища по миру оказался в берлинской тюрьме «Маобит». Перед кончиной решил примириться с Богом и замолить свои грехи, содеянные против своих же сограждан, партбосс бывшей КПЧ Густав Гусак. Он, как сообщали из Праги, исповедовался Трнавскому архиепископу. Исповедь, конечно же, осталась в тайне. Но для тех тысяч чехов и словаков, которые связывали светлые надежды на будущее с «пражской весной» 1969 года и были ее участниками и судьбы которых тогда же оказались изломаны приспешниками Гусака, тайны в этом нет. «Пражская весна» была растоптана сапогом брежневского неосталинизма, который в те дни натянул на свою ногу Густав Гусак.

Нельзя обойти молчанием первый «серийный поток» насильственного умерщвления деятелей в былом СССР в 30—40-е годы, когда кремлевский затворник выходил на орбиту «отца всех народов». Свой путь он устилал трупами тех, в ком ему мерещился соперник по креслу генсека в партии или главы государства. Он не щадил никого: ни тех, с кем ранее скрывался в подполье и шел по этапу в Сибирь, ни тех, с кем «водил дружбу» позднее в кремлевских коридорах. Вот только некоторые из его многочисленных жертв: С. Киров и Л. Троцкий, Н. Бухарин и А. Рыков, Л. Каменев и Г. Зиновьев...

В книге, которую ты, уважаемый читатель, держишь в руках, повествуется о судьбах политических лидеров разных стран и народов независимо от того, были ли они прогрессивными или реакционными деятелями, диктаторами или либералами, популярными или ненавистными народу. Но их постигла одна участь — трагическая смерть от руки убийцы. В роли последних выступали то ли маньяки-одиночки, которые, подобно Герострату, жаждали таким образом попасть в историю, то ли заговорщики, чтобы изменить курс государства, убрав неугодного лидера.

Существует мнение, что в недалеком прошлом Новый

Свет был более «агрессивным» по отношению к своим отцам нации. Так, из 40 президентов США на 10 из них покушались заговорщики и террористы. В результате четверо умерли от полученных ран.

Знойным июльским днем 1881 года президент Джеймс Гарфилд намеревался отправиться из Вашингтона в отпуск. Он шел по перрону вокзала. И вдруг прозвучал выстрел. Гарфилд упал, смертельно раненный в спину. Через несколько дней он скончался. Убийцей оказался адвокат Чарлз Гунто.

А это преступление свершилось спустя двадцать лет, но уже в торжественной обстановке. Президент Мак-Кинли 6 сентября 1901 года давал большой прием в позолоченном храме в Буффало по случаю панамериканской выставки. Среди приглашенных гостей затесался и убийца...

О двух других президентах США, павших от рук убийц, — Аврааме Линкольне и Джоне Кеннеди — мы рассказываем в этом сборнике. Однако предварительно не можем не обратить внимание на некоторые любопытные параллели их жизни, подмеченные историками. Столетний период разделял президентство этих политических деятелей США. Линкольн вступил на этот пост в 1861 году, а Кеннеди стал хозяином Белого дома в 1961-м. Обоих после роковых событий заменили в президентском кресле вице-президенты с одинаковой фамилией — Джонсон. А вот фамилии секретарей у них оказались разные: у Авраама Линкольна была госпожа Кеннеди, а секретаря Джона Кеннеди звали Линкольн.

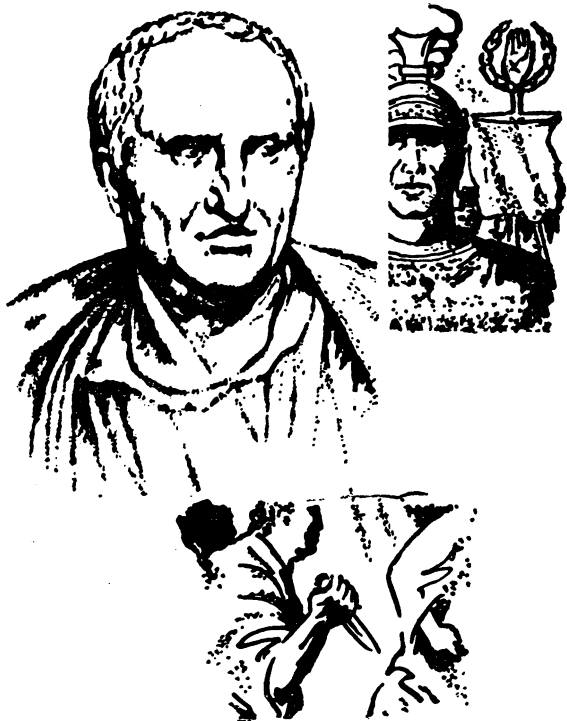
Ныне роковую пальму первенства у Нового Света перехватил Свет Старый. Еще свежо в памяти сообщение о том, как поздним февральским вечером 1986 года при возвращении из кино был сражен пулей неизвестного убийцы премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Преступник скрылся. Эта весть всколыхнула весь мир: удивляло то, что такой зловещий акт мог произойти в демократической процветающей стране, где живут спокойные, уравновешенные, рассудительные люди. Заметим, что в Швеции что-то подобное произошло более двухсот лет тому назад — в 1792 году был убит король Густав III.

Накануне трагического события в Стокгольме в Дели насильственно оборвалась жизнь замечательной дочери индийского народа Индиры Ганди. Однако этой трагедией не закончилась беда семейства Неру-Ганди, которое на протяжении всей истории независимости Индии воз-

главляло руководство этой древнейшей страны. Эстафета, как известно, переходила от отца — Джавахарлала Неру к дочери — Индире Ганди, а от нее к сыну — Радживу Ганди. Но 21 мая 1991 трагическая участь матери постигла и сына: он был убит брошенной бомбой, а преступление, как и многие подобные, осталось не раскрыто.

Те политические деятели, о которых рассказывается в этом сборнике, жили в разные века и эпохи, и деяния их для сограждан и потомков оказались разными. Имена одних уже давно забыты, а память о других еще жива. Не менее трагичными оказались и судьбы тех, кто на них покушался...

**Зловещий сон
жены
Юлия Цезаря**



Гай Юлий Цезарь принадлежит к тем редким избранникам истории, чья слава переживает века. Выдающийся полководец, не менее выдающийся государственный деятель, разносторонний гений — таков как будто никем не оспариваемый приговор многих поколений. В обрамлении таких эпитетов, в блеске таких оценок Цезарь вошел в историю.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, МОЛОДОСТЬ, НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

Гай Юлий Цезарь происходил из старинного и знатного патрицианского рода. Он сам с присущей истому римлянину гордостью возводил свой род к полулегендарным римским царям и даже к богам. На похоронах своей тетки Юлии (сестры отца) Цезарь выступил, по обычаю того времени, с хвалебной речью, в которой утверждал: «Род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по отцу же — к бессмертным богам, ибо от Анка Марция происходят Марции-Рексы, имя которых носила ее мать, а от богини Венеры — род Юлиев, к которому принадлежит и наша семья». Что касается матери Цезаря Аврелии, то она также происходила из старинного и знатного, но плебейского рода Аврелиев.

Несмотря на знатность происхождения, семья Цезаря традиционно была связана с противниками сенатского режима, с теми, кого обычно считают представителями демократического крыла. Такая традиция могла идти со стороны матери, в роду которой были не только консулы, но и народные трибуны. Однако наиболее яркую демократическую «окраску» семье Цезаря придавало то обстоятельство, что сестра его отца, упоминавшаяся уже Юлия, была замужем за знаменитым консулом Гаем Марием, который вел ожесточенную борьбу за верховную власть с Суллой.

Когда Цезарю исполнилось пятнадцать лет, внезапно умер его отец, бывший в 92 г. претором, затем проконсулом в Азии, но так и не достигший венца политической карьеры — консулата. Молодого Цезаря теперь окружали только женщины, которые начинают с этого времени играть в его жизни весьма заметную роль.

В 84 г. юноша Цезарь, очевидно, благодаря протекции влиятельных родственников и друзей семьи был избран жрецом Юпитера. На этот почетный пост мог быть избран лишь тот, кто принадлежал к патрицианскому роду. Жрец Юпитера не имел права садиться на коня, видеть войско, не мог произносить клятву, носить перстень, проводить вне города более двух ночей, дабы не прерывались на длительный срок жертвоприношения Юпитеру. Вскоре он женился на Корнелии, дочери консула Л. Корнелия Цинны, оставшегося после смерти Мариа фактически единоличным правителем Рима.

Но пользоваться благами этого родства, как и выполнять не столько сложные, сколько стеснительные обязанности жреца Юпитера, Цезарю пришлось недолго. Дело в том, что весной 83 г. в Италии высадился со своей армией Сулла, началась гражданская война, а в 82 г. Рим был взят с бою сулланскими войсками. Установилась диктатура Суллы.

Само собой разумеется, что все постановления и решения, принятые Марием и Цинной, были отменены. Наиболее видные их сторонники поплатились и жизнью, и имуществом во время проскрипций. Цезарь был, конечно, слишком еще молод и слишком незначителен в политическом отношении, чтобы всемогущий диктатор мог считать его в какой-то мере серьезным противником. Но тем не менее он не отказал ему в некотором внимании: Цезарь был отстранен от своей почетной должности жреца Юпитера. Затем от него потребовали, чтобы он развелся с Корнелией. Однако Юлий отказался выполнить требование диктатора. Это поставило его в трудное положение: приданое Корнелии было конфисковано, а сам он лишен права на отцовское наследство. Под угрозой ареста, переодетый, больной лихорадкой, он скитался по Сабинской области, меняя каждую ночь убежище. Несмотря на такие меры предосторожности, он все же был настигнут сулланским патрулем, и ему пришлось выкупить свою жизнь за взятку.

Но и на сей раз помогли родственники. Мать Цезаря, Аврелия, имела связи в сулланских кругах. Были пущены

в ход также девы-весталки, которые, по древнему римскому обычаю, пользовались правом заступничества за осужденных. Сулла даровал помилование молодому и строптивому аристократу.

Но сделал это очень неохотно, сказав, что ходатаи сами не понимают, за кого они просят, и что в мальчишке сидит несколько Мариев.

Как бы то ни было, но, получив официальное прощение, Цезарь все же почел за благо покинуть Рим. К тому же наступал уже такой возраст, когда римлянин знатного происхождения должен был начинать свой путь служения государству. Если не удалась карьера жреца, запрещавшая службу в армии, то теперь Цезарь начал с нарушения этого запрета, тем более что некоторый стаж военной службы был в Риме негласной, но почти необходимой предпосылкой любой общественно-политической карьеры. Цезарь отправился в провинцию Азия, где вскоре оказался прикомандированным к штабу пропретора Квинта Минуция Терма. Отсюда он вскоре был направлен в Вифинию к царю Никомеду с поручением привести эскадру, которая была необходима Терму, осаждавшему в это время Митилены (на о-ве Лесбос), город, еще сохранивший верность старому врагу Рима понтийскому царю Митридату.

Пребывание Цезаря в Вифинии никак не может служить украшением его биографии: молва, преследовавшая Цезаря всю жизнь, приписывала ему любовные отношения с царем Никомедом, что легло на его репутацию несмываемым пятном.

Вернувшись к Минуцию Терму, Цезарь принял участие во взятии Мителен, отличился при штурме и за проявленную храбрость был награжден дубовым венком. В 78 г. он переехал в Киликию, где участвовал в военных действиях, которые вел здесь проконсул Публий Сервий Ватия (кстати, бывший сулланец) против морских разбойников. Однако в Киликии Цезарь задержался ненадолго. Вскоре сюда дошла весть о смерти Суллы, и он поспешил вернуться в Рим. Тут он предпочел наименее опасный и в то же время широко используемый путь к достижению определенной политической репутации и карьеры: активное участие или, вернее, инициативу в организации громких судебных процессов, причем по возможности процессов с политической окраской.

В 77 г. он обвинил в вымогательствах и привлек к суду видного сулланца Г. Корнелия Долабеллу, который был

консулом в 81 г., а затем управлял Македонией. И хотя, благодаря защите опытейших судебных ораторов и патронов, Долабелла был оправдан, но обвинительная речь Цезаря оказалась настолько блестящей, что сразу утвердила за ним репутацию одного из первых ораторов Рима. О популярности этой речи свидетельствует тот факт, что она ходила в списках и сохранялась по крайней мере до II в. н. э.

После Цезарь снова покидает Рим и отправляется на Родос слушать лекции знаменитого ритора Аполлония Молона (за несколько лет до этого у него совершенствовался в ораторском искусстве сам Цицерон). Когда Цезарь возвращался с Родоса, то у острова Фармакусса он был захвачен в плен пиратами. Оба биографа Цезаря — и Светоний и Плутарх — весьма живописно излагают этот эпизод. Версия Светония скромнее: Цезарь пробыл в плену около сорока дней, большинство своих спутников он разослал по малоазиатским городам на предмет сбора необходимой суммы для его выкупа. Выплатив пиратам 50 талантов (или 300 тысяч динариев), Цезарь был освобожден, но на этом не успокоился: собрав флот, он погнался за пиратами, захватил их и предал казни, как шути обещал им во время своего плена.

В 74 г. Митридат начал третью войну против римлян. Один из его отрядов вторгся на территорию провинции Азия. Находившийся в это время на Родосе Цезарь переправился в Азию, быстро собрал вспомогательный отряд и прогнал врага. Вскоре по прибытии Цезаря в Рим он получает должность военного трибуна, должность, с которой молодые римляне обычно начинали в те времена свою военную и политическую карьеру. Избрание на эту должность, которое состоялось в комициях, Плутарх называет первым открытым проявлением «любви народа» к Цезарю.

Обычно считается, что Цезарь начинал свою политическую карьеру как явный популярь, тем более что, вернувшись в Рим, он сразу же активно включился в кампанию за восстановление всех прерогатив трибунской власти. В Риме тогда вели политическую борьбу между собой две группировки, или партии, — оптиматов и популяров. Оптиматы считались партией нобилитета, или сенатской, т. е. партией правящих верхов, а популяры — демократической и потому, безусловно, оппозиционной. Словом, в эпоху поздней республики в Риме существовала своеобразная «двухпартийная система».

Что же касается реального политического веса Цезаря в 73—72 гг., то он приобрел уже определенную известность среди более широких слоев населения, но в общем его роль была еще незначительной. Бесспорно, он обладал большим честолюбием, энергией, решительностью, но в среде нобилитета имелось не так уж мало молодых людей подобного же склада, обладавших подобными качествами и вступивших на тот же самый путь военной или политической карьеры. Ничто еще не предвещало его будущего величия, не свидетельствовало об его избранности.

* * *

Когда Цезарь вернулся в Рим, или вскоре после этого, вспыхнуло знаменитое восстание рабов под руководством Спартака. Начавшись, как известно, с крайне незначительного эпизода — бегства из гладиаторской школы некоего Лентула Батиата (в Капуе) примерно семидесяти гладиаторов, укрепившихся затем на Везувии, движение разрослось и стало, по выражению Плутарха, «великой и грозной силой». Спартак нанес римским войскам ряд весьма чувствительных поражений, вся Италия превратилась в арену борьбы, в какой-то момент возникла даже угроза похода Спартака на Рим, и там не без оснований начали вспоминать про нашествие Ганнибала. Сенат был вынужден фактически отрешить от командования обоих консулов 72 г., которые уже успели доказать свою полную неспособность противостоять восставшим, и поручить руководство военными действиями Марку Лицинию Крассу, отличившемуся в свое время в битве за Рим на стороне Суллы (битва у Коллинских ворот 82 г.).

После первых неудач Крассу удалось добиться определенного перевеса. Решающее сражение произошло в Апулии в 71 г. Войско Спартака было разбито, он сам погиб в бою. Крупный отряд восставших, который сумел прорваться на север, был встречен и уничтожен силами Помпея, спешившего по вызову сената из Испании (после войны с Серторием) на помощь Крассу. В дальнейшем это обстоятельство дало возможность Помпею утверждать, что если Красс и разбил Спартака в одном из сражений, то он, Помпей, вырвал с корнем самую войну.

За победу над Спартаксом Красс получил пеший триумф, или так называемую овацию, Помпей же за победы

в Испании был удостоен полного триумфа. После этих торжеств оба полководца были избраны на 70 г. консулами. Выборы проходили в напряженной обстановке, поскольку и Красс и Помпей, не доверяя друг другу, отнюдь не спешили с роспуском своих войск.

Однако ситуация, подобная той, которая сложилась во взаимоотношениях между Марием и Суллой, не возобновилась, и, хотя о подлинном доверии не могло быть и речи, все же до открытого конфликта дело не дошло.

Все эти годы Цезарь оставался в тени, он пытался укрепить и расширить свою популярность не столько поступками или действиями политического характера, сколько щедрой тратой средств. Его пиры и блестящий образ жизни весьма содействовали росту его влияния. Сначала противники Цезаря не придавали этому должного значения, считая, что он будет сразу же забыт, как только иссякнет его состояние. Но это был наивный расчет: денежные средства Цезаря никоим образом не могли иссякнуть, ибо он обладал в высшей степени тем качеством, которое во все времена отличало наиболее «избранных» молодых людей аристократического происхождения: умением делать долги и еще большим умением, даже искусством, жить кругом в долгах, не теряя из-за этого ни на минуту прекрасного настроения.

Цезарь с увлечением собирал произведения искусства, а за красивых и ученых рабов платил неслыханные цены.

Вскоре после вступления Цезаря в должность квестора (68 г.) умерла его жена Корнелия, и, хотя похвальные речи при погребении молодых женщин были в Риме не приняты, Цезарь не побоялся нарушить обычай и произнес весьма прочувствованную речь.

После окончания квестуры Цезарь был прикомандирован к наместнику провинции Испания Дальняя. Обезжая по поручению пропретора испанские города и общины, он вдруг увидел в Гадесе в одном из храмов статую Александра Македонского и, вздохнув, якобы сказал: «Я до сих пор не совершил ничего замечательного, тогда как Александр в этом возрасте уже покорил весь мир».

Вернувшись снова в Рим, Цезарь весьма активно включается в политическую деятельность. Этому не помешало, а, быть может, даже помогло то обстоятельство, что вскоре после возвращения он вступает в новый брак — женится на Помпее, внучке Суллы и дальней род-

ственнице Помпея, который именно в это время становится наиболее популярной фигурой среди военных и политических деятелей Рима. Поэтому нет ничего удивительного в том, что во всех своих публичных выступлениях и действиях Цезарь начинает весьма недвусмысленно ориентироваться на Помпея.

Между тем назревали новые крупные события. На Востоке еще продолжалась война против Митридата, но ход военных действий вызывал в Риме все большее недовольство. Дело в том, что Луций Лукулл, командующий римской армией, после первых успехов теперь действовал крайне вяло и чуть ли не умышленно затягивал войну. Высокомерным обращением и насаждением суровой дисциплины он сумел восстановить против себя солдат, и дело дошло почти до открытого бунта. В итоге верховное командование было передано Помпею.

Поскольку Помпей находился на Востоке, а с сенатскими кругами Цезарь не хотел и не мог иметь контакта, то, естественно, его взоры обратились к единственной в то время крупной политической фигуре, стоящей вне олигархических группировок, — к Марку Крассу, тем более что он был особенно популярен. Происходит столь важное по своим дальнейшим результатам сближение этих двух политических деятелей.

Само собой разумеется, что должностные обязанности эдита, т. е. наблюдение за порядком и благоустройством города, организация хлебных раздач и в особенности организация общественных игр, требовавшие огромных расходов, как правило за счет личных средств, не могли служить для Цезаря серьезным препятствием.

Наоборот, верный своим принципам проявлять самую широкую щедрость за счет своих кредиторов, Цезарь стремился лишь к одному — превзойти пышностью игр и зрелищ своих предшественников. Он украсил Форум и Капитолий новыми сооружениями; организовав игры в честь своего покойного отца, он вывел 320 пар гладиаторов, все вооружение и доспехи которых были из чистого серебра.

Однако за время эдилитета Цезарь отнюдь не ограничивался выполнением своих прямых обязанностей. Сближение с Крассом выводило его на путь политических интриг и комбинаций, путь, правда, окольный, но весьма соблазнительный, ибо, избрав его, можно было при удаче достигнуть цели значительно быстрее, чем идя по прямой и открытой дороге. Но только при удаче! Фортуна же

пока вовсе не баловала своим вниманием ни того, ни другого политического деятеля. Если они чего-нибудь и достигли, то только благодаря личным усилиям, энергии, но отнюдь не в силу счастливого стечения обстоятельств.

Можно только удивляться тому упорству, с каким Цезарь, несмотря на неудачи, вмешивается во все новые и новые политические интриги.

В начале 63 г. умер верховный жрец Квинт Метелл Пий, и в народном собрании должны были состояться выборы на эту почетную и имеющую немалый политический вес должность. Обычно ее занимали заслуженные и уважаемые консуляры, Цезарь выдвинул свою кандидатуру, что, конечно, выглядело явным вызовом, в особенности по отношению к двум другим претендентам. Ими были два авторитетнейших сенатора, два столпа правящей олигархии: Лутаций Катул и Сервилий Исаврийский. Зная, насколько Цезарь опутан долгами, Катул, по слухам, предложил ему крупную взятку, дабы Цезарь добровольно снял свою кандидатуру. Однако тот решительно отказался, заявив, что будет продолжать борьбу даже в том случае, если для этого придется взять в долг еще большую сумму. В день выборов, по словам его биографов, он, прощаясь со своей матерью, которая, видимо, продолжала сохранять живейший интерес ко всем политическим акциям своего сына, сказал: «Сегодня, мать, ты увидишь меня либо верховным жрецом, либо изгнанником». На выборах Цезарь одержал над своими соперниками блестящую победу: в их собственных трибах он собрал голосов больше, чем они оба во всех остальных трибах, вместе взятых. Сенсационный успех Цезаря внушил серьезные опасения правящим кругам. Правда, по сравнению с Помпеем и даже Крассом Цезарь пока еще фигура третьестепенная. Но мало-помалу он набирает силы. Этому содействует гладкое, без помех восхождение по лестнице очередных магистратур, репутация надежного патрона, благоприобретенный опыт политических интриг и борьбы, сочетание энергии, иногда даже азартности с осмотрительностью, с умением вовремя остановиться у последней грани.

Цезарь вовсе не тот счастливец, баловень судьбы, каким, скажем, был до поры до времени Помпей, которому все шло само в руки и которого в двадцать с чем-то лет Сулла наименовал Великим и разрешил вне очереди отпраздновать триумф. Цезарь вовсе не шествовал от одной легкой победы к другой, нет, каждый свой успех, каждую

победу он вырывал с огромным усилием и достаточно часто испытывал горечь поражений. Но как знать, быть может, умение не падать духом от неудач и есть высшая доблесть государственного деятеля, ибо история учит тому, что прочная, истинная, полноценная победа лишь та, которая вырастает из преодоленного поражения.

ТРИУМВИРАТ. КОНСУЛЬСТВО

Поскольку фигура Помпея, основного в дальнейшем антагониста и соперника Цезаря, не может не привлечь нашего внимания, очевидно, следует познакомиться с ним ближе.

Так, в свое время Т. Моммзен, немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима, писал: «Если может считаться счастьем получить корону без труда, то ни одному смертному счастье не улыбалось так, как Помпею; но человеку, лишенному мужества, не поможет и милость богов». В другом месте он снова подчеркивает этот же момент: «...когда нужно было сделать решительный шаг, ему опять изменило мужество».

Для Моммзена, на фоне стоящего все время перед его глазами гениального Цезаря, Помпей всего лишь человек, обладающий в большей степени притязаниями, чем способностями; человек, стремящийся в одно и то же время быть честным республиканцем и властелином Рима, с неясными целями, бесхарактерный, уступчивый; человек, соединивший в себе все условия для того, чтобы захватить престол, кроме самого главного — «царственной смелости». Моммзен отмечает по существу безразличное отношение Помпея к политическим группировкам, его узкоэгоистические интересы, его стремление и вместе с тем боязнь сойти с почвы законности. Для Моммзена это человек вполне дюжинный «во всем, кроме своих претензий».

Политические взгляды и цели Помпея на всем протяжении его жизненного пути совершенно ясны и недвусмысленны. Мысль о ниспровержении республики и о том, чтобы самому занять положение монарха, была Помпею абсолютно чужда. Он дважды (в 70 и 62 гг.) удержался от искушения возглавить преданную ему армию с целью захвата единоличной власти. Поэтому и война между Цезарем и Помпеем, когда она вспыхнула, вовсе не была, как это обычно трактуют, борьбой двух претендентов на престол, скорее ее следует рассматри-

вать как состязание трех возможных типов государственного устройства: старой сенатской республики (так называемая демократия была окончательно подавлена и не играла ныне никакой политической роли), абсолютной монархии Цезаря и, наконец, той политической формы, выразителем которой и был Помпей, т. е. принципата.

Счастье, которое сопутствовало всем его действиям и начинаниям в молодости, оказалось его несчастьем. Помпей находился в каком-то особом положении. Всю жизнь он стремился войти как равный в круг правящей сенатской олигархии, и всю жизнь это ему не удавалось. Он ориентировался только на самого себя и считал ниже своего достоинства заниматься столь принятыми в сенатских кругах политическими интригами, этой возней на форуме и в курии. Но его особое положение внушало опасения, его стремление стоять в стороне расценивалось как коварство. Помпей попытался сблизиться с демократической оппозицией, что, кстати говоря, сразу укрепило его положение — вплоть до участия в триумvirате, но он, видимо, сам рассматривал эту свою попытку всего лишь как временный маневр и затем снова стал искать контактов с оптиматами. Однако они продолжали относиться к нему недоверчиво, подозрительно, не желали добровольно подчиниться его руководству, и только общий страх перед Цезарем привел к временному и непрочному объединению оптиматов и Помпея. Цезарь оказался для него непосильным противником: гениальность Цезаря перечеркивала все расчеты — и военные и политические — «старого организатора», и он был перед ним по существу бессилён.

Вероятно, такова историческая судьба Помпея — подвергаться оценке даже не столько в сравнении или в связи с Цезарем, сколько на его фоне. Так происходит и здесь: сопоставляется эталон гения с эталоном посредственности, ограниченности.

Помпей не был политическим мыслителем, скорее, человеком дела, а не дальних политических расчетов и комбинаций. Он поступал в каждый данный момент так, «как должно», и, вероятно, мало задумывался над тем, что из этого последует для будущего.

Однако вернемся к событиям конца 62 г. Поведение Помпея и его действия после прибытия в Италию не принесли ему, как и следовало ожидать, никакой славы и не вплели новых лавров в его венок даже в глазах современников. Ближайшим результатом этих действий оказалось

лишь то, что возвращение, ожидавшееся с таким напряженным вниманием и с такими опасениями, через несколько дней было почти забыто и вытеснено другими, более злободневными событиями.

К числу таких событий относилось в первую очередь дело Клодия, которое обычно изображается как характерный пример римской скандальной хроники, но которое с самого начала приобрело явно выраженный политический характер.

Клодий, который накануне совершения своего галантного преступления — он, как известно, в день праздника в честь Доброй богини, переодетый в женское платье, проник в дом Цезаря, где и происходило это празднование, на свидание с его женой — был избран квестором (на предстоящий год) и, кроме того, имел уже довольно широкую известность как представитель антисенатских кругов, как любимец народа. Этим, очевидно, объясняется и шумно организованный поход против него со стороны сената, и более чем странное поведение Цезаря во всей истории.

Дело Клодия рассматривалось в сенате в январе 61 г. Было принято решение обратиться к коллегии понтификов для выяснения вопроса о том, имело ли место в данном случае святотатство. Коллегия понтификов дала утвердительный ответ, и сенат поручил консулам подготовить закон о назначении чрезвычайного трибунала для суда над Клодием. Суд состоялся в мае 61 г. Просенатские свидетели обрушились на Клодия с обычным в таких случаях набором обвинений в разврате, кровосмесительстве и т. п. Лукулл, например, дошел до того, что обвинил Клодия в связи с его собственной сестрой, которая, кстати сказать, была женой самого Лукулла. Цезарь же, наоборот, заявил, что ему по существу дела ничего неизвестно, а на вопрос о причине развода с женой отвечал, что его жена должна быть выше даже подозрений.

Во время судебного разбирательства толпа на форуме настолько явно выражала свое сочувствие Клодию, что судьи потребовали от консулов вооруженной охраны. Но ее так и не пришлось пустить в ход, ибо, к негодованию и растерянности просенатских деятелей, Клодий был оправдан (31 голосом против 25!). Конечно, после этого немедленно был распущен слух о подкупе судей.

Разбирательство дела Клодия задержало в 61 г. распределение провинций. В результате жеребьевки Цезарь получил Испанию, где он уже был несколько лет назад

в качестве квестора. Он стремился немедленно выехать в провинцию, ибо его долги выросли до фантастической суммы — 25 миллионов денариев. Кредиторы угрожали предать его суду и наложить запрет на все его имущество.

С поездкой в Испанию связан анекдот и очередной афоризм, приписываемый Цезарю. Плутарх рассказывает об этом так: «Когда Цезарь перевалил через Альпы и проезжал мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели спросили со смехом: «Неужели и здесь есть соревнование из-за должностей, споры о первенстве, раздоры среди знати?» — «Что касается меня, — ответил им Цезарь с полной серьезностью, — то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме».

В последних числах сентября состоялся пышный двухдневный триумф Помпея. В первый день триумфа в процессии были пронесены две огромные таблицы, на которых были перечислены крупнейшие деяния Помпея: его победы над 22 царями, распространение римских владений до Евфрата, увеличение годового дохода римского государства (благодаря податям с новых провинций) с 50 до 80 миллионов драхм, празднование триумфа за победы во всех трех частях света. За этими двумя таблицами двигались нескончаемым потоком колесницы и мулы, нагруженные военными доспехами, золотом, сокровищами, художественными изделиями, драгоценной утварью, произведениями искусства. На следующий день процессия состояла из «живых трофеев»: сначала были проведены толпы пленных из различных стран, затем шли знатные люди и заложники, среди которых было семь сыновей Митридата, Аристокбул с сыном и двумя дочерьми, сын Тиграна, вожди пиратов, албанские и иберийские князья. Наконец окруженный блестящей свитой из своих легатов и трибунов на украшенной жемчугом колеснице следовал сам триумфатор, облаченный в тунику, которую, по преданию, носил еще Александр Македонский.

Но все это было лишь красочным спектаклем в пышных декорациях. Ни сам Помпей, ни его влиятельные противники из сенатской среды не имели на этот счет никаких иллюзий. Обстановка в сенате была в данное время малоблагоприятной.

В июне 60 г. возвратился из Испании Юлий Цезарь. Он возвратился оттуда богатым человеком, хотя перед

своим отъездом был настолько опутан долгами, что кредиторы не хотели выпускать его из Рима. В Испании он вел удачные военные действия, подчинил непокорные еще Риму племена лузитанов и каллаиков и провел ряд мер в области внутреннего управления: урегулировал отношения между кредиторами и должниками (не забыв при этом и собственных интересов) и добился через сенат отмены податей, ранее наложенных на местное население. Он снова выступил в роли патрона как отдельных лиц, так и некоторых общин. «Совершив эти дела, получившие всеобщее одобрение,— пишет Плутарх,— Цезарь выехал из провинции, где он и сам разбогател и дал возможность обогатиться во время походов своим солдатам, которые провозгласили его императором».

Цезарь вернулся из Испании весьма спешно, не дождавшись даже своего преемника по управлению провинцией. Причина этой спешки заключалась в том, что он решил выставить свою кандидатуру на предстоящих консульских выборах. Однако было одно обстоятельство, которое осложняло вопрос о баллотировке его кандидатуры: Цезарь, поскольку он был провозглашен императором, мог претендовать на триумф, но в этом случае он не имел права вступать в город, считался отсутствующим, а будучи отсутствующим, в свою очередь не имел права выставлять свою кандидатуру на выборах. Стремясь найти выход из этого положения, Цезарь обратился в сенат с просьбой разрешить ему заочно домогаться консульского звания, и так как на сей раз имелись основания рассчитывать на благоприятное отношение многих сенаторов, то неутомимый ревнитель законности и личный враг Цезаря Катон выступил с явно обструкционистской речью, которая продолжалась целый день. Сроки истекали, и больше терять времени было нельзя. Поэтому Цезарь принял решение отказаться от триумфа, получив таким образом возможность войти в город и выставить свою кандидатуру.

Наиболее непримиримая по отношению к кандидатуре Цезаря группа сенаторов во главе с тем же Катонem выдвинула в качестве противовеса кандидатуру Марка Бибула, который уже был коллегой Цезаря по эдилитету и претуре. Их отношения были далеко не дружественными. Кроме того, желая обезвредить Цезаря на будущее время и вместе с тем считая, что он, несомненно, будет избран, сенат еще до выборов принял решение, согласно которому будущим консулам после истечения срока их

полномочий назначалось не управление той или иной внеиталийской областью или страной, как это обычно делалось, но лишь наблюдение за лесами и пастбищами. В результате выборов прошли обе кандидатуры — и Цезарь и Бибул, причем кандидаты и их сторонники довольно беззастенчиво занимались покупкой голосов; кстати, на сей раз не оказался безупречным даже сам Катон.

Незадолго до выборов или вскоре после них возникло обстоятельство, имевшее решающее значение для дальнейшего хода событий: три политических деятеля Рима — Помпей, Цезарь и Красс — заключили тайное соглашение (инициатива которого обычно безоговорочно приписывается Цезарю), соглашение, носящее название первого триумvirата.

Объединение трех политических деятелей Рима было, конечно, не случайным явлением, а диктовалось определенной политической обстановкой. Укажем здесь лишь наиболее характерные черты этой обстановки, которые позволяют понять, как и почему совпали в данный момент интересы членов триумvirата.

Помпея привела в триумvirат крайне «твердолобая» политика сената. Никакой гибкости, никакого учета реальной обстановки, никакой позитивной инициативы. Это была даже не политика наступления, но лишь политика глухой, упорной обороны, проводимая с помощью запретов, интриг, обструкций.

Цезарь — инициатор и организатор первого триумvirата — уже в этот период своей деятельности преследовал вполне определенные цели — цели захвата единоличной, монархической власти. Подобным взглядам не чужды были и сами древние.

Цицерон уверял (но, само собой разумеется, не в период возникновения триумvirата, а уже после смерти Цезаря), что Цезарь долгие годы вынашивал идею захвата царской власти.

Историческое значение первого триумvirата заключалось в том, что он был воплощением (в лице трех политических деятелей Рима) консолидации всех антисенатских сил. Таким образом, его возникновение, независимо от тех целей, ради которых он был создан, оказывается чрезвычайно важным и даже переломным моментом в истории Рима I в. до н. э. Если и не правы те, кто считает это событие концом республики и началом монархии, то, во всяком случае, следует с вниманием отнестись к словам Катона, который в свое время говорил, что не столь

была страшна для римского государства внутренняя борьба политических группировок и их главарей или даже гражданская война, сколько объединение всех этих сил, союз между ними.

Цезарь безукоризненно выполнял все обязательства, взятые им на себя по отношению к своим коллегам. Союз трех заметно окреп и из тайного соглашения превратился в явный и весьма существенный фактор политической действительности. Теперь становились реальностью и некоторые мероприятия, рассчитанные на ближайшее будущее; в частности, вставал вопрос не только о сохранении уже завоеванных позиций, но и об определенном обеспечении политического положения каждого из членов триумvirата в связи с предстоящими консульскими выборами. Проще всего это можно было сделать при помощи династических браков.

В связи с этим дочь Цезаря Юлия была выдана замуж за Помпея, несмотря на то что она уже была обручена с Сервилием Цепионом. Последнему же была обещана дочь Помпея, кстати сказать, также обрученная с Фавстом, сыном Суллы. Сам Цезарь женился на Кальпурнии, дочери Пизона. В результате этих матримониальных комбинаций наметились и кандидатуры для предстоящих выборов: тесть Цезаря Кальпурний Пизон и фаворит Помпея Авл Габиний. Катон, может быть, в этот момент всерьез пожалевший, что он в свое время так нерасчетливо отверг сватовство Помпея, с тем большим негодованием заявлял, что нельзя выносить этих людей, которые сводничеством добывают высшую власть в государстве и вводят друг друга с помощью женщин в управление провинциями и различными должностями.

Цезарь, удовлетворив все притязания своих коллег по триумvirату, мог теперь, рассчитывая, в свою очередь, на их поддержку, подумать и о своем ближайшем будущем. Конечно, то незначачее и даже оскорбительное поручение, которое предусмотрел сенат для консулов 59 г., его никак не устраивало. Вместе с тем сложилась такая ситуация, которая давала возможность с большими шансами на успех ставить вопрос о Галлии. В Трансальпийской Галлии было неспокойно. В 61 г. в Рим прибыл Дивитиак, вождь эдуев, который обратился в сенат с просьбой о помощи и поддержке против секванов. В 60 г. в Риме вообще опасались войны с галлами и даже был принят ряд предупредительных мер. После этого наступило временное затишье, и по инициативе Цезаря вождь гер-

манского племени свевов Ариовист, призванный арвернами и секванами, был в Риме даже признан царем и провозглашен союзником и другом римского народа.

К концу консулата Цезаря наблюдается некоторое изменение в положении триумвиров. Если их политические позиции в общем не были ослаблены, скорее наоборот, то все же можно констатировать определенный поворот в общественном мнении. Пока союз трех воспринимался как смелая оппозиция правительству, т. е. держащему в своих руках власть сенату, он мог пользоваться известным кредитом, но когда он сам начал превращаться в фактическое правительство, а сенат был вынужден уйти чуть ли не в подполье, то это, естественно, вызвало отрицательную реакцию. Бесконечные эдикты Бибула, в которых он не стеснялся касаться темных сторон частной жизни Помпея и Цезаря, возбуждали любопытство римского населения и в какой-то степени влияли на настроения.

Вскоре Цезарь уезжает в Галлию. Но как в подобной ситуации Цезарь мог рискнуть на то, чтобы надолго оставить Рим? В этом решении, однако, не было ничего нелогичного. Цезарь, на основании всего предыдущего политического опыта разуверившийся в «демократии», в неорганизованной народной массе как в недостаточно надежной опоре, искал новых путей и методов в борьбе за власть, за упрочение своего положения. В его руках оказалась армия, с которой он, может быть, пока еще не связывал определенных намерений и планов, но все же это открывало какие-то новые перспективы. По существу говоря, вопрос стоял теперь так: решающим фактором являлось уже не соперничество между отдельными лицами, но борьба (хотя сами ее участники едва ли могли это отчетливо понимать) между двумя концепциями — концепцией опоры на широкие, но плохо организованные народные массы и концепцией опоры на кастовую армию. События самого недалекого будущего показали, за какой из этих двух концепций стояли реальная власть и победа.

ГАЛЛЬСКИЕ ВОЙНЫ. ПРОКОНСУЛЬСТВО

Основным источником по истории галльских войн являются «Записки» Цезаря. Они выходили по горячим

следам событий. Цезарь публиковал по одной книге в конце каждого года войны.

С какой же целью были написаны и опубликованы Цезарем его «Записки» о галльских походах? Обычно считается, что все изложение Цезаря пронизывают две основные тенденции: а) оправдание своих действий и б) прославление своих успехов. Однако в данном случае едва ли следует на первое место ставить то соображение, которое полностью определяет объяснение и оценку событий гражданской войны, — стремление как-то оправдать не только свои действия, но и свою инициативу. Военные действия в Галлии в таком специальном оправдании не нуждались.

До нас дошли отзывы современников о «Записках» Цезаря. Цицерон, например, прежде всего подчеркивал литературные достоинства произведения. Он отмечал «нагую простоту и прелесть, свободные от пышного ораторского облачения»; автор «Записок», по его мнению, претендовал лишь на то, чтобы дать материал будущему историку, хотя на самом деле значение труда более велико.

Описание военных действий в Галлии может быть изложено главным образом с точки зрения истории военного искусства. Подобные опыты хорошо известны. Впрочем, история завоевания Галлии должна быть отнесена, особенно в первые годы войны, скорее к области военно-дипломатической, а не просто военной истории.

Что же представляла собой Галлия накануне походов Цезаря? Она делилась на три части: Галлия Цизальпийская, Галлия Нарбонская и Галлия Трансальпийская. Цизальпийскую Галлию называли «одетой в тогу», подчеркивая тем самым ее романизацию, ее «цивизованность»; Нарбонская называлась просто Провинцией (ныне Прованс), а Трансальпийская — «волосатой» или «одетой в штаны». Эта последняя охватывала почти всю территорию современной Франции, Бельгии, часть Голландии, значительную часть Швейцарии и левый берег Рейна. Огромная территория Трансальпийской Галлии распадалась в свою очередь на три части: юго-западную часть между Пиренеями и рекой Гарумной (Гаронна), населенную кельтским племенем аквитанов; центральную часть, занятую собственно галлами (кельтами), и, наконец, северную часть между Секваной (Сеной) и Рейном, где жили кельто-германские племена белгов. Население свободной Галлии отнюдь не ограничивалось этими пле-

менами: в той части страны, которая непосредственно примыкала к Провинции, наиболее значительными племенными группами были эдуи, секваны и арверны.

Что касается взаимоотношений между римлянами и многочисленными галльскими племенами, то они в разное время были разными. Так, аллоброги, жившие в пограничной области между Провинцией и свободной Галлией, восставали против римского господства (61 г.), но были вновь покорены. Эдуи придерживались римской ориентации и считались союзниками. Секваны и арверны имели прочные связи с зарейнскими германскими племенами. Так как они враждовали с эдуями, то по просьбе секванов вождь германского племени свевов Ариовист перешел со значительными силами через Рейн и после длительной и упорной борьбы разбил эдуев. За это секваны были вынуждены уступить Ариовисту часть своей территории (в современном Эльзасе). Римский сенат выступил посредником в пользу эдуев. Ариовист прекратил враждебные действия и во время консульства Цезаря был провозглашен союзником и другом римского народа.

Хотя уже из сказанного ясно, что в Галлии не существовало политического единства, но вместе с тем она была достаточно развитой в экономическом отношении, богатой и густонаселенной страной. Однако различия в положении отдельных племен были довольно существенными. Некоторые из них находились чуть ли не на стадии родового быта, другие же довольно далеко продвинулись по пути формирования государственных отношений.

Цезарь в общем очерке о Галлии и ее «нравах» прежде всего подчеркивает наличие большого количества различных группировок, которые он даже именуется «партиями».

Но если междоусобицы предопределяли политическую да и военную слабость Галлии, то в смысле своего экономического развития или даже более широко — в смысле развития материальной культуры Галлия едва ли заметно уступала Риму. Во всяком случае сопоставлять, как это делалось когда-то, «цивилизацию» (Рим) и «варварство» (Галлия) абсолютно неправомерно.

Общую численность населения Галлии определяют в 15—20 миллионов человек, что свидетельствует о плотности населения, близкой к италийской. Об этом же говорит большое количество городов, селений, а также развитие средств сообщения (дорог и морских путей).

Сельское хозяйство Галлии находилось на столь вы-

соком уровне, что в некотором смысле превосходило италийское. Широко известно, что Италия сама не могла обеспечить Рим хлебом. С другой стороны, мы знаем, что Цезарь во время своих галльских походов целиком рассчитывал на местные продовольственные ресурсы.

Когда Цезарь в 58 г. прибыл в Провинцию, положение в собственно Галлии было довольно сложным и даже тревожным. Первоочередной проблемой, которую предстояло незамедлительно решить, был вопрос о передвижении гельветов. Это было многочисленное племя, населявшее западную часть современной Швейцарии. Причины, побудившие гельветов к переселению, не совсем ясны, но, во всяком случае, в 58 г., предав огню собственные города и села, уничтожив все хлебные запасы, кроме того, что они брали с собой в дорогу, гельветы пришли в движение, намереваясь продвинуться к устью Гарумны. Имелось, собственно говоря, два пути для такого перехода. Один из них, узкий и трудный, вел через область секванов, между Юрой и рекой Родан; второй путь, несравненно более удобный, пролегал через Провинцию. Гельветы, естественно, вознамерились использовать именно этот второй путь, что и заставило Цезаря срочным маршем направиться в Дальнюю Галлию, к городу Генаве (Женева). Этот город был расположен в ближайшем соседстве с гельветами; из города вел в их страну мост. Этот мост Цезарь приказал немедленно разрушить, и, еще двигаясь по направлению к Генаве, он распорядился срочно провести по всей Провинции дополнительный набор войск.

Узнав о прибытии Цезаря, гельветы направили к нему посольство, прося разрешения пройти через Провинцию и обязуясь не наносить ей никакого ущерба. Речь шла о передвижении более чем 300-тысячной массы (включая, конечно, женщин и детей), в составе которой находилось более 90 тысяч человек, способных носить оружие. Даже если считать эти цифры завышенными более чем вдвое, то и в таком случае речь шла об огромных «ордах варваров». А в Риме еще было достаточно свежо воспоминание о нашествии кимвров и тевтонов.

Цезарь открыл галльскую кампанию отнюдь не военной, но чисто дипломатической — и весьма для него характерной — акцией. В ответ на обращение послов он не заявил решительного протеста или отказа, но, желая выиграть время до прихода набранных войск, предложил послам явиться к нему снова к апрельским идам (т. е. к

13 апреля). Сам же он за это время организовал возведение вала (со рвом) на протяжении девятнадцати миль — от Леманнского озера до хребта Юры.

Когда послы гельветов явились к Цезарю вторично, он ответил им решительным отказом. Обманутые в своих ожиданиях гельветы пытались прорвать укрепленную линию, но все их усилия оказались безрезультатными. Оставалась единственная возможность — двигаться через область секванов. Движение и в этом направлении, строго говоря, не затрагивало ни реальных, ни престижных интересов римлян и не давало им права вмешиваться во внутренние дела галлов. Однако Цезарь, мотивируя свои действия тем, что гельветы слишком воинственны и слишком враждебны, а потому представляют серьезную угрозу Провинции, счел необходимым открыто выступить против них. Возникла также соблазнительная возможность свести и кое-какие старые счеты: ведь в 107 г. гельветы однажды победили римскую армию, провели ее под ярмом, а консула Кассия убили.

Оставив своего легата Тита Лабиена охранять построенные им укрепления, Цезарь отправился в Цизальпийскую Галлию, где он вывел из зимнего лагеря (в окрестностях Аквилеи) три легиона, организовал набор еще двух и с этими пятью легионами двинулся через Альпы в Галлию Дальнюю. Тем временем гельветы уже достигли области эдуев и начали опустошать их поля. Эдуи немедленно отправили послов к Цезарю с просьбой о помощи и защите; вскоре к ним присоединились их соседи с юга амбарры, а затем и аллоброги.

Через земли эдуев и секванов протекает река Арап (ныне Со́на). Когда разведка донесла Цезарю, что гельветы организовали переправу через эту реку и им удалось перевести на другой берег примерно три четверти своих сил, Цезарь, действуя чрезмерно быстро и решительно, настиг тремя легионами ту часть гельветов, которая еще не успела переправиться, и благодаря неожиданности нападения нанес им сокрушительное поражение. Это были как раз гельветы так называемого Тигуринского пага, т. е. те самые, что в свое время примкнули к кимврам и тевтонам и выиграли у римлян сражение, в котором погибли и консул Кассий, и его легат Пизон.

Победа над гельветами произвела в Галлии большое впечатление. В ставку Цезаря прибыли с поздравлениями вожди почти всех общин. Как показали события ближайших дней, галльские вожди имели далеко идущие замыс-

лы. Они обратились к Цезарю с просьбой разрешить им провести собрание всех представителей Галлии для того, чтобы выработать согласованное решение по некоторым весьма важным для них вопросам.

Это собрание проходило якобы в глубокой тайне, но после его окончания к Цезарю снова явились наиболее влиятельные вожди общин, бросившись, по его словам, перед ним на колени. От имени всех слово взял Дивитиак. В своей речи он обрисовал следующую сложную ситуацию. После того как Ариовист, призванный на помощь арвернами и секванами, нанес ряд чувствительных поражений эдуям, а сам утверждался на землях секванов, на территорию Галлии во всевозрастающих количествах стали переселяться зарейнские германцы, и сейчас их в Галлии уже около 120 тысяч человек. Ариовист же требует для зарейнских переселенцев все новых и новых территорий, и нет сомнения, что через несколько лет все галлы будут изгнаны из своей страны, а все германцы перейдут через Рейн. Поэтому если Цезарь своим личным авторитетом, своим войском и, наконец, самим именем римского народа не окажет галлам помощь, то они скоро могут оказаться на положении гельветов и будут вынуждены искать себе где-то новых земель, нового пристанища.

Таково было выступление Дивитиака (разумеется, в интерпретации Цезаря). На нем стоило остановиться подробнее, поскольку устами Дивитиака дается по существу мотивировка и обоснование необходимости начать военные действия против Ариовиста, который меньше всего, по-видимому, был расположен портить отношения с римлянами, да и едва ли помышлял в то время о господстве над всей Галлией. Цезарь изображает собрание, или съезд галльских представителей, состоявшееся по инициативе самих галльских вождей. Нельзя все же исключать и другую возможность, а именно тот факт, что как съезд, так и обращение галльских вождей к Цезарю были инспирированы им самим. Цезарь, безусловно, был заинтересован в том, чтобы его выступление против Ариовиста рассматривалось как отклик на просьбу самих галлов, как дело, в котором его поддерживает вся Галлия.

После съезда галльских вождей Цезарь начинает переговоры с Ариовистом. Он предлагает ему встречу в каком-либо месте, на равном удалении от расположения сил обоих полководцев. Ариовист отвечает отказом. Тогда новое посольство передает Ариовисту нечто вроде уль-

тиматума, в котором излагаются следующие требования: не производить более никаких массовых переселений через Рейн на территорию Галлии, возвратить эдуям их заложников (в том числе и находящихся в руках секванов), не угрожать войной ни самим эдуям, ни кому-либо из их союзников. Направляя эти требования Ариовисту, Цезарь, конечно, прекрасно понимал, что тот не может их принять, но в этом также заключался определенный расчет. Отказ Ариовиста превращал его в нарушителя дружбы с римским народом, в опасного врага, война с которым и неизбежна и справедлива.

Переговоры Цезаря с Ариовистом и последовавшая за ними битва происходили на территории современного Эльзаса (сентябрь 58 г.). Однако битва между римлянами и германцами состоялась не сразу после окончания переговоров — ей предшествовало почти недельное маневрирование. Несмотря на более или менее крупные стычки, Ариовист явно уклонялся от решительного сражения. Цезарю удалось через пленных выяснить, что по существующему у германцев обычаю жены-предсказательницы на основании своих гаданий и примет не рекомендуют начинать сражение до новолуния. Тогда Цезарь решил напасть первым.

Сражение оказалось крайне упорным и кровопролитным. В ходе боя левый фланг неприятеля — именно против него Цезарь направил главный удар — был разбит и обращен в бегство, но правый фланг благодаря явному численному превосходству сильно потеснил римлян, что угрожало изменить результат сражения в целом. Героем дня оказался начальник конницы молодой Публий Красс, сын триумвира, который двинул на помощь теснимому флангу резервные части.

Сражение было в конечном счете блестяще выиграно. Все вражеское войско обратилось в бегство, причем римляне гнали германцев до Рейна, который протекал примерно в пяти милях от поля битвы. Только очень немногие, в их числе сам Ариовист, сумели переправиться на другой берег реки; подавляющее большинство беглецов было настигнуто римской конницей и перебито. С Ариовистом находились две его жены и две дочери. Обе жены во время бегства погибли, одна из дочерей тоже была убита, другая — захвачена в плен.

Когда известие о разгроме Ариовиста проникло за Рейн, то орды сзевов, намеревавшиеся переправиться в Галлию, стали спешно возвращаться на свою террито-

рию. По дороге они подверглись нападению другого германского племени — убиив и понесли большие потери. Кстати сказать, убили в самом недалеком будущем вступили в дружественные отношения с Цезарем, заключив с ним даже соответствующий договор.

Таким образом, за одну летнюю кампанию 58 г. Цезарь успешно кончил две войны — против гельветов и против Ариовиста. Поэтому даже раньше, чем того требовало время года, он отвел свои войска на зимние квартиры в области секванов. Комендантом зимнего лагеря был назначен Лабиен, а сам Цезарь отправился в Ближнюю Галлию для судопроизводства, что входило в круг его обязанностей как проконсула.

Несомненно, Цезарь направлялся сюда не только и даже не столько ради судопроизводства, сколько ради других, более важных для него дел. Ему нельзя было отрываться от политической борьбы, кипевшей в Риме.

Осенью 57 г. Цезарь уезжает в Иллирик, определенный ему сенатом в качестве провинции наряду с Галлией. Здесь он провел даже часть зимы 56 г., но затем известия, начавшие поступать от его легатов, настоятельно потребовали возвращения и его личного участия в событиях.

Дело заключалось в том, что в отдельных районах «замиренной» Галлии фактически вновь вспыхнули военные действия.

Особенно сложным оказалось положение в приморских областях (в Бретани). Здесь возник союз племен во главе с венетами. Располагая сильным флотом, союзники выступили против римлян. Сюда и направился со своими легионами Цезарь. Однако действия сухопутной армии не могли в данном случае привести к решающей победе. Она была достигнута лишь после того, как построенный по распоряжению Цезаря флот выиграл сражение на море (вблизи устья Луары). С восставшими снова обращались без пощады и без пресловутого милосердия: «сенат» в полном составе казнен, а «все остальные» проданы с аукциона.

Из всех легатов Цезаря в кампании 56 г., пожалуй, наиболее отличился молодой Красс. Он покорил многочисленные аквитанские племена от Гаронны до Пиренеев. Аквитания же по своей площади и населению составляла примерно треть всей Галлии. В генеральном сражении, которое дал Красс, со стороны противника принимало участие до 50 тысяч человек; после победы

римлян из них уцелела едва одна четверть.

Кампания 56 г. завершилась походом самого Цезаря против племен моринов и менапиев (живших по Шельде и нижнему Рейну). Однако они всячески избегали встречи с римлянами в открытом бою, скрываясь от них в лесах и непроходимых болотах. Цезарь ограничился опустошением вражеских сел и полей, и так как уже наступала зима, началась непогода, проливные дожди, то он вынужден был увести своих солдат на зимние квартиры.

Итак, покорение Галлии было практически завершено. Военная добыча — драгоценные металлы, скот, многие тысячи рабов — превзошла всякие ожидания. К Цезарю стекались теперь огромные богатства, и он, верный своему обыкновению, щедро наделял ими своих помощников и сторонников. Все это, конечно, увеличивало его популярность и влияние в Риме.

Если подвести некоторые итоги трем первым годам проконсулата Цезаря, то, пожалуй, прежде всего следует иметь в виду именно эти изменения в его собственном положении, так сказать, более основательный и «солидный» характер его репутации. Теперь уже речь шла не просто о любимце римской толпы, не просто о щедром и ловком демагоге, но о полководце, окруженном ореолом блестящих побед, в руках которого к тому же сосредоточились богатства, сила, реальная власть.

Три года войны в Галлии, несомненно, показали и доказали особый характер взаимоотношений между полководцем и его войском. Цезарь, видимо, умел чутко улавливать настроение солдат, знал их нравы, психологию, знал, чем и как следует на нее воздействовать. Иногда это были речи, иногда поступки — в зависимости от обстоятельств. Но он в полном смысле слова владел своим войском, был его вождем.

Часто в решающий момент Цезарь, не колеблясь, бросался в самую гущу боя, воздействуя на солдат и офицеров личным примером мужества. Кстати, Цезарю приходилось поступать подобным образом в ряде сражений, вплоть до самой последней битвы в его жизни (сражение при Мунде в 45 г.).

Однако трехлетнее пребывание и деятельность Цезаря в Галлии позволяют сделать вывод о его талантах не только полководца, но и первоклассного дипломата. Причем качества умелого дипломата, быть может, выступают даже более убедительно и ярко.

И, наконец, три года, проведенные Цезарем в Галлии,

показали, что он отнюдь не утратил своего главного качества — не теряться в трудных обстоятельствах и не падать духом от неудач. Правда, наиболее сложные испытания были еще впереди, но уже и первые три галльские кампании оказались вовсе не развлекательной прогулкой. Во всяком случае они требовали постоянного напряжения сил, стойкости и выдержки как от самого полководца, так и от каждого воина. В этих условиях особое и знаменательное значение приобретает упрек, адресованный Цезарем своим противникам: «Насколько галлы смело и решительно готовы начинать любые войны, настолько же они слабохарактерны и нестойки в перенесении неудач и поражений». Вот в этом серьезном недостатке, в этой слабости никак нельзя было обвинить ни римлян, ни их верховного главнокомандующего — Цезаря.

Кампания 55—54 гг. примечательна главным образом тем, что римские войска впервые перешли через Рейн, а также дважды переправлялись на территорию Британии. Эти оба предприятия, несмотря на то что они в значительной мере носили характер демонстрации военного набега и не привели ни к каким территориальным приобретениям, тем не менее имели большое политическое и военное значение.

Для переправы в Британию Цезарь использовал флот, который был им подготовлен и собран во время военных действий против венетов. Однако высадка войска прошла нелегко, римлянам было оказано серьезное сопротивление. Завязалось ожесточенное сражение. В конечном счете победа оказалась на стороне римлян, но она была неполной. Римляне не смогли преследовать разбитого противника: внезапно поднялась сильная буря, и римская конница, несмотря на все старания, не сумела совершить высадку на берег.

Все же после первого успеха римлян мир был заключен. К Цезарю стали являться вожди не только прибрежных, но и более отдаленных общин, выдавались заложники, делались заявления о полной покорности. Но вместе с тем положение римлян было далеко не блестящим: их военные и транспортные суда пострадали от новых бурь, конница отсутствовала, продовольственные запасы были ничтожными.

Учитывая эти обстоятельства, Цезарь срочно начал ремонт оставшихся кораблей и одновременно готовился к возможному нападению со стороны варваров. Оно не заставило себя долго ждать. Британцы решили использо-

вать благоприятную для них ситуацию, и однажды, когда один из легионов был отправлен за провиантом, они совершили на него внезапное нападение, используя конницу и даже боевые колесницы. Однако Цезарю с несколькими когортами удалось вовремя подоспеть на помощь, и атака была отбита. Через несколько дней британцы завязали новый бой у римского лагеря, но и на сей раз были разбиты и обращены в бегство. Тем не менее Цезарь решил, видимо, больше не искушать судьбу и при первой же благоприятной погоде, посадив своих воинов на отремонтированные или уцелевшие суда, отплыл от негостеприимного острова и благополучно (он потерял лишь два грузовых корабля) достиг материка.

Эта первая британская экспедиция в военном отношении ничего не дала, скорее оказалась неудачной. Однако общественный резонанс, как и впечатление от похода за Рейн, был весьма велик. Сенат по отчету Цезаря за истекший год назначил двадцатидневное благодарственное молебствие.

В следующем, 54 г., Цезарь начинает подготовку к новой британской экспедиции. Она была задумана в гораздо более широких масштабах. Поэтому основная задача заключалась в подготовке флота — следовало переправить в Британию 5 легионов и 2 тысячи всадников. Отдав соответствующие распоряжения своим легатам, сам Цезарь, как и обычно, отправился на зиму в Цизальпинскую Галлию, где занялся разбором очередных судебных дел, в то же время расширяя свою клиентелу и укрепляя дружественные связи с местной знатью. В конце мая он вернулся к войску.

Прибыв на зимние квартиры своих войск, Цезарь убедился, что подготовка к походу, в частности строительство и ремонт кораблей, почти закончена. Поэтому он отдает распоряжение собрать весь флот в гавани Ития (т. е. в Булони). Но если с чисто военной подготовкой нового похода все обстояло благополучно, то гораздо сложнее оказалась политическая ситуация.

Хотя, как не раз об этом доносил в Рим сам Цезарь, война в Галлии считалась оконченной, Галлия завоевана и якобы замирена, на самом деле тот же Цезарь лучше, чем кто-либо другой, знал, что это не так. Галлы никоим образом не примирились с римским господством. Галлия была подобна тлеющему костру, который в любой момент и совершенно неожиданно может вспыхнуть с новой силой.

Все же экспедиционный корпус снялся с лагеря и направился к берегам Британии. Высадка произошла на следующий день, около полудня, и на сей раз при высадке на берег римляне не встретили сопротивления: как выяснилось через пленных, британцы были уstraшены мощью римского флота (в нем в общей сложности насчитывалось до 800 кораблей!). В результате второго посещения Британии Цезарь дал в своих «Записках» описание страны и обычаев ее населения. Однако это еще более краткий и, несомненно, более поверхностный очерк, чем описание германцев (не говоря уже о галлах).

Если при высадке на остров римляне, как уже сказано, не встретили сопротивления, то вскоре положение резко изменилось. Британские общины собрали и выставили многочисленное войско, подчиненное единому командованию. Таким верховным командующим был провозглашен с общего согласия Кассивеллаун, могущественный вождь и опытный военный руководитель, владения которого простирались к северу от Темзы.

Между войском римлян и ополчением британских племен произошло несколько крупных столкновений. И хотя Цезарь всячески старается подчеркнуть, что исход боев каждый раз оказывался в пользу римлян, но, во-первых, победы давались нелегко, а кроме того, добиться решающего и крупного успеха так и не удалось. Британцы под руководством своего умелого вождя вели по существу партизанскую войну, а такую войну в результате какого-то одного генерального сражения выиграть невозможно.

В ходе военных действий Цезарю удалось форсировать Темзу, а затем прорвать оборонительные сооружения в «городе» Кассивеллауна (возможно, в Веруламии, неподалеку от Лондона), но решающим оказалось то обстоятельство, что сначала тринобанты, сильнейшее из британских племен, а затем и некоторые другие племена отпали от Кассивеллауна и решили сдаться Цезарю. Была сделана еще одна попытка неожиданно атаковать римский лагерь, но, когда она окончилась неудачей, Кассивеллауну не оставалось ничего другого, как вступить в переговоры с Цезарем. Для последнего это тоже было лучшим выходом из положения; тем более что он стремился вернуться на зиму в Галлию, ибо у него, видимо, существовали достаточные основания опасаться там волнений, быть может, даже восстания.

Поэтому, получив от Кассивеллауна заложников и

установив на будущее размер ежегодной дани, Цезарь посадил свое войско и многочисленных пленных на суда и в два приема переправил их на материк. По существу обе британские экспедиции в смысле реальных результатов отнюдь не оправдали возлагавшихся надежд: они не привели ни к территориальным приобретениям, ни к захвату той огромной добычи, тех несметных богатств, слух о которых не только воодушевлял войско Цезаря, но и усиленно распространялся перед походом в самом Риме.

В конце августа или в начале сентября 54 г. — Цезарь в это время совершал свой второй поход в Британию — умерла его дочь Юлия, жена Помпея. Она пользовалась большой и искренней любовью как отца, так и мужа. Юлия безусловно служила важным посредствующим звеном в той цепи, которая связывала ее отца с ее мужем.

В 53 г. погиб Красс. Поскольку он часто ссорился с Помпеем и Цезарю приходилось их неоднократно мирить, то возможно, что в «союзе трех» он играл роль своеобразного амортизатора. Теперь его смерть даже формально превращала этот союз в некий дуумвират. Но она, вместо того чтобы теснее сблизить оставшихся в живых членов союза, наоборот, скорее содействовала обострению их взаимоотношений: даже в политической борьбе, когда остаются двое, они всегда соперники.

Но Помпей и стремился к единоличной власти и боялся ее. Он колебался, он вел переговоры как с Цезарем, так и с сенатом. В результате достиг устраивающего его компромисса с обеими сторонами. Цезарь предлагал ему новый вариант родственных связей: он, Цезарь, выдает за Помпея свою внучатую племянницу (сестру будущего императора Августа), а сам женится на дочери Помпея. Новый типичный пример династического брака! Однако Помпей отклонил это предложение, обещав, вероятно, в качестве компенсации добиться для Цезаря права заочно баллотироваться на консульских выборах на 48 г. (т. е. по истечении полномочий Цезаря по управлению его провинциями).

Компромисс с сенатом — поскольку сенаторы, как и сам Помпей, и хотели диктатуры, и боялись ее — выглядел так: Помпей избирался консулом без коллегии, т. е. почти диктатором. Но именно почти, ибо в отличие, скажем, от диктатуры Суллы фактически единоличная власть Помпея была все же ограничена как сроком, так и ответственностью, что в дальнейшем второй консул бу-

дет все-таки избран, что и произошло, когда Помпей женился на дочери Квинта Метелла Сципиона. Именно Метелл в августе 52 г. был избран консулом и коллегой Помпея.

Этот брак и в особенности это новое родство никак нельзя считать политически нейтральными. Метелл Сципион был известен как явный противник Цезаря, и он же мог считаться надежным посредником, связующим звеном между Помпеем и олигархическими кругами сената. Как знать, быть может, в тех условиях все эти матримониальные комбинации более убедительно и наглядно, чем что-либо другое, дали понять Цезарю, сколь серьезно намечающееся расхождение между недавними союзниками и сколь далеко идущими последствиями оно чревато.

ВЕЛИКОЕ ГАЛЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ. КАНУН РУБИКОНА

Когда после второй и не очень удачной экспедиции в Британию Цезарь вернулся на континент, его ожидало самое тяжелое из всех испытаний, пережитых им за годы войны в Галлии. Казалось, что все достигнутое: и победы над отдельными племенами, и общее замирение Галлии, и блестящие военные успехи, и дипломатические достижения — все это вдруг зашаталось как бы от страшного подземного толчка, готово было рухнуть и похоронить под своими обломками его репутацию, его с таким трудом завоеванное положение. В конце кампании 54 г., т. е. на пятом году пребывания Цезаря в Галлии, началось великое галльское восстание.

Новая кампания, т. е. кампания 53 г., была открыта еще до окончания зимы. По существу она носила характер превентивных действий. Прежде всего это была карательная экспедиция против нервиев. С четырьмя легионами Цезарь неожиданно вторгся в их страну. На сей раз нервии не смогли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления, и войску Цезаря досталась огромная добыча как пленными, так и скотом. Несчастные нервии вынуждены были снова покориться римлянам и выдать заложников. Быстро завершив эту операцию, Цезарь отвел свое войско на зимние квартиры.

К исходу же всей кампании Цезарь и римская армия могли считать себя отмщенными. Страна была так опустошена, а население настолько истреблено, что с тех

пор, заметим, имя эбуронов навсегда исчезает из истории. Осенью Цезарь созвал очередной съезд, на сей раз в Дукорторе (Реймс), в стране ремов. Здесь в результате проведенного следствия о причинах восстания сенонов и карнутов был подвергнут мучительной казни Аккон, один из главных зачинщиков возмущения. Некоторым его соучастникам удалось бежать; они были приговорены к вечному изгнанию. Заготовив для всей армии продовольствие, Цезарь мог наконец, по своему обыкновению, направиться в верхнюю Италию (Цизальпинскую Галлию).

Здесь он узнает о событиях в Риме: об убийстве Клодия, о царящей в городе анархии и о постановлении сената, согласно которому Помпей, избранный консулом и наделенный чрезвычайными полномочиями, должен произвести набор военнообязанных по всей Италии. Тогда и Цезарь объявляет набор в Провинции.

И хотя Цезарь не создал, вернее не успел создать, в Галлии вполне законченной и стройной политико-административной системы, тем не менее введенные им порядки оказались чрезвычайно устойчивыми и вполне реалистичными. Это доказывается хотя бы тем примечательным фактом, что, когда в Риме вспыхнула гражданская война и в Галлии почти не осталось римских войск, эта вновь завоеванная страна оказалась более верной Риму, чем некоторые провинции, казалось бы давно свыкшиеся с римским господством.

Каковы же общие итоги завоевания Галлии? Это было событие крупного исторического значения и масштаба. Если верить Плутарху, то Цезарь за девять лет военных действий в Галлии взял штурмом более 800 городов, покорил 300 народностей, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил и столько же захватил в плен. Завоеванная им и присоединенная к римским владениям территория охватывала площадь в 500 тысяч квадратных километров. Военная добыча — пленные, скот, драгоценная утварь, золото — была поистине неисчислима. Обогатился и сам верховный командующий; он не только полностью восстановил, но и значительно увеличил свое не в первый раз растроченное состояние; обогатились и его офицеры и даже солдаты. Светоний, упрекая Цезаря в корыстолюбии, прямо говорит, что в Галлии он «спустошал капища и храмы богов, полные приношений, и разорял города чаще ради добычи, чем в наказание».

Но, видимо, главный итог заключается не в этом. Завоевание Галлии открыло огромные перспективы для проникновения в эту страну римского торгово-денежного капитала — дельцов, торговцев, ростовщиков, создало в 50-х годах необычайную деловую активность как в этой новой провинции, так и в самом Риме. Не случайно некоторые ученые с легкой руки Моммзена считают, что присоединение Галлии оказало на средиземноморский мир такое же влияние, как открытие Америки на средневековую Европу.

И наконец, итоги войн применительно к самому Цезарю. Не может быть сомнений в том, что его популярность в Риме достигла теперь наивысшего предела. Не говоря уже о демагогической политике Цезаря, на проведение которой он снова мог со своей обычной щедростью тратить огромные суммы, не говоря о его репутации в самых широких слоях римского населения, следует признать, что блеск военных и дипломатических побед в Галлии производил, видимо, неотразимое впечатление даже на тех, кого никоим образом нельзя заподозрить в излишней к нему симпатии. Это не означало, конечно, что с Цезарем примирились его наиболее ярые политические противники, но такие, например, люди, как Цицерон, хотя он и считал Цезаря чуть ли не главным виновником своего изгнания, тем не менее в одной из речей еще в 56 г. патетически восклицал: «Могу ли я быть врагом тому, чьи письма, чья слава, чьи посланцы ежегодно поражают мой слух совершенно неизвестными доселе названиями племен, народностей, местностей? Я пылаю, поверьте мне, отцы-сенаторы, чрезвычайной любовью к отечеству, и эта давнишняя и вечная любовь сводит меня снова с Цезарем, примиряет с ним и заставляет возобновить наши добрые отношения».

Девять лет военных действий в Галлии принесли Цезарю, конечно, огромный опыт. Репутация выдающегося полководца прочно утвердилась за ним. Как полководец, он обладал по крайней мере двумя замечательными качествами: быстротой действия и маневренностью, причем в такой степени, что, по мнению античных историков, никто из его предшественников не мог с ним соперничать. Почти вся тактика войны в Галлии (да и многие стратегические расчеты) основывалась на этих двух принципах, и это был не только правильный, но и единственно возможный план действий при том соотношении сил, которое существовало в Галлии, особенно в период вели-

кого галльского восстания. Если Цезарь располагал в это время десятью легионами, т. е. в лучшем случае 60 тысячами человек, то общие силы восставших доходили до 250—300 тысяч человек. Все поэтому зависело от быстроты, маневренности, в конечном счете от умения разъединить силы противника.

Самые длинные переходы Цезарь совершал с поразительной быстротой, налегке, в наемной повозке, делая по сотне миль в день. Его выносливость была невероятной; в походе он двигался всегда впереди войска, обычно пеший, иногда на коне, с непокрытой головой и в жару и в дождь. В нем сочетались осторожность с отчаянной смелостью. Так, например, он никогда не вел войска по дорогам, удобным для засады, без предварительной разведки. С другой стороны, он мог сам пробираться через неприятельские посты к своим окруженным частям, переодетый в галльское платье, идя на смертельный риск.

Как полководец Цезарь превосходил всех своих предшественников еще в одном отношении — в умении обращаться с солдатами, находить с ними общий язык. Он лично знал и помнил многих центурионов да и старослужилых солдат и обращался к ним в решающий момент боя по имени. Он мог принимать регулярное участие в тяжелых осадных работах, длящихся днем и ночью, и, видя, как надрываются и как измучены солдаты, предложить им добровольно снять осаду.

Цезарь ценил в своих воинах не нрав, не происхождение, не богатство, но только мужество. Он был строг и одновременно снисходителен. Он требовал беспрекословного повиновения, держал всех в состоянии напряжения и боевой готовности. Отличившихся он награждал дорогим оружием, украшенным золотом или серебром. Всем этим он сумел добиться от солдат редкой преданности. Особенно ярко подобное отношение воинов к своему вождю проявилось в период гражданской войны, но оно ощущалось и раньше, в годы галльских походов. Не без удивления древние историки отмечают, что за девять лет войны в Галлии, несмотря на все трудности, лишения, а иногда и неудачи, в войске Цезаря ни разу не происходило никаких мятежей.

Но среди богатого и разнообразного арсенала политических (и дипломатических) приемов, которыми пользовался Цезарь, постепенно выделяется один особенно старательно культивируемый им лозунг — это мягкое и справедливое отношение к противнику, особенно побеж-

денному, это лозунг милосердия. Правда, он приобретает решающее значение только в эпоху гражданской войны, но возникает несомненно раньше, еще во время пребывания Цезаря в Галлии. И этому лозунгу еще предстоит сыграть свою особую, исключительную и вместе с тем роковую роль в истории всей дальнейшей деятельности и жизни Цезаря.

Помпей был избран в 52 г. консулом потому, что многие, как говорит Плутарх, уже открыто осмеливались заявлять, «что государство не может быть исцелено ничем, кроме единовластия, и нужно принять это лекарство из рук наиболее кроткого врача, под каковым и подразумевался Помпей». Это был третий консулат Помпея, причем, вопреки обычаю, ему также было продлено управление провинцией (Испания), а на содержание войск он получал из государственной казны 1000 талантов ежегодно.

Что касается Цезаря, то в этом случае Помпей проявлял как будто полную лояльность. Он в свое время откликнулся на просьбу Цезаря относительно присылки ему войск. Какое-то время оба политических деятеля, по всей вероятности, считали необходимым сохранять видимость хороших отношений и прежнего единодушия, так что и Цезарь со своей стороны отзывался о Помпее в самых хвалебных тонах и даже разубеждал тех, кто сообщал ему о враждебных замыслах соперника.

Разворот же событий неизбежно, неотвратимо вел к гражданской войне. Очевидно, был прав Цицерон, объяснявший неудачу своих проектов мирного решения конфликта тем, что как на одной, так и на другой стороне было много влиятельных людей — явных сторонников войны. И все же Цезарь сделал еще одну, последнюю попытку примирения.

Первого января 49 г., в тот день, когда вновь избранные консулы впервые вступили в свои обязанности и руководили заседанием сената, было оглашено новое письмо Цезаря. Его доставил Курион, проделавший в три дня путь от Равенны до Рима с невероятной по тем временам быстротой. Но недостаточно было доставить письмо в сенат, следовало еще добиться его прочтения. Это оказалось совсем не так просто, потому что консулы воспротивились чтению письма, и только благодаря величайшей настойчивости народных трибунов чтение все же состоялось.

В письме Цезаря содержался прежде всего торжест-

венный перечень его деяний и заслуг перед государством, затем говорилось о том, что сенат не должен его лишать дарованного ему народом права участвовать в выборах до того, как он сдаст провинцию и командование войсками; вместе с тем в письме снова подтверждалась готовность сложить с себя все полномочия одновременно с Помпеем. Но была в этом письме, видимо, и некая новая нота: Цезарь заявлял, что если Помпей сохранит за собой власть, то и он от нее не откажется и даже сумеет ее использовать. Очевидно, именно этот момент и дал основание Цицерону охарактеризовать письмо Цезаря как «резкое и полное угроз».

8 и 9 января происходят заседания сената за чертой города, дабы дать возможность принять в них участие Помпею. Утверждается в качестве официального решения сената предложение и формулировка Сципиона. Снова подтверждено решение о наборе войск по всей Италии, Помпею предоставляется право получать средства из государственной казны и от муниципиев. Происходит распределение провинций: Сципиону достается Сирия, Цезарева провинция передаются Домицию Агенобарбу и Консидию Нониану: первому — Цизальпинская Галлия, второму — Трансальпинская. Эти решения, как отмечает Цезарь, проводятся крайне спешно, беспорядочно, причем попираются все права — и божеские, и человеческие.

Кстати, на одном из таких заседаний выступил Помпей. Еще раз одоббив твердость и мужество сенаторов, он довел до их сведения, что располагает девятью легионами, которые в любой момент готовы к действию. Что касается Цезаря, то, мол, хорошо известно отношение к нему его собственных солдат: они не только не сочувствуют ему и не собираются его защищать, но даже и не последуют за ним.

В результате всех этих заседаний, решений и высказываний ситуация становится предельно ясной, во всяком случае для Цезаря. 12 (или 13) января он собирает сходку солдат 13-го легиона, единственного из его легионов, который находился с ним вместе по эту сторону Альп. В своей, как всегда, искусно построенной речи Цезарь прежде всего сетует на то, что его враги совратили Помпея, к которому он всегда был дружески расположен, всячески помогая ему в достижении почестей и высокого положения в государстве. Но еще, пожалуй, огорчительнее тот факт, что путем насилия поправаны права трибунской интерцессии, права, оставленные неприкосновенны-

ми даже Суллой. Объявлено чрезвычайное положение, т. е. римский народ призван к оружию. Поэтому он просит воинов защитить от врагов доброе имя и честь полководца, под водительством которого они в течение десяти лет одержали столько блестящих побед во славу родины. Речь произвела должное действие: солдаты единодушным криком изъявили готовность защищать своего полководца и народных трибунов от чинимых им обид.

Так, известно, что Цезарь располагал к моменту своего выступления следующими силами: 5 тысяч пехотинцев (т. е. упомянутый 13-й легион) и 300 всадников. Однако, как обычно, рассчитывая более на внезапность действий и храбрость воинов, чем на их численность, он, приказав вызвать остальные свои войска из-за Альп, тем не менее не стал ожидать их прибытия.

Небольшой отряд наиболее храбрых солдат и центурионов, вооруженных только кинжалами, он тайно направил в Аримин — первый крупный город Италии, лежащий на пути из Галлии, — с тем чтобы без шума и кровопролития захватить его внезапным нападением. Сам же Цезарь провел день на виду у всех, даже присутствовал при упражнениях гладиаторов. К вечеру он принял ванну, а затем ужинал вместе с гостями. Когда стемнело, он, то ли жалуясь на недомогание, то ли просто попросив его обождать, покинул помещение и гостей. Взяв с собою немногих, самых близких друзей, в наемной повозке выехал в Аримин, причем сначала намеренно (по другой версии — заблудившись) следовал не той дорогой и только на рассвете догнал высланные вперед когорты у реки Рубикон.

Эта небольшая и до той поры ничем не примечательная речка считалась, однако, границей между Цизальпинской Галлией и собственно Италией. Переход этой границы с войсками означал фактически начало гражданской войны. Поэтому все историки единодушно отмечают колебания Цезаря. Так, Плутарх говорит, что Цезарь понимал, началом каких бедствий будет переход и как оценит этот шаг потомство. Светоний уверяет, что Цезарь, обратившись к своим спутникам, сказал: «Еще не поздно вернуться, но стоит перейти этот мостик, и все будет решать оружие». Наконец, Аппиан приписывает Цезарю такие слова: «Если я воздержусь от перехода, друзья мои, это будет началом бедствий для меня, если же перейду — для всех людей».

Тем не менее, произнеся якобы историческую фразу:

«Жребий брошен», Цезарь все-таки перешел со своим штабом через Рубикон.

Итак, гражданская война началась. Кто же, однако, ее начал, кто был ее инициатором: Помпей с сенатом или Цезарь? Дать однозначный ответ на такой вопрос, причем ответ не формальный, но по существу, отнюдь не просто. Пожалуй, стоит вспомнить уже приводившиеся слова Цицерона, что войны хотела и та и другая сторона, причем к этому справедливому высказыванию можно сделать следующее дополнение: не только хотела, но и начала войну, как это часто бывает, тоже и та и другая сторона. И хотя до сих пор речь шла то о Помпее, то о Цезаре, то о Катоне, на самом же деле вовсе уже не люди управляли событиями, а, наоборот, бурно нараставшие события управляли и распоряжались людьми.

Впервые реальная перспектива вооруженной борьбы четко вырисовалась перед Помпеем, видимо, тогда, когда после его выздоровления от болезни чуть ли не вся Италия изъявила ему свою любовь и преданность, когда офицеры, приведшие легионы от Цезаря из Галлии, дезинформировали его о взаимоотношениях между Цезарем и войсками, когда он был уверен, что только стоит ему «топнуть ногой», и в его распоряжении окажется вполне готовая к боям и победам армия. Тот же Плутарх считает, что все эти обстоятельства вскружили Помпею голову, и он, забыв свою обычную осторожность, действовал неосмотрительно, легкомысленно и излишне самоуверенно.

Бесспорно лишь то, что с момента возникновения реальной угрозы гражданской войны Помпей начинает действовать иначе — гораздо решительнее и более открыто. Вместо того чтобы прибегать к авторитету сената, он сам теперь оказывает на него давление: он смыкается с наиболее яркими врагами Цезаря, проявляет неуступчивость при переговорах и, наконец, довольно прямо высказывается о неизбежности войны. Создается впечатление, что военные действия против Цезаря он на этом позднем этапе конфликта даже предпочитает политической борьбе.

Вполне возможно, что это не только впечатление. Помимо головокружения и самоуверенности речь должна идти, несомненно, о более глубоких внутренних причинах, толкавших Помпея к войне. Дело в том, что в какой-то определенный момент Помпей, по-видимому, совершенно ясно и бесповоротно понял, что в борьбе, которая ведется или будет вестись политическими средствами, его

поражение неизбежно и ему никогда не одолеть своего соперника, но если встанет вопрос о борьбе вооруженной, то это в корне изменит ситуацию, здесь он в своей стихии, и потому итог подобного соревнования может оказаться совсем иным. Таким образом, для Помпея шансы на победу, на успех были связаны именно с войной и, пожалуй, только с войной, тем более что в этом плане он на самом деле несколько переоценивал свои силы и возможности.

Что касается Цезаря, то его положение было иным. Судя по всему, он не только не боялся превратностей политической борьбы, но, наоборот, стремился к ней, ибо был уверен, что на этом поприще всегда возьмет верх и над сенатской олигархией и над самим Помпеем. Поэтому он был заинтересован в использовании всех возможностей мирного решения конфликта. Конечно, речь не идет о каком-то его врожденном миролюбии, о том, что он начисто исключал военный вариант или чрезмерно его опасался, но просто Цезаря в данном случае устраивал и мирный путь, т. е. заочный консулат, затем возвращение в Рим, пусть даже при условии отказа от командования и роспуска легионов. Кстати, существовало еще одно и отнюдь не маловажное соображение. Выступать в роли откровенного зачинщика войны Цезарю было гораздо сложнее: Помпею меч вручили сенат и консулы, следовательно, те, кто олицетворял в своем лице государство; Цезарь же как-никак восстал против «законных властей».

Этими соображениями и определялась его позиция: не столь уже активное стремление к войне, готовность к переговорам (даже после Рубикона!), довольно далеко идущие уступки, колебания вплоть до самого последнего момента. Только когда все обращения к сенату были отвергнуты или оставлены без ответа, когда было объявлено чрезвычайное положение и начался спешный набор войск по Италии, когда наконец народным трибунам пришлось бежать из Рима, — только тогда Цезарь, убедившись в непробиваемости своих врагов для акций подобного рода, перешел к иному образу действий — повел свои войска на Рим.

Так, Цезарь, хотя он и не стремился к войне, тем не менее, как только он перестал колебаться и начал действовать, действует, как всегда, решительно и быстро. Помпей же, наоборот, желая войны, рассчитывая на нее, на сей раз, как никогда, растерян, выступает вяло, неуверенно, как бы даже и не всерьез.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Как же, однако, развивались события на раннем этапе войны, после перехода через Рубикон? Аримин был захвачен в ту же ночь, на рассвете. Цезарь не встретил здесь никакого сопротивления. В Аримине его ожидали бежавшие к нему народные трибуны. Возможно, что с их участием он провел новую военную сходку. Не менее вероятно и то, что надобность в ней уже отпала.

Известие о взятии Аримина достигло Рима 16 января, а буквально на следующий день распространились слухи о занятии войсками Цезаря также Пизавра, Анконы, Арретиума. В городе началась паника. Было спешно созвано заседание сената, Помпея потребовали к ответу. Где его войско? Один из сенаторов упрекал его в обмане, другой злорадно советовал «топнуть ногой». Становилось ясно, что Помпей в данный момент не располагал достаточными военными силами. Возникло даже предположение направить делегацию к Цезарю, кстати говоря поддержанное Цицероном. Однако предложение не прошло, и после ожесточенных дебатов по инициативе Катона было принято решение вручить верховное командование Помпею на том основании, что виновник этих великих бед должен сам положить им конец.

Но Помпей реагировал на это решение несколько странным образом. Неожиданно для всех он заявил, что пришел к выводу о необходимости покинуть Рим, призвал магистратов и сенаторов последовать его примеру, добавив, что тех, кто не откликнется на этот призыв, он будет считать врагами отечества и приверженцами Цезаря. Кстати, такой неуклюжий политический ход дал возможность Цезарю сразу же провозгласить, что всех тех, кто воздержится и ни к кому не примкнет, он, наоборот, будет считать своими друзьями.

Помпей покинул Рим 17 января, консулы и значительная часть сенаторов — на следующий день. Отъезд, вернее, бегство было столь поспешным, что не успели совершить полагающихся по случаю войны жертвоприношений, не успели вывезти государственную казну. Даже из собственного имущества хватали лишь то, что попадалось под руку. Бежали в суматохе, потеряв голову, и те, кому ничто не угрожало, и те, кто всегда поддерживал Цезаря. Город, по выражению Плутарха, «казался подобным судну с отчаявшимися кормчими, носящемуся по волнам и брошенному на произвол слепого случая».

Цезарь тем временем еще оставался в Аримине. Сюда к нему прибыли претор Росций и Луций Юлий Цезарь-младший, помпеянец. Они передали некоторые пожелания Помпея, правда сформулированные довольно невнятно. Цезарь почел своим долгом направить ответ, в котором снова подчеркнул полную готовность распустить войско одновременно с Помпеем, а после этого принять участие в выборах, не нарушая обычного порядка. Он выдвигал также предложение о личной встрече, придавая ей решающее значение.

Посредники вернулись к Помпею и консулам 23 января, застав их уже в Капуе (или Теануме). Однако и на сей раз предложения Цезаря не нашли благоприятного приема: после их обсуждения были выдвинуты условия, заведомо для Цезаря неприемлемые. Очевидно, большую роль сыграло то обстоятельство, что за день до появления в Капуе посредников туда прибыл Лабиен, авторитетно сообщивший о слабости и ненадежности Цезарева войска, чем и воодушевил Помпея.

Тит Атий Лабиен, герой галльской войны, один из самых знаменитых легатов Цезаря, был единственным видным офицером, изменившим своему верховному командующему. Причина этой измены не совсем ясна. Цезарь ему очень доверял, по окончании военных действий оставил его наместником Ближней Галлии и долгое время не хотел придавать значения ходившим слухам о его связях с враждебным лагерем. Высказывалось предположение о якобы ущемленном честолюбии Лабие-на, но, пожалуй, более правдоподобна мысль о том, что Лабиен мог быть давнишним сторонником Помпея: ведь оба они родились в Пицене, а Помпей всегда пользовался там большим влиянием.

Цезарь между тем не терял времени. Так как условия, выдвинутые Помпеем и консулами, сводившиеся опять-таки к тому, что он, Цезарь, должен вернуться в Галлию и распустить войска раньше, чем сделает то же самое Помпей, его абсолютно не устраивали, то он направил Куриона с тремя когортами в Игувий, а сам с остальными когортами 13-го легиона двинулся к Ауксиму. Ни в том, ни в другом городе войска Цезаря не встретили сопротивления, а претор Терм, командовавший гарнизоном Игувия, и Аттий Вар, занимавший тремя когортами Ауксим, вынуждены были бежать. Вар пытался вывести из города часть гарнизона, но был настигнут отрядом Цезаря. Дело, однако, до серьезного сражения не дошло: сол-

даты Вара разбежались, бросив своего командира на произвол судьбы.

Выступив из Ауксима, Цезарь быстро прошел через всю Пиценскую область. Здесь он тоже почти не встретил сопротивления, несмотря на то что помпеянцев среди местной знати было немало. Тем временем подоспел 12-й легион, вызванный из Трансальпинской Галлии, и Цезарь, располагая теперь двумя легионами, легко овладел Аскулом Пиценским — главным городом области.

Для Помпея и его сторонников наступил, казалось, тот решающий час, правильно используя который можно было еще сделать вовсе не безнадежную попытку отстоять Италию. Дело в том, что военные силы помпеянцев сосредоточились к этому времени в двух местах: в Кампании и Апулии, т. е. на юге, под командованием самого Помпея, и в средней Италии, в Корфинии, где их собрал старый противник Цезаря, только что назначенный его преемником по управлению Галлией, — Домиций Агенобарб. Все зависело теперь от объединения этих сил, что прекрасно понимал Помпей и на чем он решительно настаивал.

Однако такого объединения не произошло, и причина этого рокового просчета не совсем ясна. Домиций Агенобарб действительно намеревался выступить на соединение с Помпеем, но затем почему-то передумал, остался в Корфинии, стал готовиться к обороне и даже обратился к Помпею, требуя от него помощи и подкреплений. Возможно, что Цезарь появился со своими войсками гораздо быстрее, чем ожидал его противник, и таким образом стремление Домиция к активным действиям было сразу же парализовано. Во всяком случае, Цезарь беспрепятственно расположился лагерем под Корфинием и приступил к правильной осаде города.

Казалось, осада грозила затянуться. Но помог неожиданный и вместе с тем весьма характерный случай. Цезарь получил известие, что жители Сульмона, города, расположенного в семи милях от Корфиния, сочувствуют ему. Тогда в Сульмон был направлен Марк Антоний с пятью когортами, и жители города, открыв ворота, вышли с приветствиями навстречу Цезаревым войскам. Вскоре после этого (около 19 февраля) пал и Корфиний, где под командованием Домиция находилось 30 когорт, причем солдаты и жители города сами захватили Домиция при попытке к бегству и выдали его Цезарю. Таким образом, осада Корфиния продолжалась всего семь дней.

После взятия Корфиния, пожалуй, впервые в ходе гражданской войны чрезвычайно наглядно, демонстративно и в довольно широком масштабе Цезарем была осуществлена его «политика милосердия». Он распорядился вызвать к себе всю верхушку города — сенаторов, всадников, военных трибунов, всего 50 человек, в том числе Домиция Агенобарба, консула Лентула Спинтера, квестора Квинтилия Вара и др., и, попеняв на проявленную ими неблагодарность, отпустил всех невредимыми. И хотя почти все помилованные оказались затем в лагере Помпея и продолжали борьбу, тем не менее слух о таких действиях Цезаря распространился по всей Италии.

Помпей, узнав о падении Корфиния, направился в Канусий, а оттуда в Брундизий, где должны были собраться войска нового набора. Он, очевидно, уже принял решение о переправе на Балканский полуостров и спешил выполнить необходимые приготовления. Во всяком случае, когда Цезарь, выступив из Корфиния 21 февраля, попытался установить связь с консулом Лентулом и отвлечь его от Помпея, оказалось, что оба консула и часть войска уже переправлены Помпеем в Диррахий. Справедливость требует отметить, что Цезарь сделал еще две попытки добиться личной встречи и переговоров с Помпеем, но тот, ничего не ответив в первом случае, после вторичного демарша Цезаря заявил, что поскольку консулы отсутствуют, то нет возможности вести переговоры.

Цезарь подошел к Брундизию 9 марта со своим войском, к этому времени выросшим уже до шести легионов. Он начал осадные работы, кроме того, хотел затруднить Помпею пользование гаванью; однако это ему не удалось, и Помпей с оставшейся частью войска 17 марта погрузился на вернувшиеся из Диррахия суда и тоже переправился на Балканский полуостров. Почти весь наличный флот оказался в его распоряжении. Так как по этой причине Цезарь не смог тотчас же преследовать своего противника, то ему пришлось ограничиться укреплением приморских городов, где он и разместил новые гарнизоны.

Итак, Цезарь за шестьдесят дней стал господином всей Италии, причем, как с удовольствием отмечает Плутарх, «без всякого кровопролития». Поведение Помпея, наоборот, вызвало крайнее недовольство современников. И хотя тот же Плутарх говорит, что отплытие Помпея некоторые считали весьма удачно выполненной военной хитростью, вместе с тем он подчеркивает, что сам Цезарь

выражал удивление, почему Помпей, владея хорошо укрепленным городом, ожидая подхода войск из Испании и, наконец, господствуя на море, тем не менее оставил Италию.

Особенно горькое разочарование переживали сторонники Помпея. Корреспонденция Цицерона дает яркое представление о подобных чувствах и настроениях. Цицерон вернулся из своей провинции 4 января 49 г., т. е. накануне перехода Цезаря через Рубикон, и с первых же дней вспыхнувшей войны его тревожило и смущало поведение Помпея. Сначала он еще довольно осторожно высказывался по поводу того, что Помпей «слишком поздно начал бояться Цезаря», затем он явно неодобрительно и даже насмешливо сравнивал его с Фемистоклом, а в конце января прямо говорил о неспособности Помпея как военачальника.

И наконец, в письме к Аттику от 24 февраля дана как бы итоговая оценка всех действий Помпея: «Он вскормил Цезаря, он же вдруг начал его бояться, ни одного условия мира не одобрил, для войны ничего не подготовил, Рим оставил, Пиценскую область потерял по своей вине, в Апулию забился, наконец, стал собираться в Грецию, не обратившись к нам, оставив нас непричастными к столь важному и столь необычному решению».

После Брундизия Цезарь направился в Рим. Здесь его ожидали с трепетом. Это относится в первую очередь к сенату, вернее к тем представителям сенатского «болота», которые и не хотели уезжать, и боялись оставаться. По дороге в Рим Цезарь сначала в письме, а затем при личной встрече убеждал Цицерона вернуться и принять участие в заседании сената, назначенном на 1 апреля. Цицерон отклонил это предложение, чем, конечно, вызвал недовольство своего могущественного собеседника.

Намеченное заседание все же состоялось, и Цезарь выступил на нем с речью. В этой речи он пытался доказать сенаторам, что все предпринятые им действия были вызваны несправедливостью и обидами со стороны его врагов. Он предложил сенату сотрудничать с ним в деле управления государством, дав понять, однако, что в случае отказа или нежелания обойдется и без такого сотрудничества. В заключение Цезарь снова говорил о том, что следует направить посольство к Помпею и вступить с ним в переговоры.

Предложение о посольстве было принято, но осталось невыполненным: не нашлось желающих отправиться к

Помпею в качестве послов, сенаторы помнили его угрожающее заявление по адресу тех, кто не покинет Рим, а кроме того, и не доверяли искренности намерений Цезаря. В это же время произошел знаменитый инцидент с государственной казной. Цезарю были нужны деньги для дальнейшего ведения войны, и потому он, естественно, решил не отказываться от того, что столь неожиданно оказалось предоставленным в его распоряжение самими же его врагами. Но здесь он натолкнулся на сопротивление народного трибуна Цецилия Метелла. Тем не менее Цезарь приказал взломать двери казнохранилища, а Метеллу даже пригрозил смертью, добавив, что ему гораздо труднее это сказать, чем сделать.

Но то был единственный случай, когда Цезарь прибегнул к насилию. Верный своей политике милосердия, он твердо держался избранного им пути. Собираясь оставить Рим, Цезарь поручил руководство городскими делами претору М. Эмилию Лепиду, а управление Италией и командование находившимися здесь войсками трибуна Марку Антонию как своему легату. Все это было лишь подготовкой к решающему шагу по обеспечению тыла — к походу в провинцию самого Помпея, т. е. в Испанию.

Выступив из Рима в первых числах апреля, Цезарь еще по дороге узнал о том, что Домиций Агенобарб, взятый им в плен в Корфинии, а затем милостиво отпущенный, направлен Помпеем для занятия города Массилии. И действительно, Цезарь со своим войском и Домиций в сопровождении большой свиты из клиентов и рабов подошли к Массилии почти одновременно. Сначала члены местного сената, так называемые пятнадцать первых, заявили Цезарю о своем намерении сохранять нейтралитет, но затем очень быстро выяснилось, что они не только весьма охотно приняли Домиция, но и назначили его комендантом города. Возмущенный таким вероломством, Цезарь решил обложить город с суши и моря, построив даже для этой цели специальную флотилию. Сам он двинулся дальше, а руководство всеми осадными операциями передал Дециму Юнию Бруту и Гаю Требонию.

Цезарю пришлось в основном вести борьбу против двух легатов Помпея — Луция Афрания и Марка Петрея. Военные действия сосредоточились в районе города Илерда. Вначале они развивались не очень успешно для Цезаря. Был даже такой момент, когда бурным течением реки Сикарис оказались разбиты и снесены мосты, а Цезарь со значительной частью своих войск очутился чуть

ли не в положении осажденного, отрезанного от продовольствия, от подкреплений.

Афраний и Петрей уже направляли победные реляции в Рим. Как пишет об этом сам Цезарь, здесь многие считали, что война почти окончена, и спешили в дом Афрания с поздравлениями. Кое-кто из числа сенаторов, пока остававшихся в Риме, решил, что наконец-то пробил час принять окончательное решение и перебежать к Помпею. В числе их был и Цицерон. Несмотря на мольбы и заклинания Целия Руфа, письма самого Цезаря, наконец, наперекор прямому запрету Марка Антония 7 июня он тоже переправился в Грецию.

Тем временем положение Цезаря изменилось к лучшему. Ему удалось примерно в 30 километрах от своего лагеря тайно от противника навести через реку мост и таким образом обеспечить снабжение армии продовольствием. В это же время пришло известие из-под Массилии: флот Децима Брута нанес чувствительное поражение эскадре массилийцев, пытавшихся прорвать блокаду. Но решающее значение имел тот факт, что сначала пять крупных испанских общин, расположенных к северу от Ибера (Эбро), перешли на сторону Цезаря, а затем к ним примкнуло еще несколько более отдаленных общин. Вероятно, на такое решение оказали влияние не только текущие события, но и та добрая слава, которая сопровождала имя Цезаря еще с тех пор, когда он, как пропретор Дальней Испании, освободил население от контрибуции, наложенной в свое время Метеллом Пием.

Во всяком случае, положение изменилось настолько, что Афраний и Петрей решили отступить в область кельтиберов, где, кстати сказать, позиции помпеянцев были значительно сильнее. Однако Цезарь, умело маневрируя, сумел отрезать противнику путь к Иберу и вынудил в конечном счете вражеское войско вернуться в район Илерды. Здесь ему удалось окружить врагов в безводной местности, и, не дав ни одного крупного сражения, избегая лишнего кровопролития, Цезарь вынудил Афрания и Петрея капитулировать.

Чтобы довести войну в Испании до конца, следовало еще решить вопрос о Дальней Испании — провинции, которой управлял в данное время Марк Теренций Варрон, знаменитый ученый-энциклопедист. Его позиция была сначала не очень определенной, или, как иронически замечает Цезарь, он «колебался по мере колебания счастья», и, когда дела оборачивались как будто не в пользу

Цезаря, он даже начинал готовиться к борьбе против него.

Однако считать кампанию полностью завершённой было преждевременно: кроме дел в Испании оставалась ещё Массилия.

Хорошо укрепленный город стойко сопротивлялся в течение полугода. И хотя массилийцы потерпели неудачу ещё в одном морском сражении и несли большие потери при неоднократных вылазках, они капитулировали лишь тогда, когда их положение стало абсолютно безнадежным. Домицию Агенобарбу и на сей раз удалось спастись: он бежал на быстроходном корабле.

Еще под стенами Массилии Цезарь узнал о том, что Эмилий Лепид по уполномочию народного собрания провозгласил его диктатором. Это было очень важное известие, так как диктатор помимо всего прочего имел право созывать комиции для проведения консульских выборов, к чему Цезарь в данное время питал особый интерес.

Прибыв в Рим в конце ноября 49 г., Цезарь вступил в права диктатора. Из мятежного проконсула, каким он все же оставался в глазах многих римлян, ему необходимо было превратиться в законно избранного высшего магистрата. Поэтому Цезарь воспользовался диктаторской властью на очень недолгий срок, всего лишь на те одиннадцать дней, что он провел в Риме.

Соотношение сил противников перед балканской кампанией было следующим. Помпей имел в своем распоряжении почти целый год для подготовки. Он сумел его использовать и собрал большие силы. У западных берегов Греции был сосредоточен огромный флот: 500 боевых кораблей и большое число легких и сторожевых судов. Верховное командование флотом находилось в руках злейшего врага Цезаря, его старого соперника по эдилитету и консульству, Марка Кальпурния Бибула. В Македонии стояло пешее войско, девять легионов; союзные государства и города Востока выслали многочисленные вспомогательные отряды. С двумя легионами спешил на помощь из своей провинции Сирии Квинт Метелл Сципион. Конница Помпея насчитывала 7 тысяч всадников, причем к ним относился, по словам Плутарха, весь цвет римской и италийской молодежи. Помпей лично руководил военными упражнениями своей армии — умение и ловкость пятидесятилетнего полководца, как уверяет тот же Плутарх, вызывали всеобщее восхищение. Располагая такими огромными силами, Помпей собирался перезимо-

вать со своим войском на иллирийском побережье, где он под защитой флота чувствовал себя спокойно и откуда раннею весной 48 г. легко мог вторгнуться на территорию Италии.

Что касается Цезаря, то его возможности были, по-видимому, не столь блестящими. В его распоряжении находилось примерно двенадцать легионов, но боеспособность частей была далеко не одинакова. Многие участники галльских походов ожидали давно желанного увольнения, да и долгий путь из Испании изнурил солдат; вдобавок в Апулии и в окрестностях Брундизия стояла в том году сырая и холодная погода. Но самая крупная неприятность заключалась в том, что, когда Цезарь прибыл в Брундизий, он убедился в невозможности переправить все свои наличные силы на Балканский полуостров. Для этого не хватало судов. Но не в его манере было откладывать уже решенное дело: он и на сей раз предпочел внезапность действий долгой и тщательной подготовке. Посадив на имеющиеся суда примерно 20 тысяч человек, он, незамеченный вражеским флотом, 5 января 48 г. благополучно переправился к берегам Эпира.

Желая полностью использовать все выгоды, вытекающие из быстроты и внезапности появления на Балканском полуострове, Цезарь решил предпринять еще одну, теперь уже последнюю, попытку мирных переговоров. Данный момент он находил наиболее подходящим, а общую ситуацию — наиболее благоприятной. Помимо того, он все же помнил напутствие римской толпы, и демонстрация миролюбивых устремлений могла быть ему только на пользу.

Нашелся и подходящий человек для такого щекотливого поручения. В качестве посла, который должен был сообщить его предложения Помпею, Цезарь избрал Л. Вибуллия Руфа, дважды попадавшего к нему в плен: в первый раз под Корфинием, а затем в Испании. Суть предложений сводилась к следующему: оба полководца должны наконец сложить оружие и не искушать судьбу. Они оба понесли серьезные потери. Так, если иметь в виду Помпея, то он лишился Италии, Сицилии, Сардинии, обеих Испаний и 13 когорт воинов. Цезарь же потерял африканскую армию Куриона и войска Антония, капитулировавшие под Куриктой. Таким образом, их положение, их силы в данный момент были примерно равны, и эти-то обстоятельства делают вполне возможными и даже желательными переговоры, ибо тот, кому судьба

пошлет в дальнейшем перевес, конечно, не захочет и слышать о мире. Поэтому оба полководца должны сейчас дать на военной сходке клятву о роспуске своих войск в трехдневный срок, предоставив подготовку самих мирных условий сенату и народу.

Вибуллий Руф поспешил к Помпею, стремясь не столько выполнить деликатное поручение, сколько как можно быстрее известить Помпея о самом факте появления Цезаря с войском. Помпей же находился на пути из Македонии к Аполлонии и Диррахию. Узнав теперь о приходе Цезаря, он ускорил продвижение своих частей, дабы не дать Цезарю возможности захватить города на западном побережье. Но и Цезарь, конечно, не терял времени впустую. Высадив солдат, он буквально в ту же ночь отправил корабли обратно в Брундизий для доставки остальных легионов и конницы. Однако этот рейс оказался несчастливым. Марк Бибул, досадуя на то, что уже один раз он упустил Цезаря, подстерег возвращавшийся флот, уничтожил его и установил строжайшую охрану и контроль над всем побережьем.

Но тем не менее Цезарь и часть его войска все же находились на территории Балканского полуострова. Стремясь прежде всего к тому, чего и опасался Помпей, а именно к занятию приморских городов, Цезарь уже в день высадки направился к Орику. Комендант города, назначенный Помпеем, пытался организовать сопротивление, но гарнизон и жители категорически воспротивились этой попытке, и город сдался, за что и был пощажен. Точно такая же история повторилась с Аполлонией, а затем и с другими приморскими городами Эпира.

Узнав об этих событиях, Помпей начал опасаться за Диррахий и, для того чтобы попасть туда раньше Цезаря, шел и днем и ночью, так что даже возбудил недовольство своих солдат. Но ему все же удалось опередить Цезаря, и он, перейдя реку Апс, расположился лагерем вблизи Диррахия. Когда туда подошел Цезарь, ему уже не оставалось ничего лучшего, как разбить свой лагерь на другом берегу реки. Противники расположились надолго, с намерением перезимовать, что в данном случае вполне устраивало Цезаря, поскольку он все равно должен был ждать прибытия легионов из Италии.

Тем временем стал известен ответ Помпея на мирные предложения Цезаря. Он, конечно, был отрицательным, поскольку снова предлагалось перевести борьбу в русло политических отношений, что если и сулило какие-то вы-

годы, то лишь для одного из соперников. Поэтому Помпей заявил, что для него нетерпима даже самая мысль сохранить жизнь и права как бы по милости Цезаря. Но последний, не желая, по его собственным словам, отказаться от надежды на мир, решил использовать другой путь, или, говоря точнее, «испанский вариант». Дело в том, что в результате длительного противостояния обоих лагерей между солдатами неизбежно начали завязываться какие-то отношения. Цезарь учел это обстоятельство и поручил одному из своих легатов обратиться с мирными предложениями непосредственно к войску противника. Был даже намечен день для переговоров, с обеих сторон сошлось множество народа, но эта «мирная акция» оказалась сорвана тем, что от имени помпеянцев выступил Лабиен, который держал себя надменно и грубо, а под конец прямо заявил, что о мире не может быть и речи, пока им не выдадут голову Цезаря.

Положение осложнялось. Зима уже подходила к концу, и 10 апреля на глазах как Цезаря, так и Помпея транспорт проследовал вдоль иллирийского побережья. Высадка произошла неподалеку от Лисса, города, который был многим обязан Цезарю и потому охотно принял Антония и даже снабдил его всем необходимым. И Цезарь и Помпей тотчас вывели свои войска из постоянных лагерей; первый — желая как можно скорее соединиться с Антонием, второй — стремясь предотвратить это соединение. Благодаря умелому маневрированию Антония операция прошла все же успешно; Цезарь мог теперь располагать примерно 34 тысячами человек пехоты и 1400 человек конницы.

Однако использовать все эти силы только в каком-либо одном месте, например против самого Помпея, было невозможно. Следовало позаботиться как об укреплении тыла, так и о заготовке провианта. Поэтому Цезарю пришлось отрядить часть войска под руководством своих легатов в Македонию, Фессалию и Этолию. Кроме того, перед отрядами, направленными в Македонию, стояла еще одна задача: воспрепятствовать подходу тех легионов, которые вел к Помпею из Сирии Квинт Метелл Сципион.

Таким образом и теперь, после прибытия войск из Брундизия, силы, которыми располагал Помпей, почти вдвое превосходили наличные силы Цезаря. Тем не менее последний готов был дать решительное сражение и даже провоцировал на то Помпея. Однако Помпей, считая,

видимо, что время работает на него, стойко держался оборонительной тактики.

Помпей разбил теперь лагерь на скалистой возвышенности, неподалеку от морского побережья. Так как военные действия явно затягивались, принимали позиционный характер, то Цезарь решился на смелый и необычный шаг. Он задумал полностью окружить лагерь Помпея полевыми укреплениями. Смелость, необычность плана заключались в том, что армия, меньшая по численности, пыталась взять в кольцо армию значительно более многочисленную. Благодаря напряженной и самоотверженной работе солдат Цезарю задачу эту в общем удалось осуществить.

Позиционная война длилась с конца апреля и вплоть до июля. В лагере Помпея среди его приближенных росло нетерпение; в лагере Цезаря по-прежнему существовали трудности со снабжением. Солдаты вынуждены были печь хлеб из каких-то кореньев, которые они мелко рубили и смешивали с молоком. Иногда они перебрасывали эти хлебцы в лагерь Помпея, крича, что, пока земля родит такие коренья, они не снимут осаду. Говорили, что Помпей, попробовав такой хлебец, ужаснулся, считая тех, кто может довольствоваться подобной пищей, дикими зверями.

В июле участились стычки между противниками.

Но все же в середине июля Помпею удалось прорвать линию Цезаревых укреплений в самом удаленном пункте от главного лагеря, там, где эта линия подходила к морю.

Эта серьезная неудача поставила перед Цезарем вопрос о необходимости изменения всего плана кампании. Какой смысл оставаться в лагере у моря, поскольку на море перевес явно принадлежит противнику, терпеть затруднения со снабжением и фактически находиться на положении осажденного, вместо того чтобы самому осаждать врага? Почему не перенести военные действия в другие области Греции, не подыскать другой, более подходящий, более выгодный для себя театр войны? И Цезарь принимает решение направиться в Фессалию, в Македонию, против Сципиона, рассчитывая, как говорит Плутарх, либо заманить Помпея туда, где тот будет вынужден сражаться в одинаковых с ним условиях, не получая поддержки с моря, либо разгромить Сципиона, предоставленного самому себе.

Решение было принято, за ним, как всегда, безотлагательно последовали действия. Цезарь снялся с лагеря

в первую же ночь после сражения.

Помпей же, идя вслед за Цезарем и объединившись у Гераклеи со Сципионом, появился в Фессалии через несколько дней. Он выбрал для своего лагеря место к западу от расположения Цезаря, на окрестных холмах. Среди его ближайшего окружения царило совершенно особое настроение. После Диррахия все были так уверены в победе, что не столько думали о том, каким путем они могут добиться этой победы, сколько о том, какие выгоды из нее следует извлечь. Открыто шел дележ почетных должностей, которые достанутся победителям, как только они возвратятся в Рим. Многие претендовали на дома и имущество цезарианцев.

Особенно жестокие распри возникли между Луцием Домицием, Метеллом Сципионом и Лентулом Спинтере: они никак не могли поделить между собой должность верховного понтифика, занимаемую, как известно, Цезарем. Некто Акутий Руф открыто обвинял Афрания в предательстве за неудачу в испанской кампании. Тот же Луций Домиций внес предложение организовать по окончании войны судебный процесс над теми, кто остался в Риме или вообще не пожелал примкнуть к Помпею. Для этого каждый сенатор, участник военных действий, получал бы три таблички: одна из них означала оправдание, другая — присуждение к смерти, третья — к денежному штрафу. Все хлопотали либо о почестях и наградах, либо о преследовании врагов, нередко можно было слышать разговоры о проскрипциях.

В такой обстановке и при таких настроениях не удивительно, что все только и думали о возвращении в Италию, и потому осторожность и даже некоторая медлительность действий, к чему был склонен Помпей в начале балканской кампании, теперь вызывали крайнее недовольство. Про Помпея говорили, что он намеренно затягивает войну, чтобы наслаждаться верховной властью над бывшими консулами и преторами, над союзными правителями и династиями, и то ли в насмешку, то ли из зависти его величали Агамемноном и царем царей. Во всяком случае, на Помпея оказывалось непрерывное давление. Помпею в конце концов пришлось уступить, и он склонился к сражению, на горе самому себе и тем, кто его к этому склонял.

Войско Помпея после объединения его с силами Сципиона насчитывало до 50 тысяч человек и превосходило силы Цезаря более чем в полтора раза. Особенно ощутим

был перевес в коннице: на тысячу всадников Цезаря приходилось семь тысяч у Помпея, и он сам, высказываясь на военном совете накануне сражения, подчеркивал прежде всего именно это преимущество и возлагал на него большие надежды.

Цезарь охотно пошел на решительное сражение. В своих «Записках» он дает яркую картину знаменитой Фарсальской битвы (9 августа 48 г.). Войско Помпея было построено следующим образом. На левом фланге стояли те два легиона, которые были в свое время переданы ему Цезарем по решению сената. Здесь же находился и сам Помпей. Центр построения занимал Метелл Сципион с сирийскими легионами. Еще один легион, объединенный с испанскими когортами, которые удалось переправить Афранию, был размещен на правом фланге. Эти войска Помпей считал наиболее надежными. Остальные части, в том числе и добровольцев-ветеранов, он распределил по всему фронту. Семь когорт были оставлены для охраны лагеря. Так как правый фланг построения примыкал к крутым берегам речки, то вся конница, все стрелки и пращники были сосредоточены на левом фланге.

Цезарь поместил 10-й легион на правом фланге; а на левом — 8-й и 9-й, поскольку последний сильно поредел после сражения под Диррахием. На левом фланге он поручил командование Марку Антонию, на правом — Публию Сулле, в центре — Домицию Кальвину. Сам он находился против Помпея. Опасаясь того, чтобы его правое крыло не было обойдено превосходящими силами вражеской конницы, Цезарь, отобрав по одной когорте из каждого легиона третьей линии, образовал таким образом четвертую линию и предупредил воинов, что исход сражения, вероятнее всего, будет зависеть именно от них. Вместе с тем он запретил третьей линии идти в атаку до его сигнала.

Так как Помпей дал приказ ждать в строю, не двигаясь с места, нападения со стороны противника, дабы при этом фронт нападающих растянулся, то первый удар был нанесен пехотинцами Цезаря. Это произошло так. Одновременно с сигналом к наступлению Цезарь обратился к одному из своих опытных, лично ему известных центурионов: «Гай Крастиний, каковы у нас надежды на успех и каково настроение?» Тот громко отвечал: «Мы одержим, Цезарь, полную победу. Сегодня ты меня похвалишь живым или мертвым!» С этими словами он первый

ринулся на врага, увлекая за собой солдат целого манапула.

Пока в центре разворачивалось ожесточенное сражение пехотинцев, конница Помпея, как и следовало ожидать, потеснив более слабые кавалерийские части противника, начала обход незащищенного правого фланга Цезаря. Заметив это, Цезарь немедленно дал сигнал когортам специально образованной им четвертой линии. Они с такой яростью бросились на всадников, стремясь поражать их в глаза и лицо, что те не устояли и обратились в бегство. Стрелки и пращники, оставшись беззащитными, подверглись почти полному истреблению.

Собственно говоря, этой удачной атакой и был совершен решающий перелом в ходе боя. Для его закрепления Цезарь ввел в дело свежие войска третьей линии. Этого напора помпеянцы уже не смогли выдержать, и бегство стало всеобщим. Но в отличие от своего противника Цезарь не удовлетворился такой неполной победой и сумел добиться того, что его солдаты, изнуренные боем и жарой (сражение затянулось до полудня), тем не менее атаковали вражеский лагерь и ворвались в него.

Помпей, увидев, что его конница рассеяна, а те части, на которые он более всего полагался, обращены в бегство, пал духом настолько, что «походил на человека, которого божество лишило рассудка». Он удалился в палатку, предоставив дальнейший ход боя своему течению, и, только когда солдаты Цезаря уже проникли в самый лагерь, он очнулся, скинул с себя боевые доспехи и вместе с немногими друзьями через задние ворота лагеря ускакал по направлению к Лариссе. В лагере Помпея победители, к своему удивлению, увидели нарядные беседки, столы, уставленные серебряной посудой, пол в палатках был выложен свежим дерном, причем некоторые палатки, например Лентула да и других военачальников, были увиты плющом. Все недвусмысленно указывало на то, что накануне сражения у приближенных Помпея не было даже тени сомнения в успехе.

Так как отдельные отряды разгромленного войска пытались сначала спастись на окрестных холмах, а затем отойти к Лариссе, то Цезарь начал их преследование. На следующий день после Фарсальской битвы они капитулировали. Победитель и на сей раз обошелся с побежденными весьма мягко: все были помилованы. Более того, Цезарь распорядился сжечь захваченную в лагере корреспонденцию Помпея, дабы не обнаруженные до сих

пор связи (и сторонники) его соперника так и остались нераскрытыми.

В тот же день Цезарь с несколькими легионами достиг Лариссы. Однако Помпея здесь уже не было: через Темпейскую долину, не зная отдыха ни днем, ни ночью, он со своими спутниками доскакал до берега моря. Ему удалось найти торговое судно, хозяин которого согласился принять его на борт вместе со спутниками.

Таков был итог балканской кампании и ее апофеоза — Фарсальской битвы. По подсчетам самого Цезаря, потери сторон в этом сражении оказались таковы: Помпей потерял убитыми около 15 тысяч, а пленными более 24 тысяч человек, причем во время бегства из лагеря на холмы погиб старый непримиримый враг Цезаря — Домиций Агенобарб. Было захвачено 180 воинских знамен и девять легионных орлов. Что же касается потерь Цезаря, то у него погибло якобы не более 200 солдат, но — и это была тяжелая утрата! — 30 заслуженных центурионов.

Итак, сражение при Фарсале завершило балканскую кампанию. До сих пор театром гражданской войны служила сначала территория Апеннинского, а затем Балканского полуострова.

Что касается дальнейшего хода военных действий, и прежде всего испанской кампании, то уже самое решение Цезаря, отказавшись от немедленного преследования Помпея, направиться в Испанию свидетельствует о том, какое значение придавал Цезарь провинциям и насколько опасным для успешного исхода всего дела он считал испанские связи Помпея. Более того, готовясь к испанскому походу, Цезарь считал необходимым укрепить и собственные позиции в ближайших к Риму провинциях.

В дальнейшем ходе испанской кампании поддержка местных общин имела не менее важное значение. Не говоря уже о наборе вспомогательных войск из провинций как помпеяйцами, так и Цезарем, огромную и даже решающую роль играл вопрос о политической поддержке местных правящих кругов. Недаром легат Цезаря Фабий в самом начале кампании стремился прощупать их настроения. А когда после первых неудач похода произошел наконец явный перелом к лучшему, то сам Цезарь, перечисляя причины изменения ситуации, на одно из первых мест выдвигал факт перехода на его сторону пяти крупных испанских общин.

Суммируя приведенные выше примеры, нельзя не

прийти к выводу, что и сама Италия, и провинция не только были театром войны, но принимали достаточно деятельное участие в военной и политической борьбе, оказывая поддержку то одной, то другой борющейся стороне. Едва ли есть возможность выяснить, какой из сторон принадлежало в этом смысле преимущество, тем более что позиции отдельных общин неоднократно менялись в зависимости от успехов или неудач соперничающих полководцев.

Мы знаем, что Помпей бежал, когда солдаты Цезаря ворвались в лагерь. Дальнейшая судьба его сложилась трагически.

Помпей прибыл сначала в Митилену на Лесбосе, где в то время находились его жена Корнелия и один из сыновей. Затем он некоторое время еще продолжал плавание. У него возник довольно фантастический план искать прибежища в Парфии¹, где, по его мнению, он мог стать во главе огромного войска. Однако этот план, когда он поделился им с ближайшими друзьями, был категорически отвергнут. Взяло верх предложение отправиться в Египет — богатую страну, находившуюся сравнительно близко, малолетний правитель которой Птолемей был сыном царя Птолемея Авлета, обязанного своим тронem в значительной мере именно Помпею.

Кораблю Помпея и нескольким кораблям, на которых находились его спутники (свита его за это время увеличилась, среди спутников Помпея были снова военачальники и сенаторы), удалось пересечь море беспрепятственно. Узнав, что Птолемей стоит с войском у города Пелусия (он вел тогда войну против своей сестры Клеопатры), Помпей направился именно туда, выслав предварительно послов.

Известие, принесенное послами, поставило в весьма сложное и затруднительное положение не столько мальчика-царя, сколько его советников — евнуха Потина, воспитателя царя Теодора и военачальника Ахиллу.

На совещании этих трех влиятельных лиц, представлявших собой фактически египетское правительство, высказывались различные точки зрения. В конечном счете было принято предложение Теодора о том, чтобы пригласить Помпея, но затем его убить.

Выполнение коварного замысла возлагалось на Ахил-

¹ Парфия — государство на юге и юго-востоке от Каспийского моря.

лу. Взяв с собой некоего Септимия, бывшего когда-то военным трибуном у Помпея, затем центуриона Сальвия и нескольких слуг, Ахилла вышел из гавани на рыбацкой лодке навстречу кораблю римлян. Когда Помпей стал спускаться в эту лодку, он вдруг, повернувшись к жене и сыну, процитировал два стиха Софокла. Смысл стихов сводился к тому, что, как только свободный человек вступает в дом тирана, он сразу же превращается в раба.

Тем временем на берегу выстроился крупный отряд египетского войска во главе с облаченным в пурпур царем. Корнелия и знатнейшие спутники Помпея наблюдали с борта корабля, как лодка приближалась к берегу. Тогда на глазах у тех и других Септимий нанес Помпею первый предательский удар в спину, затем обнажили мечи Ахилла и Сальвий. Увидев все это, римляне поспешно подняли якоря и устремились в открытое море.

Помпей погиб примерно через два месяца после сражения при Фарсале. Цезарь же начал его преследовать буквально на третий день после этой битвы. Сначала он надеялся захватить Помпея в Амфиполе, но, узнав, что его здесь нет, начал готовиться к переправе через Геллеспонт. За неимением больших военных кораблей переправу (двух легионов!) пришлось организовать на небольших легких судах, даже челноках. Во время этой операции легкие суда Цезаря неожиданно столкнулись с эскадрой помпеянцев, которой командовал Кассий. Казалось, положение Цезаря безнадежно, но Кассий даже и не попытался затеять сражение, наоборот, просил о помиловании и сам передал Цезарю весь свой флот. Таков был резонанс победы при Фарсале.

Прибыв в Малую Азию и еще точно не зная, куда направился его бывший соперник, Цезарь занялся устройством некоторых неотложных дел. Во-первых, он назначил для провинции Азия (Вифинии, Пафлагонии, Киликии и Понта) наместника, причем его выбор пал на Домиция Кальвина, только что отличившегося под Фарсалом. Видимо, в это же время (а скорее всего перед переправой через Геллеспонт) был назначен правителем Ахайи (т. е. фактически Греции) другой легат Цезаря — Фуфий Кален. Сам же Цезарь прежде всего отправился в Илион (Троя) — город его легендарного предка Энея, сына Афродиты (Венеры). В знак этого посещения он, как некогда Александр Македонский, осыпал город милостями и привилегиями: даровал жителям самоуправление, освободил их от налогов.

По всей вероятности, с пребыванием Цезаря на эллинистическом Востоке совпадают первые свидетельства, первые симптомы его обоготворения. В городах начинают воздвигать статуи с надписями, подчеркивающими его божественное происхождение, происхождение от Ареса и Афродиты (т. е. Марса и Венеры). Несомненно, что подобным проявлениям верноподданических чувств на «эллинистический лад» содействовал и сам Цезарь, когда он предпринимал такие демонстративные шаги, как посещение Илиона. Не случайно также и то, что он специально и подробно останавливается в своих «Записках» о гражданской войне на чудесных знамениях, возвестивших во многих городах и общинах Азии о его победе в Фарсальской битве якобы в тот же самый день.

Кстати, об этой победе Цезарь предпочитал оповещать в той или иной форме всех, кроме самих римлян. Это ведь была победа в междоусобной войне, победа над своими же соотечественниками и согражданами. Поэтому в Рим Цезарь даже не направил официального донесения. Тем не менее когда слух о Фарсале достиг Рима, то народ разбил статуи Суллы и Помпея, стоявшие на ро-страх. Более осторожный сенат выждал сообщения о гибели Помпея, и только после этого Цезарю был декретирован ряд почестей и полномочий. Ему было дано право предпринимать по отношению к помпеянкам любые меры, право объявления войны и заключения мира без санкции сената и народа, право в течение ближайших пяти лет ежегодно выставлять свою кандидатуру на консульских выборах, рекомендовать на выборных комициях народу своих кандидатов (кроме народных трибунов) и распределять преторские провинции не по жребию, а по своему собственному усмотрению. Ему даже было декретировано право на будущий (!) триумф в будущей (!) войне против нумидийского царя Юбы.

Кроме всего прочего, Цезарь получил и пожизненное право восседать на скамье народных трибунов, т. е. быть почитаемым во всех отношениях наравне с трибунами. Это был, однако, не только почет, но и реальная власть, т. е. та трибунская власть, которая стала в дальнейшем неотъемлемой и важнейшей составной частью власти римских императоров. И наконец, Цезарь был вторично провозглашен диктатором, причем срок диктаторских полномочий, видимо, на сей раз даже не оговаривался.

Урегулировав наиболее неотложные дела в Азии и узнав о том, что Помпей отправился в Египет, Цезарь

отплыл на Родос. Здесь он не стал задерживаться, и поскольку вызванное им войско прибывало частями, то, собрав наличные силы, он сел на триремы, взятые им у Кассия и частично у родосцев. В самом начале октября 48 г. тридцать пять кораблей Цезаря, на которых находилось 3200 легионеров и 800 всадников, появились в гавани Александрии.

Здесь Цезарь узнал о гибели Помпея. Ему услужливо была преподнесена голова Помпея и его перстень. Но он не принял страшный дар, отвернулся и, взяв в руки как будто только перстень с печатью, прослезился. Почти всех приближенных Помпея, оказавшихся в Египте, Цезарь помиловал и даже старался приблизить к себе.

Появление Цезаря с незначительными военными силами в Египте по существу с самого начала было встречено крайне недружелюбно, так что ему пришлось срочно вызвать из Азии еще два легиона. Возможно, что он первоначально не намеревался надолго задержаться в Египте — в его «Записках» говорится о том, что, мол, неблагоприятные ветры делали невозможным в то время отплытие из Александрии. Однако он был крайне заинтересован в получении денежных средств, необходимых ему для содержания войска. Дело в том, что за Птолемеем Авлетом, т. е. отцом нынешнего египетского царя, числился огромный долг в 17 миллионов денариев. Эту огромную сумму он в свое время получил в Риме сначала при помощи Рабирия Постума, а затем и самого Цезаря. Цезарь простил теперь детям царя часть долга, но требовал возврата 10 миллионов. Потин, фактический глава египетского правительства, к тому же министр финансов, чинил всяческие препятствия и вел себя вызывающе: велел кормить солдат Цезаря черствым хлебом, говоря, что они должны быть довольны и этим, поскольку едят чужое, а самому Цезарю и его приближенным выдавал к столу только глиняную или деревянную посуду, уверяя, что золотая и серебряная пошла якобы на уплату долгов.

Все это, вместе взятое, послужило причиной или только желанным предлогом для активного вмешательства Цезаря во внутренние дела египетского государства. Согласно завещанию Птолемея Авлета, египетский престол должны были занять совместно Птолемей Дионис и его старшая сестра и супруга Клеопатра. Однако между братом и сестрой началась вражда, и Клеопатра была изгнана из Александрии при непосредственном участии Потина. Теперь в пику последнему Цезарь тайно пригласил ее

к себе. При первом же свидании он был очарован ее умом, красотой, смелостью и, выступив в качестве посредника между братом и сестрой, добился их примирения. В ответ на это Потин вызвал в Александрию войска из-под Пелусия; этими войсками командовал его сторонник Ахилла.

Появление в Александрии армии в 20 тысяч человек, возвращение в гавань 50 военных судов, посланных в свое время на помощь Помпею, — все это создало для Цезаря с его явно недостаточными военными силами крайне опасное, даже критическое положение. Вскоре римляне оказались фактически на положении осажденных в той части города, где находился дворец. Пришлось вести уличные бои; кроме того, Цезарь удерживал при себе в качестве полупленника или заложника юного египетского царя.

Ахилла занял своими войсками почти всю территорию города и пытался отрезать Цезаря от моря. Бой шел как на улицах, так и в районе гавани. Цезарю пришлось пойти на то, чтобы поджечь корабли, в том числе и те, которые находились в доках. Распространившийся отсюда пожар охватил знаменитую Александрийскую библиотеку. После этого Цезарь для сохранения надежной связи с морем спешно высадил своих солдат на Фаросе, занял этот остров, соединенный дамбой с Александрией, и укрепился на нем.

Борьба продолжалась с переменным успехом. Потин, главный инициатор и фактический руководитель всех антицезарианских сил, был схвачен и казнен. Но это мало что изменило в общем положении и расстановке сил. Младшая дочь царя Арсиноя бежала к Ахилле и вместе с ним начала весьма энергично руководить военными действиями. Однако вскоре их отношения испортились, возникли трения, и Ахилла был по ее распоряжению убит. Командование армией Арсиноя поручила своему воспитателю евнуху Ганимеду.

Военные действия затягивались. Становилось ясно, что без основательной помощи извне не обойтись.

Решающее сражение произошло в дельте Нила. В двухдневном сражении египетское войско не только потерпело неудачу, но на второй день был штурмом взят и лагерь. Царю пришлось бежать на корабль, который вскоре вместе с ним затонул. Сражение закончилось 27 марта 47 г., и Цезарь в тот же вечер во главе своей конницы прибыл в Александрию, где принял капитуляцию населения.

Овладев, таким образом, этим городом и Египтом, как пишет неизвестный автор «Александрийской войны», Цезарь возвел на царский престол тех, о ком говорил в своем завещании Птолемей Авлет, заклинавший римский народ не нарушать его воли. Однако одно отклонение было неизбежным: поскольку старший из сыновей погиб, престол пришлось передать Клеопатре и другому, младшему, сыну. И хотя этот вопрос был урегулирован, а военные действия окончены, Цезарь еще оставался в Египте больше двух месяцев, причем совершил за это время в обществе Клеопатры путешествие по Нилу вплоть до южной границы государства, предаваясь при этом, как пишет Аппиан, «и другим наслаждениям».

Цезарь пробыл в Египте в общей сложности девять месяцев. Еще в древности эта египетская экспедиция, а точнее говоря египетская авантюра, вызывала весьма разноречивые оценки и высказывания. Плутарх, который, видимо, в свое время уже мог подвести некий итог всем разногласиям, писал: «Одни писатели не считали войну необходимой и говорили, что единственной причиной этого опасного и бесславного для Цезаря похода была его страсть к Клеопатре, другие выставляли виновниками войны царских придворных, в особенности могущественного евнуха Потина, который незадолго до этого убил Помпея, изгнал Клеопатру и теперь злоумышлял против Цезаря».

Сам Цезарь в конце своих «Записок», посвященных гражданской войне, объясняет свое появление в Египте тем, что он отправился туда вслед за Помпеем и сразу же столкнулся с крайне недружелюбным отношением населения Александрии, а затем с открыто враждебными действиями Потина. Он же сам выступал якобы в качестве искреннего друга и посредника, желая лишь уладить распри между наследниками Птолемея и тем самым обеспечить реализацию его завещания.

Тревожные известия начали поступать к Цезарю из самого Рима. Когда он в Египте узнал о своем вторичном провозглашении диктатором, то назначил начальником конницы (т. е. своим заместителем) Марка Антония, который после Фарсала был им отправлен с частью войск в Италию. Кроме того, Цезарь, используя права диктатора, отложил выборы магистратов в Риме (на предстоящий 47 г.) вплоть до своего возвращения. В силу этого Марк Антоний оказался на положении как бы единодержавного правителя Рима: с начала 47 г. рядом с ним не

было ни одного высшего магистрата (за исключением народных трибунов).

Однако если за последние годы он проявил себя как деятельный, опытный и популярный среди солдат военачальник, то как политический руководитель он не смог удержаться на должной высоте. Благодаря кутежам, пьянству, скандальным похождениям с женщинами легкого поведения он не пользовался должным авторитетом.

Цезарь направился в Рим через Афины и даже посетил развалины Коринфа. 26 сентября он высадился в Таренте. Среди видных помпеянцев, обратившихся к нему, он особенно рад был не только помиловать, но и принять в круг своих приближенных Гая Кассия. Этому содействовал другой помпеянец, перешедший на сторону Цезаря сразу же после Фарсала, сын его старой возлюбленной Сервилиии, а по некоторым, впрочем малодостоверным, слухам даже его незаконнорожденный сын Марк Юний Брут. Они оба, Брут и Кассий,— будущие убийцы Цезаря.

По дороге из Тарента в Брундизий его встретил Цицерон, который хоть и вернулся от Помпея в Италию после фарсальской катастрофы, но не осмеливался появиться в Риме до возвращения Цезаря. Цицерон и страстно желал, и боялся этой встречи, но Цезарь был так любезен, оказал ему такие знаки внимания, что после свидания с ним Цицерон уже совершенно безбоязненно направился в Рим.

Общее положение в городе изменилось, как по волшебству. Стоило только Цезарю показаться в Риме, как все беспорядки прекратились.

ДИКТАТОР

То, чего Цезарь с присущей ему энергией, умом, а также неразборчивостью в средствах добивался еще в годы своего постоянного пребывания в Риме — власти и первенствующего положения, и то, чем ему, несмотря на все старания, так и не удалось тогда овладеть, было потом достигнуто сравнительно легко и без каких-либо срывов или неудач за время его отсутствия. Как это ни парадоксально звучит, но Цезарь овладел Римом, только покинув Рим.

И действительно, после своего отъезда в Провинцию в марте 58 г. Цезарь не появлялся в Риме целых девять лет — вплоть до того момента, когда он вступил в город

после бегства Помпея из Брундизия, т. е. фактически уже став господином всей Италии. Но на этот раз он пробыл в городе всего несколько дней. В дальнейшем, в ходе гражданской войны, он появлялся в Риме еще несколько раз, но всегда на недолгие сроки. Так, второй раз за время войны он оказался в Риме в конце 49 г., после завершения испанской кампании. Здесь он вступил в свои диктаторские полномочия; пробыв, однако, диктатором всего одиннадцать дней, Цезарь отбыл в Брундизий, откуда 4 января 48 г. переправился на Балканский полуостров (Эпир).

В августе 46 г. Цезарь отпраздновал пышный четверной триумф: над Галлией, Египтом, Понтом и Африкой. Празднества длились четыре дня (еще один день выделялся для отдыха). В триумфе были проведены знатные пленники: Арсиноя, сестра Клеопатры, и четырехлетний сын царя Юбы. Общая стоимость продемонстрированных за эти дни сокровищ достигала 65 тысяч талантов, причем среди них находилось 2822 золотых венка (весом в 20 414 фунтов!), поднесенных Цезарю различными правителями и городами.

Из этих средств сразу же после триумфа Цезарь стал щедро расплачиваться с войском. Для народа было устроено грандиозное угощение на 22 тысячах столов, а также различные зрелища, игры, в которых участвовали пехотинцы, конница и даже боевые слоны. Согласно обету, данному перед Фарсалом, Цезарь воздвиг храм в честь Венеры-прародительницы и устроил вокруг храма священный участок. Вскоре после празднеств была произведена перепись населения, причем оказалось, что численность его уменьшилась более чем вдвое. Так что и Аппиан и Плутарх вынуждены заканчивать свои торжественные описания триумфа, игр и зрелищ меланхолическим вздохом по поводу бедствий, причиняемых народу междоусобными войнами.

Но Цезарь мог еще пока не придавать серьезного значения этим отдельным проявлениям недовольства, как и насмешливым стихам, которые распевались солдатами по его адресу во время триумфа. Все это были мелочи, несоизмеримые с теми грандиозными почестями и с той реальной властью, которой он ныне обладал. Сенат вынес решение о сорокадневном молебствии, о праве Цезаря сидеть на курульном кресле между обоими консулами, о даровании Цезарю почетной колесницы и о воздвиже-

нии его статуи, у ног которой лежала бы сфера, а надпись гласила: «Полубогу».

Еще более существенным было то, что Цезарь провозглашался диктатором на 10-летний срок. Если положение Цезаря как главы государства формально определялось в первую очередь диктаторскими полномочиями, то для обозначения монархической сущности его власти гораздо «пригоднее» был титул императора, который впервые у Цезаря приобрел характер постоянного наименования и в отношении которого была оговорена возможность передачи его по наследству.

Несколько слов о неосуществленных планах и проектах Цезаря. Он собирался выстроить грандиозный храм Марса, засыпав для этого озеро, а около Тарпейской скалы соорудить огромный театр. Он собирался издать свод законов, открыть греческие и римские библиотеки, поручив подготовку этого дела Марку Варрону. Он хотел осушить Помптинские болота, спустить воду Фуцинского озера, исправить дорогу, ведущую от Адриатического моря через Апеннины до Тибра, прокопать Истмийский перешеек. Что касается военных предприятий, то он собирался усмирить даков, вторгшихся в Понт и Фракию, а затем через Малую Армению направиться против парфян.

Любопытным свидетельством той эпохи была речь Цицерона по поводу возвращения Марка Марцелла из изгнания. Это — благодарственная речь, произнесенная знаменитым оратором в сенате (сентябрь 46 г.) после долгого перерыва в связи с эффектным помилованием, которое Цезарь даровал своему старому врагу. Конечно, то был не просто акт гуманности, но и определенный политический шаг, поскольку Цезарь в это время уже не мог положиться только на свое прежнее окружение и потому искал контактов даже с олигархическими кругами сената, явными «республиканцами».

Речь Цицерона по существу основывается на двух наиболее существенных для самого автора моментах: на выражении благодарности Цезарю за проявленное им великодушие и на настойчивых обращениях к тому же Цезарю заняться «упорядочением» государственных дел, пришедших в расстройство в результате гражданской войны.

«Таков твой жребий, — говорит Цицерон, — тебе следует потрудиться, дабы установить государственный строй и самому затем наслаждаться им в тишине и спо-

койствии». Или: «Потомки, несомненно, будут поражены, слыша или читая о тебе как о полководце, наместнике провинций, о Рейне, Океане, Ниле, о бесчисленных сражениях, невероятных победах, о памятниках, о празднествах и играх, о твоих триумфах. Но если этот Город не будет укреплен твоими заботами и установлениями, то твое имя будет только блуждать по всем градам и весям, но постоянного местопребывания и определенного обиталища оно иметь не будет». И затем подчеркивается, что даже среди будущих поколений возникнут большие разногласия при оценке деятельности Цезаря, если только эта деятельность не увенчается тем, что он окончательно потушит пожар гражданской войны.

Сенат разрешил Цезарю появляться на всех играх в одеянии триумфатора, в лавровом венке, а также носить высокие красные сапоги, которые, по преданию, носили когда-то альбанские цари. Сенат и народ постановили, чтобы Цезарю был выстроен на Палатине дом за государственный счет и чтобы дни его побед были объявлены праздничными днями. Во время игр и процессий его статую из слоновой кости проносили на роскошных носилках; статуи Цезаря воздвигались также в храме Квирина и среди изображений царей на Капитолии. Это были уже такие почести, которые превосходили человеческий предел и не оказывались до сих пор ни одному смертному.

Вслед за триумфом Цезарь сложил с себя звание консула и им были проведены выборы новых консулов на оставшиеся три месяца. На эти же три месяца вместо городских префектов, очевидно, были избраны преторы и квесторы (в соответствии с законом Цезаря о магистратах). Таким образом, положение государства как будто нормализовалось: последняя кампания гражданской войны была победоносно окончена, враги сокрушены, управление Римом и провинциями все более входило в упорядоченную колею, сам же Цезарь, окруженный несслыханными до того в Риме почестями, пребывал на вершине славы и могущества.

Так выглядела эта внешне импозантная картина. Но что скрывалось за столь блестящим фасадом? По всей вероятности, пришло время более основательно рассмотреть вопрос, имеющий первостепенное значение, но которого мы до сих пор касались лишь походя,— вопрос о социальной опоре Цезаря, тем более что самим ходом событий подсказывалось как определенное направление, так и настоятельная необходимость решения этого вопроса.

Цезарь, как и всякий видный политический деятель Рима, имел некое политическое окружение, некую «личную партию». Его сторонники, входившие в эту партию, были объединены «обязательственными» связями различного толка: родственными, клиентскими, дружескими, служебными, карьеристскими и, наконец,— быть может именно в последнюю очередь,— чисто политическими. К ближайшему окружению Цезаря принадлежали, пожалуй, не те, кто занимал важные правительственные посты, например М. Эмилий Лепид, Марк Антоний, П. Сервилий Исаврийский, наместники провинций, назначенные Цезарем, но скорее члены, если можно так выразиться, «теневого кабинета», имевшие тем не менее значительное влияние как на самого Цезаря, так и на общий ход дел.

В последние годы в эту избранную группу, в состав близкого окружения следует, судя по всему, включить и кое-кого из особо обласканных Цезарем бывших активных помпеянцев, например Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина.

Но опора подобного рода, т. е. такая «личная партия», могла быть необходимой и достаточной, пока речь шла о политических интригах и борьбе в пределах сената. Однако теперь, когда встал вопрос об управлении, да еще фактически единоличном, огромной державой, то, конечно, следовало подумать о какой-то гораздо более внушительной и широкой базе. Нам представляется, что Цезарь — иногда интуитивно, но иногда и осознанно — был занят активными поисками решения этой задачи, причем в самых различных ее аспектах.

Наибольший резонанс в сенатских кругах имели неоднократно и эффектно проводимые акты помилования видных помпеянцев (иногда даже личных врагов Цезаря) в конце и после окончания гражданской войны, т. е. в 46—45 гг. Известно, например, дело римского всадника Квинта Лигария, некоторое время управлявшего провинцией Африка. Здесь его застала гражданская война, и он решительно примкнул к помпеянкам. После окончания африканской кампании Лигарий был пощажён Цезарем, но не получил разрешения вернуться в Рим и вел в Африке жизнь изгнанника. Несмотря на неоднократные просьбы его влиятельных друзей и родственников, Цезарь долгое время не соглашался на возвращение Лигария. Но положение изменилось, когда Лигарий был обвинен одним из своих старых врагов в государственной

измене и когда его защиту взял на себя Цицерон. Прощенный и возвратившийся в Рим Лигарий в роковые дни марта 44 г. оказался тем не менее в числе убийц Цезаря.

После окончания гражданской войны Цезарь разрешил вернуться в Италию всем своим бывшим противникам и даже якобы открыл им доступ к государственным должностям и военным постам. Такова была «политика милосердия» Цезаря в ее наиболее наглядных проявлениях, политика, рассчитанная как на общественное мнение Италии, на солдат противника (главным образом в начале гражданской войны), так и на «привлечение к сотрудничеству» (т. е. стремление расширить социальную опору!) староримской аристократии.

Однако эта знаменитая политика Цезаря в целом не оправдала себя. Более того, она оказалась крупной политической ошибкой, имевшей для ее творца и инициатора поистине роковые последствия.

Данная политика в одних, т. е. в военных, условиях оказалась эффективной и действенной, в других же потерпела неудачу, дала явную осечку. Мы знаем, что проявление милосердия на поле боя с самого начала гражданской войны приводило к тому, что общественное мнение Италии складывалось если не явно в пользу, то во всяком случае и не во вред Цезарю. Это же обстоятельство содействовало его быстрому продвижению по стране, а затем, начиная с испанской кампании 49 г., послужило далеко не последней причиной массовых перебежек к Цезарю из лагеря противника или помогло включению в ряды его войск уцелевших после поражений частей вражеской армии. В этом плане «политика милосердия» давала вполне положительные и благоприятные результаты. На наш взгляд, это объяснялось тем, что для подавляющего большинства рядовых воинов речь шла лишь о смене высшего командования, но вовсе не о смене политических симпатий, а тем более личной судьбы. Это не была также измена отечеству, поскольку солдаты все равно оставались под римскими знаменами, под теми же римскими орлами.

Совсем иными были результаты «политики милосердия» по отношению к политическим противникам, к староримской, курульной аристократии. Впечатление от помилования представителей знатных родов, видных помпейцев могло быть эффектным, даже сенсационным, но вместе с тем скоропреходящим. Сосредоточение же власти в руках Цезаря, укрепление этой власти не могло не

отразиться в той или иной степени на личной судьбе каждого видного члена сенатского сословия. Взаимоотношения Цезаря с сенатом складывались не сейчас, не впервые, но, как известно, имели достаточно длительную историю. Причем эта история была такова, что едва ли могла внушить многим традиционным или, вернее, консервативным «республиканцам» чувство спокойствия и уверенности. Поэтому в глубоком подтексте отношений большинства старых сенаторов к Цезарю лежало далеко не изжитое недоверие к его прошлому и полная неуверенность в своем будущем.

Итак, «политика милосердия» оказалась в этом плане серьезнейшим политическим просчетом. Она могла привести и фактически приводила лишь к частным, т. е. тактическим, успехам, но ее нельзя было возводить в ранг политической стратегии. Как таковая, она оказалась на поверку не только недальновидной, но просто опасной, даже губительной. Цезарь последовательным и планомерным осуществлением такой политики сам создавал себе и своему режиму нечто вроде легальной оппозиции. Но сугубая опасность заключалась в том, что это была легальная оппозиция, лишенная, однако, легальных средств борьбы. Если в условиях парламентского строя оппозиция борется в конечном счете за победу на выборах, и это и есть легальная (и в то же время основная) форма борьбы за власть, то в римской действительности при отсутствии представительных учреждений, при частичной (и весьма значительной!) ликвидации выборности должностных лиц, при наличии пожизненной диктатуры для оппозиции, созданной руками самого же Цезаря, оставался по существу один-единственный путь к победе — физическое устранение диктатора. Таким образом, политика была если не первой и не главной, то все же одной из существенных причин, породивших и сенатский заговор, и роковые события мартовских ид.

ИДЫ МАРТА

В 44 г. Цезарь стал диктатором в четвертый раз, а консулом — в пятый. Положение его казалось бесспорным; новые почести, декретированные сенатом, соответствовали уже не просто царскому достоинству, но открытому обожествлению. Так, теперь во время занятий государственными делами он мог пользоваться не просто курульным, но позолоченным креслом, мог не только но-

свить красные сапоги, как это делали некогда цари Альбы-Лонги, но даже имел право надевать царское облачение. Было постановлено, чтобы дни побед Цезаря ежегодно отмечались как праздники, а каждые пять лет жрецы и весталки совершали молебствия в его честь; клятва именем Цезаря считалась юридически действительной, а все его будущие распоряжения заранее получали правовую силу благодаря тому, что магистраты при вступлении в должность присягали не противодействовать ничему из того, что постановит Цезарь.

Цезарю определялась почетная стража из сенаторов и всадников, причем сенаторы должны были поклясться охранять его жизнь. Во всех святилищах и публичных местах совершались жертвоприношения и посвящения Цезарю; по всей Италии, в провинциях и во всех государствах, которые состояли с Римом в дружбе, устраивались в его честь различные игры. Месяц квинтилий переименовался в июль, и, наконец, Цезарю посвящался ряд храмов. Все эти почести было решено записать золотыми буквами на серебряных колоннах, поставленных у подножия Юпитера Капитолийского.

Таким образом, фактическое обожествление Цезаря не вызывает особых сомнений. Стремился ли сам Цезарь к тому, чтобы его считали богом еще при жизни, или он все же оставался в рамках традиций и не терял политической рассудительности и такта? Видимо, идея обожествления — всего лишь обратная сторона страстной мечты Цезаря о царской диадеме.

Решения (или декреты), осуществлявшие «обоготворение» Цезаря, были приняты, как и свидетельствуют источники, еще при его жизни, но их осуществление началось лишь после его смерти. В этом по существу нет противоречия: возможно, что все принятые постановления были рассчитаны именно на будущее. Подобная практика вполне «вписывается» в историческую обстановку и в свойственные той эпохе представления. Собственное поведение Цезаря и оказанные ему почести как бы предполагали подобную форму апофеоза, тем более что уже существовало и было распространено мнение относительно того, что государь, который был хорошим правителем, а не тираном, заслуживает посмертного обоготворения (апофеоза).

Начинают все чаще возникать разговоры о Цезаре и царском венце, причем ближайшее окружение диктатора своими иногда чуть ли не провокационными действия-

ми давало достаточно серьезные основания для подобных слухов и разговоров.

Так, например, кто-то из тех, кто особенно поддерживал слух о стремлении Цезаря быть царем, украсил его изображение лавровым венком, обвитым белой лентой. Трибуны Марул и Цезетий разыскали этого человека и арестовали его под тем предлогом, что они этим делают нечто угодное Цезарю, который уже и раньше протестовал, если о нем говорили как о царе. Цезарь реагировал на этот инцидент вполне спокойно, и, только когда при его возвращении из Альбы в Рим он был у городских ворот снова приветствуем как царь и когда народные трибуны снова разыскали инициатора этих приветствий и арестовали его, он, «потеряв терпение», выступил перед сенатом, обвинив трибунов в том, что они коварно навлекают на него подозрение в стремлении к тирании, и заявил, что считает их заслуживающими смерти, однако ограничивается лишением должности и удалением из сената.

Отрешение от должности трибунов, власть которых всегда считалась священной и неприкосновенной, произвело крайне неблагоприятное впечатление. Вскоре после этих событий Цезарь был провозглашен диктатором без ограничения срока. Началась подготовка к парфянской войне. В Риме стали распространяться слухи о том, что в связи с походом столица будет перенесена в Илион или в Александрию, а для того, чтобы узаконить брак Цезаря с Клеопатрой, будет предложен законопроект, согласно которому Цезарь получает разрешение брать себе сколько угодно жен, лишь бы иметь наследника.

Новый инцидент, как будто подтверждающий монархические устремления и «замашки» Цезаря, произошел 15 февраля, во время празднования Луперкалий. Марк Антоний, который был не только консулом, но и магистром, во время игр подбежал к Цезарю и хотел увенчать его голову диадемой. Раздались довольно жидкие и, как пишет Плутарх, заранее подготовленные аплодисменты. Когда же Цезарь отверг диадему, то рукоплескал весь народ. Эта игра повторялась дважды, и Цезарь, учтя реакцию присутствующих, отдал распоряжение отнести диадему в Капитолий, в храм Юпитера.

Однако все это, вместе взятое, создавало вполне определенную атмосферу недовольства. На статуе полубогородного Брута появилась надпись: «О, если бы ты жил!», а его потомок и носитель его славного имени обнаруживал на своей судейской трибуне, которую он занимал как

городской претор, такие воззвания: «Ты спишь, Брут!» или: «Ты не Брут!», что, конечно, не могло не оказать своего действия.

Формировалось общественное мнение, формировался если еще не конкретный заговор, то во всяком случае довольно ярко выраженная оппозиция.

Чрезвычайно интересно отметить тот факт, что в растущих и ширящихся оппозиционных настроениях все более и более определенно начинает проступать некая демократическая струя. Например, не следует забывать, что М. Юний Брут, т. е. один из главных руководителей будущего заговора, в соответствии с традициями той ветви рода Юниев, к которому он принадлежал, был убежденным сторонником «демократической партии».

Монархические «замашки» Цезаря, то ли существовавшие на самом деле, то ли приписываемые ему общей молвой — в данном случае это безразлично! — оттолкнули от него не только бывших «республиканцев», которые одно время рассчитывали на возможность примирения и альянса, но даже явных приверженцев Цезаря. Таким образом и создалась та парадоксальная ситуация, при которой всемогущий диктатор, достигший, казалось бы, вершины власти и почета, на самом деле очутился в состоянии политической изоляции, а возникший против него заговор был закономерным проявлением слабости установленного им режима.

Заговор на жизнь Цезаря сложился в самом начале 44 г. В него было вовлечено более 60 человек. Интересен состав заговорщиков: кроме главарей заговора М. Юния Брута, Г. Кассия Лонгина и таких видных помпеянцев, как Кв. Лигарий, Гн. Домиций Агенобарб, Л. Понтий Аквила (и еще нескольких менее заметных фигур), все остальные участники заговора были до недавнего прошлого явными сторонниками Цезаря: Л. Туллий Кимвр, один из наиболее близких к диктатору людей, Сервий Гальба, легат Цезаря в 56 году и его кандидат на консульство в 49 г., Л. Минуций Базил, тоже легат Цезаря и претор 45 г., братья Публий и Гай Каска, причем первый из них был уже избран трибуном на 43 г.

То, что его жизни угрожает опасность, Цезарь, видимо, знал или догадывался. И хотя он отказался от декретированной ему почетной стражи, сказав, что он не желает жить в постоянном страхе, тем не менее, когда его предостерегали относительно Антония и Долабеллы, он отвечал, что не боится людей, которые любят жизнь и

умеют наслаждаться ею, однако ему внушают более серьезное опасение люди оледеневшие и худощавые. В данном случае Цезарь явно намекал на Брута и Кассия.

Тем временем подготовка к новой, т. е. парфянской, войне шла полным ходом. Цезарь намечает свой отъезд к войску на 18 марта (в Македонию), а 15 марта предполагалось заседание сената, во время которого квиндецемвир Л. Аврелий Котта (консул 65 г.) должен был, основываясь на предсказании, найденном в сивиллиных книгах, относительно того, что парфян может победить лишь царь, провести в сенате решение о награждении Цезаря соответствующим титулом.

Заседание сената 15 марта в помещении курии Помпея было избрано заговорщиками в качестве дня и места приведения их планов в исполнение, дабы не голосовать за проект Л. Котты. Убийство Цезаря и предшествующие ему зловещие предзнаменования весьма драматично описаны рядом древних авторов. Например, все они единодушно указывают на многочисленные явления и знаки, начиная от самых невинных, вроде вспышек света на небе, внезапного шума по ночам, и вплоть до таких страшных признаков, как отсутствие сердца у жертвенного животного или печально-трогательного рассказа о том, что накануне убийства в курию Помпея влетела птичка королек с лавровой веточкой в клюве, ее преследовала стая других птиц, которые ее здесь нагнали и растерзали.

Накануне рокового дня Цезарь обедал у Марка Эмилия Лепида, и, когда случайно речь зашла о том, какой род смерти самый лучший, Цезарь воскликнул: «Неожиданный!» Ночью, после того как он уже вернулся домой и заснул в своей спальне, внезапно растворились все двери и окна. Разбуженный шумом и ярким светом луны, Цезарь увидел, что его жена Кальпурния рыдает во сне: ей привиделось, что мужа закалывают в ее объятиях и он истекает кровью. С наступлением дня она стала просить Цезаря не выходить из дому и отменить заседание сената или по крайней мере посредством жертвоприношений выяснить, насколько благоприятна обстановка. Видимо, и сам Цезарь начал колебаться, ибо он никогда раньше не замечал у Кальпурнии склонности к суеверию и приметам.

Однако когда Цезарь решил направить в сенат Марка Антония, дабы отменить заседание, то один из заговорщиков, и в то же время особенно близкий Цезарю человек Децим Брут Альбин, убедил его не давать новых по-

водов для упреков в высокомерии и все же самому отправиться в сенат хотя бы для того, чтобы лично распустить сенаторов. По одним сведениям, Брут вывел Цезаря за руку из дома и вместе с ним пошел в курию Помпея, по другим данным, Цезаря несли в носилках. Но как бы то ни было, по дороге он был преследуем все новыми предостережениями и предзнаменованиями. Во-первых, ему встретился гадатель Спурина, который предостерег его когда-то от опасности, угрожавшей в мартовские иды. «А ведь мартовские иды наступили», — шутливо сказал Цезарь, повстречав гадалку. «Да, наступили, но еще не прошли», — спокойно ответил тот.

По дороге к Цезарю пытался обратиться какой-то раб, якобы осведомленный о заговоре, но, оттесненный окружавшей Цезаря толпой, он не смог сообщить ему об этом. Он вошел в дом и заявил Кальпурнии, что будет дожидаться возвращения Цезаря, так как хочет сообщить ему нечто чрезвычайно важное. Артемидор из Книды, гость Цезаря и знаток греческой литературы, также имевший достоверные сведения о заговоре, вручил Цезарю свиток, в котором было изложено все, что он знал о готовящемся покушении. Заметив, что Цезарь все свитки, вручавшиеся ему по дороге, передает окружавшим его доверенным рабам, Артемидор якобы подошел к диктатору вплотную и сказал: «Прочитай это, Цезарь, сам, не показывая никому другому, и немедленно! Здесь написано об очень важном для тебя деле». Тогда Цезарь взял в руки свиток, однако прочесть его так и не смог из-за множества просителей, хотя неоднократно пытался это сделать. Он вошел в курию Помпея, все еще держа в руках свиток.

Но если обстоятельства складывались таким образом, что предостережения не доходили до Цезаря, то и заговорщикам не раз казалось: все висит на волоске, они — на грани провала и будут вот-вот разоблачены. Один из сенаторов, взяв за руку заговорщика Публия Сервилия Каску, сказал ему: «Ты от меня, друга, скрываешь, а Брут мне все рассказал». Каска в смятении не знал, что ответить, но тот, смеясь, продолжал: «Откуда ты возьмешь средства, необходимые для должности эдила?» Сенатор Попилий Лена, увидев в курии Брута и Кассия, беседующих друг с другом, неожиданно подошел к ним и сказал, что желает им успеха в том, что они задумали, и посоветовал торопиться. Они были чрезвычайно напуганы этим пожеланием, тем более что, когда появился Цезарь, По-

пилий Лена задержал его при входе каким-то серьезным и довольно длительным разговором. Испуганные заговорщики уже готовились убить друг друга, прежде чем их схватят, но в этот момент Попилий Лена окончил разговор и простился с Цезарем. Стало ясно, что он обращался к Цезарю с каким-то делом, возможно просьбой, но только не с доносом.

Существовал обычай, что консулы при входе в сенат совершают жертвоприношения. И вот именно теперь жертвенное животное оказалось не имеющим сердца. Цезарь, пытаясь рассеять удручающее впечатление, произведенное на жреца таким мрачным предзнаменованием, смеясь, сказал, что нечто подобное с ним уже случилось в Испании, во время войны. Жрец отвечал, что он и тогда подвергался смертельной опасности, сейчас же все показания еще более неблагоприятны. Цезарь приказал совершить новое жертвоприношение, но и оно оказалось неудачным. Не считая более возможным задерживать открытие заседания, Цезарь вошел в курию и направился к своему месту.

Перед входом в сенат заговорщики решили задержать Марка Антония, которого они опасались. Приветствуя Цезаря, сенаторы в знак уважения поднялись со своих мест. Дальнейшие события в описании Плутарха выглядят следующим образом. «Заговорщики, возглавляемые Брутом, разделились на две части: одни стали позади кресла Цезаря, другие вышли навстречу вместе с Тулием Кимвром просить за его изгнанного брата; с этими просьбами заговорщики провожали Цезаря до самого кресла. Цезарь, опустившись в кресло, отклонил их просьбы, а когда заговорщики приступили к нему более настойчиво, выразил свое неудовольствие».

«Тогда Тулий схватил обеими руками тогу Цезаря и начал стаскивать ее с шеи, что было знаком к нападению. Каска первым нанес удар кинжалом в затылок, рана эта, однако, оказалась неглубокой и несмертельной: Каска, по-видимому, вначале был смущен дерзновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил и задержал кинжал. Почти одновременно оба вскрикнули: раненый Цезарь по-латыни: «Негодяй Каска, ты что делаешь?» — а Каска, по-гречески обращаясь к брату: «Брат, помоги!» Не посвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не смели ни бежать, ни кричать, ни защищать Цезаря. Все заговорщики окружили его с обнаженными кинжалами: куда бы он ни обращал взор, он,

подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары кинжалов, направленных ему в лицо, так как было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови».

«Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах. Некоторые писатели рассказывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидев Брута с обнаженным кинжалом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары. Либо сами убийцы оттолкнули тело Цезаря к цоколю, на котором стояла статуя Помпея, либо оно там оказалось случайно. Цоколь был сильно забрызган кровью. Можно было подумать, что сам Помпей явился для отмщения своему противнику, распростертому у его ног, покрытому ранами и еще содрогавшемуся. Цезарь, как говорят, получил двадцать три раны. Многие заговорщики, направляя удары против одного, в суматохе переранили друг друга».

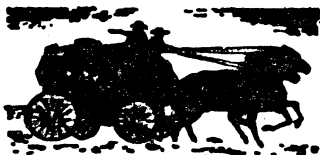
Эта драматическая сцена убийства изображается античными историками довольно согласно, за исключением отдельных деталей, что Цезарь, защищаясь, пронзил руку Каски, нанесшему ему первый удар, острым грифелем («стилем»), а увидев среди своих убийц Марка Юния Брута, якобы сказал по-гречески: «И ты, дитя мое!» — и после этого перестал сопротивляться. Деталь эффектная, но все же маловероятная, рожденная на свет в связи с известной нам светской сплетней.

Когда убийство было совершено, в сенате началась настоящая паника. Из попытки Брута обратиться к сенаторам с речью ничего не получилось, так как все в страхе разбежались. Паника и смятение быстро распространились и в городе. Заговорщики же, пытаясь привлечь к себе сочувствие населения, торжественно направились на Капитолий, крича, что они уничтожили тирана, призывая к восстановлению «строя отцов». Но народ, как говорит Аппиан, «за заговорщиками не последовал».

Труп заколотого кинжалами заговорщиков диктатора оставался лежать у подножия статуи Помпея, восстановленной в курии по распоряжению самого Цезаря. Только через какой-то, и видимо немалый, срок появилось трое рабов; они взвалили Цезаря на носилки, с которых бесильно свесилась его рука, и отнесли тело домой. Только трое несли теперь того, кто еще несколько часов тому назад был властелином вселенной.

С. Утченко

**Что утаил
военный трибунал
после убийства
Авраама Линкольна**



9 мая 1865 г. в старом здании тюрьмы Арсенала в Вашингтоне начал свою работу военный трибунал. Только что закончилась четырехлетняя кровопролитная Гражданская война. Последние полки разгромленной армии южных рабовладельческих штатов складывали оружие перед войсками северян.

Прошло уже 24 дня с того рокового момента, когда выстрел актера Бута в театре Форда оборвал жизнь президента Линкольна. Убийце удалось скрыться. После напряженных поисков его обнаружили в ночь с 25 на 26 апреля на уединенной ферме. В перестрелке Бут был смертельно ранен и вскоре скончался, унеся с собой в могилу загадки заговора, приведшего к убийству Авраама Линкольна.

И вот теперь, 9 мая, потрясенная страна, всего пять дней тому назад проводившая в последний путь убитого президента, ждала ответа на вопрос: кто направлял руку убийцы? Напрашивался ответ: конечно, главарь рабовладельческой Конфедерации Джефферсон Девис, арестованный 9 мая в штате Джорджия, его сподручные, а также руководители разведки южан, находившиеся в Канаде и организовывавшие на протяжении всей войны шпионаж и диверсии на территории северных штатов. Но такие напрашивающиеся сами собой ответы слишком часто оказываются неполными, а при более глубоком рассмотрении вопроса — и вовсе ошибочными. Итак, посмотрим, правильным ли было заключение, которое было вынесено о виновниках убийства Линкольна.

Надо учитывать, что в конце Гражданской войны положение Линкольна было достаточно сложным и противоречивым. Ему доверяли широкие массы американцев, они убедились на опыте, что президент (хотя и не без колебаний, и не без компромиссных решений) шел навстречу прогрессивным требованиям, проводя ту программу, на осуществлении которой настаивал народ.

Однако число политических врагов Линкольна не только не уменьшалось, но, напротив, все возрастало. Конечно, его ненавидели южные плантаторы и сочувствовавшие им «медноголовые» («медянки») в северных штатах — сторонники полюбовного соглашения с мятежными рабовладельческими штатами. Политика Линкольна вызывала недовольство и радикалов — левого крыла его собственной, республиканской партии. Правда, критика радикалами политики Линкольна была лишь отчасти критикой слева. Прежде всего потому, что сама группа радикалов была чрезвычайно неоднородна. В нее входили люди, требовавшие полного искоренения влияния мятежных плантаторов во имя демократизации Юга и тем самым всей страны в целом. Однако были и другие радикалы, настаивавшие на тех же суровых мерах, но во имя не демократизации, а экономического ограбления Юга северной буржуазией. Первая группа могла с полным основанием надеяться на то, что Линкольн, преодолев свои колебания и надежды добиться успеха «мягким» обращением с побежденными плантаторами, в конце концов согласится на требование «реконструкции» Юга решительными методами. Напротив, вторая группа не могла рассчитывать, что Линкольн согласится с ее планами грабежа южных штатов северными бизнесменами и политиками.

Линкольн в качестве президента был одновременно главнокомандующим вооруженными силами и фактически руководил ведением войны. Поэтому его убийство было сочтено преступлением, входившим в компетенцию военного суда. Новый президент Эндрю Джонсон назначил членами военного трибунала девять заслуженных офицеров. В качестве прокурора выступал генерал Джозеф Холт, главный судья в армии (руководитель юридического отдела военного министра).

Никто не сомневался в том, что судьи в своем приговоре отразят гнев и возмущение американского народа. Сомневаться можно было лишь в другом: захотят ли эти избранники военного министерства докапываться до сути дела, сумеют ли военные люди, очутившиеся в судебных креслах, разобраться во всех хитросплетениях главных заговорщиков, направлявших действия подсудимых.

Все считали, что на скамье подсудимых сидят лишь простые исполнители чужих планов. Были ли это лишь планы руководителей Южной Конфедерации или здесь приложили руку и их союзники на Севере, «медноголо-

вые», упорно саботировавшие военную политику Линкольна? Да только ли «медноголовые» и стоявшие за ними влиятельные круги банкиров, судовладельцев и купцов? И среди той части северной буржуазии, которая поддерживала республиканскую партию Линкольна и получила огромные прибыли от военных поставок, встречалось немало недовольных президентом, а среди вашингтонских политиков — достаточно беспринципных честолюбцев, готовых на все во имя карьеры. Слишком многим из них «старый Эб» стоял поперек пути. Об этой закулисной стороне заговора ничего не было известно, завеса секретности окутывала действия военного министерства, руководившего розыском преступников.

...Перед трибуналом предстали восемь человек, обвиняемых в том, что в сообществе с Джефферсоном Дэвисом, Джоном Уилксом, Бутом и рядом других лиц (южных разведчиков в Канаде) они были причастны к убийству Авраама Линкольна, к покушению на государственного секретаря Уильяма Сьюарда и к планам покушения на вице-президента Эндрю Джонсона и командующего армией Соединенных Штатов генерала Улиса Гранта.

Присмотримся к обвиняемым и к тому, что известно об их участии в заговоре. Наиболее ясной была виновность 20-летнего солдата южной армии Льюиса Пейна (настоящее его имя было Льюис Торнтон Пауэлл). Именно этот угрюмый, молчаливый, атлетически сложенный уроженец еще необжитых территорий во Флориде проник в дом Сьюарда, нанес ему ножом страшную рану, лишь по случайности не ставшую смертельной, выстрелил в сына Сьюарда, которого спасла лишь осечка пистолета, наконец, тяжело изувечил других обитателей дома. Пейн нарушил присягу верности Соединенным Штатам, которую он принес, чтобы освободиться из лагеря для военнопленных. Не было сомнения, что он являлся участником заговора. Все эти факты, которые не отрицал и обвиняемый, его адвокат мог лишь парировать ссылками на возможность того, что его подзащитный временно находился в невменяемом состоянии и был одержим манией убийства. Единственное «доказательство», приведенное при этом защитой, сводилось к тому, что Пейн страдал от несварения желудка!

Второй обвиняемый — аптекарский ученик Дэвид Геролд — утверждал, что его не было в Вашингтоне, когда прозвучал роковой выстрел в театре Форда. Двое свиде-

телей — конюх Флетчер и сержант Кобб — были склонны считать, что видели Геролда в тот день. Однако не это было главным. Геролд не мог отрицать, что присоединился по дороге к Буту, бежавшему из Вашингтона, сопровождал его до фермы, где убийца был настигнут солдатами. Все показания Геролда представляли собой ловкое смешение полуправды и лжи, которое имело целью навести суд на ложный след и, конечно, выгородить самого подсудимого, уверявшего, будто он действовал по принуждению со стороны Бута. По утверждению Геролда, Бут обещал отпустить его, когда к ним присоединятся 35 других заговорщиков из Вашингтона. Кто были эти 35 человек, существовали ли они в действительности или являлись плодом воображения Геролда? Он назвал только одно имя — некоего Эда Хенсона, который входил в летучий отряд южан полковника Мосби, еще продолжавшего партизанскую войну в нескольких десятках миль от Вашингтона. Подсудимый утверждал, что не помнит имен остальных. Геролд, по-видимому, пытался, разыгрывая дурачка и маскируя, по возможности, собственную роль, заинтриговать судей, бросая направо и налево намеки на свое знание имен других, более важных участников заговора. Однако эти намеки явно повисли в воздухе. Трибуналу был нужен преступник Д. Геролд, наказание которого должно было свидетельствовать, что правосудие сурово покарало убийц. Геролд явно не понял намерений судей — и это обеспечило ему место на виселице.

Третий подсудимый — шпион и контрабандист Джордж Эндрю Этцеродт — еще на предварительном следствии признал свою причастность к заговору, участники которого намеревались похитить Линкольна (план убийства возник позже). Этцеродт не отрицал, что 14 апреля встречался с Пейном и Бутом, причем последний приказал ему убить вице-президента Джонсона. Этцеродт, по его утверждению, решительно отказался, несмотря на угрозы актера. (Подобный разговор происходил и раньше — и тогда Этцеродт не соглашался участвовать в убийстве Линкольна.) Однако факты свидетельствуют о другом. Обвинение доказало, что Этцеродт снял номер в отеле Кирквуд, где проживал Джонсон. В номере находился потайной склад оружия. Было доказано, что Этцеродт интересовался тем, какое помещение занимал вице-президент. И 14 апреля Этцеродт поспешил именно в отель Кирквуд. Но Этцеродт не убил и не пытался убить

вице-президента. В роковой вечер заговорщик попросту напился. Свидетели, вызванные защитой, доказывали, что Этцеродта считали трусом, который никогда не решился бы на покушение, связанное со смертельным риском для него самого.

Однако Этцеродта обвиняли прежде всего не в попытке убийства Джонсона, а в соучастии в убийстве Авраама Линкольна. А в том, что он по крайней мере заранее отлично знал о покушении, не могло быть никаких сомнений. И это, поскольку речь шла о приговоре, решало дело. Интересно, что, по признанию Этцеродта, сделанному после ареста, главой группы заговорщиков наряду с Бутом был шпион южан Джон Саррет, скрывшийся за границу. К судьбе этого участника заговора нам еще придется вернуться ниже.

Четвертая обвиняемая — мать Джона Мэри Саррет. Степень ее участия в заговоре вызывала противоречивые суждения.

Несомненно, что пансионат, который она содержала, был местом встречи заговорщиков. Улики, доказывающие, что она отлично знала и даже участвовала в осуществлении плана убийства, а также пыталась помочь Буту при его бегстве, ставятся под сомнение показаниями свидетелей защиты. Несомненно, что М. Саррет горячо симпатизировала южанам и вряд ли могла не понимать смысла действий своего сына и его сообщников. Кажется доказанным, что М. Саррет была тесно связана со шпионами-южанами Хауэллом и курьером, перевозившими разведывательные донесения на Юг от некоей миссис Слейтер. Оба разведчика останавливались в пансионате М. Саррет.

Остальные четверо обвиняемых явно играли лишь второстепенную и сугубо подсобную роль в заговоре. Самюэл Блэнд Арнолд участвовал в заговоре, ставившем целью похищение Линкольна, но отказался одобрить план убийства, правда, не окончательно, а впредь до более удобного (по его мнению) времени, которое скоро должно наступить. Все это было изложено в письме Арнолда от 27 марта на имя Бута, попавшем в руки властей. Арнолда не было в Вашингтоне с 21 марта по 17 апреля 1865 г. Доктор Самозэл Мадд обвинялся в том, что он участвовал в заговоре и был хорошо знаком с главными заговорщиками. Мадд владел несколькими рабами; одни соседи, кажется не без основания, утверждали, что он сочувствовал южанам, другие это отрицали. Сам Мадд признавал знакомство с Бутом, но утверждал, что не ви-

дел актера в Вашингтоне с ноября или декабря 1864 г. Из противоречивых показаний свидетелей обвинения и защиты явствует с очевидностью лишь то, что Мадд оказал медицинскую помощь Буту, бежавшему после убийства Линкольна из столицы. Выпрыгнув из ложи президента на сцену, убийца повредил ногу. Естественно, он не мог об этом знать заранее и не предполагал останавливаться в доме Мадда. Осталось невыясненным до конца, знал ли Мадд, предоставив приют Буту, что он имеет дело с убийцей президента, поскольку официальное объявление о розыске актера подоспело лишь позднее. В целом поведение Мадда позволяет предполагать, что он был связан с подпольем южан, но власти либо не располагали точными доказательствами этого, либо не считали целесообразным предоставить информацию, собранную контрразведкой северян. Интересно, что Д. Геролд, старавшийся в своих показаниях упоминать всех, кроме подлинных участников заговора, старательно обошел вопрос о помощи, оказанной Буту Маддом во время бегства из Вашингтона.

Ирландец Майкл О'Лафлин, бывший солдат Конфедерации, несомненно был знаком с Бутом. О'Лафлин утверждал, что видел утром 14 апреля Бута, стремясь получить с того долг. Однако было доказано, что ирландец прибыл в Вашингтон, вызванный телеграммой Бута. Убийца, вероятно, использовал О'Лафлина для выполнения каких-то заданий, но каких именно — осталось неизвестным.

Обвинение же О'Лафлина в намерении в ночь с 13 на 14 апреля убить генерала Улиса Гранта осталось недоказанным. Вечером 13 апреля Грант был в гостях у военного министра Стентона, перед домом которого собралась толпа, приветствовавшая популярного полководца. Оркестр исполнял марш «Герой Аппоматокса». В половине десятого какой-то незнакомец постучался в дверь и сказал, что желает видеть Стентона. Сын министра Дэвид и майор К. Нокс не пустили посетителя, хотя тот утверждал, что он адвокат и старый друг Стентона. Дэвид и майор заметили, что от незнакомца разило бренди, и это их окончательно укрепило в решимости указать пьянице на дверь. Через некоторое время незнакомец появился снова и объявил, что желает видеть Гранта. Его выпроводил за порог сержант Хэттер. Дэвид Стентон, Нокс и Хэттер были склонны считать, что этим пьяным незнакомцем был О'Лафлин, но все же не могли заявить об этом с полной уверенностью. Однако даже если это был обвиняемый, его поступок можно было объяснить и дру-

гими мотивами, кроме намерения убить Гранта. Стентон и Грант были знаменитостями, с которыми многие стремились перемолвиться хотя бы несколькими словами. Интересно отметить, что неизвестный первоначально хотел увидеть Стентона — это не очень вязалось с намерением совершить покушение именно на Улиса Гранта. И, главное, защита представила двух собутыльников ирландца (в том числе одного морского офицера), составлявших ему компанию весь вечер 13 апреля. А на следующий день Грант уехал из столицы. Короче говоря, хотя О'Лафлин и был связан с заговорщиками, обвинение не смогло доказать его намерение совершить покушение на командующего американской армией.

И наконец, последний из восьми подсудимых — Эдвард Спейнджлер. Рабочий сцены в театре Форда, он с охотой принимал на себя роль слуги Бута, который порой фамильярно беседовал с ним или пропускал вместе с ним стакан вина, как с закадычным приятелем. Спейнджлер в числе других служащих сцены убирал ложу президента, и при этом слышали, как он отпускал злобные реплики в адрес Линкольна. Подозревали, что именно стараниями Спейнджлера замок в ложе президента оказался сломанным. По собственному признанию обвиняемого, сделанному во время предварительного следствия, Бут попросил его подержать лошадь. Но Спейнджлер должен был спешно идти на сцену для подготовки следующего акта. Он передал лошадь подсобному рабочему Джозефу Бэрроу. Когда Бут спасался бегством из театра, один из плотников, работавших на сцене, воскликнул: «Это был Бут». Спейнджлер ударил плотника по лицу. Чья-то услужливая рука захлопнула дверь, ведущую со сцены, перед наиболее проворным из преследователей. Обвинение упоминало и о веревке, длиной в 80 футов, найденной в мешке у Спейнджлера, однако неясно, какое она имела отношение к убийству президента. Все показания, собранные против Спейнджлера, не могли служить доказательством ничего другого, кроме хороших отношений с Бутом, а тот имел много приятелей. Никто не видел Спейнджлера ломающим замок в ложе. Спейнджлер не мог одновременно ударить плотника и успеть захлопнуть дверь со сцены.

Итак, восемь обвиняемых. Все они, за одним-двумя исключениями, в той или иной мере были связаны с южной разведкой, а часть из них — активные ее агенты. Но среди них — ни одного из закулисных организаторов заговора.

Может быть, однако, процесс пролил свет на связи обвиняемых? Ведь само обвинительное заключение предусматривало выявление отношений между обвиняемыми и их сообщниками — Джефферсоном Дэвичом, южными диверсантами в Канаде и другими оставшимися неизвестными лицами. Обвинение попыталось доказать причастность правительства и разведки разгромленной Конфедерации к заговору. Свидетелем обвинения выступил Ричард Монтгомери, разведчик, действовавший в Канаде. Монтгомери, правда, получал деньги и из Вашингтона, и из Ричмонда. Но он был агентом северян, проникшим (под именем Джеймса Томпсона) в секретную службу южан, которую снабжал ложной информацией, и вместе с тем с ее помощью знакомился с секретами Конфедерации, представлявшими большой интерес для вашингтонского правительства. Монтгомери заявил, что агент южан Джейкоб Томпсон летом 1864 г. и в январе 1865 г. при встречах с ним в Монреале говорил, что имеет людей, готовых устранить Линкольна, Стентона, Гранта и других лидеров Севера. Сам Томпсон одобрял этот план и лишь дожидался санкции Ричмонда на его осуществление. По словам Монтгомери, он неоднократно встречал в Канаде Пейна. Бут во второй половине 1864 г. дважды ездил в Монреаль и совещался с лидерами Конфедерации. Монтгомери, однако, заметил, что ему неизвестно, одобрил ли Джефферсон Девис планы Джейкоба Томпсона, хотя думает, что такое одобрение было получено.

Отметим попутно и другой момент. По крайней мере с января 1865 г. военное министерство должно было из донесений Монтгомери знать о готовившемся покушении и принять необходимые меры предосторожности. Мы еще вернемся к рассмотрению того, как оно поступило в действительности.

Вторым важным свидетелем обвинения был Генри фон Штейнекер. По словам свидетеля, в 1863 г. он пробрался на Юг и вступил в полк известного генерала Джексона. Летом 1863 г., когда полк находился в Виргинии, в лагере появился Бут, обсуждавший с Джексоном и с офицером его штаба планы убийства Линкольна. Другие свидетели приводили менее важные данные. Американский врач Джеймс Меритт, спешно прибывший за государственный счет из Канады, показал, что слышал разговоры агентов южан о предстоящем убийстве президента и даже 10 апреля 1865 г. сделал об этом соответ-

ствующее заявление мировому судье в Галте. (Канадские власти решительно опровергали это утверждение.) Сэнфорд Коновер, служивший в южной армии и потом бежавший на Север, уверял, что в качестве корреспондента радикальной газеты «Нью-Йорк трибюн» он встречался с некоторыми мятежными агентами и диверсантами. По словам Коновера, он слышал о плане убийства в феврале 1865 г. и послал известие об этом в свою газету. Если дело обстояло действительно так, трудно поверить, чтобы редакция газеты не сообщила об этом предупреждении соответствующим властям, прежде всего военному министерству.

Остальные свидетели, а также документы, представленные обвинением (подлинность части из них вызывает сомнение), мало что прибавляли к уже известному. В лучшем случае они доказывали существование заговора (кто в этом сомневался?), а также ту или иную причастность к нему подсудимых.

30 июня 1865 г. военный трибунал вынес приговор. Все подсудимые были признаны виновными. Э. Спейнджера приговорили к шести годам тюрьмы, М. О'Лафлина, С. Мада, С. Б. Арнолда — к пожизненному заключению, Л. Пейн, Д. Этцеродт, Д. Геролд и М. Е. Саррет были присуждены к смерти через повешение. Попытки добиться смягчения участи Мэри Саррет окончились неудачей (позднее президент Эндрю Джонсон уверял, что ему не доложили о ходатайствах о помиловании).

7 июля 1865 г. во дворе федеральной тюрьмы была воздвигнута виселица, которую окружили войска. На эшафот втащили находившуюся без сознания Саррет, стенающего Этцеродта, дрожащего, плачущего Геролда и сохранявшего угрюмое молчание Пейна. Генерал Харт-ренфт огласил приговор. Через несколько мгновений все было кончено... Белые повязки смерти, скрывавшие лица казненных, как бы символизировали печать молчания, наложенную на уста заговорщиков, и те тайны, которые они унесли с собой в могилу. А четверо других подсудимых были переведены в тюрьму, находящуюся на Драй Тортугас — выжженном солнцем острове в 100 милях от побережья Флориды. Форт Джефферсона, куда поместили заключенных, был окружен широким рвом, заполненным водой; в ров часто заплывали акулы.

Почему изменили первоначальный приказ президента Джонсона держать всех четверых арестантов в тюрьме города Олбени? Может быть, из-за соображений безо-

пасности? Заключение имели множество сочувствовавших и на Юге, и на Севере, а из Форта Джефферсона бежать еще не удавалось никому. Но возможно и другое — стремление, чтобы об осужденных ничего не просочилось на волю.

Говоря об этой гипотезе (а ее не раз высказывали некоторые американские авторы), надо помнить, что кроме М. О'Лафлина, умершего от желтой лихорадки на острове, остальные трое были в феврале 1869 г., за месяц до окончания срока президентства Джонсона, помилованы последним и выпущены на свободу. Никто из них не сделал никаких разоблачений. Перед смертью Спейнджлер (1879 г.) и Мадд (1882 г.) оставили данные под присягой заявления о своей невинности, что противоречило имеющимся веским доказательствам их участия в заговоре.

Итак, правосудие свершилось. Страна могла быть спокойна — чудовищное преступление не осталось безнаказанным. Но, однако, какое-то смутное чувство неудовлетворенности тем, что наказаны лишь рядовые исполнители заговора и что главные преступники остались на свободе, владело многими современниками. Вскоре эти сомнения прорвались на страницы печати, зазвучали с трибуны конгресса.

А между тем чего же, казалось, больше — трибунал судил обвиняемых за подготовку убийства Линкольна и других высоких должностных лиц в сговоре с рабовладельческим президентом Девисом и главарями южной секретной службы и даже с другими «неизвестными лицами».

Неизвестные пока оставались неизвестными. Напротив, известный всем Джефферсон Девис находился в руках федеральных властей, в крепости Монро. Через полгода после окончания процесса над заговорщиками юридическая комиссия палаты представителей американского конгресса занялась рассмотрением доказательств, имевшихся против Джефферсона Девиса (а также против одного из руководителей южной разведки Клемента Клея). Политическая обстановка в стране к этому времени заметно изменилась. Президент Эндрю Джонсон, взявший курс на примирение с плантаторами, восстановил против себя радикалов. Таким образом, занявшись расследованием роли Девиса, радикалы метили прежде всего в Джонсона.

Однако противники радикалов сумели нанести контрудар. В ходе перекрестного допроса свидетелей обвине-

ния вскрылись обстоятельства, подрывавшие доверие к показаниям этих лиц. Ричард Монтгомери, как выяснилось, был в прошлом вором-рецидивистом, хорошо известным нью-йоркской полиции, человеком, заведомо способным на лжесвидетельство. Генри фон Штейнекер (его настоящее имя Ганс фон Винкельштейн), оказывается, не только бежал из южной армии, но успел дезертировать и из войск северян, а также обвинялся в казнокрадстве! Доктор Меритт, как показало расследование, произведенное по приказу английского генерал-губернатора Канады, был знахарем, не брезговавшим самыми нечистоплотными махинациями. Не лучше обстояло дело и с другими свидетелями, особенно с С. Коновером (его настоящее имя Чарлз Дэнхем), который был уличен не только в даче ложных показаний, но и в попытке подбить к этому же других. Американские власти проявили оперативность и не дали ему скрыться (как успел исчезнуть фон Винкельштейн). Он был приговорен к 10 годам тюрьмы. Быть может, такой активностью прокуратура и военное министерство хотели защитить честь мундира и в то же время заткнуть рот слишком много знавшему и болтливому мошеннику. Однако на деле суд над Коновером сделал общеизвестными факты лжесвидетельства, с которыми ранее была знакома лишь узкая группа вашигтонских политиков.

Радикальное большинство юридической комиссии палаты представителей объявило Джефферсона Девиса причастным к заговору, приведшему к убийству Линкольна. Однако обвинение против Девиса было сильно скомпрометировано разоблачением лживости показаний свидетелей, выставленных прокуратурой.

А между тем нет никаких оснований сомневаться в виновности Джефферсона Девиса. Не в том, конечно, смысле; что именно он давал указание об убийстве Линкольна. Девис отвечал за деятельность южной разведки. А Бут и другие заговорщики были ее агентами и действовали по ее указаниям. Не удовлетворяясь этим, прокуратура пыталась найти доказательства того, что Девис сам персонально руководил заговорщиками. Но даже если дело обстояло так, обнаружение подобных доказательств могло быть только делом счастливого случая. Такой случай не представился, и пришлось воспользоваться услугами лжесвидетелей.

Самое интересное другое: прибегая к их сомнительным услугам, власти вели странную линию в отношении

человека, от которого можно было скорее всего узнать о тайных пружинах заговора.

Речь идет о Джоне Саррете, являвшемся наряду с Бутом центральной фигурой среди заговорщиков. Немного достоверного известно о нем. Ревностный сторонник рабовладельцев, Джон Саррет, однако, без колебаний принес присягу верности федеральному правительству в Вашингтоне, требуемую при назначении на чиновничью должность в почтовом ведомстве. Вероятно, это было сделано по заданию южной разведки. Почтмейстер в небольшом городке был удобной фигурой для сбора и пересылки разведывательных донесений. Вскоре Саррет возбуждал подозрение, был смещен со своей должности и стал профессиональным разведчиком. Он не раз доставлял донесения и инструкции, курсируя между Ричмондом, Вашингтоном и Монреалем. В конце 1864 г. Саррет познакомился с Бутом, который предложил ему участвовать в похищении Линкольна. Бут ли придумал этот план, или он был подсказан ему извне — не имеет особого значения. Несомненно лишь, что Саррет не смог бы активно включиться в подготовку этого плана и последующего плана убийства, не получив на это согласия своего начальства в Ричмонде.

Вашингтонская полиция ворвалась в дом Саррета, но уже не нашла разведчика на месте. Было объявлено о награде в 25 тысяч долларов тому, кто захватит Саррета. А он тем временем без труда перешел границу Канады. (Детективы, которым было дано задание преследовать заговорщика, почему-то были снабжены приметами Этцеродта с указанием, что эти приметы Саррета.) Начальник вашингтонской полиции А. Ч. Ричардс послал в Канаду своих агентов, в том числе человека, знавшего в лицо Саррета, но неожиданно получил за это выговор от военного министерства, что не помешало этому ведомству утверждать, что погоня за Сарретом производилась по приказу Э. Стентона, военного министра.

Вряд ли можно сомневаться в том, что Стентон сознательно смотрел сквозь пальцы на побег Саррета. Вместо поисков в Канаде руководитель контрразведки Бейкер занялся организацией погони за каким-то мнимым Сарретом в горах Пенсильвании. В сентябре 1865 г. Саррет переехал из Канады в Ливерпуль. Американский вице-консул в этом порту, получив сведения о Саррете от судового врача, направил 30 сентября донесение в Вашингтон и просил полномочий на то, чтобы добиваться выдачи

заговорщика. В ответ 13 октября заместитель государственного секретаря У. Хантер уведомил вице-консула, что после консультаций с военным министром и генеральным прокурором «было сочтено целесообразным в настоящее время не предпринимать никаких действий в отношении ареста предполагаемого Джона Саррета». Судовой врач, все еще надеявшийся получить обещанную денежную награду, в конце октября посетил американского консула в Монреале и сообщил о намерении Саррета отправиться в Рим. Консул стал забрасывать телеграммами государственный департамент. Ответы приходили нескоро, иногда с интервалом в две недели. Из них следовало, что государственный департамент обсуждает вопрос о Саррете с военным министерством. В конечном счете Вашингтон так и не потребовал выдачи сообщника Бута. А поскольку энергичный судовой врач продолжал будоражить американскую дипломатию предложениями о поимке Саррета, в Вашингтоне наконец решились действовать, но совсем в неожиданном направлении. 24 ноября военный министр Стентон издал приказ № 164, в котором бралось назад обещание заплатить 25 тысяч долларов за поимку Саррета. Впоследствии Стентон, давая объяснения дружески настроенной к нему комиссии конгресса по поводу этого приказа, разъяснял, что уже прошло много месяцев со времени объявления награды. Однако именно в это время шансы захватить Саррета резко возросли.

Пользуясь бездействием американских властей, Саррет уехал в Рим; там он под именем Джона Уотсона вступил в один из наемных полков армии папы. В Риме беглец встретился со своим школьным товарищем Сент-Мэри, который, по-видимому, еще не зная об отмене награды, поспешил известить американского посла о нахождении Саррета в Риме. 23 апреля 1866 г. посол направил сообщение обо всем этом в Вашингтон. Почти через месяц, 17 мая, Стентон, мнение которого было запрошено государственным департаментом, переадресовал запрос своему другу, генеральному прокурору, а тот, в свою очередь, потребовал от Сент-Мэри сообщить сведения о себе и переслать сделанное им под присягой заявление о Саррете. 28 мая Сьюард предложил Стентону послать специального агента в Рим, чтобы потребовать выдачи Саррета. Ответа со стороны военного министра не последовало. 20 июля прибыли затребованные из Рима бумаги. Кроме того, американский посол уведомил, что при полу-

чении соответствующей просьбы из Вашингтона папские власти с готовностью выдадут преступника. 28 августа государственный департамент снова запросил военное министерство о его мнении по этому вопросу — и снова не получил ответа. В октябре Сьюард предложил удостовериться, действительно ли Саррет в Риме, и для этого переслать фотографию разыскиваемого шпиона в американское посольство в Риме.

Тем временем в ноябре 1866 г. канцлер римского папы кардинал Антонелли, не дождавшись просьбы из Вашингтона, сам отдал распоряжение об аресте Саррета. Тот был арестован, но сумел бежать сначала в Неаполь, а оттуда пароходом в Египет. Только после его бегства в Рим пришла наконец фотография Саррета. Но на ней разведчик был так мало похож на себя, что она могла лишь повредить поискам, направляя полицию на ложный след. В Египте генеральный консул США сумел добиться ареста Саррета; в начале января 1867 г. американский военный корабль доставил преступника в США. Власти приняли специальные меры, чтобы воспрепятствовать встречам заговорщика с «посторонними лицами». Однако незадолго до суда Саррета посетил конгрессмен из Огайо Эшли, близкий друг Стентона. Вероятно, этот визит был связан с попытками получить от заключенного какой-либо компрометирующий материал против президента Джонсона, которого радикальные республиканцы решили предать суду сената.

Американские политики не привыкли брезговать никакими средствами. Атакуя «слева» Джонсона за его покровительство южным плантаторам, некоторые из конгрессменов с готовностью подхватили обвинение южан, что Джонсон отказался помиловать миссис Саррет, несмотря на просьбы самих военных судей. Джонсон стал оправдываться. В такой обстановке процесс над Сарретом мог оказаться очень досадным делом для многих вашингтонских политиков — и врагов, и друзей Джонсона.

Саррету дали пять месяцев для подготовки к суду; обвинение было поручено лицам, близким к военному министру. Не менее восьми свидетелей заявили, что видели Саррета в Вашингтоне 14 апреля 1865 г. Другие свидетели уверяли, что встречали Саррета на следующее утро в Нью-Йорке. При тогдашней быстроте сообщений и расписании поездов одно исключало другое. Осенью 1867 г. Саррета отпустили под залог в 25 тысяч долларов. При возобновлении процесса выяснилось, что по закону обви-

нительный акт должен предъявляться не позднее чем через два года после преступления, инкриминируемого подсудимому. Исключение делалось лишь в том случае, когда в самом обвинительном акте отмечалось, что он не мог быть предъявлен ранее, так как преступник «скрывался от правосудия». Подобной оговорки не было сделано в обвинительном заключении по делу Саррета. Защита немедленно воспользовалась этой непонятной оплошностью, которая могла быть умышленной. Процесс был прекращен, Саррет выпущен на свободу. Он даже вскоре прочел публичную лекцию о заговоре, рассказывая о плане похищения Линкольна. При этом, однако, Саррет держался очень осторожно и не сообщил ничего существенно нового. Он прожил еще много десятилетий, скончавшись в 1916 г. Мало кто из жителей Балтиморы знал, что пожилой чиновник пароходной компании был одним из главарей заговора, приведшего к убийству Линкольна. На протяжении всей своей долгой жизни Саррет упорно молчал, не выдав ни одной из известных ему тайн заговора.

В чем же были причины странного поведения военного министра в деле Саррета? Почему его укрывали от правосудия, а потом явно дали уйти от наказания? Неужели боялись его разоблачений? Ответа на эти вопросы так и не последовало.

В отличие от Джона Саррета, бегство которого и последующий процесс привлекли самое широкое внимание, имя Джона Ф. Паркера оставалось совершенно в тени. А между тем он имел самое прямое отношение к убийству президента, хотя отнюдь не принадлежал к числу заговорщиков.

НЕОБЫЧНАЯ КАРЬЕРА ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАРКЕРА

Джон Паркер был полицейским, которому поручили охранять ложу президента в роковой вечер 14 апреля. Настойчивые поиски историков в архивах позволили восстановить послужной список Паркера. Он отнюдь не был безупречным служакой и никак не мог считаться украшением столичной полиции. Находясь на службе с 1861 года, Паркер успел заработать бесчисленные замечания и выговоры за нарушение дисциплины, недостойное поведение, бездельничанье, появление в нетрезвом виде, взяточничество.

Паркер был дежурным полицейским у ложи. И его не оказалось на месте, когда в ложу проник убийца... Почему? По свидетельству кучера президента Френсиса Бэрнса, просто потому, что Паркер в это время отлучился, чтобы опрокинуть рюмку-другую в компании лакея президента. Они прихватили с собой и Бэрнса. Как ни расценивать поведение Джона Паркера, оно по меньшей мере являлось серьезным нарушением служебного долга. Паркера отдали под суд, но сохранившиеся документы архива Вашингтонской полиции не указывают, был ли он в действительности судим. Во всяком случае, обвинения, выдвинутые против Паркера в начале мая, через месяц были взяты назад. Почему Паркер не попал сразу же под военно-полевой суд, который присуждал к смерти за куда менее серьезные проступки — например, новобранцев, заснувших в карауле? Более того, против Паркера не были приняты никакие дисциплинарные меры, его даже не убрали из охраны Белого дома. Эта трудно объяснимая мягкость властей не привлекла тогда внимания и осталась еще одной в числе многих загадок рокового дня 14 апреля.

Правда, все же можно найти одно объяснение поведению властей. Паркер был откомандирован в охрану Белого дома (и был даже для этой цели освобожден от призыва в армию) по просьбе супруги президента Мэри Линкольн, что произошло всего за декаду до трагического события. Это позволяет понять, почему человек с репутацией Паркера стал телохранителем Авраама Линкольна. Однако разъяснение одной загадки приводит нас немедленно к другой. Чем руководствовалась Мэри Линкольн, кто замолвил перед ней слово за пьяницу в полицейском мундире? Можно только напомнить, что многие современники в своих воспоминаниях рисуют «первую леди» страны вспыльчивой, даже взбалмошной женщиной, которая не раз ставила в неловкое положение своего мужа. Она презрительно отзывалась об Эндру Джонсоне, именовала Гранта «мясником», осуждала государственного секретаря Сьюарда.

Однако покровительство миссис Линкольн вряд ли объясняет благодушие властей. Ведь после убийства мужа Мэри Линкольн считала Паркера участником заговора. Через несколько дней она прямо бросила в лицо это обвинение полицейскому. Быть может, ее гнев и отчаяние усиливались от внутреннего сознания, что она сама способствовала планам заговорщиков. Значит ли это, что не

жена Авраама Линкольна мешала правосудию призвать к ответственности Джона Паркера? Так склонны были думать некоторые исследователи. И тем не менее можно допустить, что друзья покойного президента хотели избежать публичного обсуждения поступка Мэри Линкольн, поведение которой и так давало пищу для злонамеренных толков. Друзья Линкольна, вероятно, хотели защитить от нового потрясения и без того убитую горем вдову, считали, что этого требует и память об Аврааме Линкольне. Опять задача допускает два решения! Но так или иначе это помешало узнать у Паркера многое, что могло пролить свет на драму в театре Форда. У Паркера, судя по сохранившимся документам, вообще не были взяты показания, по крайней мере судебными властями. Не был допрошен человек, который должен был охранять президента и которого не оказалось на месте как раз в момент совершения преступления. Паркера не упоминали в официальном описании убийства президента, его не вызвали свидетелем на процесс заговорщиков. Значило ли это, что кому-то помешали бы его показания?

Последующая карьера Паркера не лишена интереса. 27 июля 1868 г. его нашли спавшим на посту, и через две недели он был уволен из полиции за «грубое пренебрежение долгом». В данном случае Паркер был виновен куда меньше, чем ранее, — все свидетели единодушно показали, что он был болен в злополучный для него день. Тем не менее наказание не заставило себя ждать. Означает ли это, что на сей раз не оказалось той спасительной руки, которая в прошлом поддерживала Паркера в куда более сложных ситуациях? Американский историк О. Эйзеншимл указывает, что за несколько недель до исключения Паркера из рядов полиции ушел в отставку военный министр Стантон. Имеется ли связь между этими двумя столь несхожими событиями?

О дальнейшей судьбе Паркера ничего не известно.

Можно назвать и ряд других лиц, действия которых, по крайней мере, подозрительны и степень участия в заговоре, вероятно, не меньшая, чем у тех, кто был отдан под суд военного трибунала. Во время своего бегства из Вашингтона Бут останавливался у знакомых ему людей — полковника С. Кокса, Т. Джонса и других, дававших пристанище убийце, перевозивших его через Потомак. Однако их не предали суду. Трое офицеров армии конфедератов: капитан Джетт, лейтенант Раглас и лейтенант Бейнбридж помогли Буту укрыться на ферме

Гаррета. Более того, заметив приближение отряда, посланного для поимки Бута, Бейнбридж и Раглас поскакали на ферму, чтобы предупредить убийцу об опасности. Если бы Бут послушался их совета, ему, вероятно, удалось бы снова скрыться от погони. Все трое офицеров были арестованы, доставлены в Вашингтон, но никого из них не привлекли к ответственности, а Джетту даже дали возможность выступить в качестве свидетеля обвинения. Были двое, которым также разрешили выступить в качестве свидетелей, хотя их участие в заговоре не вызывало сомнений и прокурору было бы нетрудно добиться обвинительного приговора в суде. К ним принадлежит, во-первых, Джон Ллойд, содержатель трактира в окрестностях столицы, который участвовал в заговоре Бута, ставившем целью похищение Линкольна, и впоследствии скрывал оружие заговорщиков, наводил на ложный след полицию, преследовавшую убийцу. И, во-вторых, жилец в пансионате миссис Саррет, Луис Виехманн, посвященный, по всей видимости, в замыслы Бута куда больше, чем восемь обвиняемых на процессе. Правда, и Ллойд и Виехманн стали свидетелями обвинения, но почему им дали возможность избежать ответственности — так и осталось неясным.

Были и другие люди, которых по логике вещей должны были привлечь к ответственности за помощь, оказанную Буту.

Встает ряд вопросов, почему некоторым заведомым участникам заговора удалось ускользнуть от правосудия при содействии властей, почему не были приложены усилия для расследования роли людей, подозреваемых в преступной связи с заговорщиками, почему власти предпочли обрушить меч правосудия лишь на часть заговорщиков, преимущественно на незначительные, мелкие фигуры. Историк О. Эйзенхимл выдвинул гипотезу, заслуживающую внимания. Если исходить из того, что Бут имел каких-то могущественных союзников и покровителей, то он мог сообщить о них только лицам, пользовавшимся его доверием, или тем, кого он таким образом хотел подстрекнуть к оказанию ему помощи во время бегства. Этими людьми не могли быть пьяница трактирщик Ллойд или Виехманн, которого актер всегда недолюбливал. Убийца вряд ли рискнул бы сообщить встреченным по пути офицерам армии Конфедерации, что он связан с могущественными людьми на Севере, — это могло бы лишь оттолкнуть южан. Но Бут дважды беседовал с глазу

на глаз с миссис Саррет в самый день убийства Линкольна. Бут мог рассказом о могущественных друзьях подбодрить своих подручных Пейна, Геролда, Этцеродта, Арнолда, О'Лафлина. Он мог поделиться своими секретами с доктором Маддом, давним знакомым актера, оказавшим ему помощь во время бегства. Конечно, люди типа Пейна и Геролда должны были попасть на скамью подсудимых как наиболее активные помощники убийцы президента. Однако остальных подсудимых, быть может, выделило из ряда других участников заговора лишь знание секретов Бута.

Круг тайных помощников Бута или посвященных в его планы мог быть более многочисленным, чем это было раскрыто следствием. Например, в дни, когда за ним охотились целые армейские подразделения, в военное министерство из разных мест — из Нью-Йорка, Канады — приходили иронические письма, подписанные Д. Бутом. Осталось неясным, были ли это дурного тона шутки или сознательные попытки сбить с толку власти, занятые поиском преступника. Значительно более любопытен другой факт — в ряде мест об убийстве президента узнали до того, как об этом могло стать известным из Вашингтона. В Сент-Жозефе (штат Миннесота), городке, не имевшем тогда телеграфа, уже 14 апреля распространилась весть, что Линкольн убит. В городке Манчестер, в штате Нью-Хэмпшир, — та же картина. Газета «Виг», издававшаяся в городе Мидлтаун, в штате Нью-Йорк, сообщила уже во второй половине 14 апреля, что Линкольн пал от руки убийцы. Напомним, что выстрел в театре Форда раздался поздно вечером, около 10 часов 30 минут. Ни одному из представителей властей, видимо, не пришлось в голову расспросить редактора «Виг» о столь таинственном происшествии. По крайней мере, архивы молчат по этому поводу. Но они сообщают немало других примечательных фактов, связанных с трагедией в театре Форда, бегством и розыском убийцы президента.

Непосредственно после убийства Линкольна Бута сочли главой заговорщиков, а остальных участников заговора — его подручными. Правда, уже на судебном процессе выяснилось, что последние имели особые задания — организацию покушения на Сьюарда и других государственных деятелей. Этот заговор был освещен весьма детально (хотя некоторые наиболее важные моменты и здесь остались в тени). Совершенно скрытым остался другой заговор, который, вероятно, и дал возможность

Буту беспрепятственно войти в ложу президента и выстрелить в него.

«Национальная исполнительная полиция» — контрразведка, возглавлявшаяся Лафайетом Бейкером, который подчинялся военному министру Стентону, и другие органы, ответственные за охрану президента, ничего не сделали для предотвращения покушения. Ведь достаточно было присутствия нескольких детективов или полицейских, чтобы надежно преградить путь Буту. Было ли все это результатом небрежности, ошибки или злого умысла? Следствием неисполнения приказа или того, что необходимого приказа не было отдано?

Жизни президента давно угрожала вполне реальная опасность, что было отлично известно и Бейкеру, и Стентону, которые даже докладывали об этом самому Линкольну. Президент держал в ящике своего рабочего стола более 80 писем, авторы которых угрожали убить его. Далеко не все эти анонимные послания исходили от маньяков, охваченных жадой крови. В 1861 г. заговорщики в Балтиморе готовили покушение на Линкольна. Слухи о намерении убить президента поступали и в течение всего 1862 г. Разведчики северян, действовавшие в Ричмонде, сообщили, что несколько богатых виргинских владельцев создали специальный фонд, предназначенный в награду убийце Линкольна. Одновременно контрразведка Бейкера установила, что представители «медянок» подписывали кровью клятву убить президента. В военном министерстве в Вашингтоне имелись сведения, что будет сделана попытка покушения на Линкольна в день вторичного вступления на пост президента — 4 марта 1865 г. В действительности засада ожидала президентский экипаж 20 марта, и, вероятно, лишь счастливая случайность спасла тогда Линкольна.

Словом, для беспечности не было никаких оснований. По всей видимости, у военного министерства были веские доказательства, не позволявшие отнестись сведения о планах убийства к числу непроверенных слухов. Оно знало, кто именно готовит покушение на президента и что к числу заговорщиков принадлежит также известный актер Бут!

Сделанные с большим запозданием (через несколько десятилетий) признания некоторых осведомленных современников, а также найденные архивные документы приводят к очень важному выводу. Оказывается, Л. Вихманн (железнодорожник пансионата М. Саррет) еще 20 февраля

1865 г. сообщил капитану Глизону и еще одному офицеру — Макдевитту — о подозрениях, возникших у него в связи с посещением театральной знаменитостью актером Бутом скромного дома вдовы Саррет и тайными ночными совещаниями, которые он вел с хозяйкой, ее сыном и другими лицами, в том числе с южным агентом, именующим себя Хауэллом. 20 февраля 1865 г. Виехманн уведомил Глизона о плане похитить Линкольна в день его официального вступления на второй срок на пост президента. Глизон довел об этом до сведения военного министра Стентона. В свою очередь, как признал позднее Саррет, Бут и его сообщники получили известие о том, что правительство располагает информацией об их плане. Более того, 24 марта был арестован Хауэлл, навещавший пансионат Мэри Саррет. Военное министерство не сделало никаких выводов из того, что арест Хауэлла по существу подтверждал сведения Виехманна. Л. Бейкер, умевший, когда надо, выуживать истину у арестованных агентов врага, на этот раз не принял никаких мер, чтобы основательно допросить Хауэлла. Почему не были приняты меры по наблюдению за Бутом и другими заговорщиками, почему, наконец, они не были арестованы в то время, когда власти брали под стражу сотни людей, подозреваемых в значительно менее серьезных преступлениях?

Утром 5 апреля последовало еще одно предупреждение. Линкольн находился на военном корабле «Малверн», неподалеку от южной столицы Ричмонда, которая должна была вот-вот перейти в руки северян. На борт «Малверна» прибыл бригадный генерал Эдвард Рипли, попросивший свидания с президентом по неотложному делу. Рипли привел с собой дезертира, солдата-южанина, служившего сотрудником секретной службы Конфедерации. Этот разведчик, видя, что Конфедерация терпит крушение, предпочел сменить нанимателя и, чтобы быть хорошо принятым в неприятельском лагере, решил сообщить важное известие. Перебежчик служил в «специальном бюро» южной разведки под начальством Д. Рейнса. Как хорошо знали на Севере, Рейнсу давались важные «специальные поручения». По утверждению солдата, Рейнс отправил из Ричмонда особую группу для совершения покушения на руководителей правительства в Вашингтоне.

Характерен и следующий эпизод. Если верить Уильяму Круку, одному из охранников Белого дома, президент днем 14 апреля на пути в военное министерство по-

делился предчувствием. «Крук,— сказал Линкольн,— вы знаете, есть люди, желающие моей смерти. Я не сомневаюсь, что они добьются своего». Показания Крука подтверждаются тем, что одной из целей Линкольна при посещении военного министерства было найти надежного сопровождающего на время, когда президент должен был присутствовать на комедии «Наш американский кузен» в театре Форда. Линкольн предложил в своей обычной шутиливой манере послать в театр вместе с ним одного из сотрудников военного министерства, майора Томаса Экерта. «Я видел, как он гнул руками кочергу, пять штук одну за другой. Мне кажется, он как раз тот человек, которого мне нужно взять с собой сегодня вечером. Могу я его получить?» Стентон решительно отказал, сославшись на то, что у Экерта много важных дел в министерстве. Линкольн по обыкновению добродушно воспринял этот отказ, являвшийся по меньшей мере невежливостью. Но президент все же зашел в шифровальную комнату телеграфа, расположенного в здании военного министерства и находившегося под начальством Экерта, и лично попросил майора сопровождать его в театр. Офицер, учитывая отказ военного министра, предпочел, видимо, не вызывать недовольства своего непосредственного начальника, отличавшегося суровым и желчным характером, и ответил, что он будет очень занят вечером. Тогда Линкольн неохотно сказал, что возьмет майора Рэтбуона, хотя предпочел бы иметь с собой именно Экерта.

Как объяснить этот эпизод, о котором умолчал Стентон, рассказывая о последнем свидании с президентом, и который всплыл на свет более чем через полстолетия, когда в 1907 г. были опубликованы воспоминания сотрудника военного министерства Д. Бейтса «Линкольн на телеграфе»? Уже упоминавшийся О. Эйзеншимл исследовал сохранившуюся корреспонденцию военного министерства за вечер 14 апреля и убедительно доказал, что у руководителя военного телеграфа не было никакой спешной работы в тот вечер. Экерт ушел со службы к ужину, поручив наблюдение за телеграфом Бейтсу, тогда молодому чиновнику, на которого не оставили бы важное дело. В 10 часов вечера, когда разыгралась трагедия, майор мирно отдыхал дома, готовясь бриться...

Стентон не только не отпустил Экерта, но и сам отказался идти вместе с Линкольном, опять-таки объяснив это спешной работой. Работа явно служила лишь предлогом.

Бейтс, большой поклонник Стентона, мотивирует отказ последнего поручить Экерту сопровождать президента тем, что военный министр был вообще против этой затеи с театром. Известно, что Стентон неоднократно предупреждал президента о грозившей тому опасности, почти насильно приставлял к нему военный эскорт. Может быть, он не хотел, полагает Бейтс, «поощрять» посещения театра. Но, казалось бы, зная об угрозе покушения, Стентон должен был принять особые меры предосторожности, убедившись, что Линкольн все равно не пропустит спектакля, о посещении которого президентом заранее объявили в газетах.

Военный министр согласился отпустить майора Генри Рэтбоуна. Этот молодой светский щеголь явился в ложу со своей невестой. Судя по всему, нежная пара была приглашена Линкольном еще до того, как он обратился с просьбой к Стентону об Экерте. Рэтбоун, по-видимому, явился в театр без оружия, менее всего предполагая, что в его обязанности входит охрана президента. Беспокоясь о безопасности Линкольна, военный министр мог расставить караулы вокруг театра Форда, часовых у ложи президента, прислать в зал сотрудников секретной службы, возглавлявшейся полковником Лафайетом Бейкером, а не поручать все обязанности по охране пьянице Джону Паркеру.

Между тем существовало еще одно обстоятельство, которое, казалось, требовало снова вернуться к вопросу об охране президента. Приглашенный президентом генерал Грант собирался посетить театр Форда. Об этом также объявили в газетах, и немало народа запасалось билетами в надежде взглянуть на генерала, только что принявшего капитуляцию главной армии врага. Однако за несколько дней до этого Мэри Линкольн в одном из своих припадков беспричинного раздражения устроила оскорбительную сцену супруге Гранта. После этого трудно было ожидать, что миссис Грант согласится сопровождать своего мужа. К тому же Грант узнал от жены, что Стентон и его супруга, приглашенные Линкольном, не будут в театре. Генерал, по-видимому, колебался, стоит ли ему идти одному или, рискуя оказаться невежливым, в последний момент найти благовидный предлог для отказа. Колебания Гранта кончились, когда, посетив военное министерство, он услышал от Стентона, что присутствие обоих — президента и главнокомандующего армией — усиливает вероятность покушения. После этого

разговора Грант зашел к Линкольну и сообщил, что должен вечером покинуть Вашингтон, так как ему необходимо повидаться с детьми. Отказ Гранта явно огорчил президента, но Линкольн заявил, что публика, надеявшаяся увидеть генерала, не должна быть окончательно разочарована. Он, Линкольн, непременно пойдет в театр.

Ни Стентону, ни Гранту, видимо, не пришло в голову, что неявка генерала устраняет опасность только для него, нисколько не уменьшая угрозы для жизни президента. Вряд ли убийц остановило бы то, что в ложе находилась одна, а не обе намеченные жертвы. Наоборот, присутствие Гранта сделало бы задачу заговорщиков много сложнее. Генерала сопровождала военная свита, у ложи, вероятно, были бы поставлены часовые. Но генерал уехал, а охрану ложи возложили на Джона Паркера. Бут встретил карету Гранта, увозившую его к вокзалу. Быстро наведенные справки убедили Бута, что генерал вместе с женой действительно отправился в штат Нью-Джерси. Неизвестно, знал ли Бут заранее об отъезде Гранта. Однако несомненно, что после того, как актер удостоверился в этом, он продолжал подготовку к покушению, может быть даже еще более утвердившись в намерении совершить его, когда отпало столь серьезное препятствие.

УБИЙЦА ПИШЕТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ

Убийца Линкольна Джон Уилкс Бут родился в семье известного актера, вскоре совершенно спившегося. Он был девятым из 10 детей в семье, любимчиком матери. Следуя примеру отца и старшего брата, Бут в 1856 г. поступил актером в труппу театра в Балтиморе. Из него не получился по-настоящему талантливый артист, хотя Бут и завоевал шумную популярность, выступая в трагических ролях. В годы Гражданской войны он уже знаменитость, звезда, ему выплачивались баснословные по тому времени гонорары. Бут примкнул к южанам, хотя его старшие братья были сторонниками Севера, и стал сотрудником разведки Конфедерации.

В его голове перемешались ходульная романтика мелодрамы с выпяченной риторикой плантаторских ораторов. С привычным лицемерием они изображали себя представителями утонченной аристократической элиты,

отстаивавшей высшие духовные ценности от покушений тупого, невежественного плебса, своекорыстных торгашей и северных мужланов, драпировались в тогу древнеримских республиканцев, приносящих себя в жертву на алтарь свободы, а иной раз даже пытались принять обличье наследников Вашингтона, защищающих Юг от завоевателей-янки. Опыяненный театральной известностью, Бут уже видел себя героем античной трагедии, в ореоле всемирной славы — она, конечно, будет уготована благородному мстителю, который спасет Юг от деспота — «короля Эба», как злобно именовали Линкольна конфедераты и «медноголовые».

В течение всей осени 1864 г. актер вел деятельную подготовку к похищению Линкольна, которое, по мнению Бута, нанесло бы смертельный удар северянам и вдохнуло новые силы в уже отчаявшихся южан. Его намерения — отнюдь не бред фанатика и безумца; это был деловой план, одобренный южной разведкой и систематически, почти с маниакальной настойчивостью проводимый в жизнь. Похитить президента без помощи значительно числа лиц не представлялось возможным. Бут предусматривал разные варианты похищения Линкольна — на улице, при поездке или прогулке, а также в театре... Потребовалось организовать заставы, где похитителей должны были ожидать свежие смены лошадей, лодки для переправы через Потомак. Бут даже заранее пытался снять в аренду подвал одного из столичных домов, близ Потомака, который мог бы послужить временной тюрьмой для похищенного президента. Этцеродт должен был нанять лодку около Порт-Табакко — селения к югу от Вашингтона. Джон Саррет вел переговоры с руководителями южных диверсантов в Мэриленде и в Виргинии.

Ход военных событий требовал быстрых действий — Конфедерация доживала последние недели. Бут спешно созвал свою команду.

В конечном счете не было сделано попытки осуществить хотя бы один из планов похищения — помешали различные случайности. Даже верные сподручные Бута стали выражать сомнения и желание выйти из игры. Дело дошло до перебранки и взаимных угроз. Новости с Юга делали бессмысленным план похищения — Линкольна было уже некуда увезти. И, вероятно, тогда Бут окончательно отказался от прежнего плана и решил убить Линкольна.

Друзья актера винили во всем алкоголь. Бут неуме-

ренно пил «с горя» после того, как пришло известие о капитуляции 9 апреля армии Ли. Правительственная версия оказалась противоречивой. С одной стороны, власти стремились доказать, что Бут действовал по прямому указанию Джефферсона Девиса и других руководителей Конфедерации. Однако тогда возникал неудобный для властей вопрос: каким образом северная секретная служба, военное министерство проморгали столь широко проводившуюся подготовку? Возникла вторая, резервная, версия — нельзя, мол, было предусмотреть заранее действия человека, находившегося едва ли не в состоянии белой горячки.

Имеются свидетельства, что Бут не раз заговаривал в предшествовавшие месяцы об убийстве Линкольна. Актер, возможно, даже поручил Л. Пейну подкараулить президента, когда он выйдет на прогулку, и попытаться убить его тут же, у ворот Белого дома.

11 апреля, когда официально отмечалась победа армии Гранта над войсками Ли, восторженная толпа подошла к Белому дому. В речи, обращенной к собравшимся, Линкольн говорил о том, что после окончания войны негры должны получить право голоса. Бут и Пейн, стоявшие в толпе, пришли в ярость, услышав слова президента. Актер предложил своему подручному тут же застрелить из револьвера Линкольна. Пейн отказался — шансы на удачу были невелики. Уходя, Бут злобно прорычал: «Это последняя речь, которую он произносит!»

В течение всего дня 14 апреля актер, по всей видимости, бесцельно шатался по Вашингтону — потом многие люди подробно расскажут о встрече с Бутом за несколько часов до убийства. Позднее следствие установит передвижения Бута, включая и тайное посещение им театра Форда, — актер успел тщательно осмотреть правительственную ложу, просверлить дырку в двери; замок в ней не действовал. Он заранее отогнул деревянную планку для того, чтобы задвинуть ее в ручку второй двери, ведущей в коридор. Через него надо было пройти, чтобы попасть в правительственную ложу. Теперь Бут мог рассчитывать, что никого не будет в коридоре, когда, всматриваясь через просверленную дырку, он станет дожидаться удобного мгновенья. Следствие установило действия Бута час за часом. Правда, в цепи показаний свидетелей есть и лакуны: Бут исчезает из поля зрения всех примерно на два часа. Вероятно, это были самые важные часы — может быть, Бут давал последние инструкции Пейну — об убий-

стве Сьюарда, и Этцеродту — о покушении на вице-президента Джонсона.

Впрочем, получил ли Этцеродт такое указание и было ли у Бута вообще намерение угрожать жизни Эндрю Джонсона? В 3.30 дня Бут совершил свой самый необъяснимый поступок за весь день. Он явился в отель Кирквуд и спросил у портье, дома ли мистер Этцеродт. «Нет, его нет дома». Бут как будто собирался уйти, но вернулся и спросил, дома ли вице-президент Джонсон. Получив ответ, что Джонсон отсутствует, Бут попросил бумагу и набросал несколько слов: «Не желаю Вас тревожить. Дома ли вы?» Оставив также записку Этцеродту, Бут быстро покинул отель.

Что скрывалось за этим таинственным письмом Эндрю Джонсону? Одни считали, что Бут предполагал сам убить вице-президента. Но убийство Джонсона раскрыло бы весь заговор и помешало осуществить покушение на Линкольна. Другие были склонны думать, что Бут собирался обследовать место намечаемого убийства Джонсона, чтобы дать инструкции Этцеродту. Это опять-таки сомнительное объяснение: осмотреть место, не возбуждая подозрений, мог легко сам Этцеродт, поселившийся в отеле. Может быть, говорят третьи, Бут решил поручить убийство Джонсона не Этцеродту, а какому-либо другому лицу и поэтому решил сам оглядеть сцену задуманного покушения. Эта гипотеза, не подтвержденная никакими данными, малоубедительна. Высказывалось предположение, что смысл записки Бута — в надежде получить вежливый ответ, что, мол, Джонсон будет готов принять Бута. Подобная записка от вице-президента, найденная у убийцы Линкольна, несомненно, должна была вызвать сильнейшие подозрения против Джонсона, побудить его подать в отставку, увеличить смятение и хаос в правительственных верхах. Такой ход — вполне в духе заговоров во многих театральных трагедиях, хорошо знакомых Буту. Но тогда зачем Бут планировал убийство Джонсона? Была ли это лишь мистификация, или записка являлась запасным вариантом, на случай неудачи покушения? Вот вопросы, на которые не были получены ответы и которые становятся особенно важными, учитывая необъяснимое поведение самого Джонсона в вечер убийства Линкольна и в ночь с 14 на 15 апреля.

Репутация вице-президента была в это время очень подмочена. 4 марта 1865 г., в день вступления в должность, Джонсон сильно превысил обычную норму выпии-

ваемого им бренди, и речь в сенате нового вице-президента очень походила на откровения охмелевшего человека. Этот и без того малопривлекательный эпизод, конечно, во всех красках расписали «медноголовые», ненавидевшие Джонсона — «белого бедняка» с Юга, которого тогда считали радикалом. Линкольн со своим обычным великодушием постарался замять неприятное происшествие, разъяснив, что это просто срыв, что «Энди не пьяница».

Свою записку Джонсону Бут оставил портье отеля Кирквуд Р. Джонсу. Портье отдал ее секретарю вице-президента Браунингу. Осталось невыясненным, передал ли Браунинг записку Джонсону 14 апреля или забыл о ней и она попала — если попала — в руки адресата лишь на следующий день. По какому-то недоразумению (еще одно недоразумение!) карточка, как утверждали впоследствии, оказалась в конце концов в почтовом ящике бывшего губернатора штата Висконсин Эдварда Соломона, который жил рядом с Джонсоном. Неизвестно, видел ли вообще Джонсон записку Бута.

Вечером 14 апреля вице-президент принял у себя бывшего губернатора Висконсина Леонарда Фарвелла, которому сказал, что очень устал и собирается рано отправиться спать. Джонсон действительно улегся в кровать примерно в 9 вечера. Через два часа он был разбужен тем же Фарвеллом, принесшим известие о гибели Линкольна. К полуночи Джонсон, сопровождаемый охраной, прибыл в гостиницу Петерсона, где лежал Линкольн. Однако Джонсон недолго оставался у постели умирающего и поспешил обратно в отель Кирквуд. Такие равнодушные и бесчувственные были уже явным политическим промахом, так как давали врагам Джонсона обильную пищу для нападок. Друзья могли объяснить его поступок только слишком сильным нервным потрясением, тем, что он не мог вынести страшной картины приближающейся смерти Линкольна. Другие утверждали, что он спешил обсудить со своим секретарем приготовления, необходимые для его предстоявшего после смерти Линкольна вступления на пост главы государства. Самое странное, что ночью Джонсон неожиданно покинул отель Кирквуд, ушел в дождливую тьму, кажется, не сопровождаемый никем, и вернулся только на рассвете. В 8 утра 15 апреля к нему пришел сенатор от штата Невада У. Стюарт. Он утверждал позднее, что Джонсон находился в состоянии совершенного опьянения, костюм его был в полном бес-

порядке, растрепанные волосы запачканы грязью. Потребовались услуги доктора и парикмахера, чтобы быстро привести Джонсона в приличный вид перед последовавшей вскоре церемонией вступления на пост президента.

Цепь малообъяснимых поступков — если учесть, что Джонсон отнюдь не был ни глупцом, ни запойным пьяницей. Некоторые исследователи, учитывая, что современники не упоминали о присутствии жены Джонсона в Вашингтоне, склонны подозревать какую-то любовную интригу. Еще меньше понятен отказ Джонсона давать какие-либо объяснения по поводу записки Бута. А вопросы задавались настойчиво — единственная причина могла заключаться в том, что Джонсон был действительно знаком с Бутом и боялся это прямо отрицать, дабы его не уличили во лжи. Сыщики уверяли, что Джонсон в бытность губернатором штата Теннесси, познакомился с Бутом в Нэшвилле.

Смерть Линкольна, утверждали враги Джонсона, была единственным для него шансом стать президентом. После всего происшедшего во время его вступления на должность вице-президента Джонсону было трудно рассчитывать на выдвижение его кандидатуры на следующих выборах. Через несколько лет, во время разбора конгрессом дела Джонсона, не раз всплывал вопрос о его поведении в день убийства Линкольна. Конгрессмен Б. Лоан заявлял: «Пуля убийцы, которую нацелила и послала рука мятежника, сделала Эндрю Джонсона президентом... Платой за это возвышение было предательство республиканцев и преданность партии измены и мятежа». Другой конгрессмен, Д. Эшли, говорил, что Джонсон «пришел на пост президента через ворота убийства». Странники Джонсона с негодованием отвергали эти обвинения. И обвинители и защитники президента неоднократно обещали представить доказательства правильности своих утверждений. Однако ни та, ни другая сторона не сдержала этих обещаний. По всей вероятности, противники Джонсона опасались, что им не удастся собрать достаточно неопровержимые данные, сторонники же — что всплывут обстоятельства, которые усилят подозрения.

Но вернемся к Буту, которого мы оставили покидающим отель Кирквуда. Ему без труда удалось проникнуть в правительственную ложу и в упор выстрелить в Линкольна.

В шуме представления майор Рэтбоун, находившийся в ложе, первый расслышал звук выстрела. За спиной у него раздался хриплый выкрик, что-то вроде «Свобода!», «Да погибнут тираны!». Рэтбоун не был силачом, подобно майору Экерту, гнувшему руками железную кочергу. Бут вырвался, нанес офицеру кинжалом глубокую рану в руку. Рэтбоун отпрянул, но через секунду снова бросился на убийцу, схватил его. Однако Рэтбоуну, к тому же раненому, было не под силу справиться с атлетически развитым Бутом. Тот протиснулся к краю ложи, отшвырнул Рэтбоуна и перемахнул через барьер, повис на руках над сценой и прыгнул вниз. Позже Рэтбоун свидетельствовал: «Время, прошедшее между выстрелом из пистолета и моментом, когда убийца выпрыгнул из ложи, не превышало и 30 секунд». При прыжке Бут зацепился шпорой за флаг, которым была украшена президентская ложа, материя не выдержала, и Бут упал на сцену вместе с оторвавшимися разноцветными кусками ткани. При падении он повредил ногу — но в лихорадке бегства не заметил этого. Только теперь утих смех в зрительном зале, вызванный репликами персонажей веселой комедии, и публика стала осознавать, что произошло. Бут стрелой промчался между застывшими в недоумении актерами, отбросил пытавшегося остановить его дирижера оркестра, поранив того кинжалом. Майор Д. Стюарт, вашингтонский адвокат, первым сообразивший, что происходит, бросился за Бутом с криком «Стойте!». Однако дверь со сцены, в которую скрылся Бут, оказалась захлопнутой неизвестно чьей услужливой рукой. Никем более не остановленный, убийца вскочил на лошадь и исчез в темноте...

В зале началось невероятное смятение, раздались отчаянные крики, женщины падали в обморок. Несколько человек попытались через сцену вскарабкаться в правительственную ложу, чтобы оказать помощь президенту, другие ринулись преследовать убийцу. В зал ворвались солдаты президентской охраны со штыками наперевес. Они очистили зрительский зал от публики. А тем временем в президентской ложе врачи, сразу определив смертельный характер ранения, дали согласие перенести находящегося без сознания Линкольна через улицу в гостиницу Петерсона — до Белого дома было слишком далеко. На улице кавалерия с трудом оттеснила возбужденную толпу, расчищая проход, через который пронесли умирающего Линкольна...

Вскоре после того, как раздался выстрел в театре Форда, к одному из мостов на окраине столицы, примерно в трех милях от театра Форда, подскочил всадник. Это был Бут, далеко опередивший погоню. На мосту его встретили часовые с примкнутыми штыками. Двое солдат и их командир сержант Сайлес Кобб ничего не подозревали — просто время еще было военное и принимались обычные меры предосторожности.

— Кто вы такой? — последовал вопрос Кобба.

— Бут, — с наглой откровенностью объявил убийца. — Я живу близ Бинтауна в графстве Чарлз.

Сержант поинтересовался, почему Бут едет так поздно, разве ему неизвестно, что после 9 вечера действует комендантский час. Однако преступник спокойно (недаром он профессиональный актер) объяснил: он просто дожидался луны, свет которой облегчит его поездку. Сержант Кобб решил, что не стоит быть формалистом. Конечно, существует приказ, но ведь надо понимать, что война по существу окончилась. Он разрешил Буту уехать.

Через 10 минут к мосту подъехал какой-то паренек.

— Фамилия? — строго спросил Кобб.

— Смит.

— Джон, наверное? — ехидно заметил сержант, иронически помогая несообразительному малому придумать имя, столь же распространенное, как и названная тем фамилия.

Назвавшийся Смитом отвел глаза и сердито пробурчал:

— Меня зовут Томас.

— Ладно, пусть Томас, — добродушно согласился Кобб. — Куда держишь путь?

Парень объяснил, что он засиделся с друзьями за столом и теперь спешит домой в Уайт Плейнс. Сержант знал это место и не видел причины задерживать молодого прожигателя жизни, настоящее имя которого было Дэвид Геролд. Последний отлично разыграл эту сцену. Вскоре Геролд нагнал своего шефа.

Примерно еще через полчаса у моста появился третий всадник. Это был конюх Джон Флетчер, у которого Геролд угнал лошадь. Кобб не возражал против того, чтобы конюх продолжал погоню за парнем, укравшим лошадь, но предупредил, что не сможет пропустить Флетчера обратно в город. Немного поколебавшись, Флетчер повернул назад.

Кобб был единственным из представителей власти,

имевшим полную возможность задержать убийцу президента. Он упустил эту возможность. Были ли его действия вполне простительной ошибкой человека, и не подозревавшего о случившейся трагедии, или сознательным поступком соучастника заговорщиков? Конечно, Кобб не выполнил приказа, но, вероятно, он не раз уже нарушался со времени капитуляции армии Ли. Возможно, эти нарушения не были бескорыстны — каждый раз несколько долларов перекачивали в карманы караульных. Сержанта Кобба позднее не раз упрекали разные лица; только военное начальство сочло, что в поведении сержанта не было ничего достойного порицания. Еще интереснее другое. Караул сменялся в полночь, и к этому времени Кобб все еще не знал об убийстве Линкольна. По крайней мере, он никому не сообщил тогда, что Бут проехал через мост. Командующий войсками в столице генерал Огэр до полуночи так и не удосужился или не счел нужным послать своих людей к мосту, чтобы узнать, не видел ли караул бежавшего убийцу... Более того, никто не потревожил сна сержанта Кобба и его подчиненных, отправившихся в казармы после смены караула, не поднял их с постели вопросом: не произошло ли чего-либо на мосту до полуночи 14 апреля. Свои показания Кобб давал уже много позже, выступая свидетелем во время суда над заговорщиками.

Правда, Джон Флетчер, вернувшись назад в город, заявил в полицию о похищении Геролдом лошади. Флетчер был немедленно доставлен к генералу Огэру, но никаких дальнейших мер принято не было. Начальник контрразведки полковник Л. Бейкер, появившийся в столице только через двое суток, так объяснял поведение властей: им не верилось, что убийца мог сообщить караулу свое подлинное имя. Пусть так, но разве не стоило разыскать «двойника» убийцы, принявшего на себя его личину в самый напряженный момент бегства?

...А тем временем Бут и Геролд ждали своих сообщников — очевидно, Этцеродта, который должен был убить Джонсона, и Пейна, совершившего покушение на Сьюарда. Однако Этцеродт не рискнул выполнить возложенное на него поручение. После тщетных розысков надежного убежища в столице он удрал в дом, где прошло его детство (в 22 км от Вашингтона). Там через четыре дня его и нашли.

Пейн, совершив покушение, долгое время рыскал по окрестностям Вашингтона, ночуя по оврагам, тщетно на-

деясь на встречу с другими заговорщиками. Так продолжалось до 17 апреля, когда тупо соображавший гигант, лишенный указаний Бута, сам направился в ловушку. Поздно вечером он появился в доме миссис Саррет, как раз когда в нем производился обыск. К этому времени были арестованы уже Мэри Саррет, Майкл О'Лафлин, Сэмуэл Арнолд.

Правда, Бут и Геролд находились еще на свободе. Получив приют и медицинскую помощь в доме доктора Мадда, Бут продолжал свое бегство. Несколько дней он скрывался на ферме полковника С. Кокса. (Впоследствии за крупную взятку тому удалось выйти сухим из воды.) С помощью встреченных по дороге офицеров южной армии, которые были недавно выпущены из плена, убийца и его подручный нашли убежище на ферме Гаррета, ярого сторонника Юга.

Здесь мы оставим их на время, чтобы возвратиться в Вашингтон и присмотреться к тому, как были организованы розыски убийцы президента и других заговорщиков.

УТРАЧЕННАЯ НИТЬ И ЛОЖНЫЕ СЛЕДЫ

Убийство Линкольна вызвало смятение в правительственных сферах. Джонсон — второе после президента лицо в государстве — самоустранился от руководства действиями властей в ночь с 14 на 15 апреля. Следующий по рангу — государственный секретарь Сьюард лежал тяжело (как полагали, смертельно) раненный сообщником убийцы президента. Фактическим главой исполнительной власти в эти часы и дни оказался военный министр Стентон. Именно он начал отдавать приказы, находясь у постели умирающего Линкольна. Стентону подчинялись армия и разведка, тайная полиция и военная цензура. Он осуществлял контроль над телеграфной связью. Для поимки преступника решающее значение имело своевременное оповещение местных властей и населения о происшедшей трагедии. Всякое промедление увеличивало возможность заговорщиков уйти от преследования, укрыться в надежных убежищах или бежать за границу.

О. Эйзеншимл и шедшие по проложенному им пути другие исследователи внимательно изучили все телеграммы, посланные военным министром после выстрела в те-

атре Форда. Первая депеша была написана Стентоном не ранее 1.30 ночи, более чем через три часа после убийства, а отправлена из Вашингтона еще через три четверти часа, в 2.15 ночи. Это очень существенное промедление помешало страшному известию попасть в утренние газеты, которые как раз примерно в 2 часа ночи начинали печататься в типографиях. Большинство из газет не держали собственных корреспондентов в Вашингтоне, да и те, которые имели, побоялись бы сообщить без официального подтверждения столь сенсационную новость, как смертельное ранение президента.

В посланной с таким запозданием телеграмме Стентона была опущена самая важная подробность — фамилия Бута, хотя убийцу опознали тут же в театре Форда. Знание же фамилии преступника в любом случае облегчало бы его розыски, особенно поскольку дело шло об известном актере. Бут был назван впервые только в депеше, посланной через два часа после первой. Между тем совершенно несомненно, что военный министр от самых различных лиц успел получить сведения о том, что убийца — Бут. Однако и масса последующих телеграмм (за одним исключением), называвших фамилию Бута, не сообщала приметы убийцы, хотя они были отлично известны властям. Любопытно, что имя Бута не упоминал в своей телеграмме, посланной в 11 вечера, и корреспондент «Ассошиэтед пресс» Л. А. Гобрайт. Более того, вскоре он послал другую телеграмму — совсем непонятную по смыслу. Она была напечатана в утреннем издании газеты 15 апреля 1865 г. в следующем виде: «Наш вашингтонский представитель приказал «остановить» депешу относительно президента. В телеграмме ничего не сообщается о том, правдива или ложна эта депеша». В своих воспоминаниях, написанных в 1868 году и вышедших в следующем году, Гобрайт предпочел по каким-то причинам говорить о чем угодно, кроме этой непонятной «второй телеграммы». Может быть, потому, что люди, бывшие у власти в 1865 году, сохраняли эту власть и в момент подготовки мемуаров к печати?

Между прочим, вскоре после убийства полицейские ворвались в номер, который Бут снимал в отеле «Националь», и нашли среди его вещей неопровержимые доказательства того, что актер был южным разведчиком.

Еще более необъясним случай с Геролдом. Один из детективов, Рош, уже к полуночи 14 апреля установил, что Геролд — сообщник Бута. Но еще 20 апреля военное

министерство в своих телеграммах и официальных заявлениях называло его по-разному, но всегда неверно: «Гаролдом», «Гарролдом», «Геродом», «Гарродом» и «Герродом», что крайне усложняло розыск.

В ночь с 14 на 15 апреля произошло еще одно странное происшествие. На два часа из-за какой-то неисправности прекратил работу военный телеграф. В печати высказывали подозрение, что заговорщики перерезали провода. Если это так, то число участников заговора было значительно большим, чем это представлялось на суде. Странно, однако, что по прошествии двух часов злоумышленники сами взяли на себя труд снова соединить провода. Никакого официального извещения ни о причинах нарушения связи, ни о самом этом факте не последовало. Выступавший свидетелем перед юридической комиссией палаты представителей майор Экерт сослался на технические причины на передаточных станциях и утверждал, что прекратилась связь лишь по некоторым, но не по всем линиям. Надо добавить к тому же, что это нарушение связи имело место еще до того, как Стентон собрался послать в 1.30 ночи свою первую телеграмму об убийстве президента.

Власти блокировали к утру 15 апреля почти все шоссейные тракты и железные дороги, ведущие из Вашингтона. Но эти меры запоздали. Принимая их, полагали, что убийца находится в столице, тогда как Бут и Геролд были уже в 30 милях от Вашингтона. К тому же в густом оцеплении, которое было постепенно создано военным командованием, остался один просвет. То была хорошо известная дорога из Вашингтона в селение Порт-Табакко. Отсюда вел основной путь в южные штаты, где Бут мог надеяться на помощь. Неохраняемой (до 7 утра 15 апреля) оказалась как раз дорога, по которой двинулся Бут... Непонятная оплошность! Ведь то была трасса, многократно использовавшаяся южными шпионами и контрабандистами. По этому пути заговорщики первоначально намеревались увезти похищенного ими президента (о чем власти были также информированы благодаря показаниям Виехманна и других лиц). Если бы Бут не повредил ногу, то утром он уже находился бы на территории южного штата Вирджиния, далеко опередив любую погоню.

Более того, начальник вашингтонской полиции Ричардс, получив информацию о заявлении конюха Флетчера и, очевидно, сопоставив ее с другими имевшимися у

него данными, правильно угадал, в каком направлении бежал убийца. Ричардс вскоре после полуночи 14 апреля обратился к генералу Огэру с просьбой снабдить полицию лошадьми, чтобы быстро сформировать полицейский отряд и послать его по свежему следу. Шеф полиции натолкнулся на категорический отказ, и ему было рекомендовано не совать нос не в свое дело. Неизвестно, консультировался ли Огэр со Стентоном, отказывая Ричардсу в лошадях, но несомненно, что этот отказ лишил власти шанса еще до рассвета нагнать и захватить Бута и Геролда.

Еще более странный эпизод произошел в ночь на 22 апреля, когда майор О'Бирн случайно напал на след Бута и Геролда, покинувших дом доктора Мадда и перебивавшихся через реку Потомак в штат Вирджиния. Майор послал телеграмму в Вашингтон с просьбой разрешить продолжать погоню на вирджинской территории. Но разрешения не последовало. Причина на этот раз могла быть одна — очищалось поле для тех лиц, которым военный министр поручил розыск Бута. Главным из них был начальник контрразведки полковник Лафайет Бейкер, которого днем 15 апреля Стентон спешно вызвал в Вашингтон. Надо учитывать, что 20 апреля военным министерством была объявлена награда в 50 тысяч долларов за поимку Бута и по 25 тысяч долларов за Геролда и Джона Саррета. Так что дело шло и об устранении соперника, могущего перехватить столь крупный куш. В книге, которую Бейкер написал, уже находясь в отставке, он утверждал, что, когда приехал в Вашингтон, ему лишь сообщили общеизвестный факт, что убийцей президента был Бут. Но ведь к воскресенью 16 апреля военное министерство располагало значительно большими данными, чем только имя убийцы. Почему они не были переданы Бейкеру, трудно сказать. Бейкер уверяет, что генерал Огэр вообще отказал ему в помощи и получении необходимой информации.

Любопытная история произошла с плакатом, опубликованным 20 апреля, в котором объявлялась награда за поимку Бута. В нем наряду с портретом убийцы была помещена фотография Геролда в возрасте, когда он еще ходил в школу, и неизвестного лица, якобы являвшегося Джоном Сарретом. Это более чем странная ошибка, если учесть, что Джона Саррета знали в лицо множество людей и можно было легко установить, действительно ли это его фотография. Немудрено, что такое объявление

мало помогло розыскам. Но самое интересное другое — много позднее для публики, которая в огромном большинстве так и не видела плаката, была сфабрикована фальшивка. Она также датирована 20 апреля 1865 г. и внешне напоминала подлинный плакат. Однако все снимки заменены: новая, лучшая, фотография Бута, снимок Геролда, сделанный уже после его поимки на ферме Гаррета, и, наконец, портрет Саррета, относящийся к значительно более позднему времени (вероятно, уже к 1867 г.). И подлинный и фальшивый плакаты сохранились в архиве, и одного взгляда на них достаточно, чтобы убедиться в подлоге.

К тому времени, когда «американский Фуше» взялся за работу, один военный отряд чуть ли не столкнулся лицом к лицу с беглецами. Им командовал брат заместителя военного министра лейтенант Д. Дан, которого явно не послали бы из Вашингтона без особо важного поручения. Действия Дана, в том числе и прямое нарушение письменного приказа о наблюдении за рядом возможных путей бегства Бута, до сих пор приводят в недоумение историков, считающих, что вряд ли он мог действовать так, не получив неофициального разрешения от своего начальника генерала Огэра. Только необъяснимые промахи лейтенанта Дана помогли преступникам ускользнуть и на этот раз.

Бейкеру и его людям в конце концов посчастливилось напасть на след Бута. Актер и Геролд были настигнуты в ночь с 25 на 26 апреля на ферме Гаррета. Сарай, запертый на висячий замок, где скрывались Бут и Геролд, был окружен отрядом солдат под командованием лейтенанта Эдварда Догерти и разведчиками, возглавляемыми подполковником Эвертоном Конджером и лейтенантом Лютером Бейкером, двоюродным братом шефа секретной службы. Бут отказался сдаться, но Геролд поспешил выбраться из амбара и был немедленно схвачен преследователями. Актер все еще продолжал упорствовать, и сарай подожгли. Неожиданно раздался выстрел, и Бут был смертельно ранен. Солдаты взломали дверь и вынесли его из горящего строения.

Кто выстрелил в Бута вопреки прямому указанию военного министерства захватить преступника живым? Сержант Корбетт заявил, что это сделал он. Через 22 года сын фермера Роберт Гаррет будет утверждать, что видел Корбетта, стрелявшего в Бута. Но в 1865 г. Роберту Гаррету было всего 12 лет, и вообще в его показаниях

много неясного. Подполковник Конджер также заверял, что видел, как стрелял сержант Корбетт. Однако, судя по показаниям других лиц, с места, где стоял в момент выстрела Конджер, нельзя было видеть Корбетта. Лейтенанту Бейкеру показалось, что выстрелил сам Конджер! Впоследствии он заявил в своих показаниях: «Я тогда предполагал, что Конджер застрелил его, и спросил: «Зачем вы его застрелили?» Он ответил: «Я не стрелял в него». Тогда мне пришла в голову мысль, что, если он и стрелял, лучше, чтобы об этом не знали». Стентон, когда ему доложили официальную версию, что Корбетт нарушил приказ и застрелил Бута, воскликнул: «Мятежник мертв — патриот жив. Он спас нас от продолжающегося возбуждения, отсрочек и издержек. Патриота следует освободить!» Позднее был пущен слух, что у сарая, помимо главной двери, была еще запасная, через которую, возможно, скрылся преступник. Он мог бежать либо до того, как подоспели солдаты, либо даже после их прибытия, если они не заметили этого бокового выхода. Бут или человек, которого считали Бутом, жил еще некоторое время после выстрела и был в полном сознании. Однако никто из присутствовавших не подумал задать ему напрашивающийся вопрос — стрелял ли он в себя. У Бута обнаружили небольшую красную тетрадь-дневник. Открытые наудачу подполковником Конджером страницы были заполнены разглагольствованиями, полными хвастливого самолюбования, повторением имен Брута, Вильгельма Телля или перефразированными репликами из сыгранных Бутом ролей.

Забегая вперед, надо сказать, что первоначально власти вообще умолчали о дневнике, о нем не было сказано и на процессе заговорщиков. Лишь через два года уволенный в отставку Бейкер опубликовал «Историю секретной службы Соединенных Штатов», в которой сообщил о существовании дневника. Юридическая комиссия, производившая расследование обстоятельств убийства Линкольна, попросила Бейкера под присягой повторить свое утверждение о дневнике. Бейкер не только сделал это, но и добавил, что с тех пор из тетради были вырваны некоторые страницы. Генеральный прокурор армии Холт в тот же день поспешил под присягой объявить, что документ был сохранен в целостности и неприкосновенности. Но Холт не мог знать, какой вид первоначально имел дневник, так как получил его из рук своего начальства в военном министерстве. Позднее Холт, пытаясь отвести

подозрения от Стентона, утверждал, что страницы, возможно, были вырваны самим Бутом, опасавшимся дать властям какие-то сведения о своих сообщниках. Стентон поддержал версию о том, что тетрадь попала к нему с вырванными страницами.

Бейкер, правда, утверждал обратное, но он находился уже в ссоре с военным министерством и вообще, мягко выражаясь, отнюдь не являлся образчиком человека, общавшего только и единственно одну лишь правду. Скорее ему приходилось говорить ее — правду — лишь от случая к случаю. Был ли это такой случай? Обратились к свидетельству полковника Конджера — тот не мог ничего припомнить определенного: «кажется», дневник был с вырванными страницами. При последующем допросе Бейкер показал (и это подтвердил Конджер), что Стентон принял дневник без всяких расспросов. Трудно поверить, зная характер Стентона, чтобы он поступил так в случае, если бы дневник уже был с вырванными страницами. Последующие показания Бейкера о том, что через несколько дней после захвата Бута он якобы нашел одну из исчезнувших страниц, разорванную на мелкие клочки (это было письмо к некоему доктору Стюарду с просьбой о предоставлении убежища), еще более запутали картину. Загадка вырванных страниц так и не была разрешена.

Тело Бута доставили на военный корабль. В Вашингтоне труп предъявили нескольким лицам, знавшим Бута. В их числе был доктор Д. Ф. Мей, который за два года до этого делал Буту операцию по удалению опухоли на шее. След от операции служил дополнительным доказательством, это был труп Бута. Впоследствии протокол об опознании тела многократно подвергался критическому разбору. В нем находили отдельные противоречия, сомнительные места, вроде замечания Мея, что труп очень сильно изменился и что повреждена была правая нога (тогда как Бут 14 апреля сломал левую ногу). Для опознания не привели почему-то посаженного в тюрьму старшего брата Бута — Эдвина. Понятно, что симпатизировавшие Югу, да и просто любители сенсаций сразу пустили слух, будто убитый на ферме Гаррета — не Бут, что подмена была произведена с целью получить обещанную награду и вывести правительство из неудобного положения, поскольку оно не смогло организовать успешный розыск убийцы.

Много позднее были высказаны подозрения, что, быть

может, какие-то влиятельные люди сознательно дали Буту уйти от преследования.

В 1869 г. президент Джонсон разрешил родным преступника перезахоронить тело на кладбище. Эту церемонию многие рассматривали как инсценировку, тем более что при новом погребении Эдвин Бут так и не взглянул на труп и, следовательно, не мог «опознать» его. Правда, это сделали остальные участники похорон, в том числе другой брат Бута — Джозеф. Но даже если бы они и убедились, что хоронят тело чужого человека и что, следовательно, их брат жив, они, вероятно, промолчали бы об этом.

Не было недостатка в самозванцах. Наиболее известный из них — Дэвид Джордж — алкоголик и наркоман, покончивший с собой в январе 1903 г. Адвокат из города Мемфиса Финис Бейтс утверждал, что он знал покойного еще в 1870 г. под именем Сент-Элен и тот, опасно заболев и считая свою болезнь смертельной, просил известить о его смерти брата — Эдвина Бута в Нью-Йорке. В 20-е годы всплыл рассказ племянницы Бута, якобы видевшей его после 1865 г. 31 марта 1922 г. два бывших кавалериста, участвовавшие в преследовании Бута, показали под присягой, что раненый, которого они вытащили из амбара, был одет в форму солдата южной армии и что с них взяли клятву хранить это в глубокой тайне. В 1937 г. писательница Изола Лаура Форрестер, объявившая себя правнучкой Бута, опубликовала «семейные воспоминания» о своем «предке». Она уверяла, будто генерал Джеймс О'Бирн — другой свидетель поимки убийцы президента — еще 30 лет тому назад дал понять ей, что актер бежал из сарая на ферме Гаррета. Все эти утверждения не подкреплены никакими доказательствами.

В истории убийства Линкольна много непонятного: странная халатность властей, препятствия, чинившиеся поимке убийцы, фабрикация признаний свидетелей, освобождение заведомых участников заговора и многое другое. Но все эти факты в целом и почти каждый из них в отдельности допускают различные толкования. Стентон совершил немало загадочных действий, особенно в первые сутки после убийства, хотя не следует забывать, что, по показаниям многих современников, он действовал в лихорадочном возбуждении, каждую минуту ожидал, что после покушения на Линкольна и Стюарда дойдет очередь и до него. Многие «подозрительные» действия мож-

но объяснить перипетиями политической борьбы после смерти Линкольна, а вовсе не опасениями, что вскроются какие-то тайны заговора. То, что военным министерством с помощью лжесвидетелей были сфабрикованы показания об участии Джефферсона Девиса и других лидеров Юга, еще не значило, что они не ведали о заговоре — просто у Стентона не было в руках подлинных доказательств. Наконец, многое связано с соперничеством Бейкера и других лиц, участвовавших в преследовании заговорщиков, погоней за наградой.

И все же кое-что остается необъяснимым. Долгое время репутация Стентона как политического деятеля и как «неподкупного» военного министра стояла очень высоко. В последние годы американские историки сделали немало, чтобы подорвать репутацию Стентона. То была несомненно «критика справа», с позиций благожелательного отношения к плантаторам. Эти историки вскрыли немало фактов, характеризовавших Стентона как честолюбца, ничем не брезговавшего, когда дело шло о собственном возвышении. Эйзенхимл и его последователи пошли дальше. Стентон, говорят они, считал, что Линкольн даст побежденным южным штатам право посылать своих представителей в конгресс, что там вновь может создаться большинство из «медноголовых» и южан, республиканская партия потеряет власть, Гражданская война окажется напрасной. А без Линкольна, полагал Стентон, он будет править руками Джонсона, который тогда еще был радикалом, и, кто знает, может быть, и соучастником заговора, направленного на устранение Линкольна. Как известно, события пошли по-иному: Джонсон порвал с радикалами, но вплоть до 1868 года не осмелился освободиться от Стентона, хотя тот был заведомым врагом политического курса нового президента. (Эйзенхимл считает, что Джонсон боялся разоблачений Стентона.)

Существовали ли какие-либо дополнительные мотивы для того, чтобы власти и после отставки Стентона упорно прятали концы в воду? Безусловно, существовали, отвечают единомышленники Эйзенхимля. Ведь на президентском кресле долгие годы сменяли друг друга северные генералы, отличившиеся в Гражданской войне (Грант, Хейс, Гарфилд), и поддержание престижа военного министерства имело особо большое значение для их политической карьеры. Выявление того факта, что военное ведомство спасло от возмездия главных виновников

смерти президента, было бы для этих генералов непоправимым ударом.

Такова в целом гипотеза Эйзеншिमля и его последователей.

НЕПРОНИЦАЕМАЯ «МАСКА ИЗМЕНЫ»

Автор книги «Маска измены. Процесс участников убийства Линкольна» В. Шелтон справедливо отмечает, что за 100 лет, протекших со времени убийства Линкольна, были приложены огромные усилия, чтобы полностью раскрыть причины и всех участников преступления. Однако все эти усилия привели к совершенно ничтожным результатам. Обнаружены сотни противоречий, сознательных умолчаний и искажений, подрывающих доверие к официальной версии, но тайна от этого стала еще более непроницаемой. Мы, заключает Шелтон, оказались еще дальше, чем прежде, от решения загадки.

Суд над участниками заговора, приведшего к убийству Линкольна, продолжает Шелтон, проводился с нарушением традиционных норм правосудия; судьи были заинтересованы в том, чтобы осудить, а не в установлении истины.

На самом процессе убийц Линкольна власти установили вину одного лишь Пейна, совершившего ряд злодеяний в доме государственного секретаря Сьюарда. По теории Шелтона, Пейн был вовсе невиновен и лишь в результате несчастного стечения обстоятельств попал на скамью подсудимых, а потом на виселицу. Он стал случайной жертвой того же заговора, который привел к убийству Линкольна и который пытались скрыть власти, подменяя его совсем другим, вымышленным заговором. Подобные попытки возложения вины за убийство предпринимались с разных сторон.

В 1865 г. Стентон и его судьи хотели объявить ответственной за убийство южную разведку. А через какие-нибудь несколько месяцев президент Э. Джонсон стал намекать на виновность своих врагов — радикальных республиканцев.

По мнению Шелтона, Эйзеншимл совершенно правильно нащупал факт существования другого заговора — совсем не того, о котором говорилось на суде, и установил, что в этом заговоре участвовал Стентон. Однако Эйзеншимл не распутал все нити, не выявил его пружины и главных действующих лиц. Все это Шелтон считает

возможным сделать, анализируя роль Пейна, которая казалась всем наиболее ясной и поэтому не привлекала особого внимания. Как считает Шелтон, мы имеем дело с двумя разными людьми. Шелтон пытается доказать, что существовали похожие друг на друга двоюродные братья Льюис Пейн и Льюис Пауэлл, солдат южной армии, и что первый был посажен на скамью подсудимых за действия, совершенные вторым.

Присоединяясь к Эйзеншимулю, Шелтон думает, что Стентон был заинтересован в убийстве Линкольна, надеясь в обстановке растерянности, которая должна была последовать за устранением президента (его преемника тогда всерьез не принимали в расчет), приобрести фактически диктаторские полномочия и потом тем или иным путем добиться их формального закрепления на длительный срок. Подобным планам должен был сочувствовать Л. Бейкер, который мог стать в этом случае главой тайной полиции при новом диктаторе. Вероятно, он даже подталкивал к действиям нерешительного Стентона, оппортуниста по природе.

Какое же все это, однако, имеет отношение к «двойникам» Пейну и Пауэллу? По мнению Шелтона, самое непосредственное.

Стентон посетил дом Сьюарда вскоре после тяжелого ранения государственного секретаря неизвестным преступником. Очевидно, военный министр хотя бы бегло опросил лиц, которые видели этого преступника. Тем не менее из первых телеграмм Стентона следует, что он считал покушение на Сьюарда делом рук Бута. Но ведь актер был среднего роста, его черные, обрамляющие рот усы служили характерной приметой. Искали также еще какого-то низкорослого худого юношу с козлиной бородкой. Все это мало напоминает великана Пейна, который не носил ни бороды, ни усов. Но можно ли в таком случае доверять показаниям свидетелей — домочадцев Сьюарда, впоследствии утверждавших, что они хорошо разглядели преступника и опознали его в подсудимом Пейне? Тем более, что, по свидетельству тех же лиц, газовые фонари плохо освещали прихожую в доме государственного секретаря, оставляя ее погруженной в полумрак. Описание внешности Пейна дано только в первом плакате (объявлявшем о награде за поимку Бута и его соучастников), который был напечатан по приказу Бейкера. На основе анализа ряда косвенных данных, в том числе мемуаров Бейкера, Шелтон склонен полагать, что этот плакат был

вывешен лишь во вторник 18 апреля, а не днем раньше, как было принято считать в литературе. Разница эта очень существенна. 17 апреля незадолго до полуночи был арестован Пейн, и, если плакат появился на следующий день, вполне возможно допустить, что описание внешности Пейна Бейкер взял не из показаний родственников и слуг государственного секретаря, а привел внешние данные человека, которого задержали в доме вдовы Саррет. Но если это предположение верно, действительно ли Пейн нанес тяжелые ранения Сьюарду и другим обитателям его дома?

Шелтон пытается доказать, что Пейну было многое известно о его двойнике Льюисе Пауэлле. Но кое-что Пейн не знал, путал, обнаруживая, что он не тот, за кого себя выдает. Этот факт был известен некоторым свидетелям, например Маргарет Брэнзон и ее сестре Мэри (последнюю даже не вызвали в суд и самое ее существование скрыли от адвоката, защищавшего Пейна). Показания сестер, данные на предварительном следствии, непонятно куда исчезли, а свидетельство Маргарет на суде — это уже результат нажима со стороны властей.

Шелтон считает Пауэлла главным агентом высокопоставленных заговорщиков, решивших убить Линкольна. Именно Пауэлл подстрекнул тщеславного актера Бута совершить покушение на президента. Не ему ли принадлежит и демонстративный визит в отель Кирквуда с письмом Бута к Джонсону? Ведь то, что туда явился самолично Бут, — лишь недоказанное предположение. По мнению Шелтона, аптекарский ученик Геролд получил от Пауэлла указание отравить Бута сразу после убийства Линкольна, чтобы «убрать» опасного свидетеля. Геролд, воспользовавшись страстью актера к виски, подсыпал в спиртное яд. Он выполнил поручение, но не вполне успешно — актер не умер сразу, а почувствовал себя больным лишь в дороге и добрался до дома доктора Мадда уже в состоянии почти полной прострации. Он должен был шесть дней проваляться на ферме полковника Кокса, несмотря на смертельную опасность, связанную с такой задержкой. Бута смертельно ранили при поимке далеко не случайно — опасно было брать актера живым.

Шелтон отвергает знакомую нам версию о спасении Бута. Секретность похорон убийцы президента, которую власти объясняли желанием воспрепятствовать превращению могилы актера в место паломничества южан, а сторонники версии о спасении — тем, что в землю было

зарыто тело не Бута, а другого человека, Шелтон объясняет по-своему. Просто на трупе были ясно видны следы отравления, отсюда и изумление присутствовавших при опознании по поводу «сильного изменения» трупа.

Почему же, однако, Геролд молчал на суде о своей роли, даже после оглашения смертного приговора? Почему молчала миссис Саррет, эта (по мнению Шелтона) соучастница Геролда? Возможно, они не хотели признаваться на суде в убийстве Бута, предпочитая изображать из себя невинные жертвы? Бейкер мог их до последней минуты успокаивать обещаниями помилования, угрожать расправой с близкими, даже использовать наркотики — это в манере «американского Фуше». Геролд и миссис Саррет поняли, что их обманули, только в тот момент, когда, окруженные плотным кольцом сыщиков, полицейских и солдат, они подошли к эшафоту. Но было уже поздно.

Активным участником заговора Шелтон считает Джона Саррета, который, по его мнению, был шпионом-двойником, обслуживая и Бейкера и южан, а организатором заговора, наряду со Стентоном, спровоцировавшим Линкольна на посещение театра Форда, также майора Экерта. Как показал уже Эйзеншимл, майор отказался по приказу Стентона сопровождать Линкольна в театр, ссылаясь на спешные служебные дела, которых у него вечером 14 апреля явно не было. Вероятным участником заговора можно считать также вице-президента Джонсона.

Такова новейшая модификация теории Эйзеншимля, скорее выдвинутая, чем доказанная, в книге Шелтона «Маска измены» и вызвавшая скептические отзывы критики.

Но, к сожалению, историки еще не располагают достаточными данными, чтобы ответить на вопрос: кто направлял руку убийцы, лишившего американский народ его выдающегося президента.

Б. Борисовский

Охота на Александра II



КРАМОЛА

Был ясный, солнечный день. Ласковый и теплый. Необъятная голубизна неба радовала глаз. Она была повесенному чистой и прозрачной, как хрусталь. Со стороны Петропавловской крепости прозвучал орудийный выстрел, извещающий жителей Петербурга о том, что наступил полдень.

В это время из здания университета вышел студент. Он был в отличном расположении духа, и улыбка не сходила с его лица. Радовало все: и весеннее солнышко, и подарок отца — новые часы на золотой цепочке, и особенно — предстоящее вечером свидание с курсисткой Аней...

Студент сел на скамейку и, поджидая товарища, стал разглядывать прохожих. Быстро прошел человек с хмурым лицом, бедно, но опрятно одетый, за ним просеменил какой-то чиновник, потом прошли двое мастеровых, сумрачные, усталые. Николай — так мы назовем нашего героя — посмотрел в сторону университета и увидел, что к его дверям подошел высокий молодой человек в фуражке и коротком черном пальто, которое было явно маловато для него и туго обтягивало всю фигуру; из-под рукавов высывались манжеты ярко-красной рубашки. Николай удивленно посмотрел на него: «Студент? Непохоже. Уж больно странно одет. Мастеровой? Нет, пожалуй. Высокий лоб, умные проницательные глаза, интеллигентное лицо...»

Между тем молодой человек огляделся кругом, взялся за ручку двери, но вместо того, чтобы войти в здание университета, повернул обратно и направился прямо к Николаю. Шел он медленно, слегка покачиваясь. От неожиданности Николай встал со скамейки и невольно сделал несколько шагов вперед. Молодой человек, поравнявшись с Николаем, в упор посмотрел на него, резко рванул

руку из кармана и, протянув ему запечатанный конверт, сказал густым басом:

— Возьмите! Вскройте и прочтите через неделю!

— Хорошо... — пробормотал Николай.

Он машинально взял конверт, осмотрел его с обеих сторон. Ничего примечательного на нем не было. Обычный почтовый конверт. Только размашистым почерком написано: «Вскрыть через неделю». Когда Николай поднял голову, молодого человека и след простыл.

Из дверей университета вынырнула шумная, говорливая группа студентов. Весельчак и балагур Александр, которого поджидал Николай, окликнул его. Поспешно спрятав глубоко в карман конверт и зачем-то придерживая его рукой, Николай вместе со всеми направился на Колокольную улицу в студенческую столовую, кухмистерскую. Настроение было явно испорчено. Неотступно преследовала одна мысль: что в этом злосчастном конверте и почему молодой человек вручил его именно ему. Смешанное чувство страха и любопытства овладело Николаем. Вскрыть конверт и немедленно прочесть! Конечно, он не будет ждать назначенного срока. Зачем? С какой стати?

Николай торопливо пообедал. Обычно после обеда он оставался сыграть партию в шахматы с Александром, но теперь, сославшись на головную боль, ушел домой.

К счастью, в доме никого не было. Не раздеваясь, Николай вынул из кармана конверт и надорвал его. Достал оттуда несколько страниц, исписанных торопливым почерком, и стал читать...

«Друзьям рабочим.»

Братцы, долго меня мучила мысль, которая не давала мне покоя. Отчего любимый мною простой народ русский, которым держится вся Россия, так бедствует?»

Первые строки насторожили Николая.

«...Отчего ему не идет впрок его безустанный труд, его пот и кровь и весь век свой он работает задаром. Отчего рядом с нашим вечным тружеником, простым народом: крестьянами, фабричными и заводскими рабочими и другими ремесленниками — живут в роскошных домах, дворцах люди, ничего не делающие, тунеядцы дворяне, чиновничья орда и другие богатеи, и живут они на счет простого народа, чужими руками жар загребают... Чего, наконец, смотрят наши цари, ведь они на то и поставлены от народа, чтобы зло уничтожать и заботиться о счастье всего народа...»

Николай на минуту оторвался от письма. Он вспомнил, что недавно кто-то из студентов университета вслух читал в кухмистерской герценовский «Колокол», где то же самое говорилось... Студенты спорили, шумели, а Николай молча сидел в стороне: он чурался разговоров о политике. А когда того студента, который принес «Колокол», выгнали из университета, Николай зарекся никогда не вмешиваться в политические разговоры. Подальше от греха. Он пришел в университет учиться и только учиться...

«Но как неуважительно пишет этот неизвестный о царе!.. И какая страшная крамола само это письмо! Если хоть одна живая душа о нем узнает... В тюрьму посадят, в Сибирь упекут...» — содрогнувшись, подумал Николай.

Он с ужасом взглянул на письмо, мелкая дрожь пробежала по всему телу. Но глаза опять невольно скользнули по строчкам.

«...Цари-то и есть настоящие виновники всех наших бед. Цари завели у себя чиновников, чтобы обирать народ, а чтобы крестьяне не могли сопротивляться, было устроено постоянное войско. Никогда царь не потянет на мужицкую руку, так как он самый сильный недруг простого народа, самый главный из помещиков. Правда, нынешний царь дал волю крестьянам. Но что это за воля? Отрезался от помещичьих владений самый малый кусок земли, да и за этот крестьянин должен выплатить большие деньги; а где взять и без того разоренному мужику денег, чтобы выкупить себе землю, которую он испокон века обрабатывал? По-прежнему в течение нескольких лет должен мужик отбывать барщину и платить оброки за землю...»

Николай слышал, что крестьяне были недовольны царской реформой, что в Казанской, Пензенской и других губерниях они выступали против помещиков и даже иногда поджигали их имения. А чем все это кончилось? Николай продолжал читать.

«Присмирели мужики, приняли эту волю-неволю, и стало их житьишко еще хуже прежнего... За неплатеж откупных денег в казну, за недоимки у крестьянина отнимают последнюю лошаденку, последнюю корову, продают с аукциона и трудовыми мужицкими деньгами набивают царские карманы».

На короткое время Николай опять оторвался от письма. Ему показалось, что кто-то идет, приближается, сейчас вот откроет дверь в комнату, а тогда... Может быть,

это уже полиция? Его выследили... Того молодого человека схватили, и он указал на него как на соучастника. Ужас охватил Николая. Он подошел к двери, осторожно открыл ее и, услышав какой-то неясный шум, замер на пороге. Но тревога оказалась напрасной. В коридоре никого, кроме большого пушистого кота, не было.

Николай вернулся в комнату. Любопытство оказалось сильнее страха. Он продолжал читать:

«Вот мое последнее слово друзьям рабочим. Пусть каждый из них, кому попадет в руки этот листок, переписшет его и даст прочесть своим знакомым, а те передадут в другие руки. Пусть узнают рабочие, что об их счастье думал человек, пишущий эти строки, и сами позаботятся, не надеясь ни на кого, завоевать себе счастье и избавить всю Россию от ее грабителей и лиходеев».

Было в воззвании и несколько тщательно вымаранных строк. Николай пытался их прочесть, но не смог.

Николай задумался. Нет, он решительно не мог понять автора. Ему, воспитанному в верноподданническом духе, в семье преуспевающего купца второй гильдии, где боготворили государя императора, где строго соблюдались все религиозные празднества и обряды, было совершенно неясно, как можно так кощунственно писать о царе, поднимать свой голос против основ Российской империи. Письмо жгло ему руки, будоражило. Мелькнула мысль: «Немедленно уничтожить!» Он кинулся к двери, намереваясь выбросить куда-нибудь эту страшную крामолу. Потом остановился. Сжечь! Быстро зажег лампу, поднес к ней письмо и мгновенно отдернул руку. А если кто-нибудь видел, как незнакомец передавал ему этот проклятый конверт? Николай вспомнил прохожих, затем студентов, выходящих из университета... Среди них был Петр Демин, сын петербургского фабриканта, франт и выскочка, о котором говорили, что он фискалит на товарищей. Он видел, видел! Донесет! Что делать? Что делать? Спина Николая покрылась холодным потом, слезы душили его. И вдруг он вскочил на ноги и метнулся к двери. Вот оно, единственное, правильное решение: опередить Демина, самому донести в полицию на того незнакомца.

А если не поверят? Спросят, почему именно тебе отдал молодой человек это письмо? Значит, ты с ним связан?

Николаю стало душно. Он подошел к окну, открыл форточку. Ворвавшаяся струя свежего воздуха опажнула

его, сдула на пол листок письма.

Наступил вечер. Безучастным взглядом смотрел Николай в окно. О свидании с Аней он уже не думал. Все ему было безразлично. Неожиданно Николай встрепенулся и поднял письмо с пола. «Нет, надо что-то предпринять! — решил он... — Пошлю-ка я письмо по почте... Себя же скрою... Чтобы не иметь неприятностей. Бережного и бог бережет. Но долг свой перед отечеством и престолом я выполню».

Николай ухватился за эту мысль и, быстро достав лист бумаги, начал писать: *«Петербург, 14 марта 1866 года.* (Он решил, что письмо отправит на следующий день.)

Ваше сиятельство!

Получив вчера на улице от какого-то мне неизвестного человека письмо, здесь приложенное, с просьбою прочитать его и передать студентам по прошествии шести дней, я, пришедши домой, решился вскрыть это письмо немедленно, и, прочитав в нем возмутительное воззвание против моего государя, я решился представить его Вашему сиятельству, надеясь, что Вы предпримете меры к прекращению дальнейшего распространения этих воззваний.

Человек, вручивший мне письмо, будет, по всей вероятности, ходить около зданий университета...»

И подписался: «Студент». Затем он взял конверт и написал на нем: «Его сиятельству господину Генерал-Губернатору». Немного подумав, Николай приписал в скобках в нижней части конверта: «Весьма важно. Передать немедленно». Потом, решив, что он все же сможет понадобиться полиции, приписал на своем послании: «Если Ваше сиятельство желает меня видеть, то потрудитесь приказать напечатать в «Полицейских ведомостях» следующее: «Требуется Н.».

Вместе со своим письмом он запечатал полученную прокламацию и конверт, в котором она была. Ибо конверт тоже являлся вещественным доказательством этого преступного действия.

Воззвание «Друзьям рабочим», которое переслал в канцелярию Николай, очень сильно удивило и озадачило генерал-губернатора. Оно было написано простым, доступным для трудовых людей языком. Человек, который писал его, хорошо знал нужды и чаяния народа. Кто же он?

В среду, 16 марта 1866 года, в официальном отделе газеты «Полицейские ведомости» появилось объявление:

«Канцелярия С.-Петербургского военного генерал-губернатора приглашает в оную Н. на 17 число сего марта, в четверг».

А Николай в этот день, как обычно, после занятий зашел в кухмистерскую и был удивлен царившим там оживлением. Молодежь окружила студента-медика Сергея, невысокого, сухощавого юношу, в очках, скептика по натуре. Сейчас он был возбужден.

— Подошел он, господа, ко мне, сунул вот этот конверт, да как гаркнет: «Вскрой через неделю». И исчез.

— Когда это было? — спросил Николай.

— С полчаса назад.

— Ну, а вы?..

— Каюсь, не удержался: тут же разорвал конверт. Как прочел, братцы, первые строчки, так за голову схватился. Прохожие на меня, как на сумасшедшего, смотрели.

— Что же в этом письме?

— А вы послушайте.

И Сергей начал читать знакомое Николаю воззвание... Студенты внимательно слушали. Когда же он кончил, наступила тишина. Правдивые, искренние слова воззвания задели за живое юношей, собравшихся в кухмистерской. В основном здесь были разночинцы. Все очень долго молчали. Все сидели взволнованные. Лишь один Николай улыбался. Тяжкий груз свалился с его души. Еще утром он с ужасом думал о том, что завтра нужно идти в канцелярию генерал-губернатора, а теперь... Оказывается, незнакомец не только ему вручил конверт с воззванием. Следовательно, нечего переживать...

Наконец паузу прервал Александр.

— А ведь все верно написано, братцы,— тихо сказал он.— Бедствует народ... Стонет нищая Россия.

Когда возвращались домой из кухмистерской, Николай рассказал Александру о своей встрече с незнакомцем и показал газету «Полицейские ведомости».

— Пойдешь?

— Не знаю...

— Ни в коем случае не ходи.

17 марта в канцелярии генерал-губернатора с самого раннего утра ждали Н. Однако вместо него пришло письмо, в котором автор сообщал, что он болен и быть в четверг не может, но как только ему будет лучше, он сразу же явится. Но и в следующие дни этот таинствен-

ный Н. не появлялся. Автор крамольного воззвания остался неизвестным. Вместе с письмом Николая оно было положено в дела об анонимных письмах.

НЕСЛЫХАННОЕ

Городовой Лаксин заступил на свой пост около Летнего сада. При хорошей погоде сюда часто к трем часам приезжал государь император. У Александра II была привычка совершать прогулки по аллеям Летнего сада. Об этом знали в городе, и многие специально шли смотреть на царя...

Лаксин дорожил своим мундиром и нес службу исправно. Прежде чем направиться к Летнему саду, он всегда придирчиво проверял свое обмундирование, тщательно, до зеркального блеска, начищал сапоги, а перед самым выходом из дома заставлял жену еще раз осмотреть его со всех сторон. Так изо дня в день, в течение четырех с лишним лет, и в жару, и в холод, и в любую непогоду унтер-офицер Артамон Лаксин появлялся у Летнего сада. Вот и сегодня, 4 апреля 1866 года, в полдень он приступил к исполнению своих обязанностей.

До мельчайших подробностей знал Лаксин свой участок. Место было тихое и спокойное, несмотря на то, что в Летнем саду и около него всегда бывало много людей. Но это, как говорил Лаксин, была публика «чинная и благопристойная».

Судя по удлинившимся теням, он прикинул, что скоро будет уже три часа и что, возможно, государь с минуты на минуту изволит пожаловать сюда. Артамон Лаксин внимательно посмотрел в сторону главных ворот. Там уже собралась небольшая толпа: ждали приезда царя. Картина эта была знакома Лаксину: такое можно было наблюдать ежедневно в это время...

К Лаксину подошел надзиратель Черкасов. Он, как и обычно, был сильно озабочен. Лаксин вытянулся во фрунт и приложил руку к козырьку.

— Минут через десять-пятнадцать ожидается приезд государя. Так что иди, братец, опять к боковой калитке и никого в нее не впускай!

— Слушаюсь, ваше благородие! — ответил Лаксин.

Он никогда не задавал лишних вопросов. Не любил. И имел привычку молча, безропотно и точно исполнять все приказания. Вот и теперь, четко козырнув, он повернулся и бодрым шагом направился к калитке.

Лаксин приблизился к калитке и остановился около нее. Он видел, как промчались по набережной двое конных жандармов... Вот они остановились у главных ворот... А минуту спустя к боковой калитке, где стоял Лаксин, подошел высокий молодой человек в коротком черном пальто. Он держался твердо, уверенно, словно не видел городского.

— Куда? — спросил Лаксин, преграждая ему путь.

— В Летний сад.

— Зачем?

— Прогуляться.

— Не велено никого пускать!

— Это почему же? Всегда можно, а сегодня «не велено»?

Лаксин ничего не ответил и демонстративно отвернулся от молодого человека. Тот улыбнулся.

— «Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулков?»

— Где угодно гуляйте, а туда не велено.

— Да кем же?

— Начальством!

— Ну что же, не велено так не велено... — проговорил молодой человек и медленно пошел по направлению к главным воротам.

Лаксин равнодушно посмотрел ему вслед, привычным движением поправил шапку и замер на своем посту. До конца дежурства оставалось еще три часа... Мимо шли прохожие, поглядывая изредка за решетку Летнего сада: «Не видно ли государя?» Но, вероятно, было еще рано. Некоторые из них подходили к калитке, останавливались, с удивлением замечали, что она заперта и что около нее стоит городской.

В это самое время Николай, знакомый нам студент, проходил мимо Летнего сада. Он подошел к главным воротам. Около них стояла большая толпа. Из разговоров собравшихся он понял, что ожидается приезд государя императора. И вдруг Николай остолбенел: прямо на него шел тот самый незнакомец, который в середине марта вручил ему воззвание.

«Что он здесь делает? Уж не замышляет ли что-либо против царя? Ведь он же писал об этом в своем письме!..» — с тревогой подумал Николай. Он хотел бежать к городскому, сообщить: «Вот он, злодей!» Но страх за возможные последствия удержал Николая, и он, почти бегом, направился домой.

А молодой человек тоже подошел к главным воротам, немного постоял, затем повернулся и направился назад, в сторону Прачешного моста, к боковой калитке.

Лаксин заметил его издалека. Заметил и насторожился: «Что ему опять надо?» Неизвестный подошел к Лаксину.

— Я же сказал: «Не велено!»

— Так я ненадолго...

— Отойдите!

— Мне нужно подать прошение государю.

— Идите к главным воротам, там надзиратель...

С ним и говорите.

— Там народ, и государю будет не до меня, а здесь я никому не помешаю и мне тоже...

Лаксин положил руку на эфес шашки:

— Отойдите! Или я...

Молодой человек махнул рукой и отошел.

На набережной показалась коляска Александра II. Она приближалась. Городовые, стоящие на панели около главных ворот, моментально вытянулись и застыли. И тут Лаксин увидел, что молодой человек, только что подхитивший к его посту, бежал туда...

Коляска остановилась около ворот, и царь, сбросив шинель на руки городовому, быстро прошел в Летний сад.

Когда молодой человек подбежал к главным воротам, публика, наблюдавшая приезд Александра II, уже начала расходиться. Но некоторые стояли на месте, чтобы еще раз посмотреть на царя.

— Опоздал! Какая досада! — воскликнул молодой человек.

— А ты не печалься, соколик, государь-батюшка поедет обратно, вот и увидишь, — сказал старичок, стоящий у самых ворот.

— А скоро ли государь поедет обратно? — спросил его какой-то мастеровой.

— Их императорское величество гулять изволят! А ты без понятия: «Скоро ли?»

— Страсть как охота еще раз увидеть их! — с горечью произнес мастеровой.

— Да ты, видать, не питерский? — спросил старик.

— Нет, недавно мы тут...

— К родственникам приехал али как?

— Подмастерье мы, картузных дел мастера.

— А сам-то откуда будешь?

— Из-под Костромы...

— Звать-то как? — продолжал любопытствовать старик.

— Осип Комиссаров.

— Крестьянин, стало быть?

— Крестьянин...

— Да какое ноне крестьянство-то... — произнес рядом со стариком рослый парень.

— Знамо дело! — поддакнул старик, потом, пожевав губами, произнес, указывая Комиссарову на рослого парня:

— Вот и мы с сыном тоже в город подались. На отхожий промысел... Так тебя Комиссаровым, слышь, кличут-то?

— А мы — Зонтиковы... Зеленью торгуем на Пустом рынке что у Гагаринской... Ты костромской, а мы ярославские... Землики вроде... Открестьянствовали!..

— Землицы бы!.. — мечтательно произнес молодой Зонтиков.

— То-то и оно! — опять поддакнул старик.

— Вот царь-батюшка волю-то дал, да все помещики мутят... По-своему оборачивают...

Молодой человек, услышав эти слова, чуть было не вступил в спор, но сдержался: «Не время сейчас!» — и продолжал прислушиваться к разговору.

— Зато сам царь-батюшка печется о нас денно и ночью! — с уверенностью в голосе произнес Комиссаров.

— Прав ты, соколик, ох, как прав!.. — перекрестился старик. — Кабы не помещики...

— Мечту давнюю исполнил, — сказал Комиссаров. — Сегодня вот на царя-батюшку, государя нашего освободителя хоть одним глазом-то да взглянул. Но и уходить-то теперь не хочется.

— Погоди, соколик, погоди, — проговорил старик и опять зачем-то перекрестился. Мастеровой сделал то же самое.

Молодой человек удивленно посмотрел на мастера, который назвался Осипом Комиссаровым, и невольно сравнил себя с ним. Ему показалось, что они почти одного возраста. «Освободитель! — подумал молодой человек. — Как же темен еще народ... А когда разберется, поймет, его не удержишь! Придет время — и поднимется Русь, сметет всех дворян-тунеядцев вместе с царем-деспотом!»

Комиссаров ухватился руками за железные прутья

ограды, прижался к ним и стал пристально смотреть в глубину сада. Однако, как он ни старался, как ни вертел головой в разные стороны, разглядеть ничего не смог. На аллеях — ни души. Царь отошел уже далеко. Его не было видно.

— Слышишь, парень,— старик резко дернул Комиссарова за полу пальто и оттащил от решетки.— Скоро их величество кончат гулять по Летнему саду и пойдут обратно к коляске...

«Пойдут обратно к коляске... Пойдут обратно к коляске... К коляске... К коляске,— вдруг забилося в голове у молодого человека.— Правильно! Когда пойдут к коляске!»

— ...Тут ты их и увидишь,— продолжал старик.

Но этих слов молодой человек уже не слышал. В ушах его звенело, глаза застилало какой-то рябью. Неприятная дрожь и волнение охватили его. Потом звон начал постепенно стихать, и он опять услышал голос старика:

— Терпение, соколик, иметь надо, они недолго гуляют... Подожди!

«Подожду, конечно»,— усмехнулся про себя молодой человек. Он отошел в сторону, но тут же вернулся и встал сзади этих людей, его правая рука по-прежнему была заложена за борт пальто...

А городского Лаксина, стоящего около калитки, все еще мучили сомнения. «Надо бы сообщить господину надзирателю!» — мелькнула у него мысль. Но того близко не было. Рука городского машинально потянулась к свистку: «Свистеть! Свистеть!» — и он поднес его к губам. Но тут новая мысль обожгла Лаксина: «Свистеть при государе императоре? Из-за чего? А если и на самом деле — прошение?.. Тогда прощай все: служба, довольствие...» Лаксин быстро вложил свисток в кожаный кармашек портупей и, подхватив рукой шашку, бросился бежать к главным воротам. Но, пробежав шагов пятнадцать, остановился: «Что я делаю? А калитка? Я же не должен ее оставлять!»

Лаксин вернулся назад к калитке, осторожно открыл ее и вошел в Летний сад. Вошел и застыл, вытянув руки по швам. Государь император медленно шел по аллее в сопровождении своих племянников. Они о чем-то весело разговаривали. А сзади, шагах в двадцати, шел надзиратель Черкасов. Но вот Александр II повернулся и пошел обратно, к выходу. Лаксин стал осторожно подавать Черкасову знаки, но тот не замечал их. А увидев, понял,

что у Лаксина что-то важное, и подошел к нему.

— Тут один подходил, ваше благородие... два раза...

Черкасов насторожился:

— Ну и что?

— Просился пропустить его через эту калитку в Летний сад.

— Зачем?

— Прощение, сказывал, хочет подать государю императору.

— Кто такой?

— Не могу знать, ваше благородие!

— Не пропустил?

— Никак нет, ваше благородие! Как приказывали!

— Молодец!

— Рад стараться, ваше благородие!

— Где он сейчас?

— Ушел к главным воротам.

— Давно?

— Как только государь император приехать изволили.

— Каков из себя?

— Высокий, в темном пальто, в фуражке... молодой сам... лет двадцати пяти, не более...

— Благодарю, братец! — произнес надзиратель Черкасов.

Жалобы и прошения полагалось сдавать в канцелярию. Но было немало охотников вручить их прямо царю. Что с ними можно было поделаться? Они появлялись совершенно неожиданно, словно из-под земли. Вот и сейчас...

Обернувшись, Черкасов увидел, что Александр II уже приближается к главным воротам. Еще минута — и он пройдет через них, сядет в свою коляску и тогда...

Не мешкая ни секунды, Черкасов толкнул железную калитку и, проскочив в нее, бросился бегом вдоль решетки Летнего сада. Бежать было очень трудно, но он напрягал все силы. «Только бы успеть!.. Только бы успеть!..»

Еще издали Черкасов различил в толпе, ожидавшей выхода Александра II из Летнего сада, высокого молодого человека, который неподвижно стоял около самых ворот. «Вероятно, тот, что недавно подходил к городскому Лаксину», — мелькнула у Черкасова мысль. А до ворот было еще далеко...

По толпе пробежал взволнованный шум голосов:

— Государы!

— Царь-батюшка!

— Где?

— Да где же?

— Вон! Вон! Смотрите!

— Да не толкайтесь же!..

— А вы не наступайте на ноги!

— Куда прешь, дурак?

— От дурака и слышу!

— Скотина!

— Он приближается!

— Шапки! Шапки долой! — не произнес, а скорее выкрикнул старик Зонтиков. Теперь он стоял впереди высокого молодого человека.

Толпа зашевелилась, люди обнажили головы. Молодой человек посмотрел в сторону приближающегося Александра II.

— Шапку!.. Шапку!.. — услышал он около себя голос Комиссарова.

Молодой человек снял фуражку; нехотя, но все же снял: не стоять же одному среди всей этой толпы в головном уборе...

— Дорогу, господа! Дайте дорогу его императорскому величеству! — зычно произнес полицейский.

И, пуская в ход кулаки, крикнул старому Зонтикову, который невесть как сумел пробраться вперед и пытался подойти ближе к экипажу Александра II:

— Осади, борода!

— Идет! Идет! — раздались голоса.

Молодой человек стоял, не двигаясь, он тяжело дышал. На лице выступили крупные красные пятна. Нервы его были напряжены до предела. «Сейчас он появится в воротах... Еще несколько шагов — и он пройдет мимо... А потом должен остановиться около экипажа, потому что там городской уже держит наготове в руках его шинель».

Александр II, милостиво приветствуя своих верноподанных еле заметными кивками головы, медленно шел к экипажу. Вот он поравнялся со стариком Зонтиковым... До экипажа оставалось пять-шесть шагов...

Молодой человек резко рванулся вперед, оттолкнул в одну сторону Комиссарова, в другую — старика Зонтикова и выпрыгнул в свободное пространство — в «коридор», по которому только что прошел Александр II. Резким движением руки он выхватил из-за борта пальто пистолет и направил его в сторону царя. В его висках со

страшной силой стучали какие-то молоточки, и он мысленно повторял про себя: «Только бы не промахнуться!.. Только бы не промахнуться!»

— Батюшки!..— воскликнул старый Зонтиков.

В этот же момент кто-то сильно толкнул Комиссарова, и он дико закричал. Услышав этот крик, Александр II быстро повернулся и увидел направленный на него черный зрачок пистолетного дула. Прогремел выстрел...

В ЗИМНЕМ

Четвертого апреля 1866 года — понедельник — день заседания Государственного Совета. Оно началось в половине первого и окончилось около четырех часов. Предвкушая отдых, члены Совета уже начали собираться домой, как вдруг пронеслась весть, что случилось нечто страшное. Сказали, что с этим известием прибыла племянница Александра II...

Через несколько минут в комнату быстро вошла возбужденная женщина в сопровождении молодого человека в военной форме. Это были племянники царя — герцогиня Баденская и герцог Лейхтенбергский.

— Стрелял!.. Стрелял!..— едва успев войти, произнесла герцогиня.

— Кто?

— В кого стрелял?

— Когда?

— Случилось ужасное!..— еле слышно проговорила герцогиня.

— В государя Александра Николаевича сделан был выстрел при выходе его из Летнего сада!..— пояснил герцог Лейхтенбергский.

Все оцепенели. Никто из присутствующих не смог произнести ни слова. И только через некоторое время кто-то шепотом, осторожно спросил:

— А государь?..

— Слава всевышнему, он остался жив! — произнес герцог.

— Ранен? — так же осторожно спросил князь Долгоруков, начальник Третьего отделения.

— Цел и невредим! — ответил герцог.

И сразу же стало шумно в комнате от возбужденных голосов сенаторов. Оцепенение как рукой сняло. И всем захотелось узнать подробнее о случившемся.

— Кто же стрелял?

— Неизвестно.

— Скрылся? — спросил Долгоруков.

— Нет. Задержали. И по приказанию государя отправили к вам, в Третье отделение.

Долгоруков немедленно, на ходу простившись с присутствующими, быстрыми шагами, насколько позволял его преклонный возраст, направился к выходу, чтобы как можно скорее добраться до Третьего отделения.

Было спрошено все: и во сколько произошел выстрел, и кто помог задержать стрелявшего, и откуда стреляли, и каков из себя «злодей».

— А что же было потом? — спросил опять кто-то из сенаторов.

— Государь изволили поехать в собор.

— В какой?

— Вероятно, в Казанский, принести благодарение всевышнему за избавление от угрожавшей ему опасности. А мы направились к вам, сюда...

— Господа! — произнес князь Гагарин. — Нам надо тоже помолиться всевышнему, поблагодарить его за то, что он спас государя, Россию и уж, конечно, многих из нас...

— Вы правы! Надо помолиться! — поддержали его.

—...Попади этот выстрел в государя, что было бы теперь на улицах!..

— А завтра?!

И весь Государственный Совет в полном своем составе, кроме уехавшего князя Долгорукова, отправился в большую дворцовую церковь. Немедленно послали за священником, и, когда он явился, князь Гагарин сказал:

— Батюшка, отслужите нам благодарственный молебен.

— А по какому случаю, осмелюсь спросить?

— По случаю спасения государя. В него стреляли.

— Стреляли! Господи помилуй!.. — в ужасе отшатнулся священник.

После того как был отслужен первый в России благодарственный молебен в честь спасения царя, члены Государственного Совета направились во внутренние царские покои, чтобы принести Александру II «лично первое поздравление о спасении».

КТО ЖЕ СТРЕЛЯЛ?..

А теперь вернемся к событиям в Летнем саду.

Пуля просвистела мимо императора. На какой-то момент наступила тишина, и тут же ее разорвал свисток полицейского, резко отдавшийся в ушах молодого человека. Он рванулся в сторону и, воспользовавшись суматохой, бросился бежать по набережной в сторону Прачешного моста.

— Держи! — закричал надзиратель Черкасов и погнался за стрелявшим. Но его опередили; за молодым человеком уже гнались преследователи, в числе которых были и молодой Зонтиков, и Комиссаров, и сторож Летнего сада Безменов, и городской Заболотин, стоявший в момент выстрела около экипажа царя. Побежали за стрелявшим и еще какие-то люди. Впереди всех оказался Безменов. Он остервенело вцепился в полу пальто молодого человека. Тот попытался вырваться, но это ему не удалось. Подбежавший Зонтиков схватил его за волосы и с силой дернул на себя. Молодой человек упал, его схватили, начали неистово бить...

— Дурачьё! Что вы делаете? Ведь я для вас же, а вы не понимаете! — надсадно крикнул задержанный, но напрасно. Удары сыпались один за другим...

— Отставиты! Прекратиты! — задыхаясь от быстрого бега, не крикнул, а просипел подбежавший надзиратель Черкасов. Но его, конечно, никто не услышал. Тогда он выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в воздух. Толпа моментально отпрянула от лежавшего на земле молодого человека. По лицу его струилась кровь, одежда была разорвана. Он попытался подняться на ноги, но не смог.

— Помогите встаты! — распорядился Черкасов, обращаясь к Зонтикову и Безменову.

Те моментально бросились к молодому человеку и подняли его.

— Ведите к главным воротам — приказал Черкасов.

Молодого человека повели, крепко держа за руки; он тяжело дышал, ноги его подкашивались и еле передвигались, левый глаз заплыл. В таком виде его и подвели к царю.

Александр II сделал шаг вперед, вскинул голову и в упор посмотрел на задержанного. Растерзанный вид его вызвал на лице царя что-то наподобие усмешки, которая быстро уступила место растерянности... Только

теперь Александр II понял, какой страшной беды он избежал.

Кругом все молчали. Взгляды были устремлены на молодого человека. Люди с нескрываемым любопытством смотрели на задержанного: «Кто же он, этот преступник, дерзнувший поднять руку на самого царя, помазанника божьего?» А с лица надзирателя Черкасова не сходило выражение ужаса и страха за случившееся: «Просмотрел! Да за это...»

Между тем стрелявший поднял голову и встретился взглядом с Александром II. Одна щека царя начала нервно подергиваться, но он не отвел глаз. Не мигая смотрел на него и молодой человек. Так прошло несколько секунд. Наконец царь, подойдя почти вплотную к стрелявшему, резко спросил его:

— Ты кто?

— Человек! — последовал ответ.

— Поляк?

— Нет, русский.

Царь удивленно вскинул брови. Если бы он, этот стрелявший, был поляком или агентом польского ржонда, то все было бы понятно... Три года назад польское восстание было подавлено, но тайной вражды не унять никакими «пожарными» мерами царского самовластия. Отголоски шестьдесят третьего года тревожили Александра II. Корни вольнолюбия и стремления к свободе нельзя было вырвать ни усилиями полицейских, ни силами жандармов, ни руками палачей. Александр II ненавидел поляков, они его — тоже. Они-то могли подослать даже террориста! А тут — русский!..

— Почему ты стрелял в меня?

— Почему? — молодой человек насмешливо улыбнулся и пристально посмотрел на царя. Их взгляды опять встретились.

— Почему же ты стрелял в меня? — вновь прозвучал в ушах молодого человека вопрос царя.

— Почему? Да потому, что ты обманул народ, обманул крестьян — обещал землю да не дал!

Смелый, дерзкий ответ молодого человека вызвал неодобрительный ропот в толпе. Александр II даже побледнел. Он на секунду задержал свой взгляд на тонкой струйке крови, которая медленно текла по лицу неизвестного, и бросил перепуганному надзирателю Черкасову:

— В Третье отделение! Доставить в целости и сохранности! Под личную ответственность!

— Слушаюсь, Ваше императорское величество! — вытянулся перед царем Черкасов.

Царь уехал, но толпа продолжала молча стоять около Летнего сада. Не двигался с места и Черкасов, только удивленно смотрел на задержанного. Жандарм был перепуган и никак не мог понять, никак не мог осознать случившегося... А генерал-адъютант Тотлебен, вышедший из Летнего сада вместе с Александром II, беспокоило смотрел то на удаляющуюся коляску императора, то на молодого человека, только что стрелявшего в царя. Тотлебена, известного генерала, большого знатока военного дела, поразило удивительный факт: выстрел, произведенный с такого близкого расстояния, даже не ранил царя.

«Но почему? — думал Тотлебен. — В чем здесь причина? Или стрелявший так сильно волновался... или... или его подтолкнули?!» И вдруг эта неожиданно пришедшая мысль завладела им полностью. Он лихорадочно начал искать глазами кого-то в толпе, машинально достал платок и вытер вспотевшее лицо. План созрел мгновенно. Тотлебен властным взглядом еще раз бегло осмотрел толпу и громко спросил:

— Кто ему помешал?

Но ответа не последовало. Люди нерешительно озирались вокруг в поисках того неизвестного, который так нужен был Тотлебену в этот момент.

— Кто его задержал? — крикнул Черкасов, решив помочь генералу.

— Я! — воскликнул Безменов, сторож Летнего сада. — Я задержал его, ваше превосходительство!

Но в это время из толпы выскочил старик Зонтиков. Он решил, что такой момент упускать никак нельзя.

— Батюшка! Отец родимый! — бросился он на колени перед генералом. — Сын мой его задержал! Сын мой — Василий Зонтиков! Вот он!

Тотлебен удивленно посмотрел и на Безменова, и на Зонтикова-сына, и на старика, почувствовав, что эти люди не понимают его, не догадываются, что ему от них нужно, повернулся к стрелявшему и, чуть улыбнувшись, сказал не без иронии:

— Стрелял, да промахнулся!

Затем он бросил взгляд на тщедушного мастерового:

— А не ты ли это его подтолкнул?

Комиссаров тупо и растерянно молчал.

— Значит, я не ошибся? — настойчиво повторил Тотлебен. — Как же это тебе удалось?

— Господь бог помог!.. Успел я ударить его по руке и тем, стало быть, помешал злоумышлению!

— Кто такой? Как имя?

— Крестьянин... Костромской крестьянин Осип Комиссаров...

— Выходит, ты спас жизнь государю императору! Крестьянин, говоришь?

В страшном волнении Осип Комиссаров упал перед ним на колени и залепетал:

— Крестьянин... крестьянин... Осип Комиссаров...

— Это хорошо! Это же подвиг, достойный Ивана Су-санина! — произнес Тотлебен с большим пафосом.

— Премного благодарен!.. премного.., — бормотал Комиссаров, лоя полы его шинели и пытаясь их поцеловать. По лицу его текли слезы, слезы радости.

— Подымись!

— Не смею... не смею, отец-батюшка!

— Подымись, говорю!.. И в мою коляску. Поедешь со мной!

Тотлебен повернулся и пошел к своему экипажу. Комиссаров же не двигался с места: он просто не понимал того, что говорилось ему. Двое полицейских быстро подняли его на ноги.

— Очумел, что ли, от радости? Такое тебе привалило, а ты... Иди быстрее!

— Куда? — удивленно спросил Комиссаров.

— В коляску!

— В какую?

— К их высокопревосходительству!

— Как можно?.. — пролепетал растерявшийся Комиссаров.

— Зовут!

И полицейские повели ничего не понимающего Комиссарова к коляске. Даже сесть помогли...

Во время всей этой сцены молодой человек стоял молча, с большим презрением и негодованием смотрел он, как Комиссаров ползал в пыли...

К надзирателю подошел городской Лаксин.

— Этот? — спросил у него Черкасов.

Лаксин внимательно посмотрел на задержанного:

— Кажется, он.

— А точнее?

— По одежде вроде он... По росту тоже... А по лицу признать трудно...

Умчалась и вторая коляска. Тотлебен вез в Зимний

дворец «спасителя» царя. Не успело еще отзвучать эхо выстрела, а уже родилась легенда о «чудесном» спасении царя. Коляска умчалась, а задержанного на обычной пролетке под усиленным конвоем жандармов отправили в Третье отделение. Немедленно доложили дежурному офицеру. Тот не понял сути случившегося, а когда разобрался, то сразу же приказал отвести арестованного в особую комнату для допросов.

— Фамилия? Имя?

В ответ — молчание. Жандарм снова задал вопрос — и снова молчание. Вопрос прозвучал в третий раз, и тогда молодой человек отвернулся от жандарма.

— Не желаете отвечать?

— Нет!

— Откуда вы родом?

И опять молчание. Арестованного обыскали.

На столе появились вещи: портмоне, яд в пузырьке, пули, порох, письмо какому-то Николаю Андреевичу, рукописное воззвание «Друзьям рабочим»...

— Что это? — спросил жандарм, прочитав первые строчки.

— Мои мысли... А вообще-то вы можете считать это прокламацией.

— Если это действительно так, то и посчитаем! — ответил жандарм и отложил бумагу на дальний край стола.

Он зачем-то взял горсть пороха, пересынал его из ладони в ладонь, потом стряхнул на стол. Таких арестованных в жандармском управлении еще не бывало. Ведь этот человек поднял руку на самого царя! Все было непонятно... Это произошло впервые в истории России!

— Ваш пистолет? — спросил жандарм, указывая на отобранное у арестованного оружие.

— Мой!

— Вы из него стреляли?

— Другого у меня не было.

Секретарь подал жандарму опись вещей, конфискованных у арестованного.

— Так, так... Хорошо... Распишитесь в перечне, — произнес жандарм, протягивая молодому человеку лист бумаги.

Тот чуть заметно улыбнулся:

— Не желаю.

— Вы отказываетесь подписать?

— Да.

И опять отвернулся, как бы говоря, что не хочет иметь разговора на эту тему.

Процедура установления личности арестованного и проверки его вещей; обнаруженных при задержании, хотя и была проведена с исполнением всех формальностей, требуемых инструкцией, закончилась безрезультатно: фамилия стрелявшего так и не стала известна жандарму. В соответствующей графе протокола первого допроса секретарь записал: «Отказавшийся назвать себя», а потом в скобках добавил «№ 17». Это был номер камеры, в которую жандармский офицер приказал конвойным сопроводить арестованного. А молодой человек все еще стоял недвижимо около горящего камина. Казалось, что все происходящее его совершенно не касается. И когда жандармский офицер приблизился к нему, ни один мускул на его лице не дрогнул; он повернулся и спокойно посмотрел на подошедшего.

— Прошу следовать,— произнес жандарм.

— Что?

— Прошу следовать в камеру,— уточнил жандарм.

Арестованного увели. Отобранное у него воззвание «Друзьям рабочим» привлекло внимание жандарма, он прочел его целиком. Прочел и те строки, которые были зачеркнуты в воззвании, попавшем в руки Николая. В них говорилось: «Грустно, тяжело мне стало, что так погибает мой любимый народ, и вот я решился уничтожить царя злодея и самому умереть за мой любезный народ. Удастся мне мой замысел, я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу — русскому мужичку. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся». И эти его слова полностью сбылись через 15 лет.

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Пятого апреля, на следующий день после ареста, неизвестный, который еще в Третьем отделении назвал себя Алексеем Петровым, был передан в распоряжение следственной комиссии.

Эта «Высочайше учрежденная следственная комиссия» и занялась расследованием дела о покушении на Александра II.

Одним из первых на допрос был вызван Степан Забо-

лотин — городской, который прислуживал у царского экипажа четвертого апреля.

В комнату, где заседала комиссия, вошел человек очень высокого роста, сухощавый, с продолговатым лицом и чрезмерно пышными усами. На вид ему было лет сорок — сорок пять. Лихо щелкнув каблуками, он замер по стойке «смирно» перед восседавшими генералами.

Председатель комиссии улыбнулся, подумав про себя, что именно такие служаки всегда бывают полезны трону, верны государю и отечеству.

— Так вот что, братец, — произнес он. — Ты должен показать нам все так, как это было в тот печальный день.

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство! — отчеканил городской.

— Фамилия, имя?

— Заболотин... Степан, ваше высокопревосходительство!

— Православный?

— Так точно.

— На исповеди аккуратно бываешь?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Что же ты, братец, можешь рассказать комиссии?

— Это про то, как случилось?

— Да.

— Стою я, стало быть, около экипажа... Государь император уже из сада выходили... Я тут же за свои дела взялся... Только что я отстегнул фартук экипажа с левой стороны и хотел подать государю императору шинель, как услышал выстрел и крики, вследствие которых обернулся и увидел бегущего по направлению к Прачешному мосту по середине мостовой человека в пальто, без фуражки. Я бросился за ним в погоню и в саженьях восьми от ворот Летнего сада успел догнать. Схватил за правую руку и вырвал пистолет, у которого один курок был взведен. В это же время какой-то мастеровой или мещанин, не знаю точно, рванул его за волосы.

— Кто же первый его схватил?

— Я, ваше высокопревосходительство!

— В Третье отделение сопровождал его ты!

— Так точно. Я и Слесарчук.

— Как вел себя задержанный?

— Тихо. Слесарчук спросил у преступника, когда мы ехали на извозчике: «Кто вы такой есть?» А преступник на это ответил: «Нечего вам меня спрашивать, хорошие вы люди, много вы нашего брата перебрали».

Члены комиссии переглянулись. Председатель кашлянул:

— Хватит. Ясно.

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство!

— Можешь быть свободен.

Потом был допрошен отставной солдат, сторож Летнего сада Дмитрий Безменов.

Когда председатель хотел вызвать следующего свидетеля, вошел дежурный офицер и доложил, что прибыл Осип Иванович Комиссаров.

— Пригласите!

Через минуту дверь открылась и в комнату вошел молодой человек лет двадцати трех — двадцати четырех. Он был одет в новый костюм и пострижен по последней моде.

— Проходите, присаживайтесь, Осип Иванович, — мягко, не без тени подобострастия, произнес «их высокопревосходительство».

— Благодарствуем, — ответил Комиссаров.

Кто-то из членов комиссии услужливо подставил стул. Комиссаров немного растерялся, но, почувствовав, что здесь он — желанный гость, сел, закинув ногу на ногу.

— Позвольте спросить вас о том, что произошло в тот трагический день, Осип Иванович, в день, печальный для всех нас.

Председатель подошел к Комиссарову и сразу заметил, что тот изрядно пьян. Однако это обстоятельство сути дела не изменило.

— Мы вас слушаем... — любезно произнес председатель комиссии.

— Я был у Летнего сада... Пришел полюбоваться на нашего любимого и бесценного монарха... — сказал Комиссаров, затем встал и перекрестился. — И вот в тот печальный день я был там... в толпе около Летнего сада. Все долго ждали выхода государя императора... Наконец они показались, толпа зашевелилась... В то время неизвестный мне молодой человек стал проталкиваться мимо меня вперед...

Секретарь аккуратно, слово в слово записывал показания Комиссарова:

— И когда государь изволили одеваться... то есть, надевать на себя шинель, то этот молодой человек выхватил из-под полы пальто пистолет и начал целиться в их величество. Я и без того уже, по назойливости этого че-

ловека, с которой он пробирался вперед, обратил на него внимание, а когда увидел его с пистолетом в руке, то догадался, что он задумал недоброе, и потому в тот самый момент, когда он целился, толкнул его в локоть... Курок щелкнул, но выстрел, благодаря богу, пошел вверх!

Через два часа молодого человека, стрелявшего в Александра II, снова привели в комнату, где заседала комиссия, на повторный допрос.

— Как ваше имя, отчество и фамилия?

— Алексей Петров,— процедил сквозь зубы арестованный.

— Сколько от роду имеете лет?

— Двадцать четыре.

— Какой губернии уроженец?

— Одной из южных.

— А какой именно?

— Я не могу сказать.

— Почему?

— Потому что этим я бы открыл мое семейство, а я не желал бы, чтобы родители мои узнали о совершенном мною поступке. Это ускорит их смерть.

— Давно ли находились в Петербурге?

— Около года.

— Какого вы звания?

— Из помещичьих крестьян. Отец — староста.

— Какое получили образование?

— Окончил на юге гимназию. Имел желание продолжать учение.

— Вы студент?

— Нет.

— Чем же вы занимались в Петербурге?

— Разбивкой камня для мощения улиц, забиванием свай при поправке мостов!..

Члены комиссии недоуменно переглянулись.

— При вас находился запечатанный конверт с двумя экземплярами статьи под заглавием «Друзьям рабочим». Кто сочинял и переписывал их?

— Конверт этот принадлежит мне, писал и сочинял статью тоже я.

— Что означает на одном из этих экземпляров номер восемьдесят шесть?

— Количество переписанных мною экземпляров статьи.

— Почему же на другом нет номера?

— Это черновой лист, вероятно.

— Сколько всего экземпляров вами написано и где они?

— Этот экземпляр последний. По возможности я старался, чтобы все экземпляры попали в руки рабочим, для чего оставлял их в таких местах, где каким-либо образом случайно собираются рабочие.

— Когда вы начали распространять эти экземпляры?

— Только в недавнее время.

— На конвертах вы писали, что вскрыть их следует через неделю. Что значит этот срок?

— Я предполагал, что успею приобрести надежных помощников по распространению статей между рабочими, которые в известный срок одновременно могли бы включиться в это дело...

— Но таковых не оказалось?

— Я говорю только о себе.

— Ну что же... А были ли такие надписи на конвертах, в которые вы вкладывали другие экземпляры?

— Да. Эта надпись была и на прочих конвертах.

— Почему на некоторых был назначен срок пятого апреля?

Молодой человек, назвавшийся Петровым, улыбнулся, подумав о том, что уже сегодня во многих уголках Петербурга будут вскрыты его конверты и что люди поймут, во имя чего он стрелял в Александра II. Прочитают, передадут другим, третьим, четвертым... И он мысленно повторил про себя: «Все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути! Мне не удалось — им удастся!»

— Так почему же все-таки? — вторично спросил председатель комиссии.

— Срок этот не имел какого-нибудь определенного значения... Он нужен был для одновременного распространения этих листов.

— С какой целью?

И тут Петров, помолчав немного, решительно произнес:

— Сегодня пятое! Сегодня люди узнают, почему я стрелял! Это можете узнать и вы, прочитав мою прокламацию. Вы ее ведь тоже имеете. Стоит только потрудиться и тогда незачем будет спрашивать меня. Мотивы моего преступления означены в моем листке к рабочим. Тяжело мое преступление, и наказание будет соразмерно ему, а поэтому я прошу у государя единственной милости — это скорейшего возмездия!

— Всему свое время,— ответил председатель.

Затем он достал из стола еще один конверт и, показав его Петрову, спросил:

— Это тоже ваш?

— Мой! — последовал ответ.

— Кому вы его передавали?

— Какому-то незнакомому студенту,— сказал Петров, посмотрев на номер переписанной копии, и отвернулся.

«СПАСИТЕЛЬ»

На следующий день Комиссаров был приглашен в Английский клуб. В таком обществе он не бывал еще ни разу в жизни. Осип был ошеломлен всем: и вином, и едой, и блеском нарядов, и обстановкой, и поклонниками... Не было только поклонниц. Не было потому, что это был Английский клуб, куда женщинам вход был запрещен.

На несколько недель растянулись празднества дворянства — обеды и ужины в честь Комиссарова-«спасителя» с его присутствием. Многие двери богатых особняков и дворцов гостеприимно распахивались перед Комиссаровым. «Самые что ни есть сановитые генералы возили бедного картузника чуть ли не в золотых каретах из дома в дом, из ресторана в ресторан, упитывая такими яствами, какие и во сне ему не могли присниться, вливая в него целые бочки шампанского, одурманивая его приветственными речами, в которых патриотическое красноречие всевозможных ораторов являлось в полном блеске и на которые его заранее учили отвечать. Почти каждый раз на эти торжества привозили и супругу новоявленного героя, которая, впрочем, скоро познала свое величие и придала себе титул «жены спасителя».

Комиссаров стал пользоваться большим покровительством царя, который даже поместил его фотографию в свой семейный альбом.

Московское купечество прислало в Петербург свою депутацию, для того чтобы вручить Комиссарову золотую шпагу.

Из Парижа прибыло известие: Луи Наполеон награждает Комиссарова орденом Почетного легиона.

Вскоре стало известно, что профессора Петербургского университета по подписке собрали деньги и, пользуясь случаем, открыли на родине Комиссарова, в селе Молвитино, сельское училище. Никто в этом ничего «противоза-

конного» не увидел, хотя обычно царское правительство неохотно открывало сельские училища. Помог случай...

Петербургское дворянство собрало пятьдесят тысяч и купило Комиссарову-Костромскому, новоиспеченному дворянину, поместье... В связи с этим остро словы потешались над дворянскими заслугами Комиссарова. В столице был распространен такой анекдот:

— Вы не знаете, кто стрелял в государя?

— Дворянин.

— А спас кто?

— Крестьянин.

— Чем же его наградили за это?

— Сделали дворянином.

Министр внутренних дел П. А. Валуев 26 мая записал в своем дневнике: «Пересол разных вероподданнических заявлений становится утомительным. Местные власти их нерассудительно возбуждают канцелярскими приемами. Так, моголевский губернатор разослал эстафеты, чтобы заказать адреса от крестьян. Тот же губернатор задерживал адреса от дворянства. Факты о «чудесном» спасении жизни его величества доходят до смешного... Стихотворное верноподданничество производит стихи, вроде следующих:

«Рука всевышнего спасла отца России
И мужа сберегла жене его, Марни...»

Прошло несколько месяцев. «Торжества» не прекращались. Это становилось явно утомительным делом даже для самих организаторов. К тому же Комиссаров, по мнению Валуева, «скоро обнаружил под рукою приставленных к нему неловких дядек свою умственную несостоятельность. Но главное то, что самый подвиг его в день 4 апреля оказался более чем сомнительным. Не доказано при следствии, чтобы он отвел руку или пистолет убийцы. Ген. Тотлебен, который первый пустил в ход эту повесть и, вероятно, действовал под влиянием мгновенных впечатлений и на основании непроверенных сведений и рассказов, теперь вообще признается изобретателем, а не отыскателем Комиссарова».

И от Комиссарова решено было избавиться. «Спасителю» присвоили офицерский чин и торжественно выпроводили из столицы.

Поезд шел на Украину...

Офицеры полка, куда прибыл нести службу Комиссаров, встретили его с любопытством. Однако восторженных приемов, к которым он привык в Петербурге, не бы-

ло. Провинция, глушь, тишина после столицы тяжело подействовали на «спасителя». Новоиспеченный офицер не обременял себя службой. Целыми днями он пьянствовал. Появились признаки белой горячки. Однажды Осип выстрелил в свою жену, но промахнулся. Попытался покончить жизнь самоубийством — неудачно.

Через некоторое время Комиссаров вынужден был уйти в отставку и уехать в свое поместье, подарок столичного дворянства. И здесь, в припадке белой горячки, Осип Комиссаров повесился...

ДОПРОСЫ, ДОПРОСЫ, ДОПРОСЫ...

Среди вещей, отобранных у арестованного, внимание следственной комиссии привлекли флакон с жидкостью и порошки. Все это было направлено на анализ, и через несколько часов стало известно, что «жидкость содержит синильную кислоту, один порошок со стрихнином и восемь порошков с морфием».

Заинтересовавшись этим фактом, следственная комиссия уже далеко за полночь вызвала Петрова на новый допрос.

— Среди вещей, изъятых при аресте, оказались порошки с морфием. Откуда они у вас? Кто вам их выписывал? Кобылин?

Петров удивленно поднял голову: каким образом следственная комиссия установила фамилию врача? Между тем фамилия Кобылина — врача 2-го сухопутного госпиталя была обнаружена на обрывке записки, найденной в кармане арестованного при обыске. Скрывать дальше не было смысла.

— Да, доктор Кобылин.

— Он имеет частную практику?

— Я с ним познакомился в клинике профессора Боткина.

— Когда?

— Точно число не помню. Дней двадцать, наверное, назад.

— При каких обстоятельствах?

— Я обратился с жалобами на состояние здоровья. Был им принят. От него же я получил и рецепты.

— Он знает вашу фамилию?

— Я ему представлялся Владимировым.

Небольшая передышка, и члены комиссии собираются вновь.

Петрова-Владиминова снова вызывают для допроса. А идет уже второй час ночи.

— Значит, медику Кобылину вы были известны под фамилией Владимировова?

— Да.

— Где же вы проживали в Петербурге?

— В разных местах.

— Точнее?

— Жил на Выборгской стороне, на Оренбургской улице, в доме Шиль, у мещанина Павла Семеновича Цеткина.

— Под какой фамилией?

— Под своей.

— Под фамилией Владимировова?

— Да.

— У вас были документы на имя Владимировова?

— Нет.

— Как же вы остановились у Цеткина?

— Цеткину я объяснил, что у мещанин Владимиров, приехавший сюда из Москвы искать какого-нибудь конторского или иного дела.

— И он от вас не потребовал паспорта?

— Потребовал, но я сказал, что поторопился уехать из Москвы, а поэтому не захватил с собой паспорта, но что у меня есть там довольно значительные по своему положению и влиянию знакомые и благотворители, которые могут и без меня выхлопотать увольнительный вид... и выслать его мне.

— И сколько же времени вы прожили таким образом без вида в квартире Цеткина?

— Около двух недель, пока хозяйка не предложила мне сама удалиться.

Ни пятого, ни шестого апреля Владимиров так и не сказал своего настоящего имени. Допросы продолжались и днем, и ночью. Несколько раз его принимался утешать священник. Владимирову не давали отдыха. Требовали, чтобы он назвал сообщников.

Между тем Александр II потребовал от председателя следственной комиссии подробного отчета. Тот был вынужден признать:

— Все действия следственной комиссии, ваше императорское величество, остаются до сих пор безуспешными... Подсудимый из каких-то видов с упорством скрывает свое настоящее имя и звание.

— Может, он все-таки поляк?

— Нет, ваше величество... Преступник пишет по-русски грамотно, я бы даже сказал литературно... Все усилия снять с него фотографический портрет не увенчались успехом: он умышленно закрывает лицо рукой.

— Что же вы думаете делать дальше?

— Все необходимое для того, чтобы преступник сказал правду?

— Потомите еще, пока он не согласится на откровенность! Запирательство преступника необходимо сломать. Я обязываю вас принять по отношению к нему самые деятельные и энергичные меры. С завтрашнего дня мы все милостивейше назначаем председателем комиссии графа Михаила Николаевича Муравьева.

8 апреля в «Сенатских ведомостях» было опубликовано сообщение о приеме сенаторов, где Александр II, между прочим, заявил: «Личность преступника до сих пор еще не разъяснена, но очевидно, что он не тот, за кого себя выдает. Всего прискорбнее, что он русский». На сии последние слова сенатор, тайный советник Матюнин сказал: «Государь, мы питаем себя надеждою, что дальнейшее следствие разъяснит личность преступника, и имя русского останется незапятнанным». На это Его Императорское Величество изволил ответить: «Дай бог».

Александр II надеялся, что с приходом в комиссию Муравьева дело изменится. И он не ошибся. Муравьев был известен в то время всей России под именем Муравьева-вешателя. Грубый и жестокий человек, он снискал себе печальную славу при подавлении польского восстания в 1863—1864 годах. Муравьев трезво оценивал свою деятельность и даже говорил сам о себе, что он «не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые сами вешают». Покушение на Александра II он считал делом большого заговора.

Через некоторое время заместителю председателя следственной комиссии генерал-адъютанту П. П. Ланскому доложили, что его уже около часа дожидается какой-то посетитель, назвавшийся Никодимовым — служителем Знаменской гостиницы.

— Пригласите! — распорядился Ланской.

Через минуту в комнату вошел как-то боком невысокий человек и, остановившись у дверей, поклонился. Поклонился с подобострастием.

— Садитесь, — произнес Ланской.

— Ничего-с, благодарствуем, — ответил вошедший и приблизился к столу, но не сел.

— Садитесь... я вас слушаю,— вторично произнес свое приглашение Ланской.

Человек сел, но сел на краешек стула и опять как-то боком.

— И так?..

— Никодимов — я... стало быть... служитель гостиницы Знаменской, ваше сиятельство.

— Что же вас привело ко мне?

— Дело одно подозрительное...

— У меня есть подчиненные, дежурный по отделению офицер, наконец... Вы могли сказать им.

— Нет, ваше сиятельство, это государственной важности дело... как я его своим умом разумею и я могу только вам...

— Ну?

— Жилец у нас пропал... Второго занял номер, а четвертого не вернулся...

— Четвертого? — переспросил Ланской.

— Четвертого, ваше сиятельство. Как ушел с утра, так и все... День нет, два нет... А сегодня утром зашли к нему и на столе обнаружили мелкие такие пылиночки — порох стало быть!..

— Фамилия?

— Никодимов, стало быть...

— Нет! Его фамилия?

— Владимиров, ваше сиятельство, Владимиров Дмитрий Алексеевич!

Ланской чуть не подскочил на стуле:

— Адъютанта!

Вошедшему адъютанту он немедленно приказал доставить арестованного террориста.

— Он? — спросил Ланской, когда в комнату ввели Владимирова.

— Он.

— Кто?

— Владимиров... Наш бывший жилец... В шестьдесят пятом номере проживать изволили... И вещички там свои оставили... Ни бог весть какие, но все же вещички...

— Провести немедленно там обыск! Вещи доставить сюда! — распорядился Ланской.

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

— Будьте добры расписаться в протоколе очной ставки,— произнес Ланской, обращаясь к Никодимову. Затем повернулся к Владиминову.

— И вы тоже.

Владимиров медленно поднялся, подошел к столу секретаря и расписался.

В это время в кабинет вошел адъютант:

— Ваше приказание выполнено! Наряд в составе трех низших чинов под командованием полицмейстера 2-го отделения Банаш фон дер Клейма направлен для проведения обыска в Знаменскую гостиницу!

— О результатах обыска прошу немедленно доложить мне. Арестованного распорядитесь увести.

Владимирова вывели из кабинета.

— Я хотел бы спросить... — сказал Никодимов после того, как расписался в протоколе очной ставки. — Мне ведь, должно быть, за сообщение награждение полагается?

Ланской пристально посмотрел на служителя гостиницы. Никодимов как-то весь сжался, низко поклонился и выскочил из кабинета.

А через час в комиссию были представлены «отысканные в Знаменской гостинице оставленные там в номере шестьдесят пятом неизвестным лицом армяк... шкатулка, бумаги, пузырьки...»

Ланской распорядился вызвать Владимирова.

— Ваши вещи? — спросил он у него.

— Мои.

В это время адъютант поставил на стол запертую шкатулку.

— Тоже ваша?

— Моя.

— Что в ней?

— Разные мелочи.

— Откройте, — распорядился Ланской.

— Нечем. Нет ключа.

— Взломайте.

— Зачем же ломать? — вмешался Владимиров. — Ключ в моем портмоне, которое вы у меня забрали при аресте.

Шкатулку открыли. В ней действительно, на первый взгляд, ничего существенного не оказалось. Пять медных двухкопеечных монет, письменный конверт, пилюли, два карандаша, стальное перо, какой-то небольшой сверточек...

Но когда Ланской развернул его, то, к удивлению своему, увидел в нем три пистона.

— Где пистоны, конфискованные у арестованного?

— Вот они, ваше сиятельство,— произнес адъютант, доставая их из шкафа.

— Того же калибра,— произнес Ланской.

Адъютант положил на стол клочки какого-то письма.

— Что это? — спросил Ланской.

— Обнаружено в номере. На полу, за диваном.

Когда же клочки разорванного письма сложили, то прочли следующее: «Милый друг! Приезжай в Москву, тебя очень нужно, поговорим обстоятельно, потом, ежели сочтешь нужным, опять отправишься». На этом письме был указан адрес Цеткина. Письмо было адресовано на имя Дмитрия Владимировича. Сохранился и обратный адрес: «В Москву, на Большой Бронной, дом Полякова № 25. Его Высокоблагородию Николаю Андреевичу Ишутину».

— Кто это такой Ишутин?

— Не знаю.

— Как же так? Он вам пишет, а вы его не знаете?

— Я жил с ним по соседству.

— Значит, знали?

— Да нет, просто шапочное знакомство.

— А о чем же поговорить ему надобно с вами?

— Вероятно, о квартире. Я задолжал там. Вот хозяйка, наверное, и просила написать,— ответил Владимирович.

Ланской внимательно рассмотрел штемпеля на конверте и определил, что письмо было отправлено из Москвы двадцатого марта и получено в Петербурге двадцать первого. Это была уже новая ниточка. И комиссия «положила: просить управляющего Третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии о приказании по телеграфу Московскому Жандармскому Штаб-офицеру разыскать в Москве, обыскать и доставить в Петербург в комиссию арестованным Николая Андреевича Ишутина со всеми бумагами».

Поздней ночью Владимирович вызвал к себе на допрос Муравьев.

— Садитесь...

Владимирович ничего не ответил и только начал было садиться, как услышал вновь:

— Садитесь, садитесь, Дмитрий Владимирович...

— Дмитрий Алексеевич... — поправил тот Муравьева.

— Простите, но я имею честь разговаривать с Дмитрием Владимировичем Каракозовым.

— Вы ошибаетесь. Моя фамилия Владимиров. Дмитрий Алексеевич Владимиров.

Тогда Муравьев еле заметным кивком головы подал дежурному офицеру условный знак, тот впустил в комнату Ишутина и проводил его до стола.

— Вам известен этот человек? — спросил у него Муравьев, указывая на Владимирова.

Арестованный повернулся к Ишутину и замер от неожиданности.

— Дмитрий! — воскликнул Ишутин.

— Вы его знаете?

— Конечно! — ответил Ишутин. — Это мой двоюродный брат.

— Фамилия, имя?

— Каракозов Дмитрий Владимирович!

— Ложь! — сказал Каракозов. — Этого человека я вижу впервые.

— Не будем играть в прятки, господин Каракозов! — произнес Муравьев и кивком головы распорядился увести Ишутина.

Только сейчас Ишутин понял, что настоящая фамилия Каракозова до сих пор не была установлена.

Е. Зильберман, В. Холявин

От составителя: Дмитрий Каракозов Верховным уголовным судом был приговорен к смертной казни через повешение. Казнен на Смоленском поле в Петербурге в 1866 году.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В августе 1879 года была создана организация, вернее, небольшая сравнительно группа «политиков-террористов». На Липецком съезде она приняла название Исполнительного комитета и в первые недели своего существования занималась преимущественно внутренними делами.

В Петербурге принимаются все меры, чтобы как можно скорее пустить в ход важнейшие колеса тайного общества — редакцию подпольного органа, типографию, паспортный стол, наладить строгую систему конспирации (шифры, сигналы, пароли и т. д.). Основатели «Народной воли» в большинстве случаев достаточно широко понимали задачи новой партии, отнюдь не сводя их к террору и рассматривая последний только как одно из средств политической борьбы.

Однако основной целью пребывания на юге Желябова, одного из ее лидеров, и других членов ИК была именно организация террора, подготовка к покушениям на Александра II.

Смертный приговор, условно вынесенный царю на Липецком съезде, после очередных казней революционеров на юге, нуждался в подтверждении. 26 августа ИК утвердил этот приговор, ибо большинство дышало страстью отважного и последнего боя.

Всем казалось, что динамит принесет пусть нелегкую, но верную и скорую победу.

Никто из народовольцев не подозревал, что подготовка покушений станет на полтора года если не единственным, то важнейшим делом ИК и отодвинет на задний план все его другие функции как центра партии.

Подготовка покушений, которые в Липецке решили произвести с помощью динамита, началась немедленно. В Швейцарию выехал и закупил там динамит А. И. Зунделевич, но его груз перехватили таможенные власти. Однако в Петербурге в лаборатории, созданной еще группой «Свобода или смерть», С. Г. Ширяев успел к сентябрю изготовить несколько пудов нитроглицерина.

Боевые группы ИК стали разъезжаться в назначенные города. Царя, который должен был возвращаться из Крыма поздней осенью, хотели атаковать в нескольких пунктах.

Под Одессой, где готовили подрыв железнодорожного полотна М. Ф. Фроленко, Т. И. Лебедева и Н. И. Кибальчич, работа оказалась напрасной, ибо царь через Одессу не поехал. Вблизи Александровска группа А. И. Желябова заложила мину под рельсами, положенными на 20-метровой насыпи. Если бы поезд сошел с рельсов, гибель царя была бы неминуема. Но, когда Желябов сомкнул провода батареи, взрыва под проходящим поездом не последовало. «Запалы были плохо изготовлены, что впоследствии и подтвердилось», — объяснял неудачу во время происходившего год спустя следствия участник этого дела И. Окладский (ставший вскоре предателем).

Третьим было покушение вблизи Москвы. В очень трудных из-за близости подпочвенной воды условиях группа ИК: А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, Л. Н. Гартман, Г. П. Исаев, А. И. Баранников, С. Г. Ширяев и др. — провела из купленного неподалеку от железной дороги дома 40-метровую подземную галерею. Угроза обвала после длительного дождя стала столь велика, что положе-

ние работающего в низкой полузалитой водой галерее походило на заживо зарытого.

Поздно вечером 19 ноября подложенная под полотно мина была взорвана под проходившим поездом. Оказалось, однако, что это был поезд со свитой, шедший вопреки обыкновению вторым. Сила взрыва перевернула лишь багажный вагон, а восемь сошли с рельсов. Никто не пострадал.

Несмотря на неудачу, покушение 19 ноября получило громкую огласку. Даже легальная печать отмечала искусную и тщательную инженерную подготовку подкопа. Все участники его благополучно скрылись, а наиболее скомпрометированного «хозяина» дома Л. Н. Гартмана удалось переправить с помощью контрабандистов за границу. Попытка царского правительства потребовать его выдачи окончилась провалом. Французская полиция арестовала было Гартмана, но под давлением общественности — на его защиту выступил, в частности, Виктор Гюго — его освободили и выслали в Англию.

Листовка ИК, выпущенная в связи с покушением 19 ноября, была разослана по всей России, являлась по существу обвинительным актом Александру II и его царствованию, начавшемуся обманным освобождением крестьян. Заявляя, что Александр II «является олицетворением деспотизма лицемерного, трусливо-кровожадного и всерастлевающего», ИК требовал передачи власти всенародному Учредительному собранию. «А до тех пор — борьба! Борьба непримиримая!»

Несравненно большее общественное значение получило четвертое покушение на Александра II, задуманное и осуществленное в строжайшей тайне даже от большинства членов ИК.

20 сентября 1879 года в Зимний дворец был принят новый столяр Батышков. В действительности это был С. Н. Халтурин, прервавший после нескольких крупных провалов «Северного союза русских рабочих» организационную и пропагандистскую деятельность среди рабочих. Халтурин считал, что царь должен пасть от руки рабочего — представителя народа. Он попросил Плеханова познакомить его с народовольцами. Уговоры Плеханова не помогли. Халтурин настоял на своем.

Вместе с А. А. Квятковским, которому ИК поручил выполнение этого замысла, Халтурин вскоре составил подробный план Зимнего дворца, по которому он мог ходить почти беспрепятственно, и пометил его различны-

ми значками. Кружком было помечено помещение караула под царской столовой. При аресте 29 ноября А. А. Квятковского этот план был обнаружен. Жандармам не удалось установить значение плана, хотя их очень встревожило, что на плане обозначено назначение комнат, мало кому известное даже из служащих во дворце. Строгости во дворце все же были усилены, но опасности больше ждали, очевидно, извне.

Халтурин приносил динамит во дворец небольшими кусками и хотел накопить его как можно больше. Однако Желябов, заместивший Квятковского, его торопил. В январе 1880 года, когда динамита было уже около 3 пудов, они встречались ежедневно в седьмом часу вечера на Дворцовой площади, и Халтурин ронял, проходя мимо: «Нельзя было», «Ничего не вышло». 5 февраля при встрече он сказал: «Готово».

Грохот во дворце подтвердил его слова. В Зимнем погасли огни, забегала перепуганная охрана. Желябов увел Халтурина на конспиративную квартиру. Но и на этот раз покушение не удалось. Александр II не вышел в обычное время в столовую, так как встречал гостя — принца Гессенского (отца будущей императрицы Александры Федоровны). С лета 1880 года Халтурин вел народовольческую пропаганду среди московских рабочих. В 1881 году он стал членом ИК, а в феврале 1882 года погиб на виселице, захваченный при убийстве Желваковым прокурора Стрельникова.

Покушение 5 февраля, несмотря на неудачу, сделало «Народную волю» всемирно известной. Взрыв в царском дворце казался совершенно невероятным событием.

«Динамит в Зимнем дворце! Покушение на жизнь русского царя в самом его жилище! Это, скорее, похоже на страшный сон, чем на действительность, и тем не менее это действительность, а не сон», — писала либерально-народническая газета «Неделя».

Покушение вызвало, правда, единичные, сочувственные отклики у крестьян. Максим Федоров из деревни Никольской Волоколамского уезда говорил: «Вот государя несколько раз уже бьют и не убьют, а за дело бы его и пора». Кое-где крестьяне отказывались молиться за спасение царя и заявляли, что если бы его убили, то не было бы налогов и было бы много земли. Неудача покушения огорчила и сидевших в тюрьмах революционеров.

Европа была поражена. Даже противники террора преклонялись перед дерзкой смелостью народовольцев.

«Остановить на себе зрачок мира — разве не значит уже победить», — писал Г. В. Плеханов в не дошедшем до нас письме.

С начала зимы 1879/80 гг. правительство стало готовиться к 25-летию царствования Александра II. Обстановка для проведения этого торжества не была спокойной: не утихало брожение в массах, нарастали оппозиционные настроения в обществе, наконец, появилась новая революционная сила — «Народная воля».

С осени 1879 года все усиливались меры предосторожности. Высшие правительственные лица появлялись только в сопровождении конвоя. Войскам в Петербурге были назначены места, куда являться по тревоге. В Адмиралтействе, от которого радиусами расходились главные магистрали, поставлены орудия. «Все заботы высшего правительства направлены к усилению строгости... вся Россия, можно сказать, объявлена в осадном положении», — записывал в начале декабря 1879 года в своем «Дневнике» фельдмаршал Д. А. Милютин.

Когда, несмотря на все эти строгости и предосторожности, прогремел взрыв 5 февраля, правительство и правящие круги не могли не почувствовать растерянности. «Панический страх передавался, как чума, всему Петербургу... Все боялись или за жизнь, или за имущество. Одни уезжали, другие переводили капиталы за границу, курс упал». Так, немалую суматоху вызвало анонимное и, может быть, ироническое предупреждение, полученное сразу же вслед за взрывом Халтурина. Искусственно измененным почерком какой-то «социалист, кающийся и желающий вам добра», писал в III отделение: «Берегитесь ваших трубочистов, им велено в важных домах сыпать порох в трубах. Избегайте театров, маскарадов, ибо на днях будет взрыв в театрах, в Зимнем дворце, в казармах». В III отделении приняли эту шутку на полную веру и немедленно стали предупреждать генерал-губернатора, градоначальника и другие власти. Фантастические и нелепые известия ползли из-за границы. Русские послы доносили о планах переправить динамит в Россию в винных бутылках и снарядить им 500 воздушных шаров для атаки Петербурга и т. п.

Февральское покушение повлекло за собой известные перемены настроений высшей бюрократии.

Правительственные верхи начинали понимать, что в создавшейся обстановке они не могут управлять Россией по-прежнему.

По предложению наследника была учреждена Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Главой этой комиссии царь назначил генерала Лорис-Меликова, который, подчинив себе не только полицейские, но и гражданские власти, стал как бы «вице-императором».

Назначение Лорис-Меликова диктатором либеральные газеты приветствовали как начало новой эры. В действительности, как быстро поняли народovolьцы, его политика никаких серьезных преобразований в виду не имела: «Сомкнуть силы правительства, разделить и ослабить оппозицию, изолировать революцию и передуть всех врагов порознь» — так характеризовали народovolьцы планы Лорис-Меликова. Политический портрет этого временщика в следующем «Листке «Народной воли» дал Н. К. Михайловский: «Благодарная Россия изобразит графа в генерал-адъютантском мундире, но с волчьим ртом спереди и лисьим хвостом сзади».

Продолжая избранную им еще в период генерал-губернаторства в Харькове политику, Лорис-Меликов обещал всем «успокоение и умиротворение» и, восстанавливая «доверие к власти», не забывал «строгую каранию зла».

К участникам революционного движения применялись беспощадные репрессии. Только за распространение листовок в марте были казнены унтер-офицер Лозинский и студент Розовский. Еще раньше был казнен И. О. Молодецкий, покушавшийся на Лорис-Меликова. Лорис-Меликов расширял полицию, поощрял шпионаж и провокацию, учреждал иностранную агентуру. Однако полицейский произвол был несколько ослаблен. Безосновательные обыски, аресты, высылки, столь характерные для 1878—1879 гг., сильно сократились в 1880-м — начале 1881 г. На следствии известная народница В. Н. Фигнер рассказывала: «Отсутствие полицейских придирок и жандармских облав за этот период очень благоприятствовало работе среди учащейся молодежи и рабочих. Это было время общего оживления и надежд». Однако, продолжала В. Н. Фигнер, политика Лорис-Меликова никого не обманула. «Поэтому общественное мнение в революционном мире требовало продолжения террора и казни как самого царя, так и его лицемерно-либерального приближенного».

ИК пытался организовать весной и летом 1880 года

еще два покушения (в Одессе и Петербурге), но оба они не состоялись. В Одессе не успели закончить к проезду царя минную галерею на пути его следования. В Петербурге рабочий М. Тетерка, не имея часов, опоздал к назначенному времени и не помог Желябову взрывать положенные в воду динамитные подушки в момент, когда царский экипаж выехал на Каменный мост через Мойку.

О том, с какой осторожностью следовало действовать, говорит ряд донесений секретных агентов своему начальству. Даже найденная перед проездом наследника на Троицком мосту детская хлопушка вызвала специальное отношение градоначальника в III отделение.

Лето 1880 года было неурожайным, повсюду стали расти цены на хлеб. Брожение в массах стало еще более беспокоить правительство. Уезжая в августе на юг, Александр II повелел «на случай, если бы возникли важные, требующие особых распоряжений беспорядки», составить комиссию из наследника и нескольких министров. Сенаторам, отправлявшимся тогда на ревизию нескольких губерний, следовало выяснить «степень распространения в России социально-революционных лжеучений» и «удостовериться в настроении умов крестьянского населения».

К брожению народа прислушивались и народовольцы. В конце 1880 года «Народная воля» предвещает восстание, которое явится «только прелюдией к народной революции», даст ей толчок. Отовсюду являлись в Петербург делегаты к ИК для установления сношений с ним, с предложением услуг для выполнения каких-либо новых планов, с просьбами прислать агента для организации местных сил.

Однако ИК не смог отдаться целиком организационной деятельности, к которой более всего тяготел А. И. Желябов, ставший в 1880 году общепризнанным руководителем партии.

Осенью 1880 года ИК стоял на распутье. Предстоял нелегкий выбор. Очень многие, и прежде всего А. И. Желябов, хорошо сознавали, чего стоили и чего еще будут стоить месяцы отчаянной по напряжению борьбы. «Мы проживаем свой капитал», — говорил Желябов товарищам. Желябов и Михайлов особенно настаивали на продолжении организационной и пропагандистской работы. Но для пропаганды и организации не хватало людей. Не было и особых надежд поднять на борьбу значительные силы.

Цареубийство же казалось им средством потрясти сонное общество, дать толчок движению народа, вынудить правительство на уступки.

Роковой выбор дальнейших действий был предрешен завершением процесса над 16 народовольцами в октябре 1880 года.

1 МАРТА 1881 ГОДА

Казнь 4 ноября одного из основателей «Народной воли» А. А. Квятковского и рабочего-революционера А. К. Преснякова ИК оценил как вызов правительства. В изданной 6 ноября прокламации ИК звал русскую интеллигенцию повести народ к победе под лозунгом «Смерть тиранам».

Месть царю члены ИК стали считать не только долгом, но и честью партии. «Честь партии требует, чтобы он был убит», — говорил о предстоящем покушении Желябов.

В первой половине февраля ИК созвал совещание с участием представителей провинции. Был поставлен вопрос о возможности одновременно с покушением сделать попытку к вооруженному выступлению.

Мнение собравшихся точно неизвестно, но отступить было уже поздно. Даже при неблагоприятном ответе совещания подготовка к новому, седьмому по счету, покушению продолжалась неукоснительно.

Наблюдательный отряд из молодежи следил за выездами царя. Техники Н. И. Кибальчич, Г. П. Исаев, М. Ф. Грачевский и другие готовили динамит, гремучий студень, оболочки для метательных бомб. На этот раз решили убить царя во что бы то ни стало, применив, если нужно, сразу несколько способов нападения.

Еще в конце 1880 года была снята лавка в полуподвальном этаже дома на углу Невского проспекта и Малой Садовой. По этим улицам проезжал Александр II на пути в манеж. Под видом торговцев сыром здесь поселились по подложным паспортам Ю. Н. Богданович и А. В. Якимова.

Хотя новые хозяева по своей неумелости тотчас вызвали подозрение соседних лавочников, а затем и полиции, из подвала начали вести подкоп под Малую Садовую. Если бы царь при взрыве мины не пострадал, то его ожидали бы замкнувшие улицу метательщики бомб.

В случае неудачи последних Желябов решил сам броситься на царя с кинжалом.

К концу февраля существование ИК было поставлено под угрозу. Предательство Окладского, помилованного после процесса 16-ти, привело к провалу двух конспиративных квартир и целой цепи арестов. Тяжелые последствия имел случайный арест А. Д. Михайлова в ноябре 1880 года. В руководящем ядре «Народной воли» А. Д. Михайлов занимал особое положение. Требовательный и неумолимый в проведении организационных принципов и конспирации, Михайлов являлся настоящим стражем безопасности ИК и получил от товарищей прозвище «дворник». Он знал едва ли не всех шпииков и полицейских чиновников. Именно ему удалось внедрить в III отделение талантливого разведчика Н. В. Клеточникова. Михайлов, как никто, умел наладить связи, обеспечить организацию средствами.

Выдающиеся способности Михайлова как руководителя признавались всеми его товарищами. В. Н. Фигнер сравнивала его с Робеспьером.

После ареста Михайлова правила конспирации соблюдались с непростительной небрежностью, что привело к новым провалам.

Вслед за арестами членов ИК Н. Н. Колодкевича и А. И. Беранникова настал черед Н. В. Клеточникова. Вследствие нарушения строгих правил сношения с ним, заведенных А. Д. Михайловым, Клеточников попал в ловушку, устроенную жандармами на квартире Баранникова. Изумлению жандармов не было предела, когда они обнаружили, что исполнительный и тихий чиновник являлся тайным агентом революционеров.

Арест Михайлова и Клеточникова лишил ИК надежных хранителей безопасности. В этот момент все помыслы ИК были сосредоточены на подготовке к покушению. В подкопе участвовали чуть ли не все наличные силы ИК.

Правительство, очевидно подозревавшее о подготовке нового покушения, спешило принять все меры, чтобы его предупредить. Беспокойно чувствовал себя и царь, который, как передавала потом его морганотическая жена кн. Юрьевская, подумывал уже об отречении и удалении с семьей в Каир.

28 февраля сырную лавку на Малой Садовой внезапно посетила «санитарная комиссия» во главе с инженерным генералом Мравинским. При поверхностном осмотре следов подкопа комиссия не обнаружила, а производить

обыск, не имея на то особого разрешения, генерал не решился (за что потом и был предан военному суду). Большой успех выпал на долю департамента полиции накануне — 27 февраля. Наблюдение за приехавшим незадолго перед тем в Петербург руководителем одесских кружков М. Н. Тригони, выданным предателем Окладским, увенчалось успехом.

Вместе с Тригони в номере его гостиницы был схвачен с оружием в руках и другой народоволец, оказавшийся тем самым Желябовым, которого уже больше года тщетно искали по всей России жандармы.

Андрей Иванович Желябов, сын дворового крестьянина Таврической губернии, рос еще при крепостном праве и насмотрелся на тогдашние помещицьи порядки. Благодаря своим способностям он получил образование и поступил на юридический факультет Новороссийского университета, однако в 1871 году с третьего курса его исключили за участие в «беспорядках» — он проявил себя как талантливый вожак, который буквально электризовал студентов своим пламенным красноречием.

«Хождение в народ» не очень увлекло Желябова. В 1874 году он входил в революционный кружок Ф. Волховского и вел пропаганду только среди рабочих одесских заводов. Разгром движения коснулся и его. Однако на процессе 193-х он был оправдан. По возвращении на Украину он вступает в революционную борьбу, ведет пропаганду в селе, затем среди рабочих, завязывает сношения с военными, либералами-конституционалистами, украинофилами. К весне 1879 года становится убежденным сторонником широкой политической борьбы. Со времени Липецкого съезда, на котором он играл видную роль, его авторитет неизменно растет.

В 1880 году Желябов становится фактически главой ИК и в качестве члена распорядительной комиссии руководит всеми террористическими предприятиями.

Неутомимый организатор и увлекательный оратор, Желябов поспевает всюду, воодушевляет студенческую молодежь, объединяет офицеров, с энтузиазмом агитирует среди рабочих. «Мое место на улице среди рабочей толпы», — как-то сказал он. Темно-русый гигант могучего сложения, с большой окладистой бородой, полный жизни и энергии, всегда жизнерадостный и веселый, он заражал своих товарищей жадой борьбы. «Слушать его было жутко и радостно. Он умел наполнять всех бодростью, верой и необычайной ясностью простой и прямоли-

нейной мысли. Железная воля и сила духа чувствовались в каждом его жесте, звуке голоса», — рассказывает один из московских революционеров, вспоминая также о его «бархатном голосе, детской улыбке, лучистых глазах, искренней доброте».

Желябов никогда не терял мужества. В часы наибольших неудач, которые испытывала партия, он ограничивался лишь словами: «Что же делать. Примем за исполнение следующей задачи» — и начинал свою работу с удвоенной энергией.

В канун 1 марта он был настолько поглощен делами, что почти не знал сна и иногда падал в обморок, хотя природа наградила его могучим здоровьем. Арестованный 27 февраля, Желябов на вопрос о занятиях заявил, что служит «для освобождения родины».

«Наш вождь и трибун», — назвала его в показаниях В. Н. Фигнер.

Совершенно несомненно, что, удайся народовольцам политический переворот, во главе революционного правительства стоял бы Андрей Желябов.

Арест Желябова явился тяжким ударом для ИК. Но начатое им дело решили завершить во что бы то ни стало.

Верным другом и помощником Желябова в большинстве его начинаний была Софья Перовская. Родившаяся в богатой дворянской семье, дочь петербургского губернатора, она в 16 лет бежит из дому, чтобы поступить на женские курсы, а вскоре вступает в кружок, который позднее стал называться кружком чайковцев.

Одетая, как бедная работница, таская вязанки дров и ведро воды, она содержит на окраине Петербурга конспиративную квартиру, где по вечерам собирались рабочие. Перовская учит их грамоте, основам социалистических идей. Она также судилась по процессу 193-х.

После Липецкого съезда Перовская не сразу примкнула к народовольцам. Она все еще надеялась на работу в народе. И все же она взяла на себя важную роль хозяйки дома, откуда велся подкоп в московском покушении 19 ноября. Но формально она примкнула к «Народной воле» лишь в декабре 1879 года. В 1880 году главной ее заботой становится организация рабочих, Перовская готовит для них студентов-пропагандистов, распространяет «Рабочую газету». Одновременно она подготавливает последнее покушение на царя. После ареста Желябова она берет на себя все приготовления и доводит их до конца. После 1 марта друзья советовали Перовской бежать

за границу, но она не могла поддаться просьбам уехать и осталась в Петербурге.

Лорис-Меликов, за две недели до того предупреждавший царя о надвигающейся опасности, утром 28 февраля с триумфом доложил Александру II об аресте главного заговорщика. Мрачный и подавленный в те дни царь ободрился и сразу же решил на следующий день поехать в Михайловский манеж, чтобы присутствовать на смотре.

В тот же день к вечеру на квартире В. Н. Фигнер спешно собрались члены ИК. Арест Желябова, руководителя метальщиков в предполагаемом покушении, сильно осложнил дело. Но когда Перовская поставила вопрос, как поступить, если царь не поедет по Малой Садовой, где была заложена мина, ответ всех присутствовавших был один: «Действовать во всяком случае». Всю ночь снаряжались бомбы, в сырной лавке налаживалась мина, которую должен был по сигналу взорвать М. Ф. Фроленко.

Руководство метальщиками взяла на себя С. Л. Перовская. В тот день она проявила самообладание и распорядительность. Когда царь не поехал по Малой Садовой, Перовская самостоятельно изменила весь план, чтобы действовать уже одними бомбами. Она обошла метальщиков и поставила их на новые места на набережной Екатерининского канала, где должен был возвращаться царь.

В третьем часу дня в центре города слышались с небольшим промежутком два гулких удара, похожие на пушечные выстрелы. Первая бомба, брошенная Рысаковым, повредила царскую карету. Когда Александр II вышел из кареты, чтобы взглянуть на покушавшегося, бросил бомбу Игнатий Гриневицкий. И царь, и метальщик при этом взрыве были смертельно ранены.

Гриневицкий умер в страшных мучениях, до конца сохранив самообладание. За несколько минут до смерти он пришел в себя. «Как ваше имя?» — спросил стороживший его следователь. «Не знаю», — был ответ.

Следствие не смогло открыть его имени. Жандармы его установили только после процесса по делу 1 марта.

Игнатий Иоакимович Гриневицкий родился в обедневшей шляхетской семье в Гродненской губернии. Лучший ученик Белостокской реальной гимназии, он мечтал отдаться науке. В 1875 году он поступает в Технологический институт в Петербурге, но вскоре целиком уходит в кипучую революционную работу. Он принимал деятельное участие в польских и русских революционных круж-

ках, собирал деньги для заключенных, занимался изготовлением паспортов, вел пропаганду среди рабочих.

После неудачной попытки в 1879 году создавать боевые дружины в деревне он примкнул к «Народной воле», целиком отдавая агитационной деятельности среди рабочих. Он входит в центральный кружок пропагандистов среди рабочих, набирает в подпольной типографии «Рабочую газету», вступает в состав боевой рабочей дружины.

Поздней осенью 1880 года Гриневицкий — в «наблюдательном отряде» С. Л. Перовской, а потом принимает поручение бросить бомбу в царя. В канун рокового события он сумел вырваться из горячки последних приготовлений, чтобы в последний раз увидеть родных.

26 февраля на квартире Гриневицкого обсуждался план предстоящего покушения.

Утром 1 марта Гриневицкий по указанию Перовской занял самое ответственное место на Манежной площади, но, когда царь изменил маршрут, на Екатерининском канале он случайно оказался вторым.

За несколько дней до смерти Гриневицкий написал свое завещание, в котором предугадал свою судьбу.

«Александр II должен умереть. Дни его сочтены. Мне или другому придется нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей России и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее. Это покажет надалькое будущее. Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его враги, его убийцы... Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может. Дело революционной партии — зажечь скопившийся уже горячий материал, бросить искру в порох и затем принять все меры к тому, чтобы возникшее движение кончилось победой, а не повальным избиением лучших людей страны...»

В 4 часа дня 1 марта 1881 года над Зимним дворцом поднялся черный флаг. Собравшаяся на Дворцовой площади толпа молча стала расходиться. Слишком непонятным и грозным казалось произошедшее в этот день событие. Растерянно чувствовали себя и власти.

Ожидали народных волнений и многие революционеры, полагавшие в канун 1 марта, что ИК «начинает при-

обретать репутацию силы, способной противостоять силам правительства».

Несколько недель город был на военном положении. Повсюду стояли городовые, солдаты, одетые в одинаковые пальто шпионы. Особенно опасались выступлений рабочих — Рысаков в своих предательских показаниях сообщил о целой организации в их среде. Казачьи заставы немедленно отрезали рабочие окраины от центра. На фабриках и заводах рабочие-народовольцы ждали призыва к забастовкам и демонстрациям или даже к открытой борьбе, к восстанию. Но никто из руководителей не являлся. Полученная на третий день прокламация ИК не содержала конкретных призывов к действиям.

Событие 1 марта не послужило сигналом к выступлению народа. Тактика индивидуального террора не могла пробудить массы, двинуть их на борьбу. По существу ИК в своей террористической борьбе оставался узким, строго замкнутым заговорщическим кружком.

Этот заговорщический кружок подвергся в начале 1881 года серьезному разгрому. После Желябова, Колодкевича и Баранникова, арестованных еще до царевубийства, сразу же после 1 марта были схвачены Гельфман, Тимофей Михайлов, Перовская, Кибальчич, Исаев, Суханов, а затем Якимова, Лебедева, Ланганс.

Достигнутый ценой дорогих жертв, успех обернулся для «Народной воли» тяжелым поражением. Это была пиррова победа. Исполнительный комитет весной 1881 года был обескровлен.

Суд над первоапрельцами проходил 26—29 марта под председательством сенатора Фукса и находился под неусыпной опекой министра юстиции Набокова и приближенных нового царя — Александра III. Пристально наблюдал за процессом через нового градоначальника Баранова злой гений нового царствования Победоносцев.

В начале заседания было зачитано постановление сената об отклонении поданного накануне заявления Желябова о неподсудности дела особому присутствию сената и о передаче дела суду присяжных.

Все подсудимые: А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Г. М. Гельфман, Т. М. Михайлов и Н. И. Рысаков — обвинялись в принадлежности к тайному сообществу, имеющему целью насильственное ниспровержение существующего государственного и общественного строя, и участия в царевубийстве 1 марта.

29 марта суд вынес приговор: смертная казнь всем

подсудимым. Вследствие кампании, начатой в заграничной прессе, смертная казнь беременной Г. М. Гельфман была заменена ссылкой на каторжные работы, однако вскоре после родов она умерла.

Утром 3 апреля из ворот дома предварительного заключения на Шпалерной выехали две высокие черные платформы. Желябов и Рысаков на первой, Михайлов, Перовская и Кибальчич на второй. На груди у каждого висела доска с надписью: «Цареубийца». Вслед за каждой колесницей шла группа барабанщиков.

Михайлов все время что-то говорил, обращаясь к толпе, но из-за грохота барабанов ничего не было слышно...

С Волк

Выстрел в Киевском театре



*Им нужны великие потрясения,
нам нужна великая Россия.*

Столыпин

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК

2 сентября 1911

В киевском городском театре, во втором антракте оперы «Царь Салтан», Председатель Совета Министров стоял у рампы, повернувшись лицом к публике, и беседовал с подходившими к нему лицами. Вдруг из рядов поднялся и быстро направился к П. А. Столыпину неизвестный во фраке, лет 28, и, приблизившись на расстояние двух шагов, выхватил браунинг. Раздалось два коротких сухих выстрела. Статс-секретарь П. А. Столыпин схватился рукой за правую сторону груди, затем опустился в кресло. Левая рука окровавлена. Силы покидают раненого, лицо бледнеет. Окружающие подхватывают его и несут на руках к выходу. Бледное лицо Столыпина сохраняет спокойствие. Несутся негодующие крики по адресу стрелявшего. Публика в страшном напряжении нервов настойчиво требует исполнения гимна, занимает места, ждет. Вздвигается занавес. Государь Император приближается к барьеру ложи. На сцене вся труппа исполняет гимн. Артисты, хор опускаются на колени. Многие протягивают сложенные, как на молитву, руки. К небу несется мольба «Боже, Царя храни». Театр в течение нескольких минут дрожал, пока Государь не покинул ложи. Под наблюдением врача раненый в полном сознании перенесен в карету скорой помощи, перевезен в лечебницу Маковского на Мало-Владимирской улице. Пуля попала ниже правого соска, засела в позвоночнике. К раненому вызваны лейб-медик Боткин, профессора — Оболонский, Волкович, Афанасьев и другие врачи. От операции решено

пока воздержаться. Столыпина посетили министры, лица Государевой Свиты, начальствующие. После выстрелов неизвестный, согнувшись, бросился бежать в боковой проход, но был схвачен офицером и другими лицами. При нем найдены документы на имя помощника присяжного поверенного Богрова. Вторая пуля, ранившая Столыпина в руку, рикошетом ранила в оркестре концертмейстера Берглера в ногу.

Новое время

6 сентября 1911

Киев. В 10 часов 12 мин. Петр Аркадьевич тихо скончался. В истории России начинается новая глава.

БИОГРАФИЯ*

Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 г., детство провел в имении Средниково под Москвой. По окончании курса в с.-петербургском университете в 1884 г. он начал свою служебную деятельность в министерстве внутренних дел, через два года причислился к департаменту земледелия и государственных имуществ, в котором последовательно занимал различные должности и особенно интересовался сельскохозяйственным делом и землеустройством. Затем перешел на службу в министерство внутренних дел ковенским уездным предводителем дворянства и председателем ковенского съезда мировых посредников и в 1899 году был назначен ковенским губернским предводителем дворянства. В 1902 г. покойному было поручено исправление должности гродненского прокурора, через год он был назначен саратовским губернатором. Начало революционной смуты ему пришлось провести в должности губернатора в Саратове и принять решительные меры против революционной пропаганды и особенно по прекращению беспорядков в Балашовском уезде. Когда в 1906 году совет министров во главе с графом С. Ю. Витте вышел в отставку и новый совет министров было поручено сформировать И. Л. Горемыкину, покойному был предложен пост министра внутренних дел. С этого времени — 26 апреля 1906 г. — П. А. являлся до дня своей кончины деятельным руководителем министерства. После роспуска первой думы покойному всемиловитейше повелено быть 8 июля 1906 г. председателем совета министров с оставлением в должности министра

* Журнал «Исторический вестник», т. 126, октябрь 1911. Редакционная статья (без подписи).

внутренних дел. С этого момента началась талантливая государственная деятельность Столыпина, направленная на умиротворение России путем стойкой борьбы со своеволием и беззаконием и путем разработки и проведения в жизнь новых законов. Став во главе совета министров, П. А. сумел вдохнуть в деятельность совета единомыслие, возратить государственной власти поколебленный престиж и укрепить его. Революционные партии террористов не могли примириться с назначением убежденного националиста и сторонника сильной государственной власти на пост премьер-министра и 12 августа 1906 г. произвели покушение на его жизнь взрывом министерской дачи на Аптекарском острове. Было убито 27, ранено 32 лица (в их числе тяжело пострадала дочь и ранен малолетний сын Столыпина), но А. П. остался невредимым. Провидение сохранило его жизнь, и покойный с прежней энергией и увлечением отдался всецело государственной деятельности. Горячий приверженец порядка и законности, он шел прямым путем к скорейшему осуществлению нового уклада государственного строя согласно высочайшим предначертаниям. Просвещенный политик, экономист и юрист, крупный административный талант, он почти отказался от личной жизни и свою удивительную работоспособность, не знакомую с утомлением, вложил в дело государственного успокоения и строительства. Только летом, да и то на самое непродолжительное время, он позволял себе отдых, уезжая преимущественно в свое имение, но и там не переставал давать направление правительственному механизму государства. Наибольшее время П. А. посвящал руководительству и председательству в совете министров, созывавшемся обычно не менее двух раз в неделю, и в разного рода совещаниях по текущим делам и вопросам законодательства. Заседания эти часто затягивались до утра. Утренние доклады и вечерние приемы чередовались у него с личным внимательным просмотром текущих дел, просмотром русских и иностранных газет и тщательным изучением новейших книг, посвященных особенно вопросам государственного права. Неоднократно он, как председатель Совета Министров, выступал в Государственной думе и государственном совете защитников правительственных проектов. Он всегда являлся блестящим оратором, говорил вдохновенно, сжато и дельно, развивая мастерски и ярко руководящие положения законопроекта или давая ответы и объяснения по различного рода запросам о действиях прави-

тельства. В 1909 г. покойный присутствовал при свидании Государя Императора с германским императором в финляндских шхерах. В разное время он совершил несколько поездок по России, ознакомился с результатами землеустроительных работ и с работами по хуторскому и отрубному разверстанию. Немало он приложил также стараний к улучшению водоснабжения в Петербурге и прекращению холерной эпидемии. Государственные заслуги покойного были отмечены в короткое время целым рядом царских наград. Помимо нескольких высочайших рескриптов с выражением признательности, А. П. был пожалован в 1906 г. в гофмейстеры, 1 января 1907 г. назначен членом государственного совета, в 1908 г. — статс-секретарем.

Как человек Столыпин отличался прямодушием, искренностью и самоотверженной преданностью государю и России. Он был чужд гордости и кичливости благодаря исключительно редким свойствам своей уравновешенной натуры. Он всегда относился с уважением к чужим мнениям и внимательно к своим подчиненным и их нуждам. Враг всяких неясностей, подозрений и гипотез, он чуждался интриганства и интриганов и мелкого политиканства. По своим политическим взглядам П. А. не зависел от каких-либо партийных давлений и притязаний. Твердость, настойчивость, находчивость и высокий патриотизм были присущи его честной, открытой натуре. А. П. особенно не терпел лжи, воровства, взяточничества и корысти и преследовал их беспощадно; в этом отношении он был горячий сторонник сенаторских ревизий.

Покойный был женат на дочери почетного опекуна О. Б. Нейдгарт, имел пять дочерей и сына.

Таковы достоверные и правильно освещенные газетные библиографические сведения о почившем, позволяющие нам обозреть общие черты его характера и жизненной деятельности сначала в провинции, а затем во главе правительственной власти. Обращаясь к частностям, мы прежде всего должны отметить те необычайные условия, среди которых так быстро и рельефно выступила на фоне русской жизни фигура недавнего саратовского губернатора, тогда еще мало знакомого бюрократическому, светскому и общественному Петербургу.

У всех в памяти буйный состав первой Государственной думы с ее «товарищескими выступлениями», знаменитым выборгским воззванием и полным нежеланием перейти от хлестких и революционных речей к тому практи-

ческому делу, ради которого было призвано народное представительство и которого так страстно ожидала от него застоявшаяся в нужных ей поступательных реформах Россия. С первого же дня заседания нашего молодого парламента можно было достаточно убедиться, что он не пригоден к той роли, которая ему была предназначена, и через несколько месяцев непрерывных столкновений с представителями власти его вынуждены были распустить. Следующий состав Государственной думы пытался занять ту же позицию, что и дума первого призыва, и стране угрожала опасность, что вся деятельность депутатов сведется к систематической оппозиции правительству, исключительной критике и резким выступлениям, при каковой политике действий совершенно парализовалась бы программа, которая достаточно определенно была высказана в высочайшем манифесте по случаю роспуска первой думы.

На этот призыв к миру и деятельной работе депутаты второго призыва ответили с первого же заседания выступлениями по примеру своих недавних предшественников. Когда П. А. Столыпин, облеченный к тому времени властью председателя совета министров, прочел свою декларацию в заседании 6 марта 1907 г., ему посыпались возражения и сделана была попытка подорвать авторитет правительства. Вот на эти-то попытки и ответил Столыпин своею знаменитою, отныне историческою, речью, которая сразу очертила его боевую, наступательную на революцию позицию и создала из него тот оплот силы, власти и законности, которые до того отсутствовали и которые возвращали правительству его авторитет в населении. Этою речью он сразу поднялся над всею думою и явил собою того истинного «богатыря мысли и дела», о котором упомянуто в манифесте.

Столыпин сказал следующее:

«Господа, я не предполагал выступать вторично пред Государственной думою, но тот оборот, который приняли прения, заставляет меня просить вашего внимания. Я хотел бы установить, что правительство во всех своих действиях, во всех своих заявлениях Государственной думе будет держаться исключительно строгой законности. Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду.

Возвращаюсь к законности. Я должен заявить, что о каждом нарушении ее, о каждом случае, не соответствующем ей, правительство обязано будет громко заявить: это его долг перед думой и страной. В настоящее время я утверждаю, что Государственной думе волею монарха не дано право выражения правительству неодобрения, порицания или недоверия. Это не значит, что правительство бежит от ответственности. Безумием было бы предполагать, что люди, которым вручена была власть во время великого исторического перелома, во время неустройства всех законодательных государственных устоев, чтобы люди, сознающие всю тяжесть возложенной на них задачи, не сознавали тяжести взятой на себя ответственности. Но надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы, от царской резиденции, волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространились крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целостности русского народа, или действовать и отстоять то, что было ей вверено. Но, господа, принимая второе решение, правительство роковым образом навлекло на себя и обвинение. Ударяя по революции, правительство, несомненно, не могло не задеть частных интересов. В то время правительство задалось целью — сохранить те заветы, те устои, начала которых были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами и в исключительное время, правительство ввело и привело страну во вторую думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут, волею монарха, нет ни судей, ни обвиняемых, что эти скамьи (показывает на места министров) не скамьи подсудимых — это место правительства.

За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей родины, мы точно так же, как и все, дадим ответ перед историей. Я убежден, что та часть Государственной думы, которая желает работать, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, сумеет провести тут свои

взгляды, хотя бы они были противоположны взглядам правительства. Я скажу даже более, я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений.

В тех странах, где еще не выработано определенных правовых норм, центр тяжести власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление; эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «не запугаете».

Эта историческая речь создала сразу имя Столыпину, и фраза «не запугаете» была тем сигналом, которым было объявлено населению, что наступил конец параличного состояния государственной власти, что она возвращается к своей ответственной обязанности и готова без страха и трепета встретить натиск внутренних врагов. Гипноз страха, малодушия и слабости отныне как бы покинул стоявших у кормила русского государственного корабля, и явился лишь вопрос, каков будет курс этого корабля и поскольку кормчий будет в силах и в состоянии твердо держаться намеченного курса. Как и можно было ожидать, вторая Государственная дума, поставившая себе, по словам некоторых ее представителей, главной задачей «осаду власти», не могла и по существу этой задачи, и по методам ее выполнения удовлетворить требования премьер-министра: работа законодательная в ней не подвигалась, и она утопала в словоизвержениях известного пошиба, доставшихся ей по наследию от ее предшественницы. Оказалась она в некоторых своих частях родственною и с революционными элементами населения. Роспуск ее совершился, а дабы и третья дума не оказалась в законодательном противодействии правительству, по инициативе Петра Аркадьевича выборный закон был изменен в смысле дачи большего значения элементам словным и национальным, благодаря чему депутаты яв-

лялись как бы более ответственными перед пославшими их и дабы последним был облегчен правильный способ избирательства более сознательных элементов в думу. Этим законом Столыпин создал третью думу, с которой, хотя и не без некоторых трений порою, ему и удалось провести законные циклы сессий.

Если Столыпин сразу после своей исторической речи 6 марта 1907 года завоевал симпатии думского большинства, то с течением времени эта симпатия — и общественная, и отчасти личная — стала как будто несколько бледнеть и слабеть. Это ослабление достигло значительных размеров к началу текущего года, и против него образовались своего рода неприязненные блоки, где в трогательном единодушии, достойном лучшей доли, сошлись элементы крайней правой и крайней левой и даже с участием здесь еще вчерашних умеренных политических друзей. Такого рода блоки образовались как в стенах Таврического дворца, так и дворца Мариинского, в государственном совете, этой нашей верхней палате. Если оппозиция премьер-министру в кругах Государственной думы и не могла вызвать особого удивления, то оппозиция верхней палаты достойна внимания, и тем более что исходила она из такого центра, откуда ее менее всего можно было ожидать. Оппозиция П. А. слева обосновывалась теми соображениями, что он слишком будто консервативен и национален, оппозиция справа находила его слишком либеральным, конституционным и уступчивым. Вот и извольте тут разобраться! В походе против Столыпина немалую роль сыграли, между прочим, граф С. Ю. Витте и П. Н. Дурново.

В первый раз кампания правых против Столыпина должна была проявиться на преобразовании русской миссии при японском правительстве в посольство. Правые хотели подчеркнуть на этом акте покушение «революционного Столыпина» на прерогативы монарха, который должен был провести это помимо думы. Затем решено было оставить этот повод и ожидать более удобного случая. Случай нашелся в штатах морского министерства. Когда эти штаты, пройдя через думу и государственный совет, не удостоились высшего утверждения, Столыпин подал в отставку. Третье столкновение Столыпина с этой кампанией было в вопросе о введении земства в западных губерниях. Оппозиция в стенах Мариинского дворца была поддерживаема союзом русского народа и дворянской организацией, ставшими в неприязненное от-

ношение к Петру Аркадьевичу за его нежелание признавать руководящее значение этих общественных групп и стремление вводить эти группы в рамки законности, согласно началам, положенным в основу реформированного строя.

Мы не станем восстанавливать здесь всей хроники недавних событий, и если отмечаем ее здесь в общих чертах, то чтобы показать, поскольку трудно было положение Петра Аркадьевича в его борьбе на два фронта и в особенности по отношению справа, где каждый раз пускались в оборот такие опасные соображения, как желание якобы главы совета умалить прерогативы верховной власти. Быть может, в силу именно такой опасности покойный сановник и вынуждаем был пускать в ход экстраординарные меры, без наличия которых невозможно было отстаивать государственные мероприятия, неотложные в своем проведении.

Если оппозиция справа связывала в значительной мере ему руки в борьбе за создание и упрочение в России нового строя, то немало палок в его рабочие колеса было вставлено и слева, причем агитация его мероприятий велась всегда чрезвычайно последовательно, безостановочно и довольно даже искусно. Но если с этой оппозицией были в его распоряжении как-никак средства борьбы, легко почерпаемые из особенностей его психики, индивидуальности и дарования, то труднее дело было там, где борьба не всегда зависела от него лично. Мы разумеем в данном случае не область думской и светской борьбы, а область революционную, которая не могла простить Столыпину его мужества, с которым он гордо поднял брошенную правительству революционную перчатку. Для революции он был особенно опасен, опасен и своим мужеством, и той позицией, которую он занял в качестве представителя мирной русской прогрессивной эволюции, в нормах, преподанных ему высочайшими манифестами. Он не лукавил с последними, не старался их использовать по своему личному политическому усмотрению, а действовал как министр-реформатор, поставленный на свой пост царем-реформатором. Такого рода политика действий неминуемо должна была привести к недалекому замирению России, приведению ее в политическую норму, а отсюда к ее культурному росту, благополучию и мощи, что никогда не входило и не входит в революционные программы, так как этим самым их аннулирует, с одной стороны, и с другой — не соответствует интересам ино-

родческим и иноземным, играющим в тех программах всегда, хотя и скрытую, видную роль. Революция, не желавшая сложить свое оружие перед Столыпиным и чувствуя в нем силу победителя, направила свою решительную деятельность против него лично, и вот последовал известный взрыв его дачи на Аптекарском острове, где оказались в числе многих жертв взрыва пострадавшими его дочь и сын. В общей сложности убитыми оказались 27 человек и 32 человека ранеными. Силою взрыва от брошенной бомбы разворочены были прихожая, дежурная комната и следующая за нею приемная, а также разрушен подъезд, снесен балкон второго этажа, опрокинуты выходящие в сад деревянные стены первого и второго этажей. Сила страшного взрыва была такова, что частями разрушенных стен и выброшенных из дома предметов мебелировки, а также мелкими осколками стекла, раздробленными почти в крупу, была обсыпана вся набережная перед дачей. Трупы убитых, вырытые работавшими пожарными и солдатами, оказались большею частью с оборванными частями тела, без голов, рук и ног.

Событие на Аптекарском острове не привело к результатам, намеченным революционерами и косвенно ожидаемым левыми группами. Столыпин остался невредим, проявил во все течение событий того дня удивительное благородное мужество и самообладание и, конечно, сохранил свою историческую служебную роль России. На этот раз у врагов Столыпина дело не вышло, сорвалось, как срывались и все прочие на него натиски вплоть до катастрофы 1 сентября текущего года. Таким образом, мы видим нашего председателя совета министров на всем протяжении его кипучей деятельности в пользу обновления и умиротворения России в состоянии постоянного боевого напряжения и борющимся и направо и налево как силою своего удивительного ораторского таланта, так порою искусною мирною политикою, а в другие поры — политикою решительных резких действий. При всех коллизиях он сравнительно удачно выходит из трудных положений, но это требует от него громадного напряжения сил и непрерывного делового круговращения, благодаря чему он и ставит все общество, все законодательные и исполнительные учреждения, всю Россию в такое же вращение, как-то поспевая самолично входить всюду своим импульсом, своею инициативою и контролем. При этом общие основные положения его политики действий остаются неизменными. Беседуя с одним представителем

иностранной прессы, он так формулировал эту политику, насколько она отражается на современном положении России:

«Все заботы правительства направлены к проведению в жизнь прогрессивных реформ. Неустанное развитие городов идет об руку с экономическим подъемом сельской и деревенской жизни. Правительство содействует проникновению в сознание широких народных масс той великой истины, что единственно в труде народ может обрести спасение.

В центре забот правительства стоит преуспеяние института мелкой земельной собственности. Настоящий прогресс земледелия может совершаться только в условиях личной земельной собственности, развивающей в собственнике сознание как права, так и обязанностей. Наши усилия в этом направлении не пропадают даром. В России все трудятся, и если в Петербурге есть люди, немного занимающиеся политикою и критикующие земельную политику правительства, то в общем преобладает настроение бодрого оптимизма и веры в будущее. Земледелец, обладающий земельной собственностью, защитник порядка и опора общественного строя.

Легко сказать: «дайте стране все свободы». И я говорю: надо дать свободы, но при этом добавлю, что предварительно нужно создать граждан и сделать народ достойным свободы, которые Государь соизволил дать. Поэтому исполнение моей программы рассчитано на много лет. Я горячо верю в блестящую будущность России. Впрочем, Россия и теперь велика, богата и сильна...»

Коснувшись в одной из своих думских речей нашей внутренней политики в ее карательных частях, он говорил: «Для благоразумного большинства наши внутренние задачи должны быть и ясны, и просты. К сожалению, достигать их, идти к ним приходится между бомбой и браунингом. Вся наша полицейская система, весь труд и сила, затрачиваемые на борьбу с разъедающей язвой революции, — конечно, не цель, а средство, средство дать возможность жить, трудиться, дать возможность законодательствовать, да, господа, законодательствовать, потому что были попытки и в законодательное учреждение бросать бомбы! А там, где аргумент — бомба, там, конечно, естественный ответ — беспощадность кары! И улучшить, смягчить нашу жизнь возможно не уничтожением кары, не облегчением возможности делать зло, а громадной внутренней работой. Ведь изнеможенное, из-

болевшееся народное дело требует укрепления: необходимо перестраивать жизнь и необходимо начать это с низов. И тогда, конечно, сами собою отпадут и исключительные положения, и исключительные кары. Не думайте, господа, что достаточно медленно выздоравливающую Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой. Путь к исцелению России указан с высоты престола,— и на вас лежит громадный труд выполнить эту задачу. Мы, правительство, мы строим только леса, которые облегчают вам строительство. Противники наши указывают на эти леса, как на возведенное нами безобразное здание, и яростно бросаются рубить их основание. И леса эти неминуемо рухнут и, может быть, задавят и нас под своими развалинами, но пусть, пусть это случится тогда, когда из-за их обломков будет уже видно, по крайней мере в главных очертаниях, здание обновленной, свободной — в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия,— преданной, как один человек, своему государю России, и время это, господа, наступает, и оно наступит, несмотря ни на какие разоблачения, так как на нашей стороне не только сила, но на нашей стороне и правда».

Нельзя не сознаться, что работа при таких условиях была не из легких, и можно только удивляться его всепоглощающей энергии, которая позволила ему в короткий пятилетний срок его премьерства достигнуть таких значительных относительно результатов, принимая при этом в расчет нашу общую способность за все скоро и энергично браться и так же скоро остывать и переходить в расслабленное состояние бездеятельности и знаменитого «авось». Столыпин ни этой бездеятельности, ни этого «авось» не терпел и, горя сам в работе и кипя законопроектами, побуждал все окружающее, не исключая и наших законосовещательных учреждений, работать не покладая рук и быть постоянно начеку нужд России.

«Кипя, волнуясь и спеша», Петр Аркадьевич, однако, ясно сознавал, что он — лицо, пожертвованное благу реформированной России. Уходя из дому, он, по его словам, никогда не был уверен, что вернется цел и невредим, и всегда чувствовал себя под дамокловым мечом опасности. Вопрос сводился только к тому: когда и где пробьет его последний час. День 12 августа 1907 г. прошел для него лично благополучно, но четыре года спустя враги его справили свое торжество над ним.

АРЕСТАНТ «КОСОГО КАПОНИРА»

Киевское охранное отделение долго и тщательно готовилось к приезду царя и сопровождавших его сановников в связи с проводившимися тогда военными маневрами и открытием памятника Александру II. Было организовано специальное «регистрационное бюро», на которое были возложены учет и «обезопасение» всех «политически неблагонадежных» лиц, проживавших в Киеве и его окрестностях. Сам начальник охранного отделения Н. Н. Кулябко занимался фильтрацией «неблагонадежных» и лично вручал всем, кто получил право присутствовать на торжествах, билеты в помещение бывшего купеческого собрания (ныне — Киевская государственная филармония) и оперного театра, где проходили торжества. В самих помещениях при входе действовали специальные контролеры, доверенные охранного отделения, которые тщательно проверяли не только билеты, но и личность каждого, кто их предъявлял, независимо от его происхождения, государственного или общественного положения. На улицах, примыкавших к этим зданиям, действовали усиленные патрули из жандармов и охранников.

Но все эти предосторожности не смогли преградить Богрову вход в помещение Киевского оперного театра, ибо проник он туда... с помощью самого начальника киевской охраны — Н. Н. Кулябко.

Очевидцами происшествия оказались министр двора барон фон Фредерикс, крупный волынский помещик граф Иосиф Потоцкий, подполковник Шереметьев, камер-юнкер Гревс и некоторые другие. Совокупность показаний этих лиц об обстоятельствах покушения и дает истинную картину события.

1 сентября вечером в помещении оперного театра шла «Сказка о царе Салтане». Во время второго антракта в зрительном зале возле барьера, ограждающего оркестр от зрительного зала, стояли спиной к музыкантам и беседовали между собой Фредерикс и Столыпин. К ним подошел Иосиф Потоцкий, который, извинившись перед Столыпиным, заговорил с Фредериксом, став между ними лицом к зрительному залу. Вдруг из шестого ряда поднялся молодой высокий хрупкий человек во фраке. Ровным и спокойным шагом он приблизился к стоявшей у барьера тройке. Оказавшись на расстоянии не более двух шагов от нее, молодой человек вложил правую руку в карман брюк, вынул браунинг и совершенно спокойно дважды

выстрелил в Столыпина. Раненный в руку и живот, Столыпин как-то странно повернулся на ногах вокруг собственной оси и упал в ближайшее театральное кресло.

Одной из пуль, пущенных в Столыпина, был легко ранен находившийся в помещении оркестра концертмейстер Киевской оперы А. А. Берглер. Он был доставлен в Тарасовскую лечебницу. Отсюда он, почему-то считавший себя основным «виновником торжества», ежедневно донимал следователя «покорнейшими» просьбами вернуть ему «пулю» (в подлинниках это слово, означающее пулю, резко отчеркнуто карандашом), которой, как писал он, «стреляли в меня в городском театре». По имеющимся сведениям, ложное и смешное положение, в котором оказался Берглер вследствие того, что он упорно рассматривал себя в качестве основного объекта и жертвы террористического покушения, повлекло за собой впоследствии его увольнение из театра.

Разрядив браунинг, убийца спокойно повернулся лицом к зрительному залу, бросил оружие на пол и, выждав казавшуюся весьма длинной паузу всеобщего оцепенения, направился к выходу, но по пути был схвачен и без сопротивления сдался задержавшим его лицам.

Задержанного стали избивать. Его повалили на пол, а затем поволокли к выходу. Его так били, что, если бы не решимость камер-юнкера М. С. Рощаковского, прибывшего в Киев для обеспечения безопасности царя и сопровождавших его лиц, спасти задержанного от «самосуда» и сдать его живым властям, покушавшийся нашел бы смерть на месте происшествия. По свидетельству Рощаковского, Богров был поднят им с пола и на вытянутых кверху руках полумертвый вынесен из зрительного зала в кабинет дирекции театра. Здесь немедленно приступили к личному обыску и допросу задержанного.

Задержанный назвал себя Дмитрием Григорьевичем Богровым. При обыске у него были обнаружены билеты в дом купеческого собрания и Киевский оперный театр, визитные карточки на имя помощника присяжного поверенного Д. Г. Богрова, три ордена на выступление в судах в качестве защитника и записка следующего содержания: «Николай Яковлевич очень взволнован. Он в течение нескольких часов наблюдает из окна через бинокль и видит наблюдение. Уверен, что за ним поставлено наблюдение. Скверно. Слишком откровенно. Я не провален еще». Утром следующего дня, то есть 2 сентября, Богров был помещен в одну из камер «Косого капонира» в Киевской

крепости, одно название которого навевало ужас на людей.

«Косой капонир» был известен как перевалочный пункт для смертников, то есть лиц, приговоренных к смертной казни. Обычно накануне казни этих обреченных перебрасывали из места их заключения сюда, а ночью увозили на «Лысую гору» — так назывался один из самых угрюмых, пользовавшихся мрачной известностью фортов Киевской крепости, где совершалась казнь.

При вторичном, более тщательном обыске у Богрова были обнаружены дополнительно юмористический журнал «Будильник», две металлические запонки, кусок веревки длиной в 63 см и гвоздь. О назначении веревки и гвоздя можно лишь догадываться: в показаниях об этом не сказано ни слова. Надо полагать, что они были где-то подобраны Богровым уже после первого обыска и спрятаны с тем, чтобы использовать их при случае в целях самоубийства. Но эти предметы были у него изъяты.

Спустя два часа после того, как Богров стрелял в Столыпина, к месту происшествия явился следователь по важнейшим делам Киевского окружного суда В. И. Фененко, на которого было возложено ведение предварительного следствия по делу «О преступном сообществе, поставившем себе целью насильственное изменение в России установленного законами (основными) образа правления, одним из участников которого Д. Г. Богровым было совершено убийство статс-секретаря П. А. Столыпина». Когда следователь явился в помещение Киевской оперы, Богров по вопросам, предварительно разработанным подполковником особого корпуса жандармов Ивановым, собственноручно и под его наблюдением писал первое показание, в котором сообщил подробные биографические данные о себе и признался, что на протяжении двух с половиной лет, начиная с 1906 г., сотрудничал в киевском охранном отделении под руководством подполковника Н. Н. Кулябко, одновременно участвуя в революционном подполье, в рядах киевской группы анархистов.

В основном это собственноручно составленное Богровым показание, имеющее важное значение для правильного понимания подлинных мотивов убийства, правильно отражено в постановлении В. И. Фененко от 2 сентября 1911 г. о возбуждении уголовного дела против Богрова. В этом постановлении записано: «Иванову, в присутствии прокурорского надзора, Богров заявил, что содеянное им было совершено без всяких соучастников. Однако при-

знал, что раньше он имел сношения с анархистскими организациями и разделял их убеждения и ныне считает себя невольным революционером, негодующим на действия правительства и, в частности, министра внутренних дел и решившимся единолично на совершение описанного террористического акта».

Богрову было предъявлено обвинение по статье 102 Уголовного уложения и статьям 9-й и 1454-й Уложения о наказаниях. Над ним нависла угроза смертной казни через повешение. Неотвратимость этого наказания не вызвала ни малейшего сомнения у арестованного. Он принадлежал к киевской адвокатуре, и значение приведенных статей ему было предельно ясно.

После усиленных допросов на протяжении 6 часов следователь вручил Богрову следующее постановление: «1911 г. сентября 2-го дня, 4 часа утра. Я... Фененко, допросил сего числа пом. присяжного поверенного Д. Г. Богрова в кач. обвиняемого по 102 ст. Уголовного уложения и ст. 9 и 1454 Уложения о наказаниях и, имея в виду, что Богров вполне изобличается в приписываемых ему преступлениях собственным сознанием, так и показаниями свидетелей и что тяжесть содеянного им преступления и грозящего ему наказания обязывает избрать в отношении его высшую меру пресечения способов уклонения от следствия и суда, постановили на основании 420, 421 и 6-го пункта 416 ст. Устава уголовного судопроизводства пресечения обвиняемому Богрову Дмитрию Григорьевичу способов уклонения от следствия и суда по настоящему делу — заключить его под стражу, избрав местом содержания с согласия военного начальства «Косой капонир» Киевской крепости, куда и препроводить копию настоящего постановления с личностью Богрова...»

С внешним равнодушием прочитал Богров этот документ. О «Косом капонире» он был достаточно наслышан. Давно он готовил себя в его «жилыцы», но то, что его переводили туда до суда, с начала предварительного следствия, было неожиданностью, притом остро неприятною.

В «Косом капонире» Богров пробыл с 3 сентября до рассвета 12 сентября. За это время он много пережил и передумал.

ШЕМЯКИН СУД

Дело Богрова расследовалось обстоятельно. Предварительное следствие было поручено следователю Киевского окружного суда; в допросах активно участвовали прокурор Н. В. Брандорф и товарищ прокурора Е. И. Лошкарев; в ходе предварительного следствия соблюдались все процессуальные нормы того времени. Но едва только следствие было закончено, как посыпался град нарушений, из которых основное — это рассмотрение дела не Киевским окружным судом, куда оно было направлено, а Киевским военно-окружным судом.

Изъятие дела из общей подсудности и предание Богрова военному суду убеждают в том, что все судебное производство сопровождалось грубым произволом, напоминающим больше полицейскую расправу, чем акт правосудия. Изменение подсудности, несомненно, преследовало цель негласно и быстро расправиться с Богровым. Об этом, в частности, свидетельствуют высокие темпы расследования и судебного рассмотрения дела, обычно недоступные неповоротливому, бюрократическому царскому судебнo-следственному аппарату.

Предварительное следствие было начато и проведено в течение шести дней (с 1 по 6 сентября). 6 сентября дело уже находилось в распоряжении прокурора Киевского окружного суда. 7 сентября оно перешло в ведение прокурора Киевского военно-окружного суда. Спустя два дня (срок, установленный для военно-полевых судов), а именно 9 сентября, оно уже было рассмотрено военным судом, приговорившим Богрова к смертной казни через повешение, судопроизводство напоминало больше шемякин суд, нежели нормальное отправление правосудия.

Не потому ли до настоящего времени нигде не удалось обнаружить материалы судебного производства, которых, по-видимому, никогда и не было?

«СВОЯ ЛОГИКА»

Материалы предварительного следствия рисуют таким образом обстоятельства и побудительные мотивы убийства Столыпина.

Богров Дмитрий Григорьевич, сын киевского присяжного поверенного и крупного домовладельца, в 1905 г., по окончании 1-й киевской гимназии, поступил на юридический факультет Киевского университета. По политичес-

ким мотивам университет к началу учебного года не был открыт, и Богров в сентябре уехал в Германию, где поступил в Мюнхенский университет. Проучившись здесь один год, он в декабре 1906 г. вернулся в родной город и вскоре примкнул к подпольному анархистскому движению.

В собственноручных показаниях, данных жандармскому подполковнику Иванову 1 сентября, Богров писал: «С анархистами я познакомился в 1906 г. в Киеве в университете через студента Батиева под кличкой «Иракий». В состав группы входили: И. Гроссман, Леонид Таратута, Петр (Лятковский М.), Кирилл Городецкий и несколько рабочих-булочников. Состав группы многократно менялся. В течение 1908 г. туда вошел целый ряд новых лиц: Сандомирский Герман, «Филипп», Дубинский, Тыш. Преступных дел я за все время принадлежности к анархистам — не совершал. Примкнул я к анархистам и искал с ними связей сначала из-за желания подробнее ознакомиться с их учением, а затем, но очень короткое время, был заражен царившим там боевым духом».

Вскоре, однако, Богров, по его словам, разочаровался в деятельности упомянутых лиц и, придя к заключению, что «все они преследуют главным образом разбойничьи цели», решил сообщить об их охранному отделению. В июле 1907 г. его принял начальник киевского охранного отделения подполковник отдельного корпуса жандармов Н. Н. Кулябко, который, выслушав Богрова, предложил ему постоянное сотрудничество с оплатой «услуг» в 100—150 рублей в месяц. Богров согласился. Два с половиной года (до конца 1909 г.) длилась его связь с киевским охранным отделением. В феврале 1910 г. Богров окончил университет. За короткий срок он сдал государственные экзамены, получил диплом и был принят в киевское адвокатское сословие. В качестве помощника присяжного поверенного он был прикреплен к известному в то время киевскому присяжному поверенному С. Г. Крупнову. В личном плане это, несомненно, было крупным успехом Богрова. Не каждому смертному сразу же по окончании университета удавалось попасть в такое привилегированное сословие, каким была адвокатура. Казалось бы, молодому помощнику присяжного поверенного по известной, ходкой тогда поговорке — «жить-поживать да добра наживать». Здесь, в Киеве, у него были все условия, благоприятствовавшие быстрому адвокатскому «восхождению»: отец, известный и опытный при-

сяжный поверенный, имел достаточно связей для оказания помощи сыну по пути его профессионального продвижения. Богров был обеспечен не только бесплатной двухкомнатной квартирой в доме родителей, но и содержанием: он ежемесячно получал от отца 50 рублей на карманные расходы. При таких условиях естественно было бы ожидать, что он увлечется обретенной профессией и старательно станет повторять биографию отца.

Но жизнь Богрова пошла другим путем. В июне 1910 г. он вдруг оставил Киев и переехал на постоянное жительство в Петербург, где его ожидало профессиональное прозябание в качестве юрисконсульта небольшой и малоизвестной фирмы, а изредка и случайно — исполнение отдельных поручений знакомых ему местных адвокатов: Кальмановича, Рашкевича и Дубосаренка. Такая жертва означала, видимо, в глазах Богрова обновление всей его жизни, его разрыв с охранным отделением. Переезд в Петербург произошел в 1910 г., ознаменовавшем начало нового и уверенного подъема революционного движения в России. Постоянно и внимательно наблюдая за развитием общественной жизни, в частности за политическими демонстрациями и митингами, видя разлившуюся широкой волной стачки рабочих, Богров не мог не осознать, что все это признаки неотвратимо надвигающейся гибели царизма. На этом фоне ощущение гадливости своего предательского «двойничества» становилось нетерпимым. Прямой отказ от дальнейшего сотрудничества с охранкой прозвучал бы опасным и роковым для него вызовом. И он решил переменить место жительства, пожертвовать личными удобствами и служебными выгодами. Зато, думал он, на новом месте можно будет строить новую, ни от кого не зависящую жизнь.

По мере того как зрело это решение, у Богрова возрождалось сознание, сопутствовавшее периоду его студенческой жизни, в котором доминировала ненависть к царизму и всему, что с ним связано.

Выступая в 1924 г. в советской печати с воспоминаниями о Богрове, бывший член руководства парижской группы анархистов «Буревестник» Гроссман-Роцин писал: «Богров, я в этом убежден, презирал до конца хозяев политической сцены, хотя бы потому, что великолепно знал им цену. Может быть, Богрову захотелось, уходя, «хлопнуть дверьми», да так, чтобы нарушить покой пьяно-кровожадной, дико гогочущей реакционной банды,— не знаю».

На допросе 2 сентября Богров показал: «На вопрос, почему у меня после службы в киевском охранном отделении явилось вновь стремление служить революционным целям,— я отвечать не желаю. По прибытии в Петербург я снова стал революционером, но ни к какой организации я не примкнул. На вопрос о том, почему я через такой короткий промежуток из сотрудника охранного отделения снова сделался революционером,— я отказываюсь отвечать. Может быть, по-вашему, это не логично, но у меня своя логика...»

Поведение Богрова на предварительном следствии нельзя не признать мужественным. Его показания свидетельствуют о том, что он решительно отстаивал свои взгляды, смело и безбоязненно вступал в конфликты со следователем, за которым стояли весьма заинтересованные в его показаниях охранка и всемогущая следственная власть, которых эти показания «не устраивали». Версия, что в недрах охранки зрел направленный в сердце царизма террористический план анархистского подполья, что руководитель киевского охранного отделения Н. Н. Кулябко был злостно обманут и вследствие своей «политической слепоты» стал вольным или невольным соучастником убийства Столыпина, доводила жандармское управление и прокурорский надзор до неистовства.

Богрова, однако, это не смущало. У него было лишь одно желание: любой ценой добиться признания, что убийство Столыпина он совершил сам, без чьего-либо соучастия. Похоже было на то, что он добивался права умереть на виселице с тем, чтобы оставить в народе память о себе как о революционере, который по молодости и неопытности запутался в тенетах охранки, но который во искупление своей тяжкой вины перед народом и революцией сознательно пожертвовал собственной жизнью.

Поведение и политические настроения Богрова в петербургский период его жизни действительно были особенно путаными и противоречивыми. Но ему одному была, видимо, ясна внутренняя логика отдельных, внешне противоречивых проявлений его бытия, если он смог заявить следователю: «Может быть, по-вашему, это нелогично, но у меня своя логика». Но в чем состояла эта «своя логика», в протоколе, который вел следователь, указаний не имеется. Быть может, это объяснение сознательно не было записано, так как оно отнюдь не могло доставить охранке и стоявшему за ним жандармскому управлению удовольствия, так как состояло, по всем данным, в том,

что он, Богров, вернувшись к своим старым анархистским взглядам, уже более не считал себя связанным с охранкой, давно с ней связи не поддерживал и во избежание возможного рецидива перебрался из Киева в Петербург. Но такое объяснение было самым неприемлемым для тех, кто отныне распорядился его жизнью. Царизму при данной ситуации было желательно видеть в Богрове не политического врага, в его выстрелах не выражение ненависти к самодержавию, а обыкновенный эксцесс своекорыстного, трусливого филера.

Так или иначе, но в 1910 г. все помыслы Богрова были направлены на эмансипацию себя от охранного отделения и искупление своей тяжкой вины любой ценой.

РОКОВАЯ «ЛЕГЕНДА»

Но мечтам Богрова не удалось сбыться. Неожиданно в Петербурге он был вызван к начальнику местного охранного отделения барону фон Коттену. Богров понял, что все надежды его и расчеты рухнули и что ему вовек не вырваться из когтей охранки. И он принял дерзкое решение: пойти на это и дальнейшие свидания, но уже в иных целях. Вот что по этому поводу показал Богров: «Вскоре по приезде в Петербург, в июле 1910 г., я решил сообщить петербургскому охранному отделению вымышленные сведения для того, чтобы в революционных целях вступить в тесные отношения с этим учреждением и детально ознакомиться с его деятельностью».

Из дальнейших показаний Богрова известно, что вымышленные сведения представляли собою «легенду» о некоем Николае Яковлевиче, личности, никогда в природе не существовавшей, который якобы прибыл из-за рубежа в Петербург с целью убить кого-то из высоких царских сановников. Ввиду особого интереса, который проявил фон Коттен к этому сообщению, Богрову пришлось четыре месяца импровизировать на эту тему, нагромождать одну небывлицу на другую, чтобы удовлетворить требованиям острого и правдоподобного детектива. Нелегко, видимо, было Богрову вступить на путь грубой дезинформации и обмана охранки, зная, что продолжать этот обман до бесконечности невозможно и что наконец наступит момент, когда потребуют предъявления живого «Николая Яковлевича». Тогда — крах всей жизни, виселица.

В ноябре 1910 г. Богров заболел и по совету врачей уехал лечиться на юг Франции. Здесь он не встречался ни

с кем из зарубежных анархистов и весь свой досуг, надо полагать, посвящал разработке всевозможных планов развития сюжетных линий выдуманной им «легенды», мысленно привыкая к балансированию на грани жизни и смерти. Показание Богрова от 2 сентября обращает на себя внимание не только своим содержанием, но и тем, как оно записано. В нем указывается, что Богров «решил сообщить фон Коттену вымышленные сведения». Когда же и в связи с чем возникло это решение? Было ли оно инициативным или являлось вынужденным, ответным? Если считать его инициативным, то все поведение Богрова становится явно несообразным, направленным на бесславное самоубийство, без видимой пользы и осязаемого смысла. В самом деле, как можно связать в единую логическую цепь такие факты, как добровольное оставление родного города, тем более ценой краха собственной карьеры, разрыв связей с киевской охранкой, с тем чтобы, переехав в Петербург, добровольно, по собственной инициативе и без видимой цели явиться к начальнику петербургской охраны и сообщить вымышленные сведения о готовившемся террористическом акте над Столыпиным или министром просвещения Коссо? Разве Богров, имевший до этого опыт работы в киевской охранке, не мог не учесть, что сообщенные им сведения при первой проверке скандально распадутся, как картонный домик? И еще одно неразрешимое недоумение. В протоколе допроса записано: эти вымышленные сведения Богрову понадобились, чтобы «в революционных целях вступить в тесные отношения» с петербургской охранкой и «детально ознакомиться с ее деятельностью».

Зачем понадобилось Богрову изучать деятельность охранного отделения, притом в труднодоступном, петербургском варианте, когда эту «науку» он мог постичь в «обжитом», легкодоступном и не менее интересном «для революционных целей» киевском варианте? Нет, в приведенных сжатых и тщательно отработанных записях следователя кроется важный и глубокий смысл, который лишь замаскирован фразеологией опытного следственного протоколиста. Окончательно поняв, что принесенная им жертва добровольного остракизма не оправдала себя, что до конца своих дней ему придется влачить существование филера и что вовек ему уже не добиться общественного признания, Богров принял самсоново решение: «погибнуть вместе с филистимлянами».

Так появилась фантазмагория о «Николае Яковлеви-

че», которую он на протяжении четырех месяцев пребывания в Петербурге «творчески» и изобретательно развивал перед руководителем охраны, плененным рассказником Богрова о могущественном его влиянии в мире террористов. Этим способом Богров надеялся глубоко и прочно проникнуть в дебри именно петербургской охраны, обеспечивавшей безопасность всех министров и других важных сановных лиц, чтобы верно наметить точку и способ нанесения удара. С этого момента над Стольпиным нависла реальная смертельная опасность.

Изучение следственных материалов приводит к выводу, что следователь Фененко пренебрегал истиной, когда дело касалось того, как Богров одурачил «легендой» жандармских начальников, над которыми нависла угроза судебной расправы над Кулябко и административной — над фон Коттенем. Только этим, надо полагать, объясняется следующая запись в показаниях Богрова: «Задумав сообщить петербургским жандармским властям вымышленные сведения, я написал Кулябко письмо, в котором сообщил, что у меня есть важные сведения, запрашивал его, куда мне сообщить. На это письмо я получил телеграфный ответ с указанием, что мне нужно обратиться к петербургскому начальнику охранного отделения фон Коттену». Но этого не подтвердил Кулябко. Допрошенный по этому вопросу 5 сентября, он показал: «Когда Богров окончил университет и переехал в С.-Петербург, он стал там работать в С.-Петербургском охранном отделении. Насколько я помню, я, кажется, телеграфировал о Богrove начальнику Санкт-Петербургского охранного отделения фон Коттену, и, кажется, при личном свидании с фон Коттенем, я дал ему хороший отзыв о Богrove, как о сотруднике».

Сопоставление этих двух показаний, данных одному и тому же следователю по одному и тому же вопросу разными лицами, в свете элементарной логики обнаруживает истинность показаний Кулябко, несмотря на спасительное «кажется» и надуманную целенаправленность показаний Богрова в записи Фененко.

Каждому ясно, что Кулябко как начальник охранного отделения, после того как ему стало известно, что его агент переехал на постоянное жительство в Петербург, обязан был по долгу своей службы известить об этом начальника петербургского охранного отделения для обеспечения надлежащего использования этого агента на новом месте. Так, несомненно, поступил и Кулябко, ка-

кие бы оговорки, вроде «кажется», он ни делал. Об этом он и рассказал 5 сентября. Разумеется, Кулябко обязан был дать характеристику своему агенту. Из его показания видно, что и это он сделал.

Отсюда следует, что Богров явился к фон Коттену не по собственному желанию, а по вызову. Отсюда и вытекает вся логичность последующего поведения Богрова, на чем, как было показано выше, он и настаивал на следствии.

Кроме того, нельзя представить Богрова столь наивным, чтобы допустить, что он при желании продолжать работу в петербургской охранке не договорился бы об этом во всех деталях с Кулябко лично перед своим отъездом из Киева, а счел бы удобным по такому секретному обстоятельству вести открытую переписку, могущую повлечь за собой его расшифровку, чего он, несомненно, всегда опасался.

Таким образом, можно без колебаний утверждать, что вызов фон Коттена Богров воспринял не только как необратимый крах всех его личных надежд и чаяний, но и как новое тяжкое покушение на его окрепшие политические и нравственные позиции. Он решил отомстить, хотя бы ценою собственной жизни. Для этого он должен был заручиться доверием фон Коттена. Такое доверие могло открыть ему ход в логово зверя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ И КОНЕЦ «ЛЕГЕНДЫ»

Из Франции Богров в марте 1911 г. вернулся в Россию, но не в Петербург, а в Киев, где до конца своей жизни уже более не поддерживал связи ни с местным анархистским подпольем, ни с охранным отделением. Лишь 26 или 27 августа, за три-четыре дня до террористического акта, он по телефону попросил Кулябко о свидании, на которое тот охотно согласился. Но свидание более уже не пошло на пользу секретной полиции. Встреча прямо привела, как это будет показано ниже, к убийству Столыпина.

Как случилось, однако, что именно Столыпин был назначен Богровым в качестве объекта покушения? Как подготавливалось оно?

Вначале некоторое отступление.

Следователь и его хозяева пытались вынудить у Богрова признание, что первоначально в качестве объекта

убийства им был намечен царь Николай II, но что впоследствии от этого плана пришлось отказаться из опасения вызвать убийством массовый погром. Примерно такой протокол был составлен якобы на основании показаний Богрова. Его подписали, как «понятые», следователь В. И. Фененко, прокурор Киевского окружного суда Н. В. Брандорф и некий Чаплинский. Но арестованный категорически отказался поставить свою подпись. В таком виде протокол и был приобщен к делу. Тайный смысл его состоял в том, что «власти» в Киеве задумали к утру 2 сентября организовать еврейский погром. Его организаторов смущало только то обстоятельство, что погром должен был произойти в городе, где находился император. Это было «неудобно» и могло за рубежом еще более дискредитировать царственную особу и методы правления.

О поведении местных властей в этом вопросе повествует упомянутый выше бывший министр финансов царского правительства, ставший после убийства Столыпина председателем совета министров, В. Н. Коковцев в своем показании в сентябре 1917 года Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства: «Столыпин был смертельно ранен в 11-м часу вечера. Перевозка его в больницу, помещение его в постель, затем осмотр раны — все это заняло очень много времени. Я находился при нем безотлучно и мог выйти из лечебницы Маковского только в три часа ночи. Когда я собирался оттуда выходить, какой-то полицейский чин мне сказал, что ген.-губернатор меня ждет у себя и спрашивает, могу ли я принять, хотя бы ночью, в моем помещении. Взяв извозчика, поехал прямо к Трепову и застал у него помощника командующего войсками барона Зальца. Трепов мне сказал, что, по всем сведениям, которые у него имеются, назревает еврейский погром на утро, что у него в распоряжении полиции очень мало, что жандармские силы совершенно ничтожны, а город без войск, что войска вызваны на маневры. Маневры должны были происходить начиная с вечера следующего дня, со второго сентября. Доклад мой монарху должен был происходить, кажется, в половине второго или в два часа дня 2 сентября. Зальца немедленно уехал, сказав при этом, что никаких войск дать не может, что в его распоряжении войск не имеется, что Трепов должен распорядиться, как ему угодно. Мы остались вдвоем, стали обсуждать положение. Он вновь удостоверил, что погром неизбежен, что у него есть 40—

50 человек городских и больше ничего нет и не ожидается. Невзирая на то, что барон Зальца только что уехал, я поехал к нему на квартиру и потребовал, чтобы с маневров были вызваны к утру в Киев два казачьих полка. Барон Зальца отказал мне, сказав, что это зависит от командующего войсками генерала Иванова, а Иванова уже не оказалось в Киеве. Он выехал на место маневров, и не знали, в какую сторону. Ввиду большой с моей стороны назойливости, потому что я не мог ехать в Николаевский дворец будить монарха и получить от монарха разрешение, я договорился с бароном Зальца в том смысле, что беру на себя ответственность вызова двух полков... Полки прибыли в начале восьмого часа утра, и погрома в Киеве не было... Мне на докладе пришлось этого вопроса коснуться, принять на себя ответственность, что я распорядился и, быть может, превысил власть, но что я должен был это сделать, что недопустимая вещь, чтобы погром произошел в том городе, где находился император и его семья».

Стенограмма показаний Коковцева наглядно показывает, как с ведома генерал-губернатора Трепова готовился погром, предотвращенный Коковцевым лишь по тем соображениям, «что недопустимая вещь, чтобы погром произошел в том городе, где находился император и его семья». Трепов, надо думать, знал об усилиях Брандорфа, Чаплинского и Фененко добиться признания от «преступника», что первоначальным объектом убийства был сам царь, но что только опасение вызвать погром заставило его перенести террористический акт на Столыпина.

Между тем план покушения имел свою сложную историю. Еще в 1908 г. в анархистских кругах распространились слухи, что Богров — провокатор, что он связан с киевской охранкой. Эти слухи, однако, были лишены конкретности. В анархистских кругах предпринимались попытки разоблачить Богрова. Но для этого нужны были веские, бесспорные доказательства. А их не было. Да и раздобыть такие доказательства было трудно. В пределах, которые допускали условия подполья или тюрьмы, эпизодически проводилось расследование этих слухов. Но, с одной стороны, Богрову «везло»: то и дело «заваливались» провокаторы, менее зашифрованные охранкой, чем Богров, и подпольщики обычно их считали виновниками провалов. Такими провалами нередко пользовалась и сама секретная полиция для спасения агентов — подлинных виновников провалов. С другой стороны, сам Бог-

ров ревностно пресекал порочившие его слухи. Вместе с двоюродным братом, который участвовал в анархистском подполье под кличкой «Фома», он требовал «партийного суда» и представления доказательств. И все «партийные суды» неизменно заканчивались его оправданием.

В 1908 г. Богров состоял кассиром подпольной группы. В это время борисо-глебская организация максималистов обвиняла его в растрате партийных средств. Но обвинение не повлекло за собой неприятных последствий, так как большинство обвинителей сами оказались виновными в разного рода неблагоприятных поступках. Одним из расследователей дела был Петр Лятковский, хорошо знавший Богрова по университету, где оба учились на юридическом факультете, и совместному участию в подпольной работе. Лятковский был привлечен в сентябре 1911 г. к следствию по делу убийства Столыпина на основании, как он полагал, доноса Богрова. Делясь в 1926 г. в советской печати воспоминаниями о прошлом, он поведал о нескольких известных ему «судах» над Богровым. В сентябре 1907 г., когда Лятковский содержался в киевской Лукьяновской тюрьме, он впервые услышал от одного из заключенных — анархиста по кличке «Бельгиец», что Богров — агент охранки. Это заявление было основано на том, что при аресте «Бельгийца» по делу о неудавшемся побеге из Лукьяновской тюрьмы Н. Тыша¹ и некоего «Филиппа» (М. Черного) был арестован и Богров, посвященный в этот план. Но спустя два-три дня последний был освобожден. Узнав об этом обвинении, Богров потребовал партийного расследования. Обвинение было отклонено, и пошатнувшееся доверие к Богрову восстановлено.

Второй случай. Упомянутый выше Н. Тыш, прибывший из-за границы по заданию парижской группы анархистов, был вскоре арестован. При первом допросе он понял, что охранке известны все явки группы в пограничной полосе. Сопоставив этот факт с тем, что явки были известны лишь ему и Богрову, он сообщил о своих подозрениях заключенным, среди которых был и Лятковский. Последний посоветовал Н. Тышу не принимать никаких решений до получения дополнительных доказательств с воли и известить о своих подозрениях участни-

¹ Н. Тыш — анархист. Был направлен в Россию парижской группой анархистов «Буревестник». В 1908 г. был осужден Киевским окружным судом вместе с Лятковским и другими на 15 лет каторги. Исключен из группы за подачу на имя царя ходатайства о помиловании.

ков подполья. Вскоре, по словам Лятковского, в тюрьму поступили «запросы» Богрова и «Фомы» с просьбой сообщить им улики. Тогда по инициативе Лятковского в камере собралось 10—12 заключенных-анархистов. Обвинителем выступал Н. Тыш, и была принята «туманная» резолюция, которая, как стало известно позднее Лятковскому, нисколько не удовлетворила Богрова и «Фому», и те начали искать другие пути для реабилитации.

Третий случай. От заключенного Петра Свирского Лятковский узнал, что тот «охотился» за Богровым как за провокатором, но что Богров «ловко ускользнул от смерти». В тот же день, однако, Свирский (его кличка «Белоусов») был арестован. Этот случай совпал по времени с «ликвидацией» в Киеве провокатора «Мартимер», и причина ареста «Белоусова» была отнесена за его счет. О причастности к делу Богрова никто больше не говорил.

Высказывания Лятковского являются ценным свидетельством современника не только о подозрениях относительно Богрова, которые существовали тогда в среде анархистского подполья, но и о том, как реагировал на эти слухи и подозрения сам Богров. Бесспорно, они очень волновали его. Он готовился к адвокатскому поприщу, и угроза разоблачения сулила ему полнейший крах всех его личных жизненных целей. Независимо от этого нельзя себе представить, чтобы Богров, которому было тогда всего 21—22 года, не задумывался над тем, куда его завела связь с охранкой и куда она его в дальнейшем неизбежно могла завести.

19 февраля 1911 г., после двухгодичного заключения, Петр Лятковский был освобожден из Лукьяновской тюрьмы. От товарищей по камере он имел поручение сообщить в тюрьму Тышу обо всем, что сумеет он выяснить на воле о провокаторской деятельности Богрова. Узнав из газет об освобождении Лятковского, Богров и «Фома» решили добиться свидания с ним. Лятковский знал адрес Богрова, но заходить к нему не захотел. Случайно «Фома» встретил Лятковского на улице перед отъездом последнего на родину — на Кавказ. От имени обоих — своего и Богрова — «Фома» настойчиво просил его зайти к Богрову. Лятковский согласился, надеясь, что личные непосредственные наблюдения помогут ему, возможно, лучше разобраться в «деле» Богрова.

В первых числах марта Лятковский зашел к Богрову домой и нашел его сильно изменившимся, поседевшим. С этого у них и начался разговор. Богров рассказал, что

в последнее время его почему-то подозревают в провока-торстве, что за ним следят. Был даже случай, когда на жизнь его готовилось покушение, но только благодаря счастливой случайности он избежал смерти. Лятковский вспомнил при этом сообщение Свирского («Белоусова») и спросил Богрова, куда скрылся его преследователь и почему тот не привел свое намерение в исполнение. Но Богров ответил, что он ничего по этому поводу не знает. Смотрите, как бы заключая свой рассказ, добавил он, как я поседел. Я сознательно ушел от политической работы. Я не могу заняться и общественными делами. Я помощник присяжного поверенного, но выступать не могу: мое имя опозорено. А что вы сделали бы на моем месте?

— Реабилитируйте себя,— ответил Лятковский.

— Что же думают по этому поводу остальные? — спросил Богров, обнаружив этим основную цель беседы с Лятковским.

— Я не имею полномочий говорить от их имени, но, вероятно, они со мною согласились бы,— подумав несколько, ответил Лятковский.

— Итак,— быстро поднявшись со стула, взволнованным голосом сказал Богров,— вы все требуете от меня реабилитации. Значит, для вас нет сомнения в моей провокационной работе? — Богров разразился принужденным смехом.— Так вот пойти и сейчас же, на перекрестке убить первого попавшегося городского? Это ли будет реабилитацией?

Лятковский ничего не ответил. Наступило тягостное молчание.

Богров в глубоком раздумье несколько раз прошелся по комнате, а затем, снова сев на стул, взволнованно продолжал:

— Скажите мне, какой мотив мог бы побудить меня служить в охранке? Что говорят по этому поводу товарищи? Деньги? В них я не нуждаюсь. Известность? Но никто из генералов революции по моей вине не пострадал. Женщины? — Богров выразительно пожал плечами и умолк.

Лятковский подошел к книжным полкам. Заметив на одной из них журнал «Былое», он стал просматривать его. Богров предложил Лятковскому взять книгу с собой.

— Я очень люблю «Былое». Оно тем ценно для меня,— сказал Богров,— что по нему я знакомлюсь с действительными революционерами и учусь той поразительной конспирации, которой они себя окружали.

И после длительной паузы, в течение которой Лятковский внимательно перелистывал «Былое», Богров снова вернулся к волнующей его теме.

— Вы говорите: «реабилитировать себя»,— сказал он, словно беседуя с самим собой.— Хорошо. Согласен. Но только если убью Николая, видимо, будут считать, что я себя реабилитировал.

— Да кто же из революционеров не мечтает убить Николая? — отозвался Лятковский.

— Нет,— как бы продолжая свои мысли вслух, перебил его Богров.— Николай — ерунда, Николай — игрушка в руках Столыпина. Благодаря его политике задушена революция и кровь лучших сынов народа льется, как вода.

Завязалась беседа, полная интереса и для Лятковского. Он объявил мысль Богрова наивной, не учитываявавшей всех трудностей, с которыми был бы сопряжен такой акт.

По мнению Лятковского, такое «дело» было бы не под силу одному человеку, для этого следовало бы создать организацию боевиков.

— И я,— заявил Лятковский,— лично готов участвовать в создании такой группы и подыскать для нее стойких и решительных людей...

Богров перебил его, не дав высказать мысль до конца:

— Нет, ваша идея не годится. Нельзя исключить в данном мероприятии случайного провала, и тогда провал будет истолкован как новое доказательство моей провокаторской деятельности. Нет, так не годится. Я сам, без чьей-либо помощи, добьюсь своей реабилитации, восстановления своего доброго имени. Как добраться до Столыпина, я еще не знаю, но думаю, что сумею это сделать осенью, когда в Киеве начнутся маневры, на которых будет Николай и, конечно, Столыпин.

Вы и все товарищи еще услышите обо мне,— решительно повторил он на прощание.

Последняя фраза была произнесена не ради эффекта. Мысль о том, что он должен прекратить сотрудничество с охранкой и загладить причиненный им вред, вошла в сознание Богрова уже давно и крепко, еще в петербургский период его жизни. Он непрерывно думал о том, как добиться реабилитации.

Однако беседа с Лятковским имела для него существенное значение. В процессе этой беседы Богров окончательно убедился в том, что без жертвенного, искупительного подвига ему не смыть с себя клейма ренегата. В этой беседе была впервые нащупана идея подвига, и тут

же она облеклась в плоть и кровь — убить Столыпина!

В августе 1911 года, подгоняемый приближением событий — приездом в Киев после маневров царя и его приближенных, — Богров завершил разработку своего плана до мельчайших деталей. 26 и 27 августа он направился на квартиру к Н. Н. Кулябко, с которым уже не поддерживал связи свыше полутора лет, предварительно уведомив его по телефону, что имеет сообщить ему кое-что важное. Кулябко немедленно принял его дома в присутствии полковника Спиридовича и вице-директора департамента полиции камер-юнкера Веригина, занимавшихся организацией безопасности царя и сопровождавших его лиц в Киеве.

Богров сообщил присутствующим, что в Киев из Кременчуга собирается приехать известный петербургскому охранному отделению террорист «Николай Яковлевич» в сопровождении некоей «Нины Александровны» для совершения убийства во время «августовских торжеств» одного из видных царских министров. В связи с этой миссией последние обратились к Богрову с просьбой дать им возможность прибыть в Киев не по железной дороге или пароходом, а на моторной лодке, дабы избежать полицейского наблюдения, а по приезде в Киев — прожить некоторое время у него на квартире.

Кулябко с друзьями, разумеется, очень заинтересовались сообщением. Вместе они разработали агентурно-оперативный план поведения Богрова в данной ситуации, порекомендовав ему пойти навстречу просьбам «Николая Яковлевича», дабы его и его спутницу держать в поле наблюдения охраны и при помощи Богрова полнее раскрыть их террористические планы, их сообщников и, «ликвидировав» террористов, предупредить события.

Последующие сообщения Богрова о появлении в Киеве «Николая Яковлевича» стали в охранных кругах сенсацией дня, высоко взметнувшей престиж киевской охраны и ее руководства. «Все агентурные сведения, касающиеся подготовки «Николаем Яковлевичем» и его группой покушения на Столыпина и Кассо, — показал Кулябко 5 сентября 1911 г., — я своевременно передал Спиридовичу, Веригину и генералу Курлову, заместителю министра внутренних дел, и на основании моих докладов генералом Курловым были сделаны предупреждения Столыпину и Кассо и доведено до сведения дворцового коменданта Делюлина. Кроме того, лично мною было доложено генерал-губернатору Трепову.

Начиная с 26 августа Богров ежедневно информировал Кулябко об очередных шагах пресловутого «Николая Яковлевича».

В архивном деле сохранилась одна из таких письменных информаций, предъявленная Кулябко следователю Фененко и прокурору Киевского окружного суда Брандорфу. Составленная рукой Богрова (его кличка «Аленский») информация дает наглядное представление о том, как тот вел жизнь Столыпина к роковой развязке. «У Аленского,— писал Богров,— в квартире ночует сегодня приехавший из Кременчуга «Николай Яковлевич», про которого сообщал. У него в багаже — два браунинга. Говорит, что приехал не один, а с девицей — Ниной Александровной, которая поселилась на неизвестной квартире, но будет завтра у Аленского между 12 и 1 час. дня. Впечатление такое, что готовится покушение на Столыпина и Кассо. Высказывается против покушения на государя из опасения еврейского погрома в Киеве. Думаю, что у девицы Нины Александровны имеется бомба. Вместе с тем «Николай Яковлевич» заявил, что благополучный исход их дела несомненен, намекая на таинственных высокопоставленных покровителей. Аленский обещал во всем полное содействие. Жду инструкций». Текст приведенной записки показывает, как далеко зашел Богров в изобретенной им игре в «Николая Яковлевича» за пятнадцатимесячный срок мифического существования последнего.

Получив записку, Кулябко ночью немедленно вызвал Богрова к себе на квартиру. Заспанный, в одном белье, он принял Богрова и обсудил с ним дальнейший план предотвращения террористического акта. Завтра — 1 сентября, день торжественного спектакля в опере. В театре соберется вся знать империи: царь, его свита, вся дворцовая и сановно-министерская элита. От Кулябко зависит спасение Столыпина и Кассо, безопасность царя и приглашенных лиц. Основная работа уже сделана. Население города и его окрестностей «профильтровано»: неблагонадежные — обезопасены; организован строжайший контроль за всеми, кто будет приходить в театр по специальным, им, Кулябко, лично розданным билетам; контроль поручен проверенным лицам, на дальних и близких подходах к театру будут действовать надежные наряды из жандармов, полицейских и филеров. Все еще раз было продумано, проверено, чтобы не оставить ни единой щели вне жандармского контроля.

Богрову было предложено не выпускать своих «гостей» ни на секунду из поля зрения и держать их на запоре в своей квартире. Здесь «Николай Яковлевич» и «Нина Александровна» должны были ждать сигнала Богрова «к действию». Тут же Кулябко распорядился усилить наблюдение за квартирой Богрова с тем, чтобы арестовать приезжих террористов при первой же их попытке выйти на улицу.

Важнейшим узлом намеченного комплекса охранных мероприятий было решение Кулябко дать билет Богрову в оперу на торжественный спектакль (накануне Богров также был на торжественном вечере в купеческом собрании, и также по билету, выданному ему Кулябко), чтобы этим еще больше укрепить доверие террористов к Богрову, с одной стороны, и постоянно иметь последнего под рукой и обеспечить своевременную информацию начальства о поведении и настроении террористов — с другой. Той же ночью у Богрова, согласно его показанию, окончательно созрел план убийства Столыпина в помещении театра во время торжественного спектакля.

Наступило утро 1 сентября. Накануне ночью Богров вернулся домой поздно, как всегда. Весь день он вел себя самым привычным образом, не обнаруживая ни беспокойства, ни тревоги, ни волнений. В 8 часов вечера на углу Пушкинской улицы и Бибиковского бульвара (ныне бульвар имени Шевченко) Богрову был вручен театраль- ный билет в оперу служащим охранного отделения «Самсоном Ивановичем». За три часа до этого Богров позвонил Кулябко по телефону по поводу билета в театр и тут же сообщил ему, что «Николай Яковлевич» заметил наблюдение и беспокоится.

Идея этого сообщения полностью раскрывается в записке, предназначенной для Кулябко и отобранной у Богрова при личном обыске. Она осталась у Богрова потому, что ее содержание он уже успел передать Кулябко по телефону. Повторим его: «Николай Яковлевич очень взволнован. Он в течение нескольких часов наблюдает из окна через бинокль и видит наблюдение. Уверен, что за ним поставлено наблюдение. Скверно. Слишком откровенно. Я не провален еще». Положение было таково, что каждую минуту могло последовать распоряжение арестовать «Николая Яковлевича» и его «спутницу», запертых, по твердому убеждению Кулябко, в квартире Богрова. А дверь квартиры зорко охранялась филерами. И Богров подготавливал шефа к провалу. Ведь террористов в квар-

тире не окажется, так как их в природе не существовало. Следовательно, надо убедить Кулябко снять наблюдение, забрать филеров, и тогда объяснение неудачи готово: «Николай Яковлевич» и его «спутница», воспользовавшись потерей бдительности, ускользнули неизвестно куда. На всякий случай Богров принял меры к оттяжке момента провала. Раньше должна наступить смерть Столыпина.

Телефонное сообщение Богрова взволновало Кулябко. Он немедленно поделился новостью с полковником Спиридовичем, камер-юнкером Веригиным и через них передал срочную информацию товарищу министра внутренних дел генералу Курлову. Последний, проявивший интерес ко всему, что было связано с «Николаем Яковлевичем», в свою очередь, информировал дворцового коменданта Делюлина, Столыпина и Кассо. Интересен следующий эпизод. 1 сентября министр финансов столыпинского правительства В. Н. Коковцев по просьбе Столыпина должен был заехать к нему, чтобы вместе отправиться в театр. По дороге Столыпин сказал Коковцеву: «Я не хочу, чтобы это разглашалось, но есть глупые сведения, что какое-то готовится покушение. Поэтому лучше быть вместе». На это Коковцев ответил: «Довольно нелюбезно с вашей стороны, что вы хотите непременно вместе». «Извините,— сказал Столыпин,— я в эту историю не верю».

Вечером 1 сентября на спектакле в помещении Киевской оперы генерал Курлов через Кулябко находился в постоянном контакте с Богровым. Встревоженный необходимостью снять наблюдение, Кулябко, по настоянию Курлова, послал Богрова из театра домой для проверки «самочувствия» «Николая Яковлевича» и его «спутницы». Богров вышел из здания театра и перешел на противоположную сторону. Погуляв здесь ровно столько времени, сколько необходимо было на рейс туда и обратно, он вернулся в театр. На контроле его задержали, так как на его билете уже была отметка контроля. Пришлось потратить немало усилий, чтобы вызвать Кулябко и подтвердить свое право на вход. Наконец его пропустили.

Начался спектакль. Затем последовал антракт. Прошло второе отделение, и снова антракт. Каждый раз во время антрактов генерал Курлов требовал донесений о «Николае Яковлевиче» и его «спутнице». Волновался и Кулябко. Во время второго антракта, посоветовавшись с Курловым, Кулябко предложил Богрову пожертвовать

остатком вечера, вернуться домой и там ждать прихода жандармов. Покорно выслушал это приказание Богров: раз нужно... Кулябко вернулся в фойе театра, чтобы доложить Курлову об отданном Богрову распоряжении, а последний направился через зрительный зал к гардеробу.

С удовлетворением слушал Курлов сообщение Кулябко. Вдруг раздались два выстрела. После нескольких мгновений оцепенения послышался яростный рев публики. Курлов, Кулябко и другие поспешили в зал, но было уже поздно. Столыпин полусидел в кресле первого ряда, а по полу толпа волокла убийцу.

ПРОДАВЕЦ ТАЛИСМАНОВ

Подполковник отдельного корпуса жандармов Иванов в период описываемых событий служил помощником начальника киевского губернского жандармского управления и был другом начальника киевского охранного отделения подполковника того же корпуса жандармов Кулябко, арестованного вместе с Богровым по делу об убийстве Столыпина и по подозрению в соучастии с ним. Иванов был кровно заинтересован в показаниях Богрова, и не только потому, что ими решалась судьба Кулябко. Дело Богрова вызвало опасные грозные тучи над всем полицейско-жандармским ведомством.

Для царского окружения казалось непостижимым то обстоятельство, что киевская охранка, будучи частью организации государственной безопасности, фактически превратилась в очаг опасной антигосударственной деятельности. Предстояла тщательная, скрупулезная и пристрастная ревизия киевских жандармских учреждений. Эта ревизия по царскому повелению была возложена на сенатора М. И. Трусевича, который, в частности, должен был разобраться и во взаимоотношениях Кулябко с Богровым.

В Киеве, таким образом, ожидался ревизор — сенатор М. И. Трусевич. При этих условиях Иванов, разумеется, стремился использовать свое влияние, вернее — доступ к Богрову, чтобы до приезда Трусевича добиться от него показаний, способных реабилитировать в глазах царского правительства и третьей юньской думы киевские жандармские и охранные власти и спасти от виселицы Кулябко.

Иванов оказался 1 сентября на месте происшествия и поэтому приступил к допросу Богрова сразу же, не до-

жидаясь появления следователя по важнейшим делам Киевского окружного суда Фененко, которому официально было поручено ведение следствия. Затем он добился возможности допросить Богрова в отсутствие Фененко 4 сентября в «Косом капони́ре» по вопросу о взаимоотношениях Богрова с Кулябко и его сотрудничестве с охранным отделением. Результаты допроса не порадовали его: Богров утверждал, что он работал в киевской охранке два с половиной года, то есть до начала 1910 г. (впоследствии это подтвердилось и справкой сенатора Трусевича). Кроме того, в показаниях Богрова руководители охранного отделения выглядели ограниченными, наивными людьми, которых легко можно было провести и мистифицировать.

Казалось бы, все. У Иванова не могло быть никаких шансов на получение от Богрова дополнительных признаний в желательном ему духе. Но Иванову повезло.

* * *

В один из июньских дней 1925 г. в Киеве, на Бессарабском рынке, был задержан пьяный субъект, открыто предлагавший купить у него «на счастье» куски от веревки повешенного. Последующим расследованием было установлено, что задержанный — не кто иной, как бывший главный палач киевской Лукьяновской тюрьмы и мрачной памяти «Косого капони́ра» Юшков. Он на допросе долго отпирался, но под давлением доказательств был вынужден признать себя виновным в исполнении смертных приговоров через повешение 19 сентября 1906 г. и 22 сентября 1916 г. над приговоренными к смертной казни Киевским окружным судом за участие «в беспорядках». Следствие уже подходило к концу, когда была получена от Юшкова записка с просьбой вызвать его на допрос для сообщения новых интересных данных. Просьба была удовлетворена, и на допросе Юшков сообщил, что, кроме четырех казней, в которых его обвиняли, он участвовал и в казни лица, убившего царского министра Столыпина, но что фамилию казненного запомнил.

— Богров? — вырвалось у следователя.

— Точно, Богров, — обрадованно подтвердил Юшков. — Вы напомнили его фамилию. Но его правильно повесили, — поспешно проговорил Юшков. — Он был предатель рабочих и крестьян, провокатор... Я сам из-за него здорово пострадал — ох, и была же история...

Внимательно слушал следователь рассказ палача об обстановке казни и последних минутах повешенного. Правильно разгадал следователь и попытку Юшкова представить свое участие в казни Богрова как некую заслугу перед революционным движением и Советской властью.

— А как же,— торжественно и вопрошающе воскликнул Юшков,— кто-то должен был этого предателя повесить. А вы разве против?

Охотно и обстоятельно рассказал Юшков «историю своих страданий» из-за Богрова.

— В то время,— сообщил он,— я был страшно непутевый. Много пил.

Водку ему безотказно давали в Плосском полицейском участке в Киеве, где он мог жить «на всем готовом, сколько ему захочется». При желании он возвращался на частную квартиру, где проживала его старушка мать, относившаяся к нему со смешанным чувством острого страха и материнской любви. Юшков частенько люто избивал ее, особенно за ропот на недобрую славу, которая ходила о нем в народе.

— Когда убили Столыпина,— продолжал Юшков,— я был на воле и жил с матерью. Как-то позвал меня пристав и сказал, что через три-четыре дня надо будет «поработать». В такие дни я мог все время жить при околотке, там было специальное помещение для меня, вроде камеры. И там, по моему желанию, меня безотказно кормили и поили. Как-то утром приходит ко мне мать. «Что случилось?» — спрашиваю. А она падает мне в ноги, плачет, умоляет. «Не надо,— говорит,— сынок, больше этим заниматься... Стыдно на людях показаться. Уезжай из Киева, и чем скорее, тем лучше, — деньги на дорогу и жизнь добрые люди дадут». Я хотел было сразу ее побить и выбросить, уж больно мне надоела этими разговорами, но подумал: что это за добрые люди, которые так жалеют мою мать и суют ей деньги? Я велел ей тут же рассказать, кто ее подослал ко мне.

И вот что она рассказала.

Утром к ней пришли молодые люди, сказали — студенты, которые знают, что я живу при участке, и стали ее стыдить, что ее сын — палач, вешатель, и велели ей посоветовать мне бросить это дело, и тогда, если я желаю, общество мне даст деньги, чтобы уехать из Киева куда-нибудь. Но уехать надо немедленно — так они передали,— чтобы я не смел исполнить приговор над убийцей

Столыпина. Студенты предупредили мать, что если не выполню их требования, то по всему нашему району будут расклеены листовки, приглашающие жителей прийти на «Лысую гору» и смотреть (была указана дата казни), как я вешаю людей. Я стал кричать на мать и предупредил ее, что если она хоть раз еще встретится со студентами, то я убью ее. Вдруг меня такая досада взяла, я сильно ударил мать, стоявшую передо мною на коленях, кулаком по голове. Она опрокинулась навзничь и перестала дышать. Я забежал в канцелярию участка и сообщил, что убил свою мать. Все сразу побежали в мою камеру, где в беспомощности на полу лежала моя мать. Скоро появилась карета скорой помощи, в которой ее, так и не пришедшую в себя, отвезли в больницу.

Оставшись один, я здорово напился и завалился спать. Выспавшись к концу дня, я вспомнил о матери и тотчас же направился в больницу проведать ее. Но служители не пустили меня. Я стал, понятно, скандалить, шуметь. Ко мне подошли незнакомые молодые люди, которые будто сочувственно спросили меня: в чем дело, почему я кричу, кто меня обидел? Я их послал ко всем чертям, отказался с ними разговаривать и снова направился к дверям больницы. Но молодые люди набросились на меня, скрутили руки и усадили в ждавшую их пролетку, чтобы отвезти в полицию. Когда я стал кричать от боли и возмущения, они сунули мне в рот кляп. Помню, что по дороге я просил дать напиток. Они ухитрились влить мне в глотку из бутылки водку. Больше я ничего не запомнил.

Очнулся Юшков через два дня в одном из кабаков на окраине Петербурга. Возле него никого не было. От кабатчика он узнал, что сюда он пришел накануне в обществе шумной студенческой компании, которая почти сутки праздновала его, Юшкова, именины. Юшков потребовал вызова полиции. Пока явился ее представитель, кто-то услужливо снова его напоил.

— Что там дальше произошло,— продолжал Юшков,— не помню, крепко напоили. Пришел в себя только на вокзале в Киеве. Кругом конвоиры, которые прямо с вокзала повезли меня в канцелярию генерал-губернатора. Когда меня завели в его большой кабинет, сам Трепов вышел из-за стола ко мне навстречу и строго спросил, как я попал в Петербург. Я ему рассказал, что группа студентов насильно меня увезла туда. Трепов рассвирепел и потребовал, чтобы я ему рассказал, как началось мое

знакомство со студентами. Я стал повторять свой рассказ, но вдруг страшный удар нагайкой ожег меня. Откуда она взялась у него в руках, понятия не имею. Удары сыпались градом, и я свалился на ковер. И тогда генерал начал избивать меня лакированными сапогами. Как он меня бил! Так меня еще сроду никто не бил,— почти с гордостью закончил Юшков свое повествование.

Из дальнейшего рассказа Юшкова выяснилось, что его, наконец, подняли и отвезли в Плосский участок, где передали в руки пристава, который, в свою очередь, избил Юшкова уже «по-дружески». Потом его накормили, напоили и уложили спать. Разбудили его ночью и, нарядив в палаческую униформу — плисовые шаровары, щегольские сапоги, красную рубашу и того же цвета колпак,— повезли на «Лысую гору» — место казни.

...С исчезновением палача Юшкова в жизни Богрова наступила пауза, которую Иванов решил использовать для последней атаки на арестованного. 10 сентября он явился в «Косой капонир» к измученному длительным ожиданием казни Богрову, который не знал истинной причины ее оттяжки. Иванов надеялся надломить дух Богрова, внушив ему иллюзии о возможности «чуда» в его положении, если он в конце концов решится дать «правдивые и искренние» показания, желательные жандармскому ведомству. По расчету Иванова, Богров, поверив в иллюзорные намеки, обретет силу не только для дачи благоприятных для охраны показаний, но и для собственноручного их изложения, что само по себе послужит доказательством их добровольности, а потому и достоверности.

Иванов заверил Богрова в том, что ожидаемые показания будут носить сугубо конфиденциальный характер, так как они, мол, нужны лишь полицейскому департаменту для ограждения его, Богрова, от «обидных и незаслуженных» обвинений и спасения Кулябко.

Иванов между тем отметил, что Богров за последние дни сильно сдал. Не ускользнуло от его оценки и то новое, беспомощное и приниженное, что гнездилось во взгляде Богрова. Он понял: Богров ждет «чуда» и Иванова считает его провозвестником.

Он приветствовал Богрова и спросил, как ему спалось. Богров вежливо поблагодарил и мгновенно вернулся в привычный ему мир отрешенности и пренебрежения к смерти.

— Что случилось, почему до сих пор за мною не приходили? — твердо спросил он.

Иванов присел на прикованный к полу табурет, жестом приглашая Богрова сесть на нары.

— Разве вам не ясно, что в вашем деле кое-что происходит? Приговор по вашему делу, как вы знаете, подлежит конфирмации со стороны генерал-губернатора, а в этой стадии приговор может быть и изменен, разумеется, при наличии оснований. Вот я и приехал к вам — вы ведь знаете, что я отношусь к вам неплохо, — помочь создать вам эти основания. Теперь они полностью зависят от вас.

И Иванов дружелюбно, наставнически посоветовал Богрову собственноручно написать подробные показания, которым «можно было бы поверить». В этих показаниях, по мнению Иванова, должно быть подчеркнуто и в деталях убедительно обосновано, что Богров все время честно служил охранному отделению и в настоящее время предан ему и что эта честность никогда не вызывала сомнений ни у Кулябко, ни у других руководителей секретной полиции в Киеве. Что касается убийства Столыпина, то, по совету Иванова, Богрову следовало убедительно показать, что он пошел на это действие не по собственной воле, а по принуждению, под угрозой смерти со стороны анархистского подполья, узнавшего о его, Богрова, связях с охранкой.

(Подлинники протоколов допросов Богрова от 4—10 сентября 1911 г. были найдены в архиве департамента полиции Б. Струмило и опубликованы им в 1924 г. в журнале «Красная летопись». Копии этих протоколов Иванов направил следователю Фененко в день приезда в Киев сенатора Трусевича, у которого все дело вместе с указанными копиями протоколов находилось с 16 по 24 сентября 1911 года.)

— Вы должны указать, кто персонально вас толкнул на убийство Столыпина, — доверительно продолжал Иванов. — Когда вы говорите, что эта мысль возникла лично у вас и что ради нее вы готовы умереть на виселице, вам никто не верит. Ваше показание от 4 сентября 1911 г., которое вы дали лично мне, никого не удовлетворяет. Кого вы скрываете, за кого вы готовы сложить голову, за Лятковского и «Степу»?

Иванов выложил на стол несколько фотографий, на обороте которых были написаны фамилии, имена и отчества изображенных на них лиц, их партийная принадлежность и партийные клички. Среди этих фотографий

Иванов нашел и выделил две: Петра Лятковского и «Степы». На обороте фотографии «Степы» крупным почерком Иванова было написано: «Каторжник Вячеслав Куприянович Виноградов, кличка — «Степа», член анархистской группы «Черное знамя».

Подбадриваемый молчанием и покорностью Богрова, Иванов продолжал наступать.

— Вам нет смысла сейчас упираться. Времени у вас осталось не так много. Возьмите бумагу, ручку и пишите.

Богров как бы очнулся от тяжелого обморока. Глухо стал он возражать против навязываемой ему роли Лятковского и «Степы». Последнего он видел всего несколько минут в 1908 г., когда он, Богров, будучи кассиром группы, вручил ему восемь рублей для переезда в Черкассы. Больше он его никогда не видел. Но Богров уже оказался надломленным спасительным смыслом, который он уловил в словах Иванова, и всем своим сердцем и ослабленной волей ринулся в западню к вождельной приманке. После некоторых дополнительных разъяснений Иванова Богров машинально схватился за ручку, придвинул к себе бумагу и чернила и стал писать.

Только при таких (или примерно таких) обстоятельствах и могло появиться показание Богрова от 10 сентября, зачеркнувшее в сознании современников жертвенность его поступка, отвагу и мужественность его поведения на следствии и в суде и превратившее его имя в синоним идейной опустошенности, ренегатства и оплачиваемого предательства.

ТОРЖЕСТВО ЖАНДАРМА

Показание Богрова от 10 сентября написано им собственноручно и начинается с опознания Петра Лятковского по предъявленной фотографии и описания их встречи, состоявшейся в начале марта 1911 г. на квартире Богрова.

Но по существу, взявшись за перо, чтобы выдать лиц, подстрекавших его к убийству Столыпина, а себя изобразить жертвой подстрекателей, Богров скрывает, однако, от Иванова то обстоятельство, что единственным таким подстрекателем был Лятковский, старательно отводя от него всякие подозрения, изображая их беседу как миролюбивую и дружелюбную. Затем в хронологическом порядке в показании приводится ряд эпизодов, каждый из которых и тем более вместе взятые обнаруживают стрем-

ление доказать, что убийство Столыпина является не актом политического возмездия, а результатом попытки самореабилитации со стороны провокатора перед лицом нависшей над ним смертельной опасности быть истребленным кучкой лиц, чьи интересы он предавал.

А вот и самые «откровения» в протокольном оформлении их автора, Богрова, при «благосклонном» участии Иванова: «16 августа ко мне на квартиру явился известный мне еще в 1907—1908 г. « Степа », который был в Киеве в 1908 г. летом. Он бежал с каторги, куда он был сослан по приговору екатеринославского суда за убийство офицера... В Киеве он был по пути за границу, причем со мною встретился только для того, чтобы ему помочь деньгами. Я дал ему 8 рублей и адрес в Черкассы, куда он и отправился. При его появлении 16 августа « Степа » был хорошо одет, и я его не узнал. Открыл ему дверь я сам... « Степа » заявил мне, что моя провокация безусловно и окончательно установлена, что сомнения, которые были раньше из-за того, что многое приписывалось убитому в Женеве в 1908 г. провокатору Найдорфу (кличка « Бегемот », настоящая фамилия которого Левин из гор. Минска), теперь рассеялись и что решено о всех собранных фактах довести до сведения общества, разослав объявления об этом во все те места, где я бываю, как, например, суд, комитет присяжных поверенных и т. п. Вместе с тем, конечно, мне в ближайшем будущем угрожает смерть от кого-то из членов организации. Объявления об этом будут разосланы в самом ближайшем будущем. Когда я стал оспаривать достоверность парижских сведений и компетентность партийного суда, « Степа » заявил мне, что реабилитировать себя я могу только одним способом, а именно путем совершения какого-либо террористического акта, причем намекал мне, что наиболее желательным актом является убийство начальника охранного отделения Кулябко, но что во время « торжества » в августе я имею богатый выбор. На этом мы разошлись, причем последний срок им был мне дан 5 сентября. После этого разговора я, потеряв совершенно голову из опасения, что вся моя деятельность в охранном отделении будет раскрыта, решил совершить покушение на Кулябко. Но будучи встречен Кулябко очень радушно, я не привел своего плана в исполнение, а вместо этого я в течение получаса излагал ему и приглашенным им Спиридовичу и Веригину вымышленные сведения. Уйдя от Кулябко, я опять в течение 3-х дней ничего не предпринимал. Потом,

основываясь на его предложении (при первом свидании) дать мне билеты в Купеческое и театр, я попросил у него билет в Купеческое. Тем я вновь не решился совершить покушение и после Купеческого ночью поехал в охранное отделение с твердой решимостью убить Кулябко. Для того чтобы его увидеть, я в письменном сообщении еще больше подчеркивал грозящую опасность. Кулябко вызвал меня к себе на квартиру, встретил меня совершенно раздетым, и, хотя при такой обстановке я имел все шансы скрыться, у меня не хватило духа на совершение преступления, и я вновь ушел. Тогда же ночью я укрепился в мысли произвести террористический акт в театре. Буду ли я стрелять в Столыпина, я не знал, но окончательно остановился на Столыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал, отчасти же потому, что на нем было сосредоточено общее внимание публики».

Подполковник Иванов закончил допрос. В его папке лежало показание-талисман, которому суждено было оградить тайную полицию и лично Кулябко от нависшей над ним опасности в связи с ожидавшимся приездом сенатора Трусевича. Теперь Богров собственной рукой зачеркнул свою же версию, которую он упорно отстаивал на предварительном следствии. Вместо нее была выдвинута другая, спасительная во всех отношениях. По новой версии, мотивом убийства являлась не личная воля Богрова и не политическая его месть, а чужая, подстрекательская воля, притом угрожавшая убийце уничтожением.

Иванов был доволен и тем, как разрешился вопрос о личности подстрекателя. Чтобы не вовлекать в дело новых лиц, на что Богров никогда не согласился бы, был изобретен « Степа », лицо некогда реальное, а на день допроса существовавшее лишь на архивной фотографии, на обороте которой почерком Иванова было крупно выведено: « Вячеслав Куприянович Виноградов, подпольная кличка — « Степа », участник зарубежной анархистской группы « Черное знамя ». Рассчитывая на специфический вкус Трусевича как бывшего директора полицейского департамента, Иванов для вящей убедительности приобщил к материалам о « Степе » справку Киевского адресного бюро о непроживании последнего в Киеве и его старой сущности.

Вполне удовлетворило Иванова и показание о Кулябко, который на этот раз рисовался верным царским слугой, обреченным анархистским подпольем на смерть от

руки Богрова. Эта рука, однако, не поднималась на Кулябко как на честного и хорошего человека...

ПРОБУЖДЕНИЕ

В ночь на 12 сентября Богров спал, когда за ним приехали тюремщики. Тихонько они стали открывать дверь. Когда тюремщики вошли в камеру, Богров проснулся и вскочил на ноги. Он почувствовал, что это конец. Мгновенно внутренний холод охватил его сердце, и его затрясло. Чтобы скрыть свое состояние, он попросил дать ему его шляпу. Шляпы ему не дали, а ловко и неожиданно скрутили руки назад и стали связывать их веревкой. Богров не сопротивлялся. Движениями рук и тела он помогал тюремщикам крепче скрутить его руки. Все делалось молча, напряженно, торопливо. Ему вдруг захотелось услышать хоть обыкновенный человеческий голос, но кругом все молчало. Тогда ему захотелось услышать свой собственный голос, проверить, не сон ли все это, и он четко проговорил:

— Самая счастливая минута в моей жизни только и была, когда услышал, что Столыпин умер.

Но разговор не был поддержан.

Богрова вывели из камеры во двор, где его поджидала группа людей. От группы отделился вице-губернатор. Он подошел к Богрову, деловито осмотрел его скрученные за спину руки, попробовал, крепко ли они связаны, и тут же приказал закрутить их потуже, чтобы по дороге не развязались. Конвою он дал инструкцию: «Стрелять, если попытается бежать или если кто-либо по дороге попытается его освободить». «Так вот и увезли, — рассказывал впоследствии Лятковскому часовой-очевидец, — больше его и не видели. Наша караульная команда осталась. Когда его увезли, то команда до новой смены все как-то не по себе чувствовала себя».

Кавалькада конников и извозчиков, сопровождавшая Богрова в последний путь, приближалась к «Лысой горе». Здесь все уже было подготовлено к казни. В одном из глухих углов двора форта стояла виселица с опущенной веревочной петлей, тускло освещаемая светом одинокого фонаря, стоявшего на табурете. По двору шныряли какие-то людские силуэты. Томясь от безделья, но почему-то не ощущая важности предстоящего ритуала и собственной главной роли в нем, прохаживался палач Юшков, облаченный в свою устрашающе-живописную

униформу. Его фигура придавала обстановке зловещую и мрачную торжественность.

Сопровождавшие Богрова коляски остановились на улице, у ворот. Во двор въехала лишь в сопровождении конвоя карета, в которой, связанный и еле живой, сидел приговоренный. Карета остановилась недалеко от виселицы. По чьему-то приказанию зажглись факелы, породившие чудовищные, прыгающие тени виселицы и людей. Смертника во фраке и без головного убора вывели из кареты и под руки подвели к табурету, стоявшему возле виселицы. Отсутствующим взглядом он озирался вокруг, дальним сознанием постигая, что он центральная фигура действия. Богрова окружил конвой, к которому подошли вице-губернатор, полицмейстер, товарищ прокурора Киевского окружного суда Лашкарев, тюремные служители и другие официальные лица, присутствовавшие для того, чтобы после казни засвидетельствовать смерть приговоренного. Лашкарев при свете факела зачитал постановляющую часть приговора, которую Богров уже однажды выслушал. После оглашения приговора последовал приказ вице-губернатора палачу: «Действуй!»

Стоявший возле виселицы Юшков придвинул к себе табурет, снял с него мешок и ловко накинул его на голову Богрова. Схватив последнего своими мощными руками, он поднял его и поставил на табурет. Придерживая Богрова, Юшков посмотрел сначала вверх, а затем на основание виселицы. Здесь, возле столба, обвитого веревкой, он увидел стоящего Лашкарева, прижимавшего, согласно инструкции, пальцами правой руки к столбу конец веревки. Все в порядке. Можно начинать. Привычным движением Юшков набросил петлю на плечи Богрова, руками нащупал шею, на которую натянул петлю, и почти мгновенно, неожиданным ударом ноги выбил из-под Богрова табурет. Все было настолько просто, что не верилось, что на глазах живых людей происходит мистерия умерщвления им подобного... Казненный дернулся всем телом и на какое-то мгновение повис в воздухе. Но вдруг молниеносно по виселице зазмеилась веревка, и повешенный упал на землю. Присутствующие ахнули. Все поняли, что случилось страшное и неожиданное: неужели слепой случай освободит от смерти убийцу Столыпина? (Согласно христианской традиции, подобный случай объяснялся вмешательством божественной силы, и было грешно повторять ритуал казни.)

Но уже раздался свирепый окрик вице-губернатора,

сопровождавшийся ударом кулака в спину палача: «Повесить!» Еще не совсем отрезвевший Юшков бросился подымать с земли безжизненное, казалось, тело Богрова. Но оно почему-то очень потяжелело. Юшков зацепился за что-то и вместе со своим грузом упал на землю, распластавшись рядом с Богровым, наполовину укрытым мешком. Палач поднялся и повторил попытку поднять Богрова с земли. Она удалась без особых усилий. Богров снова на табурете. Движением ног и всего тела он отстранил державшие его руки палача, явно показывая, что может и желает стоять без помощи посторонних. Но озлобленный Юшков еще сильнее сжал хрупкое тело Богрова, пододвигая его к табурету. В это время в напряженной ночной тишине раздался слабый голос казнимого. Но слов его никто не разобрал.

— Он еще жив! — испуганно и угрожающе вскрикнул вице-губернатор.— Скорее!

Юшков торопливо стал вторично налаживать петлю на шею Богрова. Из-под мешка послышалось надорванное, скрипучее и бессильное: «Сволочи».

Остервенелый Юшков выбил из-под ног Богрова табурет, который, несколько раз перевернувшись, отлетел далеко в сторону. Тело Богрова вновь повисло в воздухе. Раза два оно судорожно подпрыгнуло, а затем обмякло...

Б. Майский

**Записки
из
Мальцевской
тюрьмы**



Морозным январским днем 1906 года в Минске хоронили чиновника. Когда процессия начала вытягиваться на Соборную площадь, вдруг в губернатора Курлова, который шел на некотором удалении от участников похорон, полетела бомба. И тут же прогремел выстрел из пистолета, пуля пробила воротник полицмейстера Норова, шедшего следом за губернатором. Покушавшиеся — эсеры Иван Пулихов и Александра Измайлович — тут же были схвачены полицией.

О тех далеких событиях на минской Соборной площади и что за ними последовало и рассказывается в «Записках из Мальцевской тюрьмы» Александры Измайлович. Мы публикуем их с некоторым сокращением.

Когда я оглядываюсь на то время, я поражаюсь тому, как различно мерялось время тогда и теперь: за иную неделю тогда, а то и день, больше думалось, чувствовалось и переживалось, чем теперь за целый ряд месяцев. Выпукло и ярко запечатлелись те дни в душе. Так же выпукло и ярко живут они и сейчас перед глазами, так ярко, что иной раз действительность кажется каким-то сном, только в противоположность настоящим снам, — более будничным, серым. Тянет руку к бумаге, так сильно хочется пережить, перечувствовать те дни еще раз...

Жестким кошмаром прошли первые два дня и ночь после нашего неудачного покушения на минского губернатора Курлова и полицмейстера Норова, в темной камерке участка, освещенной только крохотным оконцем в двери. Побои, раздевание до рубашки десятком городских, жестоких и наглых, их издевательства, плевок в лицо под одобрительные замечания приставов и околоточных... Когда я уже была заперта в темной камерке и забралась в самый дальний угол ее, они и тут нашли себе потеху: подходили к дверному оконцу, плевали в него со вкусом и изощряли свое остроумие, пересыпая его отборными, виртуозными ругательствами. В конце концов

они прозвали меня «нечистой силой» и с этой кличкой обращались ко мне все два дня.

Гремел замок моей двери. Я настораживалась и ждала гостей. Это приводили ко мне или для опознания, или просто для интересного представления. Помню одного робкого человека. Городовой чиркнул спичкой и грубо подставил ее вплотную к моему лицу. Тот испуганно залепетал: «Нет, ей-бог не знаю... Никогда не видал... Вот крест, не знаю...»

Пришел раз какой-то офицер, когда уже установили мою личность. Осветили меня спичкой. Должно быть, мое опухшее лицо с затекшим глазом, с запекшейся местами кровью доставило ему самое живейшее наслаждение. Галантно поклонившись, приложив руку к козырьку, он провозгласил с неподражаемым юмором:

— Как изволите поживать, ваше превосходительство?

Приходили и просто так, для того только, чтобы плюнуть в упор в лицо, так как через дверное оконце редко могли попасть в цель.

Запомнилось мне лицо одного городского с длинной черной бородой. Он все время с самого моего прихода и до конца уговаривал остальных не бить меня: «Не надо, оставьте, судить все равно будут, не трогай». Когда отпирали мою дверь и приводили любопытных, он неизменно ворчал: «Зачем отпираешь. Не надо...» Но он был один, их же было 10—15, а может быть, и 20.

Вася¹ сидел в смежной с моею камере, такой же темной. Я вспомнила свои скудные познания по тюремной азбуке (я никогда не сидела в тюрьме) и начала перестукиваться с ним, медленно, неуверенно, он отвечал. Кругом галдели, хохотали или ругались, хлопали дверьми, было трудно слышать ответный стук, и мы замолкли. Наступила временная тишина, и мы опять стучали. Я узнала, что он был избит еще больше моего — он совершенно не мог лежать, так болела спина и болели бока. Он постукивал мне, что около его двери городские рассказывали, как его бомбу положили среди сквера на Соборной площади, где было покушение, обложили соломой, оцепили всю площадь и подожгли солому: бомба взорвалась с большой силой. О том, что тяжело угнетало нас обоих, о нашей неудаче, мы не говорили — было это без слов понятно, и было слишком еще больно касаться этого.

¹ Это подпольная кличка Ивана Пулихова.

На второй день утром (15 января) нас вывели для опознания дворниками во двор участка, сначала Васю, потом меня.

Особенно живо помню я эту сцену. Меня поставили на дворе перед длинной шеренгой дворников. Должно быть, я своим видом произвела на них отвратительное впечатление. Нижняя юбка в лохмотьях (верхнюю порвали на мелкие клочки при раздевании и побоях), растрепанные волосы, все лицо избитое, опухшее, один глаз — сплошной синяк. Жадно глядели на меня десятки людей. Кроме острого любопытства и даже злобы, я ничего не могла тогда прочесть в них. Одной рукой я поддерживала лохмотья юбки, другой закрывала глаз. Но какой-то бдительный городской, боясь, очевидно, что так меня не узнают, отдернул мою руку:

— Стой как следует, нечистая сила.

Сначала стояли молчаливой стеной, угрюмой и враждебной. Потом стена местами стала изрыгать ругань и издевательства.

Меня узнал дворник дома, где жили мои родные. Вася был узнан каким-то полицейским.

Вечером на второй день мы были допрошены следователем по особо важным делам и отправлены в тюрьму. Был уже темный вечер, шел мокрый снег. Нас вели по середине улицы под большим конвоем городских и солдат под командой офицера. Шествие наше освещалось факелами. Мне вспомнилось, как два года тому назад, поздним вечером я с сестрой Катей и еще с другими товарищами — беспечно-веселой компанией — встретили по Захарьевской улице такое же молчаливое, торжественное шествие с факелами и кучкой арестантов. Тогда это шествие произвело на меня какое-то зловещее впечатление — ночь, факелы и люди, куда-то ведомые другими людьми, вооруженными. Помню, потом вся наша компания очутилась в светлой, шумной комнате, но и там, среди смеха и шуток, меня преследовало это ночное шествие. Теперь так же вели меня. Но не было во мне уже этого впечатления чего-то зловещего. Напротив, мягкий воздух оттепели так приятно ласкал после спертой камеры участка. Не было больше опротивевшего хлопанья дверьми, шарканья ног и тяжелой, давящей темноты. Над головой серело небо; освещенные факелами, мелькали снежинки и так мягко и славно падали на горячее лицо.

Мы шли рядом с Васей. Факелы не освещали как следует убожество наряда и безобразие наших лиц. Видно

было только, что на голове у Васи вместо его шапки был белый шарф — шапка сгнула куда-то вместе с моими часами, сорванными с меня. Мы шли и мирно беседовали о нашем суде, о том, кого мы увидим в тюрьме.

Я показала Васе одного городского, особенно измывавшегося надо мною (у меня и сейчас стоит его лицо перед глазами). Тот услышал, что говорю о нем, и стал ругаться.

— Мало еще, сука, получила? Еще могу прибавить.

— Не разговаривать, — скомандовал офицер городovому, и тот должен был ограничиться всю дорогу злобным шипеньем себе под нос по нашему адресу.

Вошли в ворота — арку тюрьмы. Вася вдруг пошатнулся и чуть не упал лицом вниз — это мой городской поддал ему прикладом на прощание.

Конвой был оставлен в воротах после окрика офицера на неудержавшегося городского. Мы очутились в ярко освещенной конторе только с тюремной администрацией и одним из допрашивавших нас в участке судейских.

— Вы, говорят, два дня ничего не ели, — обратился к нам высокий полный тюремщик, как потом мы узнали, — начальник тюрьмы, — вам сейчас подадут чаю.

Мы с Васей удивленно переглянулись. От чаю не отказались. Нас усадили за один из столов конторы и поставили перед нами два стакана чаю, сахар и мешок с булками. Ужасно приятны были первые глотки горячей жидкости для наших, давно уже пустых желудков. Мы не спеша прихлебывали чай, рассматривали друг друга, улыбаясь нашей «красоте», осматривались по сторонам и тихо говорили о том, что теперь уже долго, до самого суда, мы, вероятно, не увидимся.

Каким-то необыкновенным уютom и тихим покоем веяло от всей окружающей обстановки. Мерно тикали часы, ярко горела лампа под абажуром на другом большом столе, за которым тихо переговаривались начальник тюрьмы и судейский; молча, с сонными лицами, стояли надзиратели, облокотившись на барьер, отгораживавший наш стол от другой половины конторы. Там, далеко, остались ненавистные полицейские, хлопанье дверьми, плевки... Почему-то верилось, что больше этого не будет.

Меня повели, наконец, в самую тюрьму. Горячо простились мы с Васей. Тяжело загромыхла внутренняя железная калитка, и я с двумя провожатыми очутилась на небольшом дворе перед длинным корпусом с башнями по углам. Почти все окна светились. Мы обогнули корпус

и пошли параллельно ему. Вся тюрьма жила. Из окон несло сплошное гудение голосов. И такое родное, близкое почудилось мне в этом гудении, такое словно любимое, так бесконечно далекое от тех зверей, что вся моя душа затрепетала и рванулась им навстречу. Сумасшедшая мысль, вбитая мне в голову прикладами, сапогами и плевками тех, не родных мне по духу людей, что все товарищи, с которыми я вместе шла одним путем к одной цели,— мираж, большая фантазия, что кругом только дикие звери с человеческими лицами, и я всегда-всегда буду с ними,— эта безумная мысль была отброшена и сменилась бурной реакцией горячей веры, страстной любви и самой светлой, неудержимой радости. Я никогда не забуду этой минуты. Я ее ставлю наравне с теми днями и часами, когда я ждала казни. Помню, я подняла голову ко всем этим светлым окнам и улыбнулась широкой радостной улыбкой.

Меня ввели в нижний этаж и стали открывать одну из дверей, выходящих в коридор. Из форточки противоположной двери меня позвало несколько женских голосов:

— Саня, Саня, здравствуйте.

Я объяснила им, откуда и по какому делу привели нас с Васей, передала им привет от Кати, бежавшей две недели тому назад из женской тюрьмы, откуда после этого перевели женщин в тюремный замок.

— Она уже находится в безопасном месте,— сказала я.

— Да, в безопасном,— сквозь зубы проворчал провожавший меня надзиратель с суровым лицом,— каждый день денщик в тюрьму обед носит.

Эта фраза старшего надзирателя поразила меня своей дикостью, но проверить у товарищей я не успела, так как дверь из коридора уже захлопнулась за мной. Фонарь, который надзиратель нес в руках, осветил узенький коридорчик, под косым углом идущий от большого коридора. Сыростью и холодом нежилого помещения пахло на меня. Открыли еще дверь и вошли в камеру. Зажгли лампу, притащили деревянную кровать и ушли, оставив первую дверь в коридорчик растворенной. Я осмотрелась. Совершенно круглая камера с одним большим окном, с низким широким подоконником, кровать, фонарь с лампой на стене и высокая круглая железная печь направо от двери. Вероятно, давно уже здесь никто не обитал — холодом веяло от железа печки и всех стен. Но на душе было тепло от мысли, что здесь, рядом со мною, столько близких людей.

Я улеглась, не раздеваясь, на мешок с соломой, укутавшись меховой кофтой и казенным одеялом. Трудно было уснуть от холода, и я кое-как дождалась утра.

Утром загремел замок. Пришли помощник начальника, суровый старший и уголовный с охапкой дров. Из коридора слышались непрерывные голоса товарищей:

— Господин помощник, надо дать воды для умывания... Белье, чай, передайте вот...

Я только тут заметила, как пошаливает у меня одно ухо. Когда открылась дверь и девицы зашумели сразу, в ухе поднялся такой перезвон и ветер, что трудно было различить голоса и слышать. Заперли и ушли. Ярко пылали дрова в печке. Я с наслаждением умылась, переоделась и стала пить чай на окне. В замочную скважину звала меня «Милектриса Кирбитьевна» (как окрестила ее Катя), недавно появившаяся у нас в Минске и арестованная месяц тому назад, чудачка и предмет наших острот.

— Я нарочно вчера говорила, что мы ничего не знаем. Мы в тот же день знали все.

Я спросила ее, что значат слова старшего о Кате. Она меня успокоила:

— Врет он все... Саня! Знайте! — торжественно-ходульным тоном начала она. — Когда я выйду на волю, я непременно последую вашему примеру.

Тон ее был так мелодраматичен по обыкновению и так наивен, что я обрадовалась, что нас отделяет непроницаемая дверь.

— Идет, кажется, надзиратель, пока, до свиданья.

Она отскочила. Через минуту опять загремел замок в моей двери — принесли мне стол и ушли. Я поставила кровать перед печкой, посреди камеры, головой к стене, между печкой и кроватью стол. Быстро нагретая печка распространила приятное тепло по всей камере. Она стала совсем не похожа на вчерашнюю темную, холодную конуру.

Под окном слышались голоса, тихие, неуверенные. Я подошла к окну. Высокая белая стена сажени 4 от окна, часовой вдоль стены и кучка людей под стеной. Снимают шапки, низко, низко кланяются. Узнаю среди них Михаила — эсера, агитатора.

— А мы вас еще в пятницу ждали, — говорит он.

Подходят еще и еще. Среди многочисленных лиц всех возрастов мелькают знакомые лица, особенно милые теперь.

— Господа, разойдитесь, не стойте здесь. Нельзя, из

окон конторы увидят, — смиренно просит часовой — надзиратель с умным лицом.

Другие два надзирателя, вставшие теперь под мое окно, присоединяются к нему. Тогда публика начинает прохаживаться по двору. Мне виден только кусочек двора. Когда они проходят в поле моего зрения, мои знакомые по воле бросают мне отдельные фразы. Я отвечаю им.

Вот Степа, один из наших самых сознательных рабочих, молодой, горячий, уже не первый раз сидящий в тюрьме. Он обещает мне устроить доставку газет и книг. Вон остановился у стены красивый брюнет с черными насмешливыми глазами и спрашивает меня, узнала ли я его. Где я его видела? Ах, да, помню. Он приходил к нам в самом начале почтово-телеграфной забастовки, как представитель почтово-телеграфного союза, и просил нас, эсеров, помочь им деньгами. Он должен был прийти через два дня еще раз, но не пришел — был арестован.

Медленно проходит, заложив руки в карманы шубы, доктор К., сионист, по какому-то недоразумению попавший в тюрьму, как и многие среди этой сотни с лишним людей. Кланяется тоже. А вон милое, детское лицо, круглое и розовое, с лукавыми и задорными карими глазками и беспорядочной растительностью на подбородке. Быстро шагает, размахивая руками, в какой-то странной кацавейке.

— Хохол, здорово, — улыбаюсь я ему.

— Бувайте здоровеньки.

Этот никогда не унывающий и всегда веселый хохол месяц тому назад, в декабрьскую забастовку, поздно ночью пришел к нам впервые еще с несколькими телеграфистами. Они ходили рубить телеграфные столбы, рвать и путать проволоку. В первую же ночь хохол обратил свое внимание на двух товарищей эсеров, ходивших с ним, своею смелостью и находчивостью. С ним познакомились поближе. Все, что ему поручали, он выполнял умело и толково. Мне с ним часто приходилось встречаться этот месяц. Он вносил во все такую струю молодого, здорового задора, такой неисчерпаемый запас остроумия, что его невольно все полюбили, как младшего братишку. Уморительно рассказывал он, как он «был эсдеком»: его позвали на эсдековскую массовку, дали билет для входа и стали с тех пор считать эсдеком.

— А бис их возьми, с их билетом, — ругался он.

Раз в 12 часов ночи он явился к нам с твердым решением идти сейчас же ночью в квартиру одного злого

черносотенца, чиновника Ш., и убить его.

— Дайте мне бомбу, сейчас пойду.

Печальный простился он с нами, когда мы не дали ему ни бомбы, ни револьвера.

Теперь он стоял перед моим окном, такой же румяный, улыбающийся, только в улыбке его была какая-то трогательная печаль.

Проходили незнакомые мне пожилые люди в шубах, вероятно железнодорожники, не из мелкой сошки, и почтительно снимали шапки.

А вон идет вдвоем с одним знакомым инженером-железнодорожником, эсерствующим Г., с.-р. комитетчик Карл. Этот мне ближе всех проходящих. Частенько приходилось мне на воле сражаться с ним из-за его необыкновенно пылкой фантазии и самых несбыточных планов.

Он не останавливается, как Михаил или как хохол, а молча снимает шапку, проходит и не возвращается больше.

Прогулка кончается. Я хожу по камере. Перед глазами все продолжают вереницей проходить знакомые лица. Но что это Карл? Так быстро прошел и даже не спросил о Кате, которую, я знаю, он серьезно любит... Вероятно, конспирирует: рассчитывает сидеть недолго и не хочет пачкать себя знакомством со мной и с Катей.

Не успела кончиться прогулка, как в потолок моей камеры стали стучать. Я вооружилась лучинкой и спросила: «Кто стучит?»

— Я, Степа. Курлов, говорят, заболел после бомбы не то воспалением кишок, не то сумасшествием.

У меня сердце запрыгало. Неужели то, чего не сделала наша проклятая бомба, доделает слепая болезнь... Но я сейчас же охладила себя. Уже самое сопоставление воспаления кишок с сумасшествием показывает, что это только простая обывательская сплетня.

Пауза. Опять призывный стук и мой вопрос.

— Я — Михаил. Сейчас прочел в газете, что Катя арестована на границе в Белостоке.

— Чепуха, ей там нечего делать.

Опять пауза. На этот раз долгая. Стук опять.

— Кто?

— Карл. Не можете ли дать мне деньжонок немного?

— У меня только восемнадцать копеек.

Стук прекращается. Я остаюсь в недоумении.

Что стало с чутким, щепетильным до смешного Кар-

лом?.. И неужели он не понимает, что меньше всех я-то в настоящую минуту могу помочь ему в его просьбе. Больно как-то запечатлевается у меня в мозгу вульгарное «деньжонок». Получил отрицательный ответ, и больше ни слова.

Когда мне приносят обед, опять товарищи — женщины перекликаются со мной. Я узнаю, что их я не увижу на прогулке: они гуляют в другом конце двора, видят окно башни, где сидит Вася. Передают мне от него привет.

Проходят часы в абсолютной тишине.

Она не гнетет, а, напротив, как-то невыразимо приятна. Я лежу в полудремоте на кровати перед остывшей уже печкой или хожу по диаметру башни и думаю о товарищах, оставшихся на воле, о делах, при мне начатых или только предполагавшихся начаться. Приводят ко мне тюремного доктора. Он оставляет какие-то примочки и уходит, апатичный и грубый, с лицом скопца. Опять тишина. Начинает смеркаться. Тишина и сумерки сливаются в один аккорд какого-то безграничного покоя. Я лежу в полузабытьи. Вдруг разом встряхиваюсь и спешу к окну, к отворенной форточке.

Нет больше тишины и нет как будто сумерек. Как будто из другого мира врезаются в это безмолвие могучие, полные отваги и силы слова хоровой песни: «Вихри враждебные...» Стенам, решеткам и штыкам под решетками бросался грозный, властный вызов: «Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело...» Как будто окрыленные светлой надеждой, что так должно быть и так будет, высоко поднимались голоса: «...знамя великой борьбы всех народов...» Но сейчас же опускались, уверенные и сильные, на землю, которую они завоюют «...за лучший мир».

Кончилась одна песня. Началась другая: песня за песней, и все такие же светлые, бодрые, сильные. Сотни раз слышала я их на студенческих вечерах в Петербурге, и в тесных кружках близких товарищей, и в лодке на реке, и в лесу... но никогда они не говорили мне так много, как сейчас, за стенами и решетками.

Где-то пробил звонок. Слышно было, как товарищи расходились с пением «Марсельезы». Мимо окна прошел уголовный с горящим факелом, красноватые блики запрыгали по снегу, белой стене, сверкнувшему штыку часового и пропали. Опять сумерки, уже совсем густые, и тишина.

Через полчаса приблизительно загремел замок в две-

ри моего коридорчика. Пришли с поверкой. Мне опять принесли чаю с разными вкусными вещами от политических женщин. Зажгли лампу и ушли, заперев уже, вместо одной, две двери — дверь моей камеры и дверь коридорчика.

С этих пор меня держали неукоснительно на двойном запоре, и переговоры с политическими женщинами стали невозможны. Я осталась одна со своей тишиной. Слышны были только шаги над головой. Кто-то ходил равномерно по камере. На прогулке я узнала, кто обитает над моей головой: два буржуа — доктор К. и еще один почтенный господин, архибуржуй.

* * *

Потекли дни. Отсутствие книг и газет чувствовалось. Наблюдения и разговоры из окна с гуляющими товарищами, их вечернее пение, треск в печке, изредка краткие, отрывочные перестукивания с товарищами — все это развлекало. В промежутки же между этими развлечениями так хорошо думалось, что не было и тени какой-нибудь скуки.

Один или два раза водили меня в контору для опознания свидетелями и для чтения мне их показаний. Уморительные были некоторые из этих показаний. Так, один свидетель — попросту шпик — говорил, что я особенно в хороших отношениях была с курсисткой такой-то, живущей на такой-то улице (я в первый раз слышала о существовании такой курсистки от этого «свидетеля»), что я такого-то числа в таком-то часу уехала в Гомель и там жила вплоть до акта у доктора такого-то, гомельского «президента» в дни свободы. Разинув рот, слушала я следователя, монотонным голосом читавшего эти фантастические показания забавного свидетеля. Один городской, отставной артиллерийский солдат, бывший в доме отца в качестве ординарца, показывал: «...услышал я выстрел, обернулся, увидел женщину в платочке с револьвером в руке. Я подумал: да ведь это барышня генерала Измайловича². Но сейчас же решил, что это мне так показалось. Зачем дочь генерала будет стрелять в полицмейстера?»

Это «зачем» было великолепно.

Большое удовольствие, так сказать профессионального характера, доставили мне следующие строки: «Имею

² Отец Александры Измайлович был генералом.

честь просить избавить меня от обязанности выезжать в тюрьму ввиду того, что жизнь моя подвергается опасности при каждом моем выезде». Это полицмейстер Норов отвечал следователю на вызов его в тюрьму как свидетеля.

В числе свидетелей была сестра Маня и горничная наша Татьяна. Когда я прошла через первую комнату конторы во вторую, где сидел свидетель, мне пришлось пройти совсем близко мимо сидящих Мани и Татьяны. Маня улыбнулась мне. Татьяна отвернулась и потупилась. Я объяснила это в ту минуту ее неодобрением моего поступка: она любила слушать воскресные человеконенавистнические проповеди соборного попа — ярого черносотенца — и часто спорила с нами, ссылаясь на него. Но после, на свидании с сестрами, я узнала от последних, что Татьяна не могла удержаться от слез при виде моего избитого лица: плакала она и дома обо мне и только не могла Васе простить бомбы: «Ведь сколько бы народу погибло».

Когда следователь записывал показания Мани, что я действительно такая-то, я перемолвилась с Маней несколькими словами.

Маня мне сказала, что по первой версии, которую они слышали, я была убита на месте, так как кто-то видел, как меня везли на извозчике с окровавленным виском. У них был обыск на другой день, продолжительный, усердный. Осмотрели весь дом, службы и сад — искали везде бомб, но, увы, ничего не нашли.

Через несколько дней, после поверки Карл постучал мне в потолок, что он поселился теперь в башне с доктором вместо выпущенного на волю второго буржуа, что мы теперь будем иметь возможность каждый вечер перестукиваться, и он этому ужасно рад. У него уже были планы освобождения нас с Васей, о сущности их он мне не говорил, сказал только, что дело может выйти. Я вспомнила о богатстве его фантазии, но на этот раз ничего ему не возразила.

Через неделю приблизительно, утром, после поверки в окно мое вдруг ударила корка черного хлеба. Смотрю, перед окном стоит уголовный с шапкой набекрень, с раскрытой грудью, лицо в муке, серые глаза искрятся целым фонтаном веселого лукавства.

— Откройте окно.

Открываю. В окно летит один сверток, другой, третий. А часовой с умным лицом и большими усами дергает его за рукав:

— Уходи, тебе говорят, скорее, — увидят.

Все три свертка у меня, и он уходит.

Коробка с печеньем, монпансье и сверток в газетной бумаге. Быстро разворачиваю его: сборник «Знание», 2 номера «Руси» и записка от Карла. Пишет, что теперь доставка газет мне будет постоянной. Жадно проглатываю газеты и швыряю их в зажженную печку: поведут меня опять зачем-нибудь в контору и опять будут рыться без меня во всем, тот раз я нашла всю постель перерытой.

Этот сборник «Знание» был у меня в руках на воле. Не читала я только тогда «На острове» Даниловского. Помню, начала его, да показалась мне стихотворная форма тяжелой и скучной, и я бросила читать. Открываю его теперь. С первых же страниц упиваюсь красотой образов. За окном голоса. Неохотно кладу книгу под тюфяк и иду к окну. Не идти не могу — товарищи стали бы беспокоиться. Все так же сообщают мне газетные и городские новости Степа, Михаил и хохол. Заговаривают новые знакомцы, мимоходом кланяется Карл и исчезает.

После прогулки читаю опять. Гремит замок — несут обед. Прячу книгу и, как ни в чем не бывало, прохаживаюсь по комнате. Вынимаю и опять читаю. Вот плывут они, смельчаки, волны разъяренные бросаются на них, русалки зовут к себе в бездну, обещая наслаждения. Они плывут все вперед, презирая опасность, наслаждения, все, видя только свою цель впереди... Начинаю читать вслух, но мой голос так странно и ненужно нарушает тишину, что мне делается как-то неловко, и я замолкаю.

Вечером передвигаю, как и всегда, стол к стене, закрываю нижние стекла окна обрывками своей верхней юбки (пригодились они мне здесь), вооружаюсь лучиной, взбираюсь на стол и выстукиваю дробь в стену за печкой. По уговору Карл ждет моего зова, так как не знает, когда я останусь одна. Стучу ему, что не понимаю его скверного настроения и ворчания на надоевшую публику общих камер. Не понимаю его пессимистического ответа на мой вопрос, обращает ли он достаточно внимания на многочисленную публику, полусознательных с.-р. и беспартийных. По-моему, данная тюремная обстановка удивительно благоприятная, как для стремления к собственному росту, так и для помощи другому в его росте: здесь время, впечатлительность и восприимчивость обостряются во много раз. Привожу в пример мое упоение поэмой Густава Даниловского, мои бесконечные думы в тишине, когда мысль льется легче, чем когда-нибудь. Карл возражал,

что общие камеры, с их вечным гвалтом, шмыганьем из камеры в камеру, большим процентом «буржуев», с их индивидуальными кофейми, какао и прочей ерундой, далеко не то, что моя полная одиночка. Я возражала. Тогда я еще не понимала того, что понимаю теперь.

В один прекрасный день провели Ольгу, самого близкого мне товарища в Минске. Я стала у окна. Она шумно поздоровалась со мной, хохоча над тем, что вот и она очутилась здесь. На другой день вместе с газетой и с запиской от Карла я получила записку от Ольги. Она писала мне о своем аресте. Катя вызвала ее в Смоленск, чтобы узнать обо мне и Васе. Сутки они пробыли вместе, потом разъехались — Оля обратно в Минск, Катя к Чухину. Явилась Оля с вокзала на квартиру, а там обыск, и ее ждут.

Скоро привели еще одного товарища — Семена, в качестве кучера участвовавшего в освобождении Кати. К нему тоже пришли с обыском, нашли какие-то пустяки и тоже взяли.

Разговоры через окно оживились сообщениями о последних новостях на воле, о товарищах. Все это передавалось намеками, эзоповским языком. Карл перестал прятаться на прогулках, останавливался и беседовал, как и другие.

Надзиратели, стоявшие, кроме часового, на прогулках, вдруг были заменены двумя солдатами с винтовками. Стало несравненно хуже. Некоторые из них были грубы, толкали прикладами гуляющих за одну только попытку снять перед моим окном шапку, ругались и изощряли свое остроумие надо мной. Иногда приходилось совершенно отходить от окна. Были такие, что позволяли только кланяться, но не разговаривать. Были и такие, которые были даже лучше надзирателей, не только позволяли разговаривать, но даже бросать в окно записки и прочее.

Таких было только двое — один маленький, худенький, с болезненным лицом и умными серыми глазами; другого лица не помню. Когда они оба стояли первый раз, кто-то из товарищей бросил мне записку, бросил неудачно, она упала под окно к ногам солдата. Высокий поднял ее, маленький, с умными глазами, пробормотал: «Оставь». Тот бросил ее опять на прежнее место. Товарищи подняли и бросили мне записку опять. Я поразила поведением солдат. Карл объяснил мне по-французски, что маленький солдат наш с.-р. Приходил один вольноопределяющийся с фатоватым глупым лицом. Этот, вместо того

чтобы стоять неподвижно, садился на снег и чуть не куврыкался, не обращая ни малейшего внимания на гуляющих и на меня. Другой солдат смеялся над его выходками. Эти две смены были удобнее всех для нас.

Раз, поздно вечером, когда я, сидя на столе, разговаривала со стеной, т. е. с Карлом, за окном раздался скрип снега под многочисленными ногами. Мы бросили стучать. Прогредел замок. Открылась моя дверь, и вереницей вошло несколько полицейских. Мелькнули среди них два знакомых по участку лица приставов. Постояли несколько секунд молча, как истуканы, глядя на меня, и ушли. Все то отвратительное, кошмарное, что было связано с ними, ворвалось внезапно и нагло в мою тихую башню, резко прервало нашу беседу с Карлом и ушло в ту же темноту, откуда появилось, оставив в душе отвратительную муть и горечь.

Скоро объяснились и этот ночной визит, и замена надзирателей. Как-то, после свидания с сестрой, Карл простучал мне, что по городу ходят слухи о готовящемся побеге нас с Васей, передают точные подробности плана, бог весть какими путями дошедшие. Карл был обескуражен и поражен. Я отнеслась к этому довольно равнодушно, так как и раньше не верила в возможность осуществления его фантазии. По словам Карла, Курлов распорядился поставить в тюрьме военный караул и ввел ночные обходы тюрьмы полицейскими. Теперь приходилось по вечерам настораживаться, чтобы не застал обход за стуком. Стучать вообще не мешали. Раз или два у меня под окном кто-то крикнул: «Эй, перестаньте стучать — воспрещается». После я узнала, что это кричал старший надзиратель, обманувший меня в первый вечер насчет Кати. Да раз как-то другой старший, добродушный и толстый, контраст первому — сухому бородатому старику со злыми глазами, стоя в камере, пока уголовный топил мою печь, лукаво поглядел на поковырянную стену за печкой и сказал: «Барабаните...»

* * *

До мельчайших подробностей помню я вечер 29 января. Я вызвала Карла и стала ему говорить о своих дневных думах, о своем настроении. Помню, почему-то мне в тот день было как-то страшно тоскливо и как-то не по себе, что ужасно не вязалось с моим ровным светлым настроением этих дней. По создавшейся мало-помалу

привычке делиться с Карлом каждой мелочью моей жизни в башне я говорила ему о своей маленькой тоске.

— А причины нет никакой? — спросил он. В тот миг я не поняла этого вопроса.

Я говорила ему еще что-то. Он слушал, по крайней мере, после каждого моего слова он делал один удар в знак того, что понял. Когда я кончила, он простучал мне:

— Чухнин тяжело ранен.

Как электрическая искра пронзила мой мозг, и горячая радостная волна разлилась по всему моему существу. Радость была не только потому, что Чухнин был ранен. Ведь ранил его я знала кто. Она мне была гораздо больше, чем сестра, она была самым моим близким товарищем по работе, любимым другом. Быстро барабанной дробью, со всей силой ударяя в стену, я простучала — ура...

— В газете сказано так, — продолжал Карл, — молодая дама, назвав себя дочерью какого-то лейтенанта, пришла к Чухнину с прошением о пенсии и, пока он читал, выстрелила в него три раза, попала ему в плечо и в живот. Он залез под стол, и последние два выстрела она сделала туда...

Пауза. Затаив дыханье, я сидела перед стеной и ждала. Пауза продолжалась.

— Дальше, — простучала я.

— После выстрелов она вышла из его кабинета...

Последовал быстрый нераздельный стук. Я не поняла его и простучала частой дробью в знак непонимания. Повторения не было. Мне слышно было, как задвигался над потолком не то стул, не то стол и раздались тяжелые шаги. Я вскипела. Что он, нарочно испытывает мое терпенье?

— Дальше...

— Я все сказал.

Я злилась все больше.

— Что она?

— Я сказал.

— Повторите.

Пауза. И потом стук, медленный, зловещий, тяжелый; так, верно, заколачивают крышку гроба:

— Ее нет больше.

Как во сне слышала я стук упавшей палки над потолком и опять шаги и соображала: «Что значит нет? Как нет?.. Как это нет?.. Почему нет?»

Стена молчала, а я все глядела на нее в упор, как буд-

то она могла мне объяснить, что значит «нет». Долго я сидела так и ждала чего-то. Наконец постучала:

— Что с ней сделали?

— Чухнин велел ее расстрелять. Ее вывели во двор и расстреляли.

Долгая томительная тишина, должно быть, такая же тяжелая наверху, как и у меня. Простое, ясное, привычное понятие «есть» борется со страшным, чужим, дико непонятым «нет». Острыми клещами с громадной болью впивается в мозг это «нет», но в ушах звенит этот смех, перед глазами стоит вся она, молодая, полная радости жизни, со смеющимися глазами... И ненужное, дикое «ее нет больше» со злобой отбрасывается прочь. Отбрасывается затем, чтобы опять вернуться и с новым острым мучением вонзиться в голову. Эта бешеная схватка длилась долго, почти всю ночь. Наверху, наверное, было то же, что и внизу...

Утром на прогулке каждый товарищ спешил сообщить мне последнюю радостную газетную новость. Подробно, газетным языком, пробасил Михаил.

— Чухнин ранен неизвестной женщиной, — выкрикнул Степа, как всегда, приложив руки трубкой ко рту.

— Сколеет собака, — широко улыбнулся хохол.

Карл молча прошел, пытливо глядя мне в лицо. Я отвечала, как всегда, на вопросы, заговаривала сама, смеялась, а в душе ждала страстно конца прогулки. Только трое знали, кто была Мария Крупницкая, — Карл, Вася и Ольга.

После прогулки пришел ко мне этот самый номер газеты. Как будто надеясь найти еще что-нибудь новое, я бросилась жадно читать и перечитывать газетное сообщение о покушении на Чухнина. С газетой Карл прислал мне письмо, полное огромной тоски, отчаяния и проклятий — слепых, безумных проклятий, какие могут сходить с уст человека, обезумевшего от горя. Я вдруг поняла, что я сильнее Карла. Он писал: «Зачем ей нужна смерть?.. Кому она нужна?.. Разве Чухнин, тысяча чухнинных стоят ее одной, светлой, прекрасной?..» Я почувствовала, что я не могу задать такого вопроса: «Зачем и кому нужна ее смерть?» И не позволю задавать его ему, который молится одному богу с ней, дышит тем же, чем дышала она. Не могу позволить ему оскорблять ее последние минуты, ее последние мысли, о том, за что она умерла. И я послала ему большое письмо. Помню, голова горела, когда я писала его, вся душа трепетала, и слезы,

вдруг хлынувшие, мешали писать. Но чем дальше я писала, тем легче делалось мне. Большая глубокая радость за нее, знавшую, зачем жить и зачем умирать, счастье при мысли о той светлой радости, с которой она умерла, гордость за нее, твердую и гордую... Все это могучим потоком нахлынуло на меня и вызвало у меня не письмо, а светлый торжествующий гимн ее и моему богу и богу Карла. Я потребовала от него назад все его проклятия и понять все счастье, всю красоту ее смерти.

Я написала на волю сестрам коротенькую записку о Кате. Через несколько дней мне дали первое свидание с ними. Первыми словами был вопрос: «Ты наверное знаешь, что это Катя?» У них была крохотная соломинка, за которую они цеплялись все эти дни от получения моей записки до свидания. 27 января они получили от Кати открытку со штемпелем «Ромны» и на этом строили невозможность ее выступления 27-го, как будто открытка непременно должна была быть написана того числа, когда получена.

* * *

Карл и я, мы оба горячо любили Катю, оба тосковали по ней, оба одинаково не хотели и не могли понять, что «ее больше нет». Вечерние часы перестукивания стали для нас отрадой. Больше, они стали необходимы для нас как воздух. Когда начинало смеркаться, слушая у открытой форточки пение товарищей, я с нетерпением ждала проверки. Зажигали лампу, приносили чай и уходили, оставляя меня на всю ночь одну, т. е., вернее, нас двоих — Карла и меня. Быстро проглотив чай, я звала его. Он уже ждал и моментально отвечал. Первой моей фразой на многие дни стал обычный вопрос: «Что еще в газетах о Чухнине?» Мы оба страстно хотели, чтобы он умер: так хотелось, чтобы ее дело было довершено до конца. Но он жил с пулей в животе и упорно не хотел умирать.

Мы говорили о ней. Я подробно рассказала про ее побег из тюрьмы за 25 дней до ее смерти.

Катя была арестована в середине декабря в Минске. Осталась как-то ночевать дома, пришли ночью и арестовали. Из общей тюрьмы, где сейчас сидели мы, скоро после Катиного ареста всех женщин перевели в новую женскую тюрьму на окраине города. Это было очень некрепкое учреждение: внутри тюрьмы 2—3 надзирателя и несколько надзирательниц, деревянная ограда, снаружи никакого караула. Не бежать оттуда нужному человеку

было даже как-то зазорно. А Катя была нужна. Она тогда уже была намечена Б. О., исполнителем акта над Чухниным. Во время их прогулок я ходила в прилегающий к тюрьме пустынный двор какого-то склада, не то деревянного, не то керосинного, и через забор сговорила с Катей о побеге. Решено было, что уйдут двое — Катя и Цива (не помню фамилии), арестованная незадолго до того с типографией. Остальные политические сидели не серьезно.

Вечером 2 января в условленный час (в 5 ч 30 мин) Катя и Цива должны были выйти на тюремный двор (их выпускали к водопроводу за водой), и если ситуация хороша — дежурит во дворе обычно один надзиратель, — они должны затеять игру в снежки и крикнуть что-то о снежках. А товарищи, дождавшись с той стороны условной фразы, должны были позвонить в ворота. На вопрос надзирателя должны были ответить: «Привезли арестованных». А минут за 5 на Захарьевской, куда выходил переулочек, где была женская тюрьма, должна была стоять лошадь.

Так и было сделано. Лошадь с санками дал нам один сочувствующий. За кучера был товарищ Семен. В санях ждала я. Товарищей пошло 5 человек. Одеты они были в солдатскую форму. Дежурить в этот день в тюрьме должен был очень здоровый рослый парень. Были предварительно репетиции, как сразу, не допустив до крика, свалить надзирателя и связать, не прибегая к оружию — пятерым на одного ружье было не нужно. Но товарищи почти все были очень молодые, неопытные, и дело сошло далеко не гладко.

Я сидела на санях и с трепетом ждала. Вдруг раздался выстрел. Что это?.. Значит, дело дошло до этого?.. Кто и в кого стреляет? Удалось ли?.. Спустя некоторое время, показавшееся мне бесконечностью, из переулка быстро вышла группа людей и направилась к нам. Все пятеро и с ними Катя и Цива. Все возбужденные, нервные и радостные, все, кроме Кати. Она расстроена: зачем стреляли? Впятером не могли свалить одного. Он сразу упал, а они выстрелили из браунинга. А когда они проходили по двору, он слегка приподнял голову. (Он умер через несколько часов.)

Радость побега была тяжело омрачена у Кати этой ненужной жертвой. Надзиратель энергично боролся, а потерявшие нужное хладнокровие товарищи валили его, очевидно, в разные стороны.

Простившись с освободителями, мы домчались до квартиры Агаповых, старший сын которых, Толя, был с.-р. (убит в 1907 г. в Кронштадте полицией). Там Циву, худенькую и стриженую, переодели мальчиком, а Катю барыней в ротонде. Сделано это было лихорадочно быстро. Я повела переодетых уже пешком в назначенную квартиру к одной сочувствующей. Но там нами овладела тревога — могли прийти туда. Я съездила на другой конец города к инженеру К., тоже сочувствующему, не отказывавшемуся даже прятать бомбы, и спросила его, может ли он приютить беглянок. Он согласился. В тот же вечер они были там.

Через день или два я навестила их. К. боялся, как бы не сболтнула чего их прислуга. Цива нервничала. Я решила взять их к себе на «Северный полюс». Так звали мы нашу конспиративную квартиру против дома Курлова, откуда мы следили за ним. Оригинальная квартира: чердак был не над ней, а на одном уровне с ней, примыкал с трех сторон, и одно из слуховых окон чердака выходило как раз на подъезд губернаторского дома. Холод там был невероятный, мы не согревались ни днем ни ночью. Снимали квартиру по фальшивкам — муж и жена — товарищ «Николай» (нелепо утонувший на лодке недавно) и я, его жена по паспорту. Жил у нас без прописки, совершенно не выходя из квартиры, Вася, который должен был пойти на Курлова. Такое совмещение — квартира, откуда следят, и приют для беглых из тюрьмы — противоречило всем правилам конспирации. Но, с другой стороны, более надежного убежища для них не было. Выехать из Минска нельзя было — на всех вокзалах была чрезвычайная слежка. На улице останавливали юношей 16—18 лет и спрашивали и оглядывали — решили, очевидно, что они переодеваются мальчиками. Глубокой ночью я повела Катю и Циву на «Северный полюс». Вася, живший абсолютно затворником, был ужасно рад.

Десять дней они прожили у нас. Цива — нервничая и боясь, Катя — спокойно и уверенно. Затем мы отправили Циву старой еврейкой на балаголе куда-то в местечко, Катю — нарядной барышней в компании двух кавалеров на тройке на первую от Минска станцию ж. д. все с тем же Семеном-кучером. Я отвела Катю опять к К. и отдала с рук на руки двум ее спутникам — офицеру и франту-студенту. На станции они должны были изображать из себя веселую компанию, возвращающуюся из гос-

тей от соседнего помещика. Мы нарумянили всю бледную Катю, подвели ей глаза, завили, нарядили. Она хмурилась, стыдясь своего вида, и торопилась с отъездом. Я долго стояла на углу двух улиц на окраине города, глядя вслед «веселой» тройке. Это было 12 ноября. Не прошло двух недель, и ее не стало.

Последней, кто видел из нас Катю, была Ольга. По моей просьбе она написала все подробности своего свидания с Катей в Смоленске, и мы с Карлом делились этими подробностями, маленькими, но бесконечно дорогими для нас.

Я рассказала ему, как Катя узнала, что он ее любит. Я давно уже смутно подозревала это, хотя он никогда ничем не показывал ей своего чувства. Рассказывала ему с мельчайшими подробностями, как незадолго до ее ареста Катя, Ольга, Вася и я раз поздно вечером сидели дома и как у нас почему-то зашел разговор о любви. «Я знаю, кого Карл любит», — сказала Ольга. В этот миг я впервые поняла ясно и определенно, что он любит Катю. Катя, смущенная и рассерженная, вскочила и сказала только одно: «Какие глупости». Она никогда не чувствовала и не понимала абсолютно никакого другого чувства, кроме чисто товарищеских отношений. Товарищем она могла быть самым любящим, трогательно-нежным и заботливым, но и только. Помню, как мы все трое с улыбкой глядели на ее смущение и досаду. Больше никогда не говорили о нем с Катей. Но она, видимо, стала избегать его и стала как-то холоднее и строже относиться к нему. Все это я говорила теперь Карлу, болея за него, не нашедшего отклика в ее душе.

Помню, какое тяжелое впечатление произвели на меня следующие несколько строк мелкого шрифта в «Руси»: «Передают, что Спиридонова, стрелявшая в Луженовского, главаря губернской организации черносотенцев, умерла от побоев в Тамбовской тюрьме». Это были первые газетные строки о Марусе, после телеграммы об ее акте. Они были ужасны. Я простучала Карлу, насколько ужаснее я нахожу эту смерть в сравнении со смертью Кати, расстрелянной тут же на месте. Карл соглашался со мною, что эта смерть несравненно ужаснее.

Выяснили и мы наше отношение друг к другу на воле и здесь. Карл объяснил, что с первого же дня нашего знакомства в тесной камерке одного местного с.-р. я очень заинтересовала его, но потом, за два года отрывочной работы с ним и мимолетных встреч, он, присматрива-

ясь ко мне, решил, что я очень сухой человек, живущий исключительно головой, человек без души.

— Были случаи,— стучал он,— когда я хотел взять назад свое мнение о тебе (мы перешли на ты), но потом ты опять становилась как будто человеком-зверем, и я относился к этим случаям с недоумением.

Я от души смеялась над этим «человеком-зверем». Он смеялся теперь не меньше меня над собой. Иногда в шутку я стала подписывать свои записки к нему — «Зверь». Он привел мне те случаи, когда я не была «зверем» и этим приводила его в недоумение. Я работала в Питере, он сидел там в тюрьме. Был выпущен под залог без права оставаться в Питере и нашел меня. Помню, я пришла вечером к себе в комнату и застала его у себя. У меня в то время в Питере совершенно не было близких друзей. Один очень близкий товарищ, такой же близкий, как Катя, был только что арестован. Понятно, что я очень горячо встретила Карла. Мы с ним много и долго говорили в тот вечер. Ему некуда было идти ночевать, и я уступила ему свою кровать, а сама устроила себе постель на корзинах: квартирные хозяева, разумеется, не знали о его ночевке. Утром он ушел. Увиделась я с ним после этого почти через год в Минске, на работе. Здесь нам вечно приходилось сталкиваться из-за разных взглядов и мнений о делах. Раз выпал у нас свободный вечер — Карл, я и еще один с.-р., Родя Б., до поздней ночи беседовали о философских вопросах. Говорили о Спенсере, Михайловском. Я говорила об учении Авенариуса, с которым чуть-чуть была знакома. Они же ничего не читали ни о нем, ни его самого. Потом мы перешли уже на отсебятиную. Пришли Катя и Ольга, что-то говорили нам, но мы с досадой отмахивались от них и с необыкновенным жаром и горячностью наступали друг на друга и защищали каждый свою истину. Это не помешало нам опять после этого довольно холодно встречаться, сражаться уже на практической почве и даже злиться иногда друг на друга. Помню, последнее время перед арестом Карла я чувствовала от него, вероятно от постоянных размолвок с ним на работе, какое-то глухое раздражение. Все это вспомнилось теперь и говорилось. Визит его ко мне в Питер и наша философская беседа втроем в Минске, оказалось, были для Карла загадкой, которая не укладывалась в составленное им обо мне мнение.

Как-то я спросила Карла, почему он конспирировал первое время, как меня привели, а потом перестал.

— Как конспирировал?
— Не подходил к окну, не разговаривал через окно.
— Неужели ты так могла понять меня?
— Что же здесь плохого? Ты работник. Ты должен беречь себя.

Но он не принимал моих возражений, и в его вопросах, в мертвом стуке мною чувствовалась такая большая горечь, такая обида, что я вдруг почувствовала, что оскорбила его.

— Но почему же ты избегал меня?

— Когда я услышал о тебе и о Васе, я только тут как следует понял, как дороги вы мне оба. Я узнал, что над вами издевались, что вас били. Я мучился за вас. Вас привели. Я увидел твое обезображенное лицо. Мне стало нестерпимо больно. Пойми, что я не мог подходить к окну и глядеть на тебя, как глядели все они. Пойми, что я болел за тебя. Пойми, что я не мог видеть твоего лица.

Меня как будто что-то толкнуло разом выяснить все.

— А почему ты в первый день просил денег?

— У кого? Каких денег?

— Ты простучал: «Я Карл. Одолжите мне деньжонок».

В эту ночь мы в первый раз нарушили условие, поставленное Карлу сожителем — стучать только до 12 часов ночи, — и долго не давали спать бедному доктору. Карл ужасался при мысли, что я должна была думать о нем: он конспирирует, он трусит, он в первый день просит у меня «деньжонок». Кто-то назвал его именем, какой-то «политический» (кого только не хватала полиция в эти дни своего безумия) назвал в надежде пожить рублем-другим.

— Что ты должна была думать обо мне? Почему ты раньше не сказала мне этого? Чем я могу поручиться, что ты и дальше будешь понимать меня? Как ты могла?

В эту ночь Карл впервые показал мне во всю величину свою нежную, впечатлительную душу, не выносящую ни малейшего грубого прикосновения. Я грубо прикоснулась сейчас к его душе и беспомощно стояла перед взрывом горечи, упреков, которые передавала мне моя стена.

Случай с просьбой денег от имени Карла надоумил нас иметь пароль, чтобы не нарваться еще раз на что-нибудь похуже. Я предложила «Боже, царя храни», Карл должен был его выстукать после моего вызова. Мы, вероятно, были самыми оригинальными и самыми усердными молещиками за царя.

Как-то утром, услышав голоса под окном, я подошла к окну и увидела спину удаляющегося офицера и у стены часового-надзирателя. До меня только долетели слова часового «вот здесь»... Говорилось, вероятно, обо мне, по крайней мере надзиратель показывал рукой на мое окно. Это был самый скверный из трех надзирателей, дежуривших по 6 часов у стены. Единственно, он никогда не подпускал моего почтальона-уголовного к окну. Сейчас он стоял перед окном, с тупым, толстым лицом, свиными глазками, рыжий, жирный и нагло ухмылявшийся, глядя на меня. Потом сказал:

— Скоро будет тебе расплата, сука. Через пять дней повесят.

Эти «пять дней» привели меня в недоумение: никаких признаков такого скорого суда не было. Я рассказала о словах «любезного» часового Карлу. Он отнесся к ним как к абсолютной ерунде. Но я почувствовала, что ко мне приближается то большое и важное, о чем я так много думала наедине.

Еще оживленнее и дольше стали наши беседы с Карлом: ведь надо было все сказать, всем поделиться, ведь было страшно некогда. Помню, первый раз я рассмеялась, когда подумала: «Некогда, нужно поспешить». Непривычно было как-то под такое простое, обычное слово «некогда» представлять такое необычное содержание. Сотни раз мои губы произносили: «Некогда, надо идти в кружок...», «Некогда, надо идти на собрание...» И теперь так же просто подумала: «Некогда, надо будет скоро умереть». Странно и смешно как-то стало, когда поймала себя на этой мысли в первый раз. Потом она стала обычной, только содержание ее до последней минуты, когда она отошла в прошлое, оставалось неизменно серьезным, важным, глубоким, огромным.

Пять дней прошло. Меня не вешали, и я все еще жила так же тихо и спокойно. Прогулок ни для меня, ни для Васи не существовало. Говорят, Курлов, сам лично, боясь, как огня, нашего побега, распорядился, чтобы нас не водили ни на прогулку, ни в баню. Товарищи советовали и мне и Васе требовать прогулок, вызывались требовать сами и поддерживать свое требование голодовкой. Но я умоляла Карла отговорить товарищей от каких бы то ни было требований для меня. Помимо нелепости протеста более сотни товарищей будут голодать из-за каких-то прогулок двоих, мне так не хотелось нарушать мир

моей души какими бы то ни было эксцессами. Такими маленькими и ненужными казались мне всякие протесты об удобстве внешней жизни, когда впереди было такое большое дело, а настоящее было так хорошо... Вася был вполне со мной согласен, и всякие требования провалились.

От Васи я получила несколько записок и отвечала ему. Он писал, что у него хорошо на душе, что он ждет суда, как светлого праздника. Он, как и мы с Карлом, не мог примириться с тем, что Кати нет больше.

Несколько записок я получила и от Ольги. Я ее видела урывками, когда она ходила в контору и в баню. Иногда она, из какого-то невидимого мне окна, переговаривалась со мной. К нам присоединялся обыкновенно и Карл. Он кричал откуда-то с верхнего этажа, из общих камер, но там в камерах так шумели, что он не слышал обыкновенно моих и Олиных слов, но тем не менее просил меня вызывать его стуком в стену, когда я говорю с Олей.

— Хочу слышать твой голос, — мотивировал он свою просьбу. Откуда-то из подвального этажа, из хлебопекарни, кажется, отзывался иногда на наши разговоры наш почтальон — уголовный пекарь.

— Получили? — многозначительно спрашивал он (он стал иногда поручать передачи одному из часовых, самому молодому, с глуповатым добродушным лицом деревенского парня, и тот вызывал меня обыкновенно ночью легким прикосновением штыка к стеклу и передавал газеты и записки на острие штыка). Почтальон кричал, как из какого-то подземелья, и я прозвала его «сатаной». Да и весь он вообще, проворный, смелый, с умными, насмешливыми глазами, похож был на сатану. Такие наши беседы через окна бывали обыкновенно раз в день, да и то не каждый день, минут 15—20; Ольге не всегда удавалось выторговать у надзирательницы несколько минут разговора со мной.

На столе моем лежали три книги: «Анна Каренина», которую я хотела перечесть, Ибсен и «Критические и публицистические этюды» Луначарского. Первых двух книг я не раскрывала. Луначарского прочла всего, а некоторые места подчеркнула и перечла несколько раз и даже беседовала по этому поводу с Карлом. Начальник, зашедший как-то ко мне, предложил переменить эти книги на другие три, принесенные для меня сестрами в контору. Я ему ответила, что не прочла эти. Вероятно, он удивился: сидит одна и не читает. Что же она делает?

Приходили ко мне раза три сестры на свидание. Меня водили в контору. Когда я проходила по женскому коридору, женщины звали меня к дверному окошечку общей камеры. Я подбегала на миг и видела их лица. Ольга бывала всегда впереди. А раз уж, после суда, надзирательница их как будто нечаянно не заперла в камеру (они ходили весь день свободно по коридору и закрывались только, когда проводили меня), и они шумно набросились на меня всей гурьбой. Тщетно зывали помощник и надзиратель. Когда я шла в контору и обратно, из всех окон тюрьмы глядели на меня товарищи — политические и даже уголовные и здоровались со мной.

Свидания давались получасовые. Близко-близко сиделся помощник и не спускал с нас глаз; шептаться не запрещали. Сестры передавали мне газетные новости, а я мимикой и шепотом говорила им, что знаю уже сама из газет, чем удивляла и смешила их. Помню, они принесли мне показать портрет Маруси из приложения к «Руси», а я уже видела его и читала ее письма. Сестры старались быть веселыми, но видно было, какой тяжестью навалилась на них одна смерть позади (а у Мани их было даже две — незадолго до моего ареста у нее умер муж от чахотки) и другая — возможная — впереди.

Во время свидания в моей камере делали обычный обыск, но ничего не находили. Газеты я сейчас же по прочтении сжигала, бумагу и карандаш прятала так, что никогда не находили, а несколько жестянок от конфет забросила на печку. Беспokoила меня стена, совсем исковырянная. Я попросила Карла прислать мне мелу. «Сатана» доставил мел, и я тертым мелом с водой забелила злополучную стену. Теперь была другая беда: бросалось в глаза чистое белое пятно на грязном фоне стены. После свидания обыскивали меня лично. Приводили надзирательницу, и она шарила по мне в задней комнате конторы.

Через месяц моего сидения, в одно сверкающее морозное утро, ко мне пришли несколько человек в военной и гражданской форме. Это был председатель военного суда, военный прокурор, защитник по назначению и еще какие-то господа. Они объявили мне, что через несколько дней будет суд. На свидании сестры сказали мне, что они выписали еще одного защитника для меня и для Васи.

В эти дни, перед судом, я впервые узнала от товарищей, что в тюрьме сидит юноша, по фамилии Оксенкруг, которого будут судить в нашу же сессию; обвиняют его

в покушении на полицмейстера Норова в декабре месяце. Как громом поразила меня эта весть. Я знала, кто бросил невзорвавшуюся бомбу в полицмейстера. Это был товарищ с.-р. Он бежал. Несколько дней мы скрывали его, потом отправили куда-то на лошадях. Я сама проводила его до места, где ждали его лошади. И вдруг теперь, оказывается, обвиняют какого-то Оксенкруга. Мне рассказали о нем подробно. Он работал в качестве подмастерья у одного булочника, в квартире которого, после первого покушения на полицмейстера, нашли куртку. Полицмейстер и его кучер узнали по этой куртке бросившего бомбу. Арестовали хозяина булочной и Оксенкруга, за эти три дня до обыска только поступившего в булочную. Оксенкруга через несколько дней выпустили, а через три дня опять арестовали, показали полицмейстеру и его кучеру. Последний говорил, что не помнит лица бросившего бомбу. Норов же утверждал, что этот Оксенкруг покушался на него. Тюремная администрация, видимо, не знала, как быть с ним: он сидел то в общей с уголовными, то с политическими, то в одиночке, в такой же башне, как Васина и моя. Товарищи говорили, что он производит впечатление очень малосознательного, называет себя бундовцем, но бундовские комитетчики и рабочие, сидящие в тюрьме, не знают его. Ведет он себя очень странно: читает все какую-то еврейскую священную книгу и целыми часами молится. Скоро мне пришлось увидеть его самого, на прогулке с уголовными. Он был совсем юноша, с симпатичным детским лицом.

Суд был назначен на 16 февраля. Ко мне пришли защитник по назначению и Соколов. Дали мне прочесть обвинительный акт, поговорили со мной и посоветовали вызвать свидетелей расстрела мирной толпы войсками и полицией 18 октября, так как этот расстрел был одной из главных причин нашего покушения. Я назвала фамилии Карла, железнодорожника Г., Михаила и одной девицы на воле. Но я не решалась вызвать их без их ведома. Звала Карла в стену, чтобы посоветоваться с ним, но наверху в этот момент, вероятно, никого не было, и я в конце концов записала их фамилии. Васю, меня и Оксенкруга должны были судить в один день.

Вечером я рассказала Карлу о разговоре с защитниками. Ни Г., ни Михаил (Карл их тут же спросил стуком) ничего не имели против. Карл же был в восторге от одной мысли, что он может присутствовать на суде. Суд, конечно, отказал в вызове всех этих свидетелей. Накану-

не суда я набросала на бумаге то, что хотела сказать на суде.

Вечером, конечно, мы говорили с Карлом... Мы говорили, что любим друг друга горячо и нежно, говорили о том, как хороша жизнь, борьба, как сказочно прекрасна наша любовь. Вспоминали в мельчайших подробностях ее начало. Согнутые, но не сломленные тяжестью горя — смертью Кати, мы робко подошли друг к другу, ища взаимного участия. Нам надо было говорить о Кате, которую мы оба любили... Мы говорили, мы страдали, мы находили утешение, протягивая друг другу руки самого нежного участия, руки трогательной дружбы. Когда тюрьма замирала на ночь и только часовые шагали под стеной, мы, разделенные крепким, непроницаемым потолком, шли навстречу друг другу и открывали свою душу. На воле, не отгороженные никакими решетками и стенами, мы прошли мимо, равнодушные и ненужные. Здесь ничто не могло отгородить нас. Взаимная поддержка и участие таили в себе зародыш нежного чувства. В тиши безмолвных вечеров создавалась волшебная сказка нашей любви. Мы так и звали ее «сказкой».

Как смеялись мы над стеной! Построенная для того, чтобы разделить, она соединила нас. Как от прикосновения волшебной палочки, холодная и мертвая, она оживала, когда мы только хотели этого. Камни превращались в звуки. Не было больше стены. На ее месте выростала целая поэма. Мы смеялись над решетками, над штыками. Помню, в лунные ночи, когда я тушила лампу, от решетки ложились голубоватые тени на полу, таинственным кругом белели стены. Не нужно было лучшей декорации для нашей «сказки». А когда дежурил ночью «наш» часовой, наша беседа прерывалась легким стуком в мое окно. Я открывала окно, штык поднимался к моим рукам и подавал мне письмо.

Карл ждал над головой. Я объясняла ему одним словом: «штык», прочитывала его письмо и отвечала ему стуком.

Но иногда мы проклинали нашу стену. Это тогда, когда не мы, а она смеялась над нами. Хотелось по временам много-много сказать друг другу. Нахлынет вдруг целая бездна мыслей и чувств, а она — такая неповоротливая, такая неживая, холодная, так издевается над нами своею властью. Хотелось тихо говорить, глядя в глаза друг другу, понимая один безмолвный взгляд, одну улыбку, без слов. А она стояла и смеялась над нами. О, как мы нена-

видели ее тогда... проклинали ее... Мы ломали голову, чем заменить стук? Карл вечно придумывал разные штуки. Он был неистощим на выдумки. Начал буравить свой пол, чтобы через крохотную дырочку в нем провести ко мне телефон. Но пол был очень толстый, у Карла не было подходящего инструмента, и эта затея так и осталась неоконченной.

В ночь перед судом мы очень долго говорили. Доктор вышел на волю, на его место поселился эс-дек, не ставивший Карлу никаких условий, и мы часто говорили до 3 часов, а то и позже.

Эту ночь мы проговорили до 2 часов, не вставая с места — некогда было.

Мы полагали, что на суд нас повезут в 9 утра. Карл обещал в 7 часов изо всей силы стукнуть поленом в пол, чтобы разбудить меня. У меня не было часов, и я боялась проспать.

* * *

Я проснулась от какого-то шума. Открыла глаза — темная ночь. В моей последней двери гремит замок. Что бы это могло быть? Открылась дверь. Вошла надзирательница, за дверью мужской голос:

— Одевайтесь скорее. Мы ждем.

В полном недоумении, но по привычке, не вступая с ними ни в какие переговоры, я стала одеваться. Мне почему-то упорно не приходило в голову, что меня разбудили, чтобы вести на суд: не вязалось как-то вместе — глухая ночь и суд. Но странно, не думая о суде, я в то же время не делала ровно никаких предположений. Пришла было на миг мысль — «казнь», но сейчас же ушла. Как это так будут казнить без процедуры суда? Было какое-то странное состояние недоумения, нечувствования. Помню только, что голова была как свинцом налита, ведь только, казалось, легла.

Вышли во двор — начальник, помощник, надзиратель, надзирательница и я. Я посмотрела в окно Карла, и мне почему-то ужасно больно стало, что он утром проснется, станет будить меня, а меня не будет. Там будет пусто, и он один...

Привели в контору. Часы показывали 4 часа. Надзирательница обыскала меня, как будто это было нужно: она не спускала с меня глаз, когда я одевалась. Обыск был самый тщательный, с раздеванием. Когда я вторично оделась, меня увели в первую комнату, и там еще моло-

дой пристав с большими таракаными усами обшарил меня всю своими руками с головы до ног. Этот полицейский был мне знаком по участку. Теперь он был корректен и извинялся, шаря по мне.

— Извините. Служба заставляет.

Он далеко не таков, как в участке.

Меня усадили в заднюю комнату конторы. Тихо тикали часы. Ярко горела лампа. Сон отошел от меня окончательно и сменился приподнятым, возбужденным состоянием. Такое чувство бывало у меня в детстве на Рождество, когда, мы, дети, бывало, сидели в детской с бьющимися сердечками — ждали — вот позовут нас, откроют двери зала, и ослепительно засверкает перед нами яркая, нарядная елка.

В первой комнате конторы началось какое-то движение, топот ног. Стихло. Меня повели во двор, вывели за ворота. Из темноты выступали освещенные фонарем у ворот морды лошадей и угрюмые чужие лица всадников, кажется, казаков. Когда я вышла, какие-то сани быстро отъехали от ворот, и послышался топот многих лошадиных копыт. Меня посадили в подъехавшие другие сани, усатый пристав крепко схватил под руку и крикнул: «Поезжай скорее». Мы быстро помчались по темным, спавшим улицам. Кругом, со всех сторон скакала целая стена казаков. Что-то невыразимо приятное было в рассекаемом быстрой ездой холодном воздухе, в звонком и частом щелканьи копыт. Через несколько минут мы остановились. Сплошной стеной сгрудились фыркающие лошади. Мы стояли перед артиллерийским собранием. В передней я догнала Васю и Оксенкруга. Лицо Васи осветилось радостной улыбкой. Мы крепко пожали друг другу руки. Всех троих нас повели с обнаженными шашками по ряду комнат. Привели в просторную комнату, слабо освещенную одинокой лампой на столе, рассадили нас по трем стенам далеко друг от друга. Около каждого из нас стали два солдата с шашками наголо. Прямо против меня была дверь, настежь открытая. За дверью в огромной комнате-сарая — масса солдат. Они сидели, лежали на скамьях, ходили из угла в угол, как сонные мухи. Оттуда до нас доносился глухой, неясный шум. У нас была мертвая тишина. Мы пробовали с Васей переговариваться, но солдаты, нерешительно переглянувшись, заметили:

— Нельзя разговаривать, раз вошел офицер.

— Господа, не разговаривайте, пожалуйста, — вежливо сказал он.

Солдатам, стоявшим около нас, вероятно, тоже было запрещено разговаривать. Они стояли молчаливые и неподвижные, как истуканы, с тупыми сонными лицами. Их сменяли несколько раз. Так просидели мы, прикованные к стульям, с 5 часов утра до 11.

Вася сидел направо от меня в углу. С того времени как я его не видела, он заметно побледнел и оброс. Мы встречались взглядами и улыбались. Иногда мы переговаривались с ним мимикой и чуть заметными знаками, понятными только для нас.

Оксенкруг сидел налево от меня около двери, все в одной и той же позе, слегка согнув спину и держа шапку между коленями. Я смотрела на его лицо, желтовато-смуглое, худощавое, безусое, с грустными черными глазами, и думала о трагичности его судьбы. Что ждет этого мальчика, ничего решительно не имеющего общего с революцией, но волею минской полиции превращенного в террориста? Неужели он пойдет на виселицу? Он будет плакать, может быть, сегодня на суде, когда ему прочтут приговор... Будет плакать, идя на казнь... Какой ужас!..

Черный мрак за окнами начал сереть. В лампе догорали остатки керосина. А мы сидели так же неподвижно. Так же неподвижно стояли солдаты около нас. Иногда клонило ко сну, и голова, не слушаясь, опускалась на грудь то у одного, то у другого из нас. В такие минуты шаги солдат в другой комнате казались мне стуком Карла, и я мысленно считала удары, но, внезапно очнувшись от дремоты и вздрогнув от холода, вероятно, нетопленной комнаты, снова видела бледное лицо Васи, желтую куртку смуглого мальчика и неподвижные фигуры солдат, охранявших троих людей.

В 10 часов пришел Соколов, распорядился, чтобы нам дали чаю. Часов в 11 нас с Васей повели на суд. Большой светлый зал с портретами по стенам, ряды стульев, длинный стол перед нами для судей и два небольших стола по обе стороны его для защиты и прокурора. Около прохода, в одном из рядов стульев, сидела моя сестра Маня. Она встала, когда нас проводили мимо, и улыбнулась нам. Около нее стоял старик с печальными глазами. «Отец», — шепнул мне Вася.

Нас посадили впереди около стола защитников. Вошли судьи. Уселись. Стали вызывать свидетелей. Для нас с Васей интереснее всех свидетелей были, конечно, Курлов и Норов, особенно первый. На Норова налегла вся защита с Соколовым во главе. Ее целью, судя по вопро-

сам, было заставить Норова признаться, что он стрелял в меня, уже обезоруженную, сбитую с ног, уже в бесчувственном состоянии лежащую на земле. Комично было слушать осторожные, но вместе с тем ехидные вопросы Соколова и путанные ответы Норова, сознавшего, очевидно, что он попал в смешное положение. Соколов своим красивым голосом отчеканивал, слегка нагибаясь к Норову и сверкая белой манишкой с галстуком:

— Итак, господин свидетель, вы говорите, что подсыдаемая лежала обезоруженная на земле и ее держали трое полицейских за руки?

— Да, но я заметил,— запинаясь и не находя сразу слова, отвечал Норов,— что она шарит у себя рукой на груди... у нее мог быть еще один револьвер.

— Но вы говорите, господин следователь, что ее держали трое городских. Значит, она была так сильна, что они не могли справиться с ней?

Уморительно было видеть смущение и досаду Норова. Мы с Васей не могли удержаться от улыбки.

Совсем не то было с Курловым. Для него поставили кресло перед судейским столом, вероятно, для почета, как губернатору, но он стоял, как и все свидетели. Видно было, что он чувствовал себя неловко, смущался, но его смущение было прикрыто большой выдержкой. Мы с Васей глядели на него во все глаза. Как влюбленные жаждут свидания, так страстно мы ждали, бывало, на воле его выезда. Целые дни напролет следили мы за его подъездом, оставаясь сами невидимы ему и его охране. Теперь он стоял в трех шагах от нас, он, наш желанный, наш долгожданный. Теперь мы были его пленники, он — победитель. Так было физически, но не было так психологически.

— А скажите, господин свидетель,— как светский денди, тянул слова Соколов. Дальше следовал какой-нибудь незначительный вопрос, и Курлов отвечал как-то изысканно корректно.

— Я ничего больше не имею спросить у вас, господин свидетель,— небрежно кивнул головой Соколов.

Курлов повернулся, чтобы выйти. Несколько шагов он должен был пройти лицом к нам, совсем близко. Мы смотрели ему в глаза. Помню, я почувствовала на своем лице улыбку. Недобрая, должно быть, была эта улыбка. Все время, пока он стоял перед защитником, он упорно прятал глаза свои, ни разу не взглянув ему в лицо. Теперь он шел, все так же пряча глаза, и вдруг, как будто не в си-

лах противостоят нашему упорному взгляду, он встретился с нашими глазами. Это был только один миг, страшно короткий и замеченный нами, вероятно, только тремя. Взглянул и мгновенно забегал глазами. Этого короткого мгновения было достаточно для нас: мы прочли в его взгляде молнией пробежавший чисто животный испуг и жалкую растерянность. Не он был победителем!

Кроме Норова, рассмешил нас еще один свидетель — чиновник особых поручений при губернаторе. Рослый, широкоплечий, с тупым откормленным лицом, он напоминал Митрофанушку, затянутого в сюртук. Этот ни капли не смущался и не путал. Оказалось, что он тоже стрелял в меня на площади.

— Скажите, пожалуйста, господин свидетель, — спрашивает Соколов, — зачем вы стреляли в подсыдимую?

«Митрофан» быстро повернулся всем корпусом к Соколову.

— То есть как это зачем?! Они в нас стреляют, а мы будем молчать? — В его тоне было такое глубокое возмущение вопросом защитника, такая неотразимая логика, такая убежденность, что он положительно тронул нас.

Нам ужасно было весело с Васей сидеть и слушать и обмениваться тихими замечаниями. Один раз мы с ним заговорились и не слышали какого-то вопроса председателя. Пришлось кому-то из защитников подтолкнуть Васю.

Оглядываясь по сторонам, я вдруг застыла от неожиданности. Это была настоящая ирония судьбы. Над нашими стульями на стене висел портрет моего отца — начальника артиллерии корпуса в Минске. Я шепнула об этом Васе и ближайшему защитнику, минскому присяжному поверенному.

Был объявлен перерыв, и нас повели опять в прежнюю комнату. Мы опять видели Маню и Васиного отца. По требованию защитников нам принесли обед. Мы уселись обедать все трое — Вася, я и Оксенкруг, все это время просидевший на прежнем месте. Прежний офицер часто подходил и любезно заговаривал с нами, сочувствуя нам.

— Вам принесут два блюда, — и он объяснил, какие именно блюда принесут нам. Нам с Васей было так хорошо сидеть рядом и разговаривать полным голосом, не торопясь. Мы рассказали друг другу о своей жизни за этот месяц, о своих мыслях, о Кате.

— Не думал я,— говорил Вася,— что она будет первая из нас троих.

Вася говорил, что не хочет, чтобы меня повесили теперь:

— Вы не должны умирать ни за что. Я так хочу, чтобы вы остались жить и отдали себя за что-нибудь большее.

Заговаривали мы с Оксенкругом. Обнадеживали его, что все обойдется благополучно. Я обещала ему сказать на суде, что знаю действительно бросившего бомбу.

Нам подали первое блюдо. Мы с Васей почти не пригнулись к нему.

— Сейчас вам подадут котлеты,— подскочил офицер.

Смешно все это было — и котлеты и офицер... Все это так не вязалось с тем большим, светлым, важным, чем полны были наши души, что росло все выше, все шире и заслоняло от нас маленькую обыденщину, жалкую и смешную. И мы смеялись всему — котлетам, показаниям свидетелей, любезному офицеру, председателю, по словам Соколова, сказавшему про Маню: «Тоже такая же, должно быть, как и сестра,— видел я, как переглядывалась с Пулиховым...» Смеялись как-то радостно, как смеются, должно быть, маленькие ребята солнцу и щебетанию птичек. Не было у нас ненависти сейчас ни к тому, кто не выдержал нашего взгляда, ни к убежденному лакею самодержавия, стрелявшему потому, что «они» стреляют, ни к кому на свете. Ведь все это было такое крохотное, ничтожное, жалкое, все это оставалось позади. Впереди же было только одно солнце, такое сверкающее, прекрасное, что сердце билось от радости. Это солнце была наша идея. Она всегда жила в нас, но жила как-то абстрактно. Теперь же она была здесь, перед нами, в нас. Она и мы это было одно. Она и мы — это было одинаково и равно. Нам с Васей не нужно было говорить об этом друг другу. Мы без длинных слов — по улыбке, по блеску глаз, по радостному беспричинному смеху, по коротким отрывочным замечаниям — понимали друг друга.

Пришел один из защитников:

— Пообедали? Сейчас начнется заседание.

Мне пришла в голову блестящая мысль:

— Нет еще, нам сейчас принесут второе блюдо,— серьезно заявила я. Я видела, как у Васи запрыгала в глазах улыбка.

— Сейчас подадут,— подбежал офицер.

Защитник ушел. Мы остались втроем — Вася, я и на-

ше солнце. Темным пятном был у нас на душе сидевший с нами рядом Оксенкруг. Этот не знал, куда он шел. Он не видел солнца перед собой. Его, как обреченного быка, тащили на убой.

Пришел наш офицер.

— Господа, нельзя больше сидеть. Там суд уже собирается.

— А где же котлеты? Мы ждем их,— опять серьезно сказала я.

Офицер ушел. Через пять минут опять пришел.

— Невозможно, господа. Суд уже на местах, а подсудимых нет.

В это время как раз подали котлеты, и мы, удовлетворенные, поднялись, разумеется, не притронувшись к ним.

Опять мы сидим около отцовского портрета. Он со стены строго слушает, как его дочери уже скрепляют готовый приговор. Соколов придирается к каждому поводу, чтобы требовать отложения рассмотрения дела.

— Нет такого-то свидетеля, и он не представил причины своего отсутствия. Это законный повод для отложения суда. В составе суда находятся офицеры Н-ского полка, расстреливавшего толпу 18 октября, их следует удалить, как заинтересованных лиц, и т. д. и т. п. Мы с Васей только диву давались, как неистощимы были его «крючки». Почти после каждого такого его заявления суд удалялся на совещание и возвращался с неизменным ответом:

— Заседание суда продолжается.

Говорили защитники. Васин защитник по назначению старался бить на чувства и выгораживал Васю иногда такими путями, что нас коробило, и Вася еле усидел. Мой защитник по назначению предоставил всю защиту всецело Соколову. Последний защищал сразу нас обоих. Он обложил весь стол перед собой томами законов и сыпал через каждую фразу: «Такая-то страница, такой-то том».

Давали мы свои показания (от последнего слова мы отказались): Вася, а потом я. Говорили о действиях Курлова, Норова, о расстреле 18 октября.

— Вы заметили, как часто председатель менял караул во время речей ваших? — шепнул нам Соколов во время одного из маленьких перерывов. Это был факт. За 15—20 мин, когда мы говорили, он успел переменить караул несколько раз. Боялся, вероятно, что еще, чего доброго, наберутся крамолы.

Говорил прокурор, громко, отчетливо, отрубая каж-

дое слово. Говорил он очень мало. Закончил эффектно, особенно громко и энергично:

— По закону полагается подсудимым только один вид наказания: смертная казнь.

Последние слова он выкрикнул, как провинциальный трагик. Суд удалился.

— Ивану Пулихову за такое-то преступление, предусмотренное такой-то статьей, — смертная казнь через повешение.

— Александре Измайлович за такое-то преступление, предусмотренное такой-то статьей, — смертная казнь через повешение.

— Уведите подсудимых.

Я шепнула Соколову о своем намерении. Соколов встал.

— Подсудимая Измайлович хочет дать свидетельское показание по делу Оксенкруга.

Председатель сморщился:

— То есть какое это показание?

— Я знаю того, кто бросил бомбу в полицмейстера Норова. Оксенкруг не имеет к бомбе никакого отношения.

— А вы назовете нам фамилию настоящего виновника? — отвратительно ехидным тоном спросил председатель.

— Я могу назвать только его имя (еще на воле мне удалось узнать, что полиция случайно знает его имя). Его зовут Самсон. Фамилии его я не назову. Оксенкруга же осудят заведомо невинного.

— Тогда ваше показание не имеет никакого значения. Уведите подсудимых.

И он удалился со всем составом для составления приговора в окончательной форме.

Нас увели опять туда же. Так эффектно выкрикнутые прокурором слова «смертная казнь» имели, видимо, свое действие: тупые, равнодушные раньше лица солдат и офицеров, мимо которых нас проводили опять, теперь были не те. Во все глаза глядели они на нас с Васей, и в этих глазах было что-то новое, не то ужас, не то жалость, не то уважение. Когда мы проходили опять мимо Мани, она посмотрела на меня с улыбкой и сказала:

— Вздор. Не повесят.

Чего стоила ей эта улыбка, каких громадных, нечеловеческих усилий. Она, эта улыбка, вышла такая бесконечно печальная, что у меня сжалось сердце и так беско-

нечно захотелось ее обнять и поцеловать. Ее фраза была ужасно трогательна, но она ничего не могла дать нам. А мы, жалкие, нищие, по мнению всех тех, кто смотрел на нас, с застывшим ужасом в глазах — ведь у нас отнимали наше последнее достояние — жизнь, — мы были богаче всех их... Мы были величайшими обманщиками в тот миг. Нам подали милостыню, а мы были горды своим богатством. Ведь у нас было то, чего не было ни у кого из них, жалеющих нас — у нас было наше солнце...

Привели опять. Прочли опять то же о смертной казни, только подлиннее и потуманнее. В передней мы крепко расцеловались с Васей и пожали друг другу руки — думали, что это в последний раз.

Опять страшно быстрая езда по городу со скачущими со всех сторон казаками и конными городовыми. Только теперь светлый день. Было, кажется, часа четыре. Не было на тех улицах, где мы проезжали, ни прохожих, ни проезжих: все вокруг суда и по дороге из суда в тюрьму было оцеплено. Странно было видеть днем как бы вымерший город, а мы еще проезжали по самым оживленным улицам. Я видела, как из лавки вышел какой-то юноша и сейчас же должен был спрятаться туда же, так как конный городской подскакал к нему и повелительно махнул рукой. Во многих окнах я видела прильнувшие к стеклам лица, серьезные и какие-то испуганные.

Помню только одно лицо улыбнулось мне хорошей, светлой улыбкой, то было лицо девочки лет 15—16, поклонившейся мне.

Подъехали к тюрьме. В конторе сидел Вася, ехавший впереди меня. Не знаю почему, но вышло так, что мы с Васей пробыли в конторе вместе минут 10—15.

Мы слышали, как пристав, просившей меня в участке, «как человека», сказать ему мою фамилию, говорил тюремной администрации:

— Сдаю вам их с рук на руки. Поместите их в прежних камерах.

У меня сердце екнуло при мысли, что нас могли поместить не в прежних камерах.

Пристав подавал дежурному помощнику бумагу:

— Вот разрешение сестрам Измайлович и отцу Пулихова на три свидания.

Удивительная гуманность. Говорят, они всегда гуманны к приговоренным к смерти. Пристав вполголоса рассказал дежурному помощнику и еще какому-то высокому с угрюмым лицом в полицейской форме о приговоре.

— Очень хорошо,— громко заметил высокий, взглянув на нас,— бомбой сколько людей могли искрошить...

— И ведь не нас одних убиваете,— зашипел красноносый пристав,— у нас у всех есть семьи. Ну, убили бы вы меня, а у меня пять человек детей. Что им, с голоду умирать прикажете?

Я уже не в первый раз слышала эту песню, ту же песню он пел на все лады в участке, упрасивал меня назвать свою фамилию в надежде, вероятно, заработать лишний грош для своих пятерых детей.

— Переवेशать бы их всех,— говорил сумрачный высокий.

Один плакался, другой злился, а мы прощались, как будто бы не было рядом этих людей из другого враждебного мира.

— Интересно знать, через сколько дней нас повесят,— со спокойной задумчивостью говорил Вася.— Я все-таки думаю, что они нас не повесят. Знаете, Саня, милая Саня, когда я буду умирать, последние мои мысли будут о вас и о Кате. Вы и не знаете, как я любил вас обеих.

Это уже не был всегдашний Вася, застенчивый, говоривший о работе, о поэзии, о философии Канта... о чем угодно, только не о своих чувствах. Я замечала не раз на воле, что в его глазах светилось хорошее большое чувство ко мне и Кате, но никогда не сказал он о нем ни слова.

Теперь говорили не только его глаза, говорил он сам, говорили его руки, крепко сжимавшие мои, говорили его губы, крепко прижавшиеся к моим губам.

Его звал помощник идти в камеру. А он все жал мою руку и шептал:

— Саня, милая Саня, живите... а мне хорошо...

Его увели... Больше я его не видела.

Минут через пять повели и меня. Почти все были у окон.

— Какой приговор? — крикнул кто-то.

— Обоим веревка,— ответила я.

Карла не было у окна.

Моя башня за полсутки моего отсутствия успела принять нежилой вид. Печка была холодная. Книжки, полотенце, подушка и прочее было куда-то вынесено. Тюфяк лежал скомканный.

— Думали, что вас поместят еще где-нибудь,— пояснил мне старший.

Все принесли. Стучу. Мне выстукивается необычный вопрос: кто стучит? Отвечаю.— Не верят: пароль? Этого никогда не было. Всегда я требовала пароля, а не он. Выстукиваю все три слова: «Боже, царя храни». Только когда я кончила третье слово, мне поверили. Тихий апатичный стук сменяется нетерпеливым. Он думал, что меня не приведут больше в мою башню, что нас разлучат, что он будет один... но мы были опять вместе, и он был безумно рад.

Я отдала ему краткий отчет обо всем, что было на суде, откладывала подробности до письма.

Карл говорил о том, что по странной тишине внизу он догадался, что меня увезли на суд. Говорил о том, что не по себе было всем товарищам на прогулке. Пустое окно было, как покойник.

Суд ничего не изменил в наших предположениях. Мы знали вперед, какой будет приговор, и мы говорили по-прежнему о любви, о счастье, о том, что такая смерть, которой умираем мы, революционеры, тем прекраснее, чем больше, сильнее любишь жизнь...

Вечером, после поверки, Карл простучал мне, что привезли Оксенкруга. Ему — тоже смертная казнь. Это было страшно.

* * *

Полились дни, именно полились, как бездонной глубины река плавно и сильно льет свои воды под солнцем, сверкающим на голубом, прозрачном небе. Это был сплошной праздник. Великий праздник...

Не было ни в душе, ни в мыслях ничего пошлого, мелкого, сорного, будничного. Было ясно и безоблачно хорошо. Постоянно ловила на своих губах улыбку. Она, эта улыбка, казалось, не хотела сходить с лица во сне.

Внешне жизнь шла по-прежнему ровно и однообразно, не сопровождаясь никакими событиями. Так же гуляли мужчины, и я разговаривала с ними через окно. По вечерам, перед поверкой, Оля стала разговаривать со мной из своего окна каждый день. Так же по вечерам мы беседовали с Карлом часов до 3—4 утра. Ходила на свидания к сестрам в контору.

Они старались быть непринужденными и даже веселыми, но плохо у них выходило.

Прежнее сознание, что конец близок, что некогда, выросло. Надо было спешить. И все, что я делала, о чем думала раньше, освещенное этим сознанием, стало во сто

крат ярче, сильнее, выразительнее. Казалось, что нервная система моя переродилась в другую, высшего порядка, несомненно, более тонкую. В душе свилась необыкновенная громадная любовь ко всем товарищам, ко всем людям, ко всему миру.

Это она, эта любовь, прорывалась у меня в улыбке, не сходявшей с лица, в сладком сжимании сердца, ощущаемом физически, в захвате дыхания от какого-то безотчетного восторга, находившего временами на меня.

Казалось, что я перенеслась в другую атмосферу, свойство которой увеличивать во много раз звуки, краски, сравнительно с атмосферой «просияния». Никогда не говорило мне так много солнце, голубое небо, верхушки деревьев за стеной, резко вырисовывавшиеся на вечернем лиловатом небе. Любовь, переходящая в тихий восторг, в сияние души, была основным настроением. От нее не отделялась грусть, но какая-то особенная грусть, какая-то безмятежная, кроткая: эти деревья зазеленеют весной, они будут жить, думала я, а я не увижу их, я не увижу больше жизни. Это было грустно — не увидеть их расцвета и уносить их с собой мертвыми.

О тех, для кого строились виселицы и работали пулеметы, — я не думала. Я знала, что за ними все — и закон развития, и нетронутая сила, здоровая, неизвращенная мысль, и ярким огнем горящая вера. Уверенность, что они победят, ни на одно кратчайшее мгновение не колебалась во мне. Верилось в скорую, в страшно скорую победу. И хотелось видеть ее, ощутить на секунду опьянение победой. Хотелось уйти, унося с собой не серые сумерки, хотя на один миг, блеском солнца, ликованием победы и людей, и природы. И было грустно уходить, не зная, когда и как свершится долгожданное. Ночью, в самом прямом смысле этого слова, не хотелось уходить. Хотелось умереть при свете солнца. От увоза нас с Васей на суд ночью у меня осталось впечатление чего-то отвратительного, воровского. Хотелось умереть не среди мрака, а среди света жизни, чтобы смерть слилась в один аккорд с жизнью, а в жизни моей последние годы солнце светило всегда, даже в самые темные минуты.

Карл не верил, что меня повесят.

— Пожалуйста, не воображай. — старался он шутить, — быть второй Перовской¹. Этого не будет. Ты будешь жить.

¹ Софья Перовская была казнена в 1881 году за участие в покушении на Александра II.

Тогда еще никто из женщин не висел в петле после Перовской.

Прочли в газете о суде над бросившими бомбу в черниговского губернатора. Мужчина был повешен, женщины смертная казнь была заменена бессрочной каторгой.

Раз вечером раздается стук в мой потолок. Я настораживаюсь и не отвечаю: стук, очевидно, не Карла, а кого-то другого — он никогда не стучит так громко и резко. Еще и еще призывный стук. Молчу.

Начинают выстукивать какие-то слова, громко и со страшной быстротой. Я останавливаю и стучу пароль. В ответ поднимается ужаснейший стук, он все растет и растет. Кажется, сейчас потолок треснет и упадет:

— Черт царя бери.

— Это ты, Карл?

— Я, я, я.

— Ты с ума сошел. Стучи тише.

Не унимается.

— Да, я с ума сошел от радости. Ты будешь жить.

— Тебе приснилось.

— На поверке помощник сказал, тебе казнь заменена каторгой. Это факт.

— Если ты будешь так бесноваться, я не стану говорить с тобой.

В ответ целый град ударов, бестолковых, тяжелых, как будто разбивают потолок. Так и не удалось мне угомонить в этот вечер обезумевшего. Я с минуты на минуту ждала, что ко мне или к нему явятся узнать причину грохота. Раз десять бросала разговаривать. Он начинал стучать обыкновенно, но потом опять прорывалось его беснование.

Понять не могу, почему я и Карл, мы оба, как-то без всяких оснований были уверены, что в эту ночь еще Васю не возьмут от нас. Мы, как всегда, легли поздно, что-то около 2 часов. Пробуждение было ужасно. Проснулась я от сплошных стонов, рыданий. Совершенно темная ночь, и, кажется, это она, ночь, стены, решетки, темнота стонут и дико вскрикивают. В один миг мне стало все ясно. Подбежала к окну — слабый отблеск фонаря на снегу, шагает часовой... Зачем-то спрашиваю его, что это такое? Молчит... Шагает...

Из общего хаоса ужаса и смятения начинаю различать женские стоны, истерические рыдания и какие-то странные отрывистые фразы, выкрикиваемые мужскими голосами. Нельзя было разобрать, что они кричат — де-

лились ли они друг с другом ужасными подробностями или в безумном бессилии гнева и отчаяния посылали в ночной мрак бешеные проклятия. Самое ужасное — это были выкрики. Стоны и истерические рыдания рядом с ними обыкновенны. В них, в этих беспорядочных отрывистых выкриках, до боли чувствовалась вся громадность ужаса сознания бессилия в минуту, когда сердце разрывается от огненной ненависти, когда душа рвется помешать совершиться позорному, страшному делу, рвется... и видит свое бессилие...

Помню, у меня не было ни единой слезинки, только дрожала я всем телом, как в сильнейшей лихорадке. Душа же была как холодный камень.

Утром на поверке спросила надзирателя:

— Пулихова повесили?

Он молча, не глядя на меня, кивнул головой.

Скоро после утренней поверки торжественно и печально мужчины запели: «Вы жертвою пали...» Тут вдруг моя окаменелость исчезла, из глаз брызнули слезы.

На другой день у меня было свидание с сестрами. Оказалось, Женя ездила в Вильно к командующему войсками просить обо мне. Его она не видела, но видела какого-то адъютанта, который обещал передать ее просьбу. Она вернулась в Минск и получила от этого адъютанта извещение, что смертная казнь мне заменена каторгой. Она мне рассказывала об этом, робея... с предисловием, чтобы я не сердилась на них, что я должна войти в их положение.

Я понимала, что мое возвращение к жизни было заранее предусмотрено, что поездка Жени в Вильно ничего фактически не изменила. Но мерзко стало на душе от их преступления. Это был первый ком грязи, который жестоко вывел меня из моего волшебного мира, но вывел все-таки не совсем. У меня нашлись силы отделить мое «я» от поступка Жени. Я не хотела этого. Я не думала о том, что они могут сделать. Я думала, что Катина смерть и то, что пережили они за дни моего суда, сделают их сильными и выросшими. Действительность посмеялась надо мной. В моем мире все было так прекрасно, так гармонично. Они обманули мою сказку, меня. До боли было грустно сознавать, что они еще не выросли. Грустно было за них. Они оскорбили сами себя передо мной. Меня же лично они не могли оскорбить.

Понятие «смерть» сменилось понятием «жизнь»... В первые минуты я увидела мало разницы между ними.

Ведь когда я представляла себе смерть, я, собственно, думала о жизни. Смерть представлялась мне в виде последних мгновений жизни, интенсивнейших, страшно остро сознаваемых, в которых, как в фокусе, сгустилось бы все пережитое мною. А ведь это был апофеоз жизни. Это же не была смерть. А после всех этих величайших мгновений наступает тьма, небытие — это само по себе мне не нравилось. Я ведь хотела жизни, я ведь любила жизнь, я ведь поклонялась жизни в ее различных проявлениях — от лучезарной идеи до зеленого леса, уснувшего над рекой. Катя умерла, но для меня она не была мертвой. Я видела ее такой, какой она стояла перед пулями, я переживала за нее то великое, что переживала она в последние свои мгновения. Смерти не было, когда я думала о Кате. Не было ее и передо мной. Когда опускается занавес перед очарованным зрителем, то он не плачет, что нет больше того, чем он наслаждался. Нет, он весь полон тем, что было, он радуется бывшему и продолжает еще жить им. Так должно было быть и со мной. То, что я переживала, было такое большое и яркое, что оно закрывало собой мысль, что оно будет последним и больше ничего не будет.

Я осталась жить и благословляла жизнь. Благословляла жизнь, благословляла деревья, которые распускаются, и я увижу их, благословляла те души людей, которые встречу еще, благословляла солнце, которое будет еще ласкать меня, наше солнце, которое будет продолжать светить мне, как светило сейчас. В дни ожидания смерти я написала карандашом на стене слова русалки из стихотворения Бальмонта. Вот она выплывает из своей глубины наверх, встречает восходящее солнце и, умирая, говорит (помню приблизительно слова):

— Я видела солнце. Что после, не все ли равно.

Теперь я думала, что это «после» у меня не будет. Что солнце всегда будет со мной. В безумной гордыне я возомнила, что солнце не уйдет от меня, что я «просияла» на всю жизнь, что тот праздник, который переживала я, будет у меня всегда. Я забыла, абсолютно забыла о существовании мелочной жизни, о пыли, грязи, тине... Только свет, слепивший глаза, был передо мной. Только чудный гимн звучал у меня в ушах. И я со страстностью, с упоением благословляла жизнь.

От составителя. Далее многострадальный путь Александры Измайлович лежал через известные Бутырки в Сибирь, в Акатуй, оттуда спустя полгода в женскую Мальцевскую каторжную тюрьму. Там она и написала эти заметки в 1908 году, которые были тайно переданы на волю. Перед самой же узницей двери тюрьмы распахнулись только в дни Февральской революции 1917 года. И Александра Измайлович сразу же возвращается к активной политической деятельности: избирается членом ЦК партии левых эсеров и с их группой входит в состав послеоктябрьского Советского правительства — занимает должность комиссара управления дворцами Российской Федерации. Но уже в июле 1918-го за участие в выступлении левых эсеров против вчерашних союзников — большевиков и после разгрома этого выступления она снова оказалась в ссылке.

Время от времени Измайлович выпускали за ворота больших и малых ГУЛАГов, но потом следовали новые аресты. Финал наступил осенью 1941 года накануне оккупации гитлеровскими войсками города Орла: Измайлович была расстреляна бериевскими палачами вместе с ее единомышленниками — узниками местной тюрьмы. В те последние минуты своей жизни она стояла рядом с Марией Спиридоновой, верной подругой и спутницей по борьбе и по тюрьмам и ссылкам.

Тайна Черного озера



В течение 12 лет своего господства в Германии гитлеровский режим творил преступления внутреннего и международного характера, не задумываясь над тем, что когда-нибудь придется расплачиваться за них. Но вот в 1945 г. наступил конец. Разгромленные Вооруженными Силами Советского Союза варварские полчища фашистов откатывались на Запад к своему последнему логову — Берлину. С Запада к Эльбе приближались войска других держав антигитлеровской коалиции — США, Англии. И тогда главари фашистской Германии стали замечать следы своих злодеяний. Лагеря смерти сравнивались с землей, заключенные беспощадно уничтожались, наиболее важные документы, немые свидетели разбойничьей политики, были ликвидированы или спрятаны в тайниках. Дно Черного озера в Чехословакии стало одним из таких хранилищ тайн гитлеровской Германии. Фашистские главари надеялись, что Черное озеро никогда не откроет эти тайны человечеству. Но, как известно, ящики с документами извлечены из мрачных глубин озера и стали достоянием общественности. В числе обнаруженных в ящиках материалов оказались и документы, посвященные событиям 25 июля 1934 г. в Австрии. Среди них документ, составленный в июне — октябре 1938 г. так называемой «Исторической комиссией», созданной по распоряжению рейхсфюрера СС Гимmlера (документ носит название «Историческая комиссия рейхсфюрера СС. Восстание австрийских национал-социалистов в июле 1934 г. Секретно»), отчет «Исторической комиссии» рейхсфюреру СС Гимmlеру о проведенной работе, а также многочисленные черновые документы рабочей группы «Исторической комиссии», в том числе переписка между ней и высшими инстанциями.

В июле 1934 г. австрийские нацисты, возглавляемые гитлеровцами, подняли антиправительственный путч. Целью путчистов явилась замена правительства Дольфу-

са, ориентировавшегося на фашистскую Италию, прогерманским правительством, которое должно было объявить о присоединении Австрии к Германии.

Предлагаемые читателю материалы проливают дополнительный свет и на путч, и на капитулянтскую роль австрийских правящих кругов. Они уступали свою страну итальянскому фашизму, но были готовы, если понадобится, подчиниться и германскому фашизму. Отсюда заигрывание правительства Дольфуса с нацистами, стремление примириться с ними и даже поделиться властью. Отсюда и «гуманное» отношение к бунтовщикам, переговоры с ними и всякого рода обещания. Вице-президент полиции Скубль произнес перед арестованными речь, в которой апеллировал к «чувству чести национал-социалистов как немецких патриотов, заверил их как «немец и полицейский функционер», что все будут освобождены и доставлены к границе с Германией...».

Не удивительно, что уже в 1936 г. снова оживилась деятельность нацистов в Австрии, но теперь уже в условиях, когда соперничество между германским и итальянским фашизмом сменилось их сотрудничеством. В 1938 г. австрийское правительство Шушнига в ответ на ультиматум Гитлера включило нацистов в правительство. Вскоре Шушник ушел в отставку, оставив поле боя; в марте 1938 г. германские войска вступили в Австрию. Аннексия Австрии стала свершившимся фактом.

М. А. Полтавский

Историческая комиссия рейхсфюрера СС.

Восстание австрийских национал-социалистов в июле 1934 г.

Секретно

*Из нацистских документов, найденных
на дне Черного озера**

I. Планы путча 1933 года

Идея национал-социалистского путча против австрийского правительства зародилась в то время, когда впервые стало ясно, что меньшинство политических групп,

* Печатается с сокращением.

стоявших за австрийским правительством (христианско-социальные, хеймвер), намерено силою преградить путь к власти, нараставшему национал-социалистскому движению в Австрии. Муниципальные выборы, состоявшиеся осенью 1932 г., окончились для австрийского правительства катастрофически. И когда правительство, вопреки положению конституции, не назначило новых выборов, а продолжало сохранять фактически уже распущенный Национальный совет, в небольшом кругу национал-социалистских полицейских чиновников возник план, включавший в себя три операции, которые и были осуществлены позднее, в июле 1934 года. В соответствии с этим планом группа вооруженных нацистов должна была заставить кабинет министров уйти в отставку, а премьер-министра — сформировать национал-социалистское правительство и выступить перед общественностью по радио с заявлением о смене правительства. Вначале этот план обсуждался только небольшой группой, в которую входили: тогдашний командир алармабтейлунг («роты боевой тревоги») при венской полиции комиссар д-р Лео Готцман, майор команды безопасности Йозеф Хейшман, комиссар д-р Пауль Хенигл, майор Виктор Фридрих, чиновник уголовной полиции Франц Камба, районный инспектор уголовной полиции Конрад Роттер и майор австрийской армии Рудольф Зелингер, который установил связь с этим кругом лиц, когда служил в 1928—1931 гг. при дирекции венской полиции в качестве прикомандированного офицера-инструктора.

Большинство венской полиции было настроено пронацистски. Особенно сильно эти настроения были выражены в командах, находившихся под начальством командира алармабтейлунг старшего полицейского комиссара д-ра Лео Готцмана. Все полицейские — национал-социалисты Вены были объединены депутатом ландтага от национал-социалистов районным инспектором уголовной полиции Роттером в организацию НСДАП по его месту жительства: Герстхоф, 2. В 1933 г. она насчитывала примерно 1 тыс. членов. На случай восстания можно было вполне рассчитывать на участие в нем полиции.

После долгих обсуждений было решено провести следующие мероприятия:

1. Занять резиденцию федерального канцлера и во время заседания кабинета министров арестовать правительство. Это задание должна была привести в исполнение полицейская команда во главе с майором Хейшма-

ном, ранее находившаяся в составе алармабтейлунг под командованием д-ра Готцмана;

2. Занять здание дирекции полиции на Шоттенринге. Ответственные за выполнение — д-р Лео Готцман и майор полиции Виктор Фридрих;

3. Занять Марокканские казармы поручалось комиссару полиции д-ру Паулю Хениглу;

4. Занять радиостанцию Бизамберг.

Две последние операции должны были осуществить штурмовики (СА) и бывшие солдаты. Общее руководство возлагалось на майора Зелингера.

Предполагалось, что захваченные члены правительства будут вынуждены дать свое согласие на формирование нового правительства и проведение новых выборов. Гауляйтер НСДАП Альфред Фрауэнфельд должен был находиться вблизи резиденции канцлера, чтобы вступить в переговоры с правительством. Подготовку путча предполагалось завершить к 15 октября 1933 года. Точное время зависело от времени заседания кабинета министров. Чиновник уголовной полиции Франц Камба, который был командирован для несения службы в ведомстве канцлера, должен был сообщить руководителям путча о времени заседания.

Проведение путча не должно было быть осуществлено без согласования с партийными инстанциями Германской империи, в связи с чем предпринимались неоднократные попытки доложить им план; однако ни от кого не было получено конкретного согласия. Так прошел назначенный срок 15 октября 1933 г., а решение еще не было принято. Была назначена новая дата — ноябрь 1933 года. За это время через австрийское руководство НСДАП поступило сообщение, что план был доложен фюреру, но последний не дал своего согласия. Нацистское руководство в Австрии дало разъяснение, что внешнеполитическое положение еще не созрело для подобной акции. Участвовавшие в обсуждении плана ведущие лица отказались от его выполнения. Однако дальнейшее развитие политических событий послужило поводом к тому, чтобы план не был предан забвению. Майор Зелингер ознакомил с планом полицейской группы руководителя нацистской солдатской группы Фридолина Гласса. Последний стал в будущем, наряду с руководителем главного отдела НСДАП в Австрии д-ром Густавом Вехтером и начальником штаба НСДАП в Австрии д-ром Рудольфом Вейденхаммером, носителем идеи путча.

II. План Гласса

Гласс был уполномочен в 1930 г. руководством НСДАП в Австрии создать организацию из нацистских солдат австрийской армии. Вначале он создал в венском гарнизоне национал-социалистскую ячейку. Эта ячейка под названием «Районная группа Лайнци-Шпейзинг» была включена в гау НСДАП Вены. Осенью 1932 г. по приказу австрийского партийного руководства был создан в армии «Немецкий солдатский союз», в противовес христианско-социальному солдатскому союзу. Руководителем стал Гласс, его ближайшими помощниками — Франц Хольцвебер, Отто Планетта и Ганс Домес. В июне 1933 г., незадолго до запрещения НСДАП в Австрии, тогдашний военный министр Карл Вогуэн издал приказ о преследовании нацистов в армии. Была создана специальная дисциплинарная комиссия в ведомстве канцлера, которая должна была выявить национал-социалистов в армии. Около 80 членов НСДАП, в том числе Гласс, Хольцвебер, Планетта и Домес, были уволены из армии и арестованы. Между тем 19 июня 1933 г. деятельность национал-социалистской партии была вообще запрещена. Хотя арестованные нацисты-солдаты и были освобождены из-под ареста, впредь все подозреваемые в национал-социализме систематически изгонялись из армии. Эти солдаты и были собраны Глассом, составив войсковое подразделение из 6 рот, получившее название «Милитерштандарте». Это подразделение находилось в подчинении руководства НСДАП Австрии. После запрещения НСДАП 19 июня 1933 г. все так называемые активные подразделения, в том числе «Милитерштандарте», перешли в ведение политического руководства СА — «Обергруппы XI», но они не потеряли своей самостоятельности. Это и дало возможность Глассу после встречи с бывшим начальником главного управления СС группенфюрером Виттье передать «Милитерштандарте» весной 1934 г. в распоряжение СС. Рейхсфюрер включил его как «Штандарте-89» в общий союз СС. В этом подразделении Хольцвебер и Планетта были руководителями батальона. Австрийское руководство СА расценило поступок Гласса как предательство по отношению к СА. Напряженные отношения между частью руководства СА и СС, которые открыто проявились в Германии 30 июня 1934 г., ощущались также в Австрии. Этим и объясняется позиция, которую позднее руководство СА в Австрии заняло к планам восстания.

Подразделения Гласса, учитывая их военную силу, неизменно включались в путчистские планы, вынашиваемые различными нацистскими кругами Австрии. Было естественно, что Гласс сам, уверенный в боеспособности своих людей, принимал всерьез возможность осуществления путча. Политическое положение в Австрии давало пищу этим планам. Участились случаи саботажа, взрывы бомб. 11 июня был преобразован кабинет. Вся служба безопасности была подчинена канцлеру, правительственная печать объявляла, что теперь «последние остатки врагов государства будут обезврежены». 13 июня преобразованный кабинет издал закон о введении военно-полевых судов и смертной казни за хранение взрывчатых веществ. Какое влияние этот закон оказал на национал-социалистское население, можно видеть из отчета о положении, который был составлен «Генеральной дирекцией общественной безопасности» ведомства бундесканцлера за 1—15 июля 1934 года. В нем констатируется, что в случае исполнения приговора военного суда следует ожидать выступления всего национал-социалистского населения.

В эти дни планы Гласса приобрели уже более ясные очертания.

25 июня 1934 г. в Цюрихе состоялось совещание, в котором приняли участие Гласс, Вейденхаммер, Вехтер и Габихт. По требованию Габихта Гласс доложил свой план. Планом было предусмотрено арестовать во время заседания кабинет министров и президента и заставить последнего сформировать новое, по возможности замаскированное, правительство. Одновременно намечалось занять здание радиостанции, чтобы новое правительство могло использовать ее для передачи информации. Отдельные операции предполагалось осуществить следующим образом: отборная группа около 150 солдат «СС Штандарте-89» займет во время заседания кабинета министров городскую комендатуру и оставит там гарнизон в 30 человек, переодетых в солдатскую форму. В это же время через ворота с противоположной стороны здания городской комендатуры во двор должны въехать грузовики с обмундированием и оружием. Другие эсэсовцы, облачившись в брюки и сапоги военного образца, а в остальном одетые в гражданское платье, должны последовать за переодетыми в военную форму в городскую комендатуру, переодеться там и получить оружие. Специальной группе под руководством Планетты поручалось арестовать офи-

цера гарнизонной инспекции. Было известно, что только он один является хранителем запечатанного конверта с паролем для поднятия венского гарнизона по тревоге. Старший лейтенант Зинцингер, комендант города по австрийской армии в Вене, должен был передать все дальнейшие приказы по армии. Группа из переодетых в военную форму людей должна была направиться на грузовиках к резиденции бундесканцлера и занять помещение. Далее предусматривалось с помощью двух других групп осуществить почти одновременно захват здания «Равага» и центрального телефонного узла. Люди, входившие в состав этих групп, должны были быть в гражданском платье, чтобы незамеченными подойти к зданиям. Операции против резиденции бундесканцлера и здания радиостанции должны были являться начальными акциями. После занятия радиостанции должно было быть передано следующее сообщение: «Правительство Дольфуса ушло в отставку. Посланнику д-ру Ринтелену поручено формирование нового правительства». И только после передачи этого сообщения вводились в действие все остальные силы нацистов в стране. Гласс информировал также о согласии начальника штаба городской комендатуры в Вене, старшего лейтенанта Зинцингера, принять участие в восстании. Он охарактеризовал настроения, царившие среди членов партии, и заявил, что операцию «нельзя больше откладывать в долгий ящик». Одновременно он сообщил, что в связи с непрекращающимися доносами австрийская служба безопасности обращает все большее внимание на деятельность Вехтера, Вейденхаммера и его самого. Габихт поручил Глассу немедленно возвратиться в Вену для того, чтобы подготовить выступление «на всякий случай», поддерживать тесную связь с Вейденхаммером, Мюнхеном и Веной по поводу дальнейших поставок оружия и вести переговоры с высшими офицерами австрийской армии и командиром алармабгейлунг, майором полиции д-ром Готцманом. Дата восстания еще не была определена, но план уже близился к своему осуществлению.

11 июля 1934 г. Вейденхаммер отбыл из Вены в Рим, в австрийское посольство, для переговоров о плане восстания с Ринтеленом. С 1919 по 1932 г. Ринтелен возглавлял правительство Штирии и пользовался любовью в кругах штирийской буржуазии. Он был одним из руководящих членов христианско-социальной партии. В мае 1932 г. представитель этой партии Э. Дольфус был из-

бран федеральным канцлером Австрии. В моменты правительственных кризисов о Ринтелене часто говорили как о восходящем светиле. Перевод его в Рим был произведен по распоряжению Дольфуса, дабы лишить его того влияния, которым он пользовался. Уже в начале 1934 г. Ринтелена привлекли к политической деятельности в НСДАП, и Вейденхаммер получил от австрийского руководства задание поддерживать с ним тесную связь. С этой целью Вейденхаммер под псевдонимом «Виллиамс» неоднократно ездил в Рим. Его связным в Риме был немецкий студент, член партии Шпици, который запросто посещал посланника Ринтелена и смог успешно установить связь между Вейденхаммером и Ринтеленом.

В эту поездку Вейденхаммер информировал Ринтелена о том, какое место отводилось последнему в ходе обсуждения плана восстания. Ринтелен должен стать преемником Дольфуса. Считают, что он весьма подходит для занятия этого поста, ибо полагают, что христианско-социальное прошлое и дипломатическая служба создали ему известную репутацию как в стране, так и за границей. А это обстоятельство позволило бы провести намеченную операцию в стране, не встретив особых затруднений со стороны буржуазных кругов, и в то же время создать атмосферу доверия к новому правительству за границей. Будучи посланником Австрии в Риме, Ринтелен был хорошо осведомлен о том положении, которое Австрия занимает в Европе. В то время решение многих внешне- и внутривполитических вопросов Австрии зависело от Рима. Хотя Муссолини и не присоединился к протесту европейских держав «против немецкого вмешательства в Австрии», выдвинутому Францией в 1933 г., он ни в коем случае не хотел выразить тем самым, что Италия не заинтересована в самостоятельности Австрии. Напротив, в последующем он все более выступал в роли защитника Австрии. Внешнюю политику Италии представлял в то время статс-секретарь по иностранным делам Фульвио Сувич.

В марте 1934 г. Муссолини, Дольфус и Гембеш подписали «Протоколы», в которых взаимно гарантировали независимость своих государств. В эти дни Гитлер направился в Венецию, чтобы впервые встретиться там с Муссолини. Дольфус делал все возможное, чтобы помешать соглашению между Германской империей и Италией. Он поручил собрать порочащий австрийских национал-социалистов и Германскую империю материал и до прибытия

Гитлера в Италию передал его статс-секретарю Сувичу. Результаты заявлений против Германской империи, сделанных Австрией в Италии, сказались на том, что тон итальянской прессы по отношению к Германской империи приобретал все большую резкость. В мае 1934 года в итальянской печати поднялась кампания против позиции Германской империи в вопросе об Австрии. Наивысшей точки эта кампания достигла в тот момент, когда во всех итальянских газетах появилась статья Гайды «За Австрию, положить конец покушениям». В ней говорилось: террористические акты по воле и под руководством германских агитаторов угрожают все более осложнить отношения между Италией и Германией. Следует опасаться, что в результате этого вырастет стена недоверия и враждебности к новой Германии, что отнюдь не будет благоприятствовать ни ее будущим судьбам, ни миру и согласию в Европе.

О позиции, которую занимал Муссолини в переговорах с Гитлером по австрийскому вопросу, можно было судить по тону итальянской печати, а также по тому факту, что вскоре после отъезда Гитлера Муссолини пригласил австрийского бундесканцлера Дольфуса с семьей провести в конце июля летний отпуск на вилле Риччионе.

Австрийский бундесканцлер продолжал снабжать как итальянские, так и другие иностранные газеты материалами, направленными против национал-социалистов и империи. Дольфус усердно старался установить новые отношения с английским и французским правительствами...

В это время Гласс занимался осуществлением полученных им в Цюрихе заданий. Он провел обсуждение плана с командиром алармабтейлунг майором полиции д-ром Готцманом, руководителем полицейских-нацистов, инспектором уголовной полиции Роттером, с входившим в состав этой группы и прикрепленным к канцелярии бундесканцлера чиновником уголовной полиции Камба, директором полиции Штейнхойзелем; с двумя начальниками штаба австрийской армии.

23 июля в Вену прибыли Ринтелен и вице-канцлер в отставке Винклер, один из лидеров ландбунда, стоявший на позиции пангерманизма и аншлюса. По происхождению — судетский немец. На последнем совещании с Вейденхаммером Ринтелен предложил срочно направить Франца Винклера в Прагу с тем, чтобы в случае успешного завершения восстания он смог использовать

свое влияние в интересах нового правительства. Вейденхаммер взял на себя разъяснить Винклеру поставленную перед ним задачу, не вводя его во все подробности операции. Винклер согласился выполнить указания австрийского руководства НСДАП и начал готовиться к отъезду в Прагу.

Вечером 23 июля в одном из ресторанов Вены состоялась интересная встреча между Вейденхаммером, Глассом и Вехтером. Вейденхаммер сообщил, что ему поручено обсудить с ними некий план, то есть вместо операции Гласса провести иную операцию, в соответствии с которой предлагалось арестовать министров ранним утром поодиночке. После возражений со стороны Гласса и Вехтера было решено придерживаться плана Гласса.

Гласс, Вехтер и Вейденхаммер провели потом еще одно совещание в Нусдорфе, а после полуночи встретились в Клостернейбурге с офицерами «СС Штандарте-89» Хольцвебером, Планеттой, Домесом и Бауэром. Об этой беседе Вейденхаммер сообщал: «У меня навсегда останутся в памяти последние слова, произнесенные в беседе с этими честными, ныне уже покойными героями нашего движения, последнее рукопожатие, которым мы обменялись. Мой долг засвидетельствовать здесь, что личное поведение СС фюрера Гласса и его офицеров было образцово честным и достойным. В ходе обсуждения последних деталей операции любой из участников мог себе ясно представить, что речь идет о безоговорочной готовности пожертвовать жизнью, и с уверенностью можно было сказать, что эти шансы были велики. После первых же слов я встретил твердый, ясный взгляд, и у меня создалось впечатление, что последнее приветствие при расставании «хайль Гитлер» прозвучало не как формальное признание, а как клятва верности и готовности».

III. 24 июля 1934 года

Утром 24 июля операция началась. Грузовики с оружием и обмундированием двинулись в путь. По тревоге были подняты сотни эсэсовцев и членов НСДАП; для многих из них только сейчас стало ясно, каким образом будет проводиться намеченная операция.

Около полудня министр финансов д-р Буреш сообщил Ринтелену, что заседание кабинета министров состоится в 16 часов. Вейденхаммер, Гласс и Вехтер, собравшись в Ратхаускеллер, приняли решение о нанесении основно-

го удара в 17.30. На этом же совещании и были распределены роли между ними.

В 14.50 Вейденхаммер отправился к Ринтелену и там узнал, что заседание кабинета министров не состоится и переносится на 11 часов утра следующего дня. Чиновники уголовной полиции, алармабтейлунг, полиция, команды, которым поручалось занятие радиостанции Раваг, уже прибыли на свои исходные позиции. Несмотря на это, все же удалось остановить выступление и своевременно возвратить участников.

Вечером 24 июля в отеле «Родаун» состоялась встреча Вейденхаммера, Вехтера и Гласса. До этого Вейденхаммер имел беседу с Ринтеленом. Последний высказался против повторения выступления... Вехтер и Гласс настаивали на проведении восстания на следующий день, утверждая, что 24 июля полностью подтвердило правильную линию его подготовки и можно полагать, что на следующий день все будет в должном порядке. Договорились, что восстание будет проведено на следующий день. Требовалось лишь несколько изменить план, назначив новые пункты для сбора участников. Эти вопросы было поручено обсудить Глассу с его офицерами.

Вейденхаммер и Вехтер направились после этой встречи на квартиру советника германского посольства Альтенберга, где занялись подготовкой распоряжений и объявлений для завтрашнего дня.

Между 1-м и 2-м часом ночи Гласс встретился с Планеттой, Хольцвебером, Домесом и Бауэром в Клостернейбурге и проинформировал их о новых планах. Сбравшиеся пришли к заключению, что теперь вряд ли удастся занять городскую комендатуру, так как в полдень там будут нести службу не менее 200 офицеров и солдат. Новый пункт сбора в эту ночь определен не был.

IV. Утро 25 июля 1934 года

1) Последние приготовления

На следующее утро в 6.30 Гласс продолжил переговоры со своими офицерами. Местом сбора по предложению Хольцвебера был назначен спортивный зал немецкого гимнастического союза на Зибенштернгассе. Городскую комендатуру намечено было захватить лишь после того, как будет взята резиденция бундесканцлера. Эта операция поручалась Планетте с отрядом в 40 человек, переодетых в военную форму. Приказ о выступлении был

вручен командам в 8 часов утра. Затем Гласс встретился в кафе при ратуше с Вехтером и Вейденхаммером и обсудил с ними последние приготовления. Там же они получили сведения, подтверждающие, что заседание кабинета министров действительно состоится. После этой кратковременной встречи Гласс направился на Зибенштернгассе, а Вейденхаммер и Вехтер на машине проехали по тому пути, которым должны были следовать грузовики.

В 12.45 колонна грузовиков двинулась к месту назначения. На этом подготовительный этап операции был завершен.

2) Измена Доблера. Последствия измены для противника

Прибыв на место, к резиденции бундесканцлера, команда, которой было поручено занять это здание, встретила с иной обстановкой. Кабинет министров не заседал. В результате измены Дольфус был предупрежден о появлении грузовиков с нацистами.

Предателем оказался инспектор 16-го отделения полиции в Вене Иоганн Доблер. Надежность Доблера не вызывала сомнений хотя бы потому, что ранее он был директором по хозяйственной части в «Коричневом доме», в котором помещалось бюро национал-социалистской партии. Он входил в подгруппу Штейнера из группы Роттера. 23 июля Штейнер в общих чертах ознакомил Доблера с планом выступления, и последний дал согласие на участие в операции. По всей вероятности, мысль об измене зародилась у него уже в то время. Измена ему удалась. После июльского восстания австрийское правительство весьма обстоятельно расследовало вопрос — как удалось Доблеру осуществить предательство и сколько времени потребовалось после его сообщения для принятия контрмер. Ведь именно на основании этих материалов были брошены упреки Фею* в том, что он поддерживал планы национал-социалистов. А события происходили таким образом.

25 июля 1934 г. в 8 часов утра чиновник уголовной полиции Штейнер известил Доблера о том, что самое позднее в 13 часов он узнает подробности предполагаемой операции. Доблер условился со Штейнером, что тот передаст это сообщение некоему Штефану Ваасу, прожи-

* Э. Фей — вице-канцлер, затем статс-секретарь безопасности и, наконец, «особый комиссар для защиты государства от врагов» в правительстве Дольфуса. После убийства Дольфуса был назначен министром внутренних дел в правительстве Шушнига.

вающему в Вене по Лерхенфельдгассе, 94. Тотчас же после этого Доблер позвонил в федеральное управление Отечественного фронта** и попросил к телефону федерального руководителя д-ра Штепана. Такой путь измены Доблер избрал потому, что, состоя в полицейской группе Роттера, он хорошо знал, насколько сильны в венской полиции нацистские настроения, и что поэтому любое сообщение, даже переданное секретным путем, немедленно станет известно эсэсовцам. К телефону подошел один из функционеров Отечественного фронта. Доблер попросил его передать федеральному руководителю Отечественного фронта, чтобы тот явился в кафе «Вегахубер», где ему будет передано важное сообщение. После этого Доблер направился в кафе. Примерно около 10 часов в кафе вошел инкассатор венского хейматшуца Карл Марер. Почувствовав, что Доблер наблюдает за ним, он заговорил с ним. Доблер поведал ему, что ожидает представителя Отечественного фронта, чтобы передать важное сообщение. Так как представитель еще не явился, Доблер рассказал обо всем Мареру. Марер, в свою очередь, поставил об этом в известность случайно оказавшегося в кафе старшего лейтенанта в отставке Шауфлера и тут же по телефону сообщил ландесцальмейстеру хейматшуца Францу Хидереру о том, что ему необходимо передать крайне важное сообщение. По указанию Хидерера Марер на машине отправился в управление венского хейматшуца и рассказал о случившемся. Хидерер вызвал по телефону адъютанта министра Фея майора жандармерии Врабеля и попросил его незамедлительно принять Марера.

В кафе «Вегахубер» остались Доблер и Шауфлер. К ним присоединился командир 5-го венского хейматшуца полковой капитан в отставке Эрнс Майер. Доблер повторил все сказанное им ранее также и Майеру. Последний тут же, примерно в 10.30, вызвал к телефону Фея и передал ему следующее: только что разговаривал с человеком, который сообщил о готовящемся на правительство покушении. Этот человек готов передать известные ему сведения лично Фею. Поэтому он доставит сейчас этого человека в машине в кафе «Централь», чтобы последний при личном свидании мог дать Фею подробную информацию.

** Отечественный фронт — объединенная организация всех австрофашистских формирований, созданная в июле 1933 г.

А за это время, в самом начале двенадцатого, началось заседание кабинета министров. Фей также направился туда. Незадолго до того на Баллхаусплатц прибыл Марер и доложил адъютанту Фею Врабелью о полученном им от Доблера сообщении. Врабель поставил об этом в известность Фею. Позднее Фей показывал, что в сообщении говорилось следующее: полицейский рассказал двум хеймверовцам о том, что против резиденции бундесканцлера замышляется акция, которая должна была состояться еще во вторник, но потом перенесли на среду. Полицейский готов дать более подробные показания, но отказывается появиться в присутственном месте. Фей поручил Врабелью лично встретиться с Доблером и получить от него более обстоятельные данные. Врабель, Майер, Марер и приставленный к Фею для личного обслуживания чиновник уголовной полиции Пфлуг отправились в кафе «Централь» к Доблеру. Тот повторил свои показания. Врабель приказал ему немедленно получить предписание, которое будет доставлено для него на квартиру Штефана Васса в Лерхенфельдергассе. Доблер в сопровождении Майера и Шауфлера отправился туда. Зайдя в квартиру Васса, Доблер получил боевое предписание, которое гласило: «89—1/4 1. Зибенштернгассе № 11, гимнастический зал — пройти на Зибенштернгассе, минуя Брейтегассе — Штейнер». Доблер передал предписание капитану Майеру и старшему лейтенанту Шауфлеру, и те отправились в кафе «Централь». Там им сообщили, что Врабель ожидает их на Баллхаусплатц, в резиденции бундесканцлера. Они направились туда и в 11.45 вручили предписание Врабелью. Врабель направил на Зибенштернгассе в качестве наблюдателей двух чиновников уголовной полиции — Марека и Пфлуга, входивших в личное сопровождение Фею, а затем доложил обо всем Фею. Последний направился в комнату кабинета министров и попросил Дольфуса выйти, чтобы проинформировать его о случившемся. В 11.54 Фей доложил Дольфусу, что ожидается покушение.

Заседание кабинета министров 25 июля было последним перед летними каникулами. Незадолго до начала заседания, в половине двенадцатого, Дольфус поручил начальнику протокольной части Клаассу подготовить все необходимое для поездки в Риччионе. На заседании присутствовали все министры, в том числе Фей, и некоторые статс-секретари. Первым пунктом повестки дня было обсуждение проекта закона о ненаказуемости членов хей-

матшуга: Во время заседания Фей вызвали и сообщили о намечавшемся выступлении. Фей тут же поставил об этом в известность Дольфуса. Дольфус прервал заседание словами: «Я только что получил важное сообщение. Я должен его проверить. Очевидно, нехорошо то, что мы здесь все вместе». И только на вопрос статс-секретаря по иностранным делам д-ра Таушица, куда же им отправиться, Дольфус дал указание покинуть здание. С Дольфусом остались статс-секретарь безопасности Карвинский, статс-секретарь по военным делам генерал-майор Ценер и министр Фей. В сопровождении этих лиц Дольфус направился в свой рабочий кабинет и заставил Фей повторить сообщение. Это происходило между 12 и 12.10, Фей доложил, что он направил на Зибенштернгассе чиновника уголовной полиции для наблюдения. Дольфус поручил статс-секретарю Ценеру поехать в министерство обороны и привести в готовность армию.

Полицейский чиновник Марек, посланный Феем на Зибенштернгассе, между 12.10 и 12.30 трижды звонил майору Врabelю и информировал его о своих наблюдениях. Вначале он сообщил Врabelю, что в помещение гимнастического зала немецкого гимнастического союза на Зибенштернгассе устремляются солдаты, полицейские и гражданские лица. Вслед за получением этого сообщения, в 12.15, Карвинский поручил полицей-президенту Зейделю направить на Зибенштернгассе машину с полицейскими и выставить охрану возле резиденции бундесканцлера на Балхаусплатц. Вскоре Марек позвонил еще раз и сообщил, что к подъезду гимнастического зала подъехал грузовик. Молодые люди грузят на него ящики и мешки. Между 12.15 и 12.30 Карвинский запросил Зейделя о выполнении полученного им задания. Зейдель ответил, что за это время ему стало известно о готовящемся на Михаэлерплатц покушении на Дольфуса, поэтому весь полицейский аппарат он и направил туда.

Действительно, одна из национал-социалистских групп под руководством бывшего комиссара полиции Бегуса намечала покушение на Дольфуса на Михаэлерплатц, но, узнав о том, что готовится другая операция, Бегус отказался от своего первоначального плана.

В 12.42 в резиденции бундесканцлера Карвинский сообщил ответственному за службу безопасности инспектору уголовной полиции Гебелю о предполагаемом покушении и поручил ему принять меры по охране главного входа.

3) Занятие здания резиденции бундесканцлера. Убийство Дольфуса

В 12.50, еще до того как инспектор полиции Гёбель по указанию Карвинского смог отдать какие-либо распоряжения, в открытые ворота промаршировала караульная команда, пришедшая с Миноритенплатц, и, прежде чем произошла смена караула, во двор въехали со стороны Леверльштрассе машины с нацистами. Полицейские спокойно дали проехать машинам, полагая, как они заявили позднее, что это и было подкрепление, высланное для охраны. Не встретив особого сопротивления, нацисты провели первые мероприятия по занятию здания резиденции бундесканцлера. Присутствовавшим лицам они заявили, что операция проводится якобы «от имени бундеспрезидента». Хольцвебер взял под арест командира почетной стражи Бабка, другие нацисты — командира караула, пришедшего на смену, а также обе караульные команды. Был задержан и комиссар полиции, которого дирекция полиции направила для наблюдения за зданием. Арестованные в нижнем этаже лица были собраны во дворе и взяты под стражу.

В момент появления национал-социалистов Дольфус, Фей и Карвинский находились в рабочем кабинете Дольфуса. В 12.50, услышав шум моторов, Карвинский подошел к окну. Вначале он также подумал, что это прибыло затребованное им подкрепление, но, увидев несколько странный состав, понял, что это отнюдь не регулярные части. Вошедший в этот момент хейматшуцфюрер капитан Майер доложил, что в здание проникли «вооруженные люди». Дольфус, Фей и Карвинский вышли в прилегающий к рабочему кабинету колонный зал, чтобы посмотреть в окно... Дольфус не успел дойти до окна, как чиновник уголовной полиции Штейнбергер из его личной охраны доложил о появлении «солдат». Несколько удивленный, Дольфус произнес: «Вот как, солдаты?» — и в нерешительности остановился. В это время в зал вошел швейцар Гедвичек. Со словами: «Господин бундесканцлер, скорее» — он схватил Дольфуса за руку и повлек его за собой в рабочий кабинет. Как-то раньше в разговоре со Штейнбергером Гедвичек сказал ему, что, если когда-либо бундесканцлеру будет угрожать опасность, он выведет его по потайной лестнице из здания. Эта лестница находилась рядом с помещением, в которое можно проникнуть через зал, рабочий кабинет Дольфуса и так называемую угловую комнату. В этот момент Гедвичек и

хотел осуществить свое намерение.

Для занятия верхних этажей национал-социалисты выделили несколько групп. Арест кабинета министров поручался группе Хольцвебера. Поэтому эта группа, достигнув первого этажа, устремилась по коридору, ведущему к помещению кабинета министров, вправо от лестницы, с намерением арестовать находившихся там лиц. Планетта вел другую группу к первому этажу. Но какое задание должен был осуществить Планетта, не установлено. По всей вероятности, он хотел занять комнаты, выходящие на Баллхаусплатц. Он повел свою группу по направлению к угловой комнате. Здесь они и встретили Дольфуса, убежавшего в сопровождении Гедвичека. В угловой комнате Дольфус был смертельно ранен.

В то время, когда в угловой комнате разыгрывались события, все лица, встреченные в других помещениях, были задержаны. Их отвели во двор или в колонный зал на первом этаже, где они были взяты под строгую охрану. При этом им было сказано, что всякий, кто сделает движение, будет расстрелян. В колонном зале, спустя несколько секунд после того, как Дольфус покинул его, оставшиеся там лица были арестованы ворвавшимися нацистами и их заставили занять места за столом. Среди них находился и Фей со своим штабом. Карвинский убежал в соседнюю комнату, чтобы связаться по телефону с полицией. Но прежде чем он смог произнести хоть одно слово, он был арестован. Вначале его отвели в приемную канцелярии президента, затем — во двор и в конце концов — в колонный зал...

После того как Хольцвебер со своей группой пришел на первый этаж, он направился в колонный зал, чтобы, миновав его, пройти в комнату кабинета министров. Он принял участие в аресте тех, кто находился в колонном зале, а затем с доверенным лицом от национал-социалистов в ведомстве бундесканцлера чиновником уголовной полиции Камба обыскал все остальные помещения. Он констатировал, что, кроме Дольфуса и Фея, в доме не осталось ни одного министра. А так как ему было поручено при захвате резиденции бундесканцлера возглавлять группу, которая имела задание произвести во время заседания арест кабинета министров, то он стал в тупик, не зная, что же ему теперь предпринять. При допросе в ходе судебного следствия Хольцвебер показал: «Оставив несколько человек в комнате с арестованными, я отправился на поиски руководителя операции. Но его не оказа-

лось, и я понял, что дело идет не совсем так, как было условлено. Тут же, как и было договорено раньше, я позвонил в кафе Эйлес, пытаюсь позвать к телефону некоего Кунце. Но его тоже там не оказалось».

Под «руководителем операции» он подразумевал Гласса. «Кунце» — псевдоним районного инспектора уголовной полиции Роттера.

Чиновник уголовной полиции Камба показал, что после последних переговоров с Глассом и Роттером он считал, что Гласс, Вехтер и Ринтелен к моменту прибытия команды уже находились в резиденции бундесканцлера. По его словам, они должны были направиться туда еще до начала операции. Камба далее рассказал: не найдя Гласса, Хольцвебер испытывал горькое разочарование, он также высказал мнение, что их бросили на произвол судьбы, а остальных, возможно, уже «сцапали».

Как установлено свидетельскими показаниями, Гласс был арестован хеймверовцами возле резиденции бундесканцлера и отправлен в казарму хеймвера, а позднее передан полиции.

За это время в самом здании резиденции Худль взял на себя командование в нижних этажах. Кроме личного огнестрельного оружия, имевшегося у каждого из восставших, в распоряжении национал-социалистов находился еще пулемет. Грузенный оружием и боеприпасами грузовик в результате допущенной оплошности, не выясненной до сих пор, остался на Зибенштернгассе и был конфискован уголовной полицией. Пулемет находился вначале на одном из грузовиков во дворе, позднее был установлен в окне первого этажа. Прибыв в здание резиденции, Худль тут же приказал закрыть все выходы. Он считал необходимым осуществить это мероприятие, так как сложившаяся обстановка была иной, нежели было предусмотрено, а вокруг здания постепенно начали стягиваться силы противника, сначала хеймвер, позднее полиция и войска. Захват здания продолжался примерно минут 20 и с военной точки зрения был проведен блестяще. 65 вооруженных солдат и полицейских были захвачены врасплох, без особого сопротивления с их стороны.

4) События за пределами резиденции бундесканцлера в момент ее захвата

Внимание внешнего мира было привлечено к путчу вначале тем, что в 13.02, сразу же после проверки времени, по радиостанции Раваг было передано следующее сообщение: «Правительство Дольфуса ушло в отставку.

Управление принял на себя д-р Ринтелен». Ганс Домес, возглавлявший группу, занявшую радиостанцию, вынудил диктора передать это сообщение. Затем Домес и его товарищи после ожесточенной борьбы против превосходящих сил властей, длившейся 1 ч 45 мин, оказались побежденными. Эта борьба привлекла к себе внимание общественности в большей степени, нежели события в резиденции бундесканцлера, ибо там все протекало внешне спокойно и никому, собственно, не было известно, что там произошло.

Сообщение Равага об отставке правительства должно было послужить паролем для поднятия по тревоге СА и всех национал-социалистов в Австрии. Но в ближайшие часы ни СА, ни другие партийные группы не включились в операции, проводившиеся в резиденции бундесканцлера и на радиостанции.

О действиях руководителей, находившихся вне резиденции бундесканцлера, Вейденхаммер показывал: «Задача Вехтера состояла в том, чтобы вслед за проникновением в резиденцию бундесканцлера наших людей направиться туда и вместе с Глассом приступить к переговорам с министрами... Я же поспешил в отель «Империал» к Ринтелену, чтобы договориться с ним о его действиях на ближайшее время. В случае удачного исхода операции мы намеревались отдать из резиденции бундесканцлера все необходимые распоряжения...» В начале второго часа Ринтелен вдруг получил поздравление по телефону в связи с назначением его бундесканцлером. В 13.10 Ринтелену нанес визит надворный советник Бём и пытался воздействовать на него, чтобы тот в связи с только что переданным по радио сообщением немедленно отправился к бундесканцлеру и заявил ему, что он не причастен к этой мистификации. Но Ринтелен не пошел на это. Вскоре после телефонного разговора с Ринтеленом Вейденхаммер заметил на улице непривычное скопление полицейских и, почувствовав что-то неладное, попросил Ринтелена не выходить на улицу. Сам же он поспешно направился к зданию радиостанции, чтобы лично убедиться в том, что там произошло. После того как Вейденхаммер покинул Ринтелена, тот позвонил генеральному директору Равага Оскару Чею и заявил ему, что, очевидно, передали неправильное сообщение и что он требует немедленного разъяснения.

Подойдя к радиостанции, Вейденхаммер не был допущен в здание полицейским патрулем. Он сразу же понял,

что операция Домеса прошла не совсем удачно. Тогда он решил выяснить положение в резиденции бундесканцлера и поспешил туда. По дороге в Шауфлергассе он встретил Вехтера и члена национал-социалистской партии Павлу. Вместе они попытались проникнуть в здание резиденции бундесканцлера, но несмотря на то, что они называли пароль «89», пройти им не удалось.

5) Дальнейшие события в резиденции бундесканцлера. Телефонные переговоры Фей

Вскоре после ареста Фей потребовал встречи с командиром вторгшихся национал-социалистов. Была названа фамилия Хольцвебера. Хольцвебер распорядился привести к нему Фей и сообщил ему, что командир не явился, а сам он находится в неведении, как ему действовать дальше. Из показания свидетеля эсэсовца Роберта Марешки явствует, что Хольцвебер рассказал Фею о намечавшемся формировании нового правительства Ринтелена, в котором Фею предлагалось занять пост министра безопасности. Фей ответил на это согласием. Следует заметить, что незадолго до 25 июля 1934 г. Фей пытался, правда, без особого успеха, установить связь с политическими инстанциями в рейхе.

Поняв, что они отрезаны от руководителей восстания, Хольцвебер и Камба приняли решение немедленно доставить в резиденцию бундесканцлера Ринтелена, чтобы с его помощью найти выход из затруднительного положения. Камба вызвал по телефону дирекцию федеральной полиции, намереваясь переговорить с президентом полиции Зейделем, так как знал о его нацистских настроениях.

За это время Хольцвеберу сообщили, что Дольфус изъявил желание побеседовать с Феем. Это сообщение пришлось весьма кстати. Хольцвеберу и Камба, так как у них появилась надежда, что эта встреча поможет им найти выход из создавшегося трудного положения.

О беседе, состоявшейся между Дольфусом и Феем, имеются различные, довольно противоречивые показания. Полицейский Мессингер рассказывал о ней так: «Дольфус сказал Фею: «Да благословит тебя бог, Фей, как ты себя чувствуешь, что с другими министрами?» Фей ответил: «Спасибо, как видишь, хорошо». Вначале Дольфус попросил Фей позаботиться о том, чтобы Муссолини помог его семье, ибо он понимал, что близится его конец. Затем Дольфус распорядился, чтобы Фей поручил Шушнигу, а в том случае, если его уже нет, то ви-

це-президенту полиции Скублю, сформировать правительство. Один из национал-социалистов, которому, очевидно, беседа показалась затянувшейся, подошел ближе и сказал Дольфусу: «Господин канцлер, переходите ближе к делу». При этом никаких угроз с его стороны произнесено не было. Вполне понятно, он был вооружен, но оружием Дольфусу он не угрожал. Я довольно точно помню, что в ходе разговора шла речь о Ринтелене и сам Дольфус также говорил о нем, но подробности разговора и в какой связи это было сказано, припомнить не могу».

Эсэсовец Фельбер, также присутствовавший при беседе, описывает ее таким образом:

Фей: «Дорогой и высокоуважаемый господин бундесканцлер, в Австрии разразилось народное восстание, следует избежать ненужного кровопролития. Ты согласишься с тем, чтобы канцлером стал Ринтелен?»

Дольфус: «Я тоже не хочу, чтобы лилась кровь. Хорошо. Пусть Ринтелен станет канцлером!» И спустя некоторое время: «Но я не желаю отдавать Австрию тем, которые не хотят ее существования».

После разговора с Дольфусом Фей составил следующее обращение: «К исполнительной власти и населению Австрии. В результате вооруженного столкновения ранен бундесканцлер д-р Дольфус. Он сообщил мне, что во избежание дальнейшего кровопролития он уходит в отставку и передает канцлерство в руки министра Ринтелена. До образования нового правительства исполнительные власти должны руководствоваться указаниями министра Ринтелена и заботиться о поддержании спокойствия и порядка. Призываем также население соблюдать полное спокойствие». Подп. «Фей».

Вскоре после беседы с Феем Дольфус потерял сознание. Полицейский Мессингер рассказывал, что начавшееся кровотечение помешало ему говорить. Последние слова канцлера были обращены к жене и детям. Спустя некоторое время он скончался. Мессингер показал, что смерть наступила примерно в 15.45.

После беседы с Дольфусом Фей под охраной вышел на балкон здания резиденции бундесканцлера со стороны Баллхаусплатц. Установив с балкона связь с д-ром Людвигом Хумпелем из генеральной инспекции службы безопасности, который командовал полицейскими силами, осадившими резиденцию бундесканцлера, он попросил его подняться к нему, пройдя через ворота, выходящие на Метастазигассе. Хумпель в сопровождении участко-

вого инспектора Эйбеля прошел в здание. Там Фей проинформировал его о случившемся. Он сообщил, что Дольфус очень тяжело ранен, и поручил ему (Фею) принять меры, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и ожидать прибытия Ринтелена. Фей обратился к Хумпелю с просьбой не штурмовать помещение до прихода Ринтелена. Хумпель и Эйбель вернулись к себе, и Хумпель доложил по начальству о разговоре, состоявшемся с Феем. Спустя некоторое время Фей потребовал, чтобы Хумпель пришел к нему вместе с майором Примером из венского хейматшуца. При их прибытии Фей обратился к Примеру с требованием, чтобы хейматшуц не принимал каких-либо мер по своему усмотрению. В тот момент, когда Хумпель и Пример выходили из здания, к резиденции бундесканцлера прибыли войска.

По указанию Хольцвебера Фей позвонил и сказал, что всякие операции, направленные против резиденции бундесканцлера, должны быть прекращены и Ринтелену поручается формирование правительства. Это сообщение Фея было принято министром Нейштедтером-Штюрмером.

Нейштедтер-Штюрмер об этом рассказал: «Министр Фей сообщил мне по телефону, что имел беседу с канцлером после ранения. На мой вопрос, серьезное ли ранение у канцлера, он ответил утвердительно. Канцлер поручил ему сделать все, чтобы избежать кровопролития, и сказал затем: «Пусть Ринтелен попытается наладить мир». Принимая во внимание это поручение канцлера, а также то обстоятельство, что бундеспрезидент уполномочил Ринтелена взять на себя руководство кабинетом министров, так говорил Фей, необходимо предоставить Ринтелену свободу действий. Я ответил Фею, что арестованные, видимо, введены в заблуждение, что бундеспрезидент и не думал назначать Ринтелена канцлером, а, наоборот, уполномочил министра Шушнига взять временно управление в свои руки. В связи с этим я не могу принять к сведению высказанные им пожелания, так как, по всей видимости, он находится под известным давлением. Выслушав это, Фей окончил разговор. При таком положении дела требовались быстрые и решительные действия. Кабинет министров принял решение не допускать каких-либо переговоров с Ринтеленом и предъявить ультиматум мятежникам. Ультиматум был составлен в мое отсутствие и позднее вручен мне. Мне вменялось в обязанность вместе с генералом Ценером отправиться в резиденцию

бундесканцлера и предъявить восставшим ультиматум».

Шушниг позвонил Ринтелену в отель «Империял» и попросил его зайти в министерство обороны. Затем он послал главного редактора газеты «Рейхспост» Фундера на машине в отель «Империял» за Ринтеленом, а по прибытии Ринтелена в министерство обороны запер его в одной из комнат. О дальнейшем развитии событий Шушниг сообщал: «Мы знали только, что он (Дольфус) ранен. Причем мы вначале полагали, что ранение легкое, поэтому мысли наши были направлены на то, как бы спасти его и других арестованных. Было принято решение: после того как войска, полиция и поднятые по тревоге союзы обороны, направленные к резиденции бундесканцлера, будут приведены в состояние полной готовности, министр Нейштедтер-Штюрмер и генерал Ценер направятся на Баллхаусплатц для ведения переговоров с восставшими о выдаче арестованных и освобождении здания. С этой целью я продиктовал Ценеру текст декларации о том, что по указанию бундеспрезидента я принял руководство правительством, а также требования к восставшим, среди которых, как нам было доложено, не было действительных представителей ни армии, ни полиции. Нейштедтер-Штюрмер и Ценер в начале шестого отправились с указанными материалами на Баллхаусплатц».

О состоянии Дольфуса временный кабинет на Штубенринге узнал не только из телефонного разговора. Д-р Кемптнер, который во второй половине дня 25 июля находился на Баллхаусплатц, узнав о смерти Дольфуса, поспешно направился в министерство обороны. Об этом он показывал: «Было что-то около половины пятого, когда до меня дошел слух о смерти канцлера... Я поспешил на Штубенринг в министерство обороны, чтобы известить об этом собравшихся там министров и статс-секретарей, и затем снова возвратился на Баллхаусплатц».

Во второй половине 25 июля 1934 г. правительство Шушнига, несмотря на то что ему уже было известно о смерти Дольфуса, заверило окруженных в здании национал-социалистов, что им будет предоставлена свобода передвижения. Но уже с самого начала Шушниг был настроен не сдержать своего обещания. И для того, чтобы скрыть от мировой общественности нарушение данного обещания, он в лживом свете представил события, разыгравшиеся во второй половине 25 июля 1934 года.

Уже на заседании кабинета министров, состоявшемся в ночь с 25 на 26 июля 1934 г., обсуждался вопрос, какую

позицию должно занять правительство по отношению к данному обещанию. По сообщению протоколиста кабинета министров советника д-ра Тролля, никаких записей по ходу этого заседания не велось; из записей же, сделанных на заседании 26 июля 1934 г., вытекает, что уже 25 июля правительство приняло решение нарушить данное обещание.

Переговоры между Нейштедтером-Штюрмером и Фе-ем затянулись, так как Фей часто уходил с балкона, чтобы посоветоваться с национал-социалистами, находившимися в прилегающих к балкону комнатах. Как показал Хольцвебер, Фей был своего рода связующим звеном с внешним миром. От случая к случаю вместе с Фе-ем появлялись на балконе и эсэсовцы. Национал-социалисты хотели знать все подробности о том, как будет осуществлена свобода передвижения, и требовали гарантий. Нейштедтер-Штюрмер вынужден был несколько раз продлевать срок, назначенный для освобождения здания. По поводу переговоров между Нейштедтером-Штюрмером и Фе-ем имеются различные сообщения. Ниже приводится одно из них, опубликованное в «Рейхпост» от 26 июля 1934 года. Оно составлено, по-видимому, одним из корреспондентов газеты, присутствовавшим на Бал-хаусплатц.

«В 6 ч 10 мин министр Фей вновь появился на балконе и, попросив министра Нейштедтера, передал ему просьбу о продлении срока до 7 часов. Нейштедтер ответил: «До 7 часов? Нет, на это мы не пойдем. Только до половины седьмого. Повторяю еще раз и подкрепляю честным словом солдата, что свободный отход до немецкой границы будет обеспечен». Эти слова, очевидно, не были поняты надлежащим образом.

Фей крикнул с балкона: «Они спрашивают, начнется ли эвакуация немедленно».

Нейштедтер: «Да».

Фей: «Они спрашивают, какую охрану им дадут. Полицию?»

Нейштедтер, не будучи, видимо, подготовлен к этому вопросу, оглянулся.

Фей снова крикнул: «Они требуют войсковой охраны!»

Нейштедтер: «Да, они получают ее. Все должны покинуть здание и разместиться на грузовиках. Даю гарантию, что ни с кем ничего не случится».

На этом переговоры закончились. Вскоре Фей вновь появился на балконе, с ним вышли два человека в офи-

церской форме 5-го пехотного полка. Это были руководители мятежа, один из них, как говорили, бывший командир взвода по фамилии Хольцвебер.

Фей крикнул: «Для гарантии, что во время переброски с ними ничего не произойдет, необходимо передать по радио, что им предоставлено право свободы передвижения!»

Нейштедтер ответил: «Полагаю, что меня неправильно поняли. Ведь я обещал дать войсковую охрану. Тогда с ними ничего не случится».

Фей: «Гарантирую безопасность лицам, находящимся в здании, они хотят, чтобы была обеспечена и их безопасность».

Нейштедтер: «Я это обещаю. Мы выставим круговую охрану на площади возле бюро бундесканцлера и обеспечим беспрепятственный уход, так что им нет оснований бояться заслуженного наказания».

Около 7 часов к зданию резиденции бундесканцлера подъехали полицейские машины. Национал-социалистам было сказано, что они будут отправлены на этих машинах, дабы не привлекать к себе внимания. Они сдали оружие, сели в машины, в надежде, что их повезут к государственной границе, а родные вскоре последуют за ними в Германию. Но путь полицейских машин лежал не к границе, а в так называемые Марокканские казармы. Ответственность за это лежит в первую очередь на Шушниге.

Как известно, Шушниг держался вдалеке от переговоров, происходивших на Баллхаусплатц. Он появился там уже под вечер, когда на площади собрались и все остальные министры. Если до этого все присутствовавшие на Баллхаусплатц не сомневались, что обещание, данное национал-социалистам, будет выполнено, то после появления Шушнига стало очевидным, что высокие лица и не думали сдержать данное ими слово. Шушниг сам признал, что ответственность за нарушение обещания лежит на нем. В отчете о событиях 25 июля 1934 г. он говорит: «Я распорядился, чтобы восставшие провели ночь в Вене, и по предложению господина вице-президента Скубля они были направлены в Марокканские казармы». Этим подтверждается также и вина Скубля. Скубль признал, что руководил отправкой нацистов в Марокканские казармы.

б) Допросы в Марокканских казармах. Поведение Скубля

Вечером 25 июля 1934 г. венская полиция так и не

знала, кто же произвел смертельный для Дольфуса выстрел. Вице-президент полиции Скубль приказал поэтому в 21 час всем имеющимся в распоряжении чиновникам обычной и уголовной полиции направиться в Марокканские казармы для допроса находившихся там под арестом примерно 150 национал-социалистов: на долю каждого из референтов бюро безопасности приходилось допросить примерно 15—20 человек. Эти допросы не дали никаких результатов. Чиновники узнали от арестованных лишь то, что ни один из них не имел намерения убить Дольфуса, так как весьма важно было сохранить ему жизнь, чтобы иметь возможность вести дальнейшие переговоры, а кроме того, им еще ранее был передан приказ избегать по возможности кровопролития и применить оружие только в том случае, если они встретят сопротивление. Около 2 часов ночи президент полиции Зейдель и вице-президент полиции Скубль направились в Марокканские казармы. Скубль построил всех национал-социалистов в гимнастическом зале казармы и произнес перед ними пламенную речь. Он взывал к «чувству чести национал-социалистов как немецких мужей» и пояснил: дело идет лишь о том, чтобы установить человека, который убил Дольфуса. И он заверил при этом, что «как немец и полицейский функционер» обязуется доставить к германской границе в полной сохранности всех национал-социалистов, за исключением преступников, которые должны назвать себя. Об этом он заявил также и как свидетель под присягой — хотя и с некоторыми оговорками — на основном судебном процессе военного суда по делу Хольцвебера — Планетты: «Я построил людей и сказал им, что их переправят через границу, но это будет сделано лишь тогда, когда выявят преступников, ведь совершено убийство. Я сказал, что те, кто участвовал в убийстве, и те, кто находился в особом долгу перед государством, переправе через границу не подлежат». Речь Скубля успеха не имела. Убийца не назвал себя.

26 июля 1934 г. около полудня Скубль снова направился в Марокканские казармы, чтобы попытаться выявить преступника. Между тем в этот же день чиновник уголовной полиции Петернель, движимый чувством преданности системе и честолюбием, появился в Марокканских казармах, чтобы с помощью хитрости обнаружить преступника. В донесении, представленном им 4 октября 1934 г. в бундесполицейкомиссариат в Хитцинге, Петернель так описывает свое поведение: «На следующий день

я отправился к арестованным в гимнастический зал Марокканских казарм, чтобы разыскать убийцу канцлера. Вначале подозрение пало на Хольцвебера. Чтобы остаться неузнанным, я снял китель и пошел в одной рубашке — все путчисты были также без кителей — к Хольцвеберу. Я попросил его никому не говорить, кто я такой, и около двух часов оставался с ним, пытаюсь побудить Хольцвебера назвать мне убийцу канцлера, ибо тем самым ускорялась отправка всех остальных к границе. Правда, Хольцвебер не назвал имени, но на мое предложение дал несколько отправных положений, которые и послужили в конечном счете уликой против Планетты. Во время беседы с Хольцвебером вошел Худль, и я сделал вид, будто знаю убийцу. В этот момент Хольцвебера внезапно вызвали и увели из зала. Когда Худль сказал мне: «Было бы лучше, если бы у него был револьвер» — он подразумевал убийцу, — я заметил, что взгляд его упал на Планетту, стоявшего совсем рядом с нами. Я подтвердил это, подошел к Планетте и сказал ему, что не исключено, что он сумеет воспользоваться пистолетом, но что я могу ему помочь, отведя к господину президенту. Ведь, так или иначе, его выдали, а визитом к президенту он сможет предупредить открытое предъявление ему улики. Узнав, что господин президент Скубль находится в казарме, я немедленно доложил ему о случившемся. Господин президент поручил мне сейчас же доставить ему Планетту и допросил его. Спустя примерно час господин президент Скубль вышел вместе с Планеттой из канцелярии и, пожав мне руку, поздравил, сказав при этом: «Да, это он, он признался в этом».

Как показывали Худль и Хольцвебер на судебном процессе против Планетты и Хольцвебера, чиновник уголовной полиции Петернель разговаривал тогда с национал-социалистами в гимнастическом зале в резком и недружелюбном тоне и заявил им, что если «убийца» не объявится, то ряды присутствующих сильно поредеют.

После того как Планетта признал себя убийцей, его перевели в полицейскую тюрьму.

7) Создание и деятельность военного суда. «Особые мероприятия»

Кабинет министров, созданный в министерстве юстиции вечером 25 июля после отправки национал-социалистов, принял под руководством Шушнига решение не придерживаться данного обещания о свободном передвижении и поручил высшему чиновнику прокуратуры Ав-

стрии, генеральному прокурору д-ру Винтерштейну разработать закон о создании военного суда. Этот суд и должен был вынести приговоры национал-социалистам. Еще в ночь с 25 на 26 июля Винтерштейн совместно с первым прокурором д-ром Краликом и министерскими советниками д-ром Зухомелем и д-ром Екелем должен был разработать закон. Кабинет министров, заседавший на следующий день, теперь уже под председательством Шта-ремберга, утвердил закон.

30 июля 1934 г. был принят следующий закон, по которому лица, причастные в связи с восстанием 25 июля «к действиям, подлежащим наказанию», должны были «содержаться в определенном месте, без ущерба судебному преследованию». По закону они должны были, находясь там, «выполнять все без исключения тяжелую принудительную работу». При обсуждении этого закона министр юстиции Бергер-Вальденегг констатировал, что в Каринтии «задержано» уже 1100, в Верхней Австрии — 1300 и в Штирии — 1200 человек. Вступив во владение наследством Дольфуса, Шушниг начал с широкого преследования национал-социалистов.

Первым процессом военного суда было дело Хольцвебера и Планетты. Если внешне это и имело видимость законного процесса, в действительности же являлось лишь фарсом. Не были соблюдены самые элементарные уголовно-процессуальные принципы. Процесс начался под вечер, в 17.15, то есть в совершенно необычное время. Защитники были назначены во второй половине дня. В их распоряжении оставалось несколько минут для беседы с обвиняемыми. И не было ни времени, ни возможности ознакомиться с делами. Руководитель процесса советник военного суда д-р Крейцхубер вел дело таким образом, что создавалось впечатление, что приговор Хольцвеберу и Планетте уже вынесен. Он называл обвиняемых, о которых у всех присутствовавших на процессе создалось хорошее впечатление, не иначе как бандитами. Один из вопросов Крейцхубера и ответ Планетты показывают, насколько противоположны были их взгляды. Руководитель процесса: «Зачем же вы приняли участие в этом, если знали, что дело подозрительное?» Обвиняемый Планетта: «Я эсэсовец и как таковой должен выполнять все приказания».

Суд рассчитывал провести процесс до утра, чтобы на рассвете казнить обоих обвиняемых. Защитники помешали этому, отказавшись в полночь от защиты. Только по-

сле этого суд в половине первого прервал заседание. На следующее утро процесс был возобновлен. Доводы защитников не были приняты во внимание. Вопрос о свободе передвижения обойден. В качестве свидетелей были заслушаны лишь два государственных чиновника, которые присутствовали в угловой комнате. Главный свидетель, швейцар Дольфуса чех Гедвичек, теперь признался, что на процессе дал ложные показания. Установлено, что во время судебных совещаний в комнате находился и вел разговоры с судьями президент военного суда генерал-майор Обервегер, хотя сам не являлся судьей на этом процессе. Евангелический священник Циммерман, который беседовал с Хольцвебером в его последний час, привел следующие слова из этой беседы: «Если когда-либо вернуться к этому делу, прошу сослаться на тот факт, что генерал-майор Ценер, как только защита вносила предложение, вставал и выходил в соседнюю комнату. По возвращении он всякий раз переговаривался с председательствующим, и всякий раз предложение защиты проваливалось». Ценера сейчас уже нет в живых.

Вскоре после полудня были вынесены смертные приговоры Хольцвеберу и Планетте. Оба были осуждены за государственную измену, а Планетта, кроме того, и за убийство. Обоснованием приговора за убийство послужили главным образом ложные показания Гедвичека. В заключении экспертов это обоснование приведено не так, как оно записано в протоколах суда. Поскольку по законам военного суда приговор должен быть приведен в исполнение через три часа после его объявления, защитники приложили все усилия, чтобы подать бундеспрезиденту просьбу о помиловании. Но это им не удалось. В половине пятого утра приступили к казни. Последними словами, произнесенными Хольцвебером и Планеттой, было имя фюрера.

Из национал-социалистов, арестованных в резиденции бундесканцлера, в последующие дни были казнены чиновники полиции Иосиф Хакль, Франц Лееб, Людвиг Майтцен, Эрих Кольраб и один из солдат австрийской армии, принимавший участие в операции в Вене, Эрнст Фельке. Казнены были также Ганс Домес как один из руководителей операции «Раваг» и пять национал-социалистов — участников июльских событий, приговоренных выездными сессиями военного суда.

С этого и началась деятельность правительства Шушнига.

Резюме

Ответственность за исход операций, которые должны были 25 июля 1934 г. вызвать восстание национал-социалистов в Австрии, несут политические руководители, которым ландеслейтером Габихтом было поручено их проведение: тогдашний руководитель «СС Штандарте-89» Гласс и тогдашние политические руководители Вехтер и Вейденхаммер. Подготовительную работу, например отбор команд, доставку грузовиков и переодевание команд в военную форму, Гласс провел должным образом. То, что главная операция — занятие резиденции бундесканцлера, — об исходе которой в первую очередь и шла речь, осталась в конечном счете безрезультатной, объяснялось тем, что:

1) посвященный национал-социалистами в планы венский полицейский Доблер стал предателем, и предательство этого человека еще до прибытия национал-социалистов в резиденцию бундесканцлера послужило поводом для роспуска заседавшего кабинета министров;

2) планом операции не была учтена возможность перерыва заседания кабинета министров;

3) отправка грузовиков с Зибенштернгассе была назначена слишком поздно, да и этот запоздалый срок не был выдержан;

4) служба информации национал-социалистов не сработала должным образом, и руководство операцией ничего не знало о том, что заседание кабинета министров прервано и многие министры заблаговременно покинули резиденцию бундесканцлера;

5) в решающий момент ни один из руководителей операции не находился в резиденции бундесканцлера.

Предательство Доблера явилось первой причиной провала операции. Вследствие того что служба информации оказалась не на высоте, Отечественный фронт принял контрмеры довольно поздно, почти пять часов спустя после первого сообщения. Тем не менее это сообщение послужило тому, что Дольфус прервал заседание кабинета министров, и большинство министров покинуло резиденцию бундесканцлера. В результате национал-социалисты, занявшие резиденцию, встретились там с совершенно иной обстановкой, нежели ожидали.

Убийство Дольфуса, хотя оно и не было преднамеренным, не имело решающего влияния на исход операции.

С военной точки зрения занятие резиденции бундесканцлера было проведено удачно. Станным было поведение руководителя «СС Штандарте-89» Гласса. То, что он неоднократно подвергал себя опасности ареста и в конечном счете был арестован, не говорит о трусости. С другой же стороны, на случай ареста он подложными документами старался оградить себя от того, чтобы быть признанным как руководитель операции. Но прежде всего непонятно то, что в решающий момент занятия резиденции бундесканцлера он направился в магазин, находившийся довольно далеко от этого места. Что касается других руководителей операции — Вехтера и Вейденхаммера, то их поведение нельзя охарактеризовать отрицательно. Поведение Планетты и Хольцвебера в ходе операции, как показали результаты расследования, было героическим. Оба выполняли свои задания добросовестно, и в особенности Хольцвебер, который в тяжелых условиях после окружения здания резиденции бундесканцлера противником показал свои способности руководителя. То, что он поверил в обещание австрийского правительства о свободном передвижении до германской границы, говорит не против него, а против австрийского правительства.

Расследованием внесена полная ясность в вопрос об обещании австрийского правительства свободы передвижения окруженным в резиденции бундесканцлера национал-социалистам... После заявлений, которые были сделаны кабинету министров 26.7.1934 г. Нейштедтером-Штюмером, можно констатировать, что, несмотря на появившиеся у него сомнения, правительство сознательно нарушило данное им обещание. Из доклада Шушнига 25.7.1934 г. явствует, что Шушниг и Скубль несут главную вину за противозаконные действия против национал-социалистов.

Правда о событиях 25 июля 1934 г. в целом до сих пор еще не установлена, ибо австрийское правительство саботировало полицейское и судебное расследования, а позднее, по свидетельству шефа правительственной пропаганды Адама, сознательно приукрасило официальное изложение июльских событий, чтобы тем самым, задним числом, иметь возможность совершить политическую сделку.

Вена — Берлин. Октябрь 1938 года.

СС-унтерштурмфюрер

Подпись (неразборчива).

Операция «Тевтонский меч»



ДУЭЛЬ ЛУИ БАРТУ — ЖАН ЖОРЕС

Операция «Тевтонский меч» была задумана и детально разработана в Берлине. Ее непосредственными организаторами были Гитлер и Геринг. А жертвой был избран министр иностранных дел Франции Луи Барту. Его имя тесно связано с историей французской Третьей республики, ее внешней политики и дипломатии. Влиятельный парламентарий, талантливый публицист-литератор, удостоенный избрания в состав Французской академии, Луи Барту 14 раз был министром в составе французских республиканских правительств последнего десятилетия XIX — первой трети XX века, в том числе находился на посту премьер-министра и дважды — на посту министра иностранных дел. Он прошел долгий и сложный политический путь, о котором рассказал в своей работе «Луи Барту — политик и дипломат» историк К. Малафеев. Мы печатаем ее с сокращением.

Жан-Луи Барту родился 25 августа 1862 года в маленьком городке Олорон-Сент-Мари, на юго-западе Франции. Семья его отца, мелкого торговца скобяными товарами, была типичной провинциальной мелкобуржуазной семьей, имевшей, однако, определенные политические традиции. Дед Барту по отцу был школьным учителем, убежденным и активным республиканцем, противником монархического и бонапартистского режима. Сам Барту писал, что «склонность к политической деятельности развивается, как правило, не под влиянием семейных традиций, а как результат личного призвания». Однако семейные традиции все же сыграли в его жизни немалую роль. С детских лет он впитывал республиканские и антиклерикальные взгляды и принципы. Его кумиром был Виктор Гюго. Ребенком он знал гневные строфы его «Возмездия», беспощадно разоблачавшие и клеймившие цезарианский произвол «Наполеона Маленького» — им-

ператора Наполеона III, узурпировавшего в декабре 1851 года верховную государственную власть. Неприязнь к бонапартистскому деспотизму сохранилась у Барту на всю жизнь.

События франко-прусской войны 1870—1871 годов, позорный крах деспотии Наполеона III, его капитуляция в Седане перед монархической и милитаристской Пруссией, провозглашение 18 января 1871 года в Зеркальном зале Версальского дворца Германской империи оставили в сознании Барту, тогда 9-летнего мальчика, глубокий след. Он принадлежал к тому поколению французов, на плечи которого лег тяжелый «моральный гнет» последствий этого поражения, торжества прусского милитаризма, его постоянного давления на униженную, ограбленную и ослабленную Францию, потерявшую Эльзас и Лотарингию и вынужденную уплатить пруссакам 5-миллиардную контрибуцию. Ромен Роллан писал: «Позже трудно будет понять то состояние морального угнетения, в котором прошла наша юность — юность поколения, родившегося в период с 1866 по 1872 год... Смерть неотступно сторожит все наше поколение, а облик ее слишком ясен: это война. С 1875 года страна живет ожиданием войны. С 1880 года война предрешена, она стала неизбежной. Заранее обреченные на гибель, мы, как солдаты, стоим лагерем и, где бы мы ни были, не снимаем с себя ранцев, в любую минуту ожидая приказа о выступлении». Барту, будучи четырьмя годами старше Романа Роллана, ощущал этот «моральный гнет» еще явственнее. Но это не сломало, а закалило характер Барту, укрепило его жизнелюбие на всю жизнь.

Осенью 1875 года 13-летний Луи Барту поступил в лицей провинциального городка По. Это было время утверждения третьего в истории Франции буржуазно-республиканского режима, режима Третьей республики, в первом же акте которого один из его лидеров Леон Гамбетта заявил: «Луи Наполеон Бонапарт и его династия навсегда лишаются французского престола». 30 января 1875 года Национальное собрание утвердило республиканскую конституцию, основанную на провозглашенном просветителями XVIII века Монтескье и Вольтером принципе «разделение властей» — законодательной, воплощенной в двухпалатном парламенте (палате депутатов и сенате), и исполнительной, олицетворенной советом министров и президентом республики.

Барту-лицеист жил в атмосфере острой борьбы рес-

публиканцев и монархистов, которая разворачивалась не только в Париже, но и в провинции. В мае 1877 года палата депутатов приняла решение о подавлении анти-республиканской агитации клерикалов. «Клерикализм — вот враг!» — провозгласил Л. Гамбетта. Вокруг этого лозунга-программы сплотились сторонники республики, одержавшие политическую победу. В 1879 году парламент перебрался из Версаля, где он пребывал со времени коммуны, в Париж. Республика подчеркивала свою преемственность Великой французской революции XVIII века. День взятия Бастилии, 14 июля 1879 года, был объявлен ежегодным национальным праздником, а «Марсельеза» — боевая песня марсельских ополченцев 1792 года, сложенная Руже де Лилем, — стала государственным гимном страны. В 1882 году празднование 80-летия Виктора Гюго — великого писателя-демократа, непримиримого борца против бонапартистской тирании — превратилось в грандиозную республиканскую и национальную манифестацию. Все эти события наполняли политическую атмосферу, в которой рос юный Барту.

Нельзя сказать, что программа в лицеях, особенно провинциальных, строилась на новых республиканских идеях. Она основывалась на штудировании латыни, изучении римской классики. К Вергилию Барту с лицейских лет проникся особым уважением, знал наизусть по латыни многие места из его «Энеиды», знаменитой поэмы о странствиях легендарного Энея, родоначальника «великого» Рима. В образе Энея Барту привлекала его способность к самоотречению во имя высокой цели. Барту ценил в Вергилии житейский аскетизм и моральную стойкость, независимость политического мышления, убежденность в подчинении частного, единичного «общему благу».

После окончания лицея перед Луи Барту встал вопрос о выборе профессии, и он решил его без колебаний. Отказавшись от наследования «дела» отца — скобяной торговли, — он поступил на юридический факультет университета. На первый взгляд это было традиционным решением: для буржуа диплом адвоката или юриста-правоведа открывал путь к сколачиванию состояния, давал возможность заняться прибыльным делом. Но Барту стремился к другому: для него юридическое образование было первой ступенькой на пути профессионального политика, который он для себя избрал. Позднее он напишет, что таково было его жизненное призвание.

На студенческой скамье Барту тщательно изучает не только юридические науки, но и всеобщую, особенно французскую, историю, много внимания уделяя истории Великой французской революции и последовавшего за ней бурного, наполненного политическими событиями периода. Он внимательно читает посвященные революции, Директории, Консульству и Первой империи книги Ф. Минье, А. Тьера, Ф. Гизо, А. Ламартина, Ж. Мишле, А. Токвиля, И. Тэна, А. Олара. Однако среди деятелей революции его симпатии привлекают не Робеспьер, Сен-Жюст или Марат. Его привлекают те политики, которые, подобно Мирабо, пытались выступить от имени всего «третьего сословия». Как Тэн и Токвиль, Барту подчеркивал благодетельную силу традиций, отвергал революционно-демократический путь решения социальных проблем. Он видел в складывавшемся во Франции буржуазно-республиканском режиме «чистую демократию», выходящую за рамки классовости. Политические взгляды он не менял на протяжении всей жизни.

В 1884 году, завершив юридическое образование, Барту становится адвокатом в административном центре департамента Атлантические Пиренеи — городке По. Через четыре года адвокатской практики, обретя определенную поддержку и влияние среди своих клиентов, Барту выдвигает свою кандидатуру на выборах в городской муниципальный совет и добивается успеха. Пост муниципального советника становится первой ступенькой в его политическом восхождении. Как адвокат высоко ценил силу меткого, выразительного, емкого, эмоционально окрашенного слова. Он изучает труды знаменитых ораторов древности, особенно Цицерона, увлекается книгами корифеев французского Возрождения — Рабле и Монтеня, моралистов XVII века, «блестящего» века французской литературы, — Ларошфуко, Лабрюйера, Паскаля. Интерес к словесному искусству влечет Барту к литературе, что не противоречило его стремлению к политической деятельности. «Политическая трибуна, — скажет он позднее, — это алтарь слова. Надо благоговейно чтить трибуну, чтобы возвыситься до нее».

На парламентских выборах, назначенных на 27 января 1889 года, Барту выставил свою кандидатуру, претендуя на депутатский мандат от избирательного округа Олорон-Сент-Мари — своей родины. Он начинает активную борьбу и в ходе этой борьбы примыкает к политической группировке буржуазных республиканцев, провоз-

гласивших себя прогрессистами, их называли республиканцами «нового стиля». Здесь он во время выборов впервые одерживает победу и получает депутатский мандат, который сохраняет в течение последующих 33 лет, до июля 1922 года, когда был избран в верхнюю палату республиканского парламента — сенат.

Луи Барту не затерялся в ординарной массе депутатов-прогрессистов, лидером которых стал Шарль Дююи, отличавшийся среди своих коллег лишь необычайной добродетелью, за что получил в парламентских кругах прозвище «Гиппопотам». Сразу заметивший Барту-депутата русский дипломат в Париже князь Урусов охарактеризовал его как «весьма способного и честолюбивого» парламентария-республиканца, умеющего сохранять свою политическую независимость и парламентскую самостоятельность. Подобная независимая позиция встречала настороженность, а порой и враждебность его коллег-депутатов. В парламентских кулуарах говорили, что, когда одного возможного кандидата на пост главы кабинета спросили: «Если бы вы были премьером, то хотели бы иметь Барту на своей стороне или против себя?» — тот ответил: «Ах, да ведь это, по существу, одно и то же!» Барту не смущало подобное злословие. Он, верный своему «жизненному призванию» — избранному пути профессионального политика, стремился скорее пройти то испытание, которое он назовет позднее «великим испытанием», — властью, работой на министерском посту.

Л. Гамбетта, политик и оратор, остается для него образцом истинного республиканца. «Быть сыном бедного рабочего, бороться, страдать, побеждать и достигнуть постов, которые в течение стольких лет занимаю я в учреждениях республики и в правительствах, — вот что такое демократия!» — скажет Барту в старости, в конце своего политического пути, почти дословно повторив слова Гамбетты. Он всегда помнил политическое кредо Гамбетты. «Политика, — утверждал тот, — налагает на нас необходимость делать много уступок... Осторожность и благоразумие — вот что нам необходимо больше всего. Но в особенности нужно уметь распознавать то, от чего нам следует воздержаться. Вся политика только в этом и состоит». Но Барту не был сторонником политического «воздержания», не повторял догматически кредо Гамбетты, а развивал и сохранял его основную политическую «мудрость». «Власть является великим испытанием, — напишет Барту позднее, подводя итог своих размышлений

и политической деятельности.— Находясь у власти, видишь трудности и их последствия совсем иначе, чем посторонний наблюдатель. Критиковать легче, чем действовать. Существует слишком мало общих правил, на которые можно было бы опираться для того, чтобы хорошо управлять. Поэтому следует идти за своим временем и обстоятельствами». Внешне эта политическая заповедь почти не отличалась от кредо Гамбетты, но по существу во многом была иной: Гамбетта призывал только к политической осторожности, к пассивному приспособлению к ситуации, Барту говорил о другом — о необходимости учитывать изменяющиеся обстоятельства и строить политику в зависимости от них.

Барту не случайно называл себя республиканцем-прогрессистом. Он считал, что новая политическая группировка, пришедшая на смену республиканцам-«оппортунистам», должна возродить и укрепить «чистоту» республиканских государственных институтов, защитить республиканскую конституцию от атак бонапартистской и клерикальной реакции, укрепить внешнеполитические позиции Франции в противовес Германии. Молодой Барту оказывается в числе тех, в целом дальновидных парламентариев и политиков, которые после «военной тревоги» 1887 года, когда позиция России остановила занесенный над Францией кулак германского «железного канцлера» Бисмарка, осознали жизненную необходимость для страны франко-русского союза. «В настоящее время нашей единственной опорой является надежда на русскую поддержку, которая так пугает Бисмарка», — писал в марте 1889 года один из авторитетных республиканских дипломатов П. Камбон. Барту, впоследствии сблизившийся с братьями-дипломатами Полем и Жюлем Камбонами, а затем и их племянницей — историком и журналисткой Женеьевой Табуи, — занимал такую же позицию. Недаром уже тогда русское правительство в Париже обратило внимание на парламентскую деятельность молодого Барту.

30 мая 1894 года он впервые занял пост в министерстве, став министром общественных работ в правительстве, сформированном Ш. Дюлюи.

Осенью юбилейного дня республиканской Франции 1889 года, когда отмечалось 100-летие со дня взятия восставшим народом королевского оплота — тюрьмы Бастилии, в Париже была проведена Всемирная промышленная выставка, для которой французский инженер Густав

Эйфель спроектировал и построил грандиозное высотное сооружение — 300-метровую башню, сделанную целиком из металла. Это была впечатляющая демонстрация успехов французской металлургической промышленности, строительной техники, научно-технической мысли. Эйфелева башня символизировала превращение Парижа и прилегающих к нему районов в ведущий промышленный центр страны, центр концентрации индустриального производства и рабочего класса — новой грозной силы.

В палате депутатов эта новая «грозная сила» после проведенных в 1893 году очередных парламентских выборов была представлена 30 социалистами, в том числе их лидерами Ж. Гедом, Э. Вайяном, в прошлом участниками Парижской коммуны, и Ж. Жоресом, быстро выдвинувшимся на передний край борьбы. Горячий борец и убежденный демократ, обладавший исключительным ораторским талантом, бесстрашный противник реакции и милитаризма, искренне стремившийся служить трудящимся массам, Жорес сохранял веру в возможность перестройки мира, социальных отношений силой убеждения, обличительного слова. И парламентская трибуна стала главным орудием его борьбы. Ромен Роллан в своих воспоминаниях нарисовал колоритный портрет Ж. Жореса тех лет: «Большой, сильный, с внешностью и манерами простолюдина, бородатый и краснощекий, с крупными, мясистыми чертами лица, небрежно одетый, излучая радость жизни и борьбы, он поднимался тяжелыми быстрыми шагами по ступенькам трибуны... Голос у него был громкий, очень высокий, почти пронзительный, утомляющий... Он, не уставая, произносил на самых высоких нотах всю речь, даже если она длилась полтора-два часа!»

В гневных, проникнутых сарказмом парламентских речах Жорес не щадил своих буржуазных оппонентов. Будучи всего тремя годами старше Барту, он смотрел на него как на молодого начинающего политика. «Можно было ожидать, — говорил Жорес с парламентской трибуны, — что все эти новые и молодые люди, все эти Барту и Бюрдо будут вести новую, смелую политику и попытаются, если можно так выразиться, оправдать перед демократией свое внезапное появление на вершинах политической жизни смелостью своей мысли и решительностью своих действий!» Нет, категорически утверждал Жорес, Барту не оправдал этих ожиданий, он своего рода «политический пустоцвет». Барту не отвечал на парламентское

остроумие Жореса, но его вражда к оратору социалистов возрастала.

В сентябре 1894 года французская контрразведка нашла в здании германского посольства в Париже разорванное на мелкие клочки письмо, адресованное германскому военному атташе полковнику фон Шварцкоппену. Это было начало «дела Дрейфуса», которое было использовано французским генеральным штабом и армейским генералитетом для укрепления своего положения и влияния в республиканском государственном аппарате и стране. Одновременно оно усилило старые опасения в отношении тайных происков кайзеровских милитаристов, стремившихся всеми способами подорвать оборонные возможности республиканской Франции.

24 декабря военный министр генерал Мерсье внес в палату депутатов подготовленный кабинетом Дюпюи законопроект о введении смертной казни за государственную измену. Жорес значительно выступил с протестом, объясняя действия правительства «страхом» перед социалистами. Премьер-министр взялся сам защищать законопроект, вступив в полемику с Жоресом. Лидер социалистов доказывал, что законопроект направлен против возможных волнений рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, грубо попирает их гражданские права. Перед красноречием Жореса лишенный ораторского таланта Дюпюи оказался безоружным, и Барту попытался ему помочь: «Господин Жорес, вы отлично знаете, что лжете!» — крикнул он с места. «Нет! — громко заявил в ответ Жорес. — Лжем не мы, социалисты, а те, кто пытается спасти свою ставшую шаткой власть, только прикрываясь патриотизмом!»

Заявление Жореса, направленное против правого крыла и «центра» палаты депутатов, вызвало их бурную реакцию и привело к парламентскому скандалу. Он был удален из зала палаты и временно лишен права участвовать в парламентских дебатах. Виновником происшедшего инцидента он счел Барту. В тот же день секунданты Жореса Р. Вивiani и Г. Руане передали Барту вызов на дуэль. Тот без колебаний немедленно принял вызов.

Поединок на пистолетах Барту и Жореса состоялся в рождественский день, 25 декабря. Секундантами Барту были его друзья Лаветюжон и Лафон. Оба дуэлянта промахнулись. «А ведь каждому из них, — пишет историк Н. Н. Молчанов, — было суждено умереть именно от пули, только с Барту это случилось ровно на двадцать лет

позже смерти его противника». Жорес не любил вспоминать об этой дуэли. Он понимал, что pistolетные выстрелы, которыми обменялись противники, не могли разрешить в основе своей классовый спор между ними.

1894 год, год министерского дебюта Барту, год его памятной дуэли с Жоресом, стал одновременно рубежом в его личной жизни. 32-летний Луи Барту женился на дочери богатого негоцианта. То не был, однако, брак по расчету, столь типичный для французской буржуазной среды. Луи Барту избрал подругу жизни, во многом духовно близкую ему: она интересовалась политической деятельностью страны, проблемами французской литературы, театра, музыки, живописи. После свадебного путешествия на родину, в Атлантические Пиренеи, супруги поселились на втором этаже дома на парижской авеню Марсо и стали вести довольно простую, скромную жизнь средних, бережливых, умевших себя ограничивать буржуа. По свидетельству близко знавшего его публициста О. Обера, Барту был счастливым мужем, главой благополучной немногочисленной семьи. В 1885 году у них родился сын Макс.

Предметом, на который Луи Барту позволял себе значительные расходы, были книги. Тщательно собиравшаяся им библиотека вскоре принесла ему в Европе славу известного библиофила. В его библиотеке хранились отпечатанный на специальной голландской бумаге экземпляр «Цветов зла» Шарля Бодлера издания 1857 года с автографом поэта, книги А. де Ламартина, А. де Мюссе, В. Гюго, Т. Готье, А. Рембо, П. Верлена, Г. Флобера, Ж. Санд, Г. де Мопассана, А. Франса. Многие из них, такие, как Анатоль Франс и Пьер Лоти, дарили Барту свои произведения с теплыми авторскими посвящениями, что делало его коллекцию уникальной.

С начала семейной жизни Барто определяет для себя четкий рабочий распорядок дня. Он встает рано, в 5 часов утра, принимает холодную ванну, делает гимнастику и направляется в свой просторный кабинет-библиотеку, где садится за рабочий стол. Ровно в 7 часов 30 минут ему подают завтрак, в 8 часов является парикмахер. Далее начинается трудовой день: министерская работа, парламентские заседания, деловые визиты, в том числе обязательное посещение букинистов. Этого распорядка дня Барту строго придерживается всю жизнь. В свободное от министерской деятельности время Барту работает как литератор. Он даже любит говорить, что является больше

литератором, чем политиком. Это, конечно, не так, но литературные интересы Барту были действительно широки. Он глубоко изучает эпоху от времен Великой французской революции XVIII века до своих дней. В сфере его интересов были не только такие фигуры, как Мирабо или Наполеон I, но и Ламартин, Гюго, Бодлер; не только история или литература, но и музыка; его увлекала не только музыкальная классика — Бах, Моцарт, Бетховен, но и романтическое творчество Шумана, Шуберта, Берлиоза, импрессионизм Форе и Дебюсси.

Высокая культура, широкий кругозор, обширные, многосторонние знания, главным образом по истории, литературе, искусству, способствовали росту авторитета и влияния Барту как парламентария и политика. По словам Эдуарда Эррио, Барту «умел быть любезным даже во время полемики и был блестящим образцом изысканной учтивости своей нации». Народный комиссар иностранных дел М. М. Литвинов, лично знавший Барту, говорил: «Его публичные выступления отличались прямоотой, серьезностью и убедительностью. Он не прибегал к дипломатическим фразам в ущерб смыслу и ясности своих выступлений... Благодаря его уму, остроумию и всестороннему образованию беседы с ним доставляли всегда истинно эстетическое наслаждение».

В 1911—1912 годах Барту был целиком поглощен литературной работой. Ее результатом стала солидная монография о Мирабо, опубликованная парижским издательством «Ашетт» в 1913 году в издательской серии «Фигуры прошлого». В Оноре де Мирабо, одном из деятелей буржуазной революции XVIII века, Барту, считавший политическую трибуну прежде всего «алтарем слова», видел служителя этого «алтаря». Восторженная книга о Мирабо — это элегия о невозвратном прошлом. Барту не видел в буржуазной Франции начала нового, XX века политиков, равных Мирабо. Он с грустью ощущал оскудение умов представителей того «третьего сословия», блестящим лидером которого был знаменитый граф.

Луи Барту вновь приступил к министерской работе в январе 1913 года, когда над Европой сгустились тучи военной грозы. Империалистические противоречия между великими державами, их борьба за передел мира предельно обострились. В сложном клубке международных отношений Барту видел, как он считал, основное — усиленную подготовку к военной схватке германских милитаристов, непосредственно угрожавших Франции.

В январе 1913 года на пост президента Французской Республики был избран 52-летний Раймон Пуанкаре, один из руководителей Демократического союза. Луи Барту возобновил свой депутатский мандат на очередных парламентских выборах, проходивших 24 апреля — 10 мая 1910 года, по списку республиканцев-прогрессистов, входивших в Демократический союз. С Пуанкаре Барту поддерживал тесные приятельские и политические контакты с 1893 года.

«Пуанкаре был лотарингцем; он родился и вырос, имея всегда перед глазами германского орла, простершего крылья над похищенными у Франции провинциями; этот факт породил в нем неукротимую ненависть к Германии и ко всем немцам. Антиклерикализм был его убеждением, антигерманизм — его страстью». Барту не разделял националистических крайностей Пуанкаре, но его неприязнь и недоверие к милитаристской кайзеровской Германии разделял целиком.

С начала 1913 года внимание правящих кругов Третьей республики сосредоточилось на подготовке страны к военной схватке с Германией. В 1910—1912 годах численность французской армии мирного времени составляла около 555 тыс. человек, что было ниже численности германских войск. К тому же в отличие от Германии французское правительство не могло рассчитывать на возрастание численности призывных контингентов: рождаемость во Франции была невелика. В этих условиях для поддержания заданного военными приготовлениями германских милитаристов обороноспособного уровня у французского кабинета и военного руководства был один выход — продлить срок службы призывников. 4 марта 1913 года Высший военный совет Французской Республики, заседавший под председательством Пуанкаре, единодушно высказался за отмену введенного радикалами в марте 1905 года 2-годичного срока и замену его 3-годичным, существовавшим ранее на основе закона от 15 июля 1889 года. По расчетам французского генерального штаба, новый закон позволил бы увеличить численность армии на 160 тыс. человек, то есть превзойти численность кайзеровских вооруженных сил. Барту был одним из инициаторов принятия и проведения в жизнь этого закона.

Внесенный кабинетом Бриана на рассмотрение парламента законопроект об увеличении численности французской армии мирного времени путем продолжения срока

службы призывников и одновременного снижения призывного возраста с 21 до 20 лет вызвал в стране политическую борьбу, по остроте немногим уступавшую «делу Дрейфуса». Кабинет Бриана вынужден был уйти в отставку. 20 марта 1913 года Барту по поручению Р. Пуанкаре сформировал новое правительство, впервые за время своей политической деятельности взяв портфель премьер-министра.

В состав правительства, возглавленного Луи Барту, вошли 12 министров и 4 государственных секретаря (министры без портфеля). При формировании состава кабинета Барту четко ставил одну задачу — реализации «законопроекта о трех годах» и тем самым подготовки страны к неизбежному военному столкновению с кайзеровской Германией. Поэтому ключевые министерские посты он передал активным сторонникам этого законопроекта. В преддверии военного столкновения с кайзеровской Германией Барту оценивал союз с Россией как главную опору Французской Республики. «Необходимо, чтобы русская армия имела возможность развернуть мощное наступление, подготовив его в кратчайший срок, не более чем в 15 дней», — писал французский посол в Петербурге Теофиль Делькассе, один из единомышленников и коллег Барту по Демократическому союзу, известный как убежденный враг Германии. Для этого требовались серьезная модернизация вооруженных сил России, повышение их мобильности, что предполагало качественное улучшение состояния железных дорог в направлении к русско-германской границе.

В августе 1913 года кабинет Барту предложил России заем. Французская финансовая поддержка была своевременной: царское правительство приняло «большую военную программу», предусматривавшую увеличение личного состава русской армии на треть, оснащение ее новейшей артиллерией, на что требовалось до 500 млн. рублей. Для введения переговоров о французском займе, его объеме и условиях в ноябре 1913 года в Париж прибыл российский министр финансов В. Н. Коковцев. Барту выдвинул четкое, неременное условие: французские деньги должны пойти на строительство новых и модернизацию старых железных дорог, ведущих к западным границам России, что должно было активизировать ее мобилизационные мероприятия, значительно сократить сроки продвижения русской армии к боевым рубежам. На основе этого условия между Барту и Коковцевым было до-

стигнуто соглашение о солидном ежегодном займе России в размере 500 млн. франков в течение пяти лет. Барту обещал содействовать выпуску и размещению во Франции первой серии облигаций «русского займа» в январе 1914 года.

Предложение Барту о внутреннем правительственном займе в сумме 1300 млн. франков встретило сильное сопротивление радикалов, чьи мандаты играли ключевую роль в палате депутатов.

Вечером того же дня Луи Барту вручил Р. Пуанкаре заявление об отставке своего кабинета.

Убийство в Сараеве 28 июня наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда развязало военно-политический кризис в Европе, где противостояли основные силы двух империалистических группировок: германо-австрийского блока и англо-франко-русской Антанты.

Австро-венгерские войска начали военные действия против Сербии. Европейская и мировая война стала неизбежной. Вечером 31 июля в парижском кафе «Круассан» 29-летний студент архитектурного факультета Луврской школы Рауль Виллель застрелил Жана Жореса, активного борца против развязывания войны. На этом злодейском преступлении, подготовленном империалистической реакцией, лежал отпечаток разгула шовинистических страстей, будораживших Францию. «Я совершил эту акцию потому, что Жорес изменил своей стране, ведя кампанию против «закона о трехлетней военной службе», — заявил убийца в полицейском комиссариате.

3 августа 1914 года Франция вступила в первую мировую войну.

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Первая мировая война, длившаяся свыше четырех лет, охватила 24 государства.

В первые недели начавшейся войны волна шовинизма, поднятая буржуазной пропагандой, захлестнула Францию. Находившийся тогда в Париже И. Г. Эренбург вспоминал: «Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, теряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали: «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов, нет, шли все — старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели «Марсельезу».

Шовинистская волна захватила и семью Барту, которая воспринимала эту войну как французский реванш за прусское вторжение 1870 года, за унижительный для Франции продиктованный Бисмарком Франкфуртский мир. Госпожа Барту на свои средства организовала в Байонне, в арендованном ею здании бывшей католической семинарии, военный госпиталь на 400 коек.

Сын Макс, которому шел 19-й год, стремился на фронт. Он горячо и настойчиво убеждал отца согласиться с его решением. «Сын француза, проведшего закон о трехгодичной военной службе,— говорил Макс,— должен три раза подать пример, это его долг. Кто носит твое имя, папа, тот должен отдать себя родине!» Луи Барту согласился с доводами сына, но разлука с ним далась ему тяжело. Позднее в беседе с Р. Пуанкаре он вспоминал: «Конечно, я предоставил ему возможность поступать по его желанию. Но я знал, что отдаю его Франции». В ноябре 1914 года, не дожидаясь срока призыва, Макс добровольцем вступил в ряды французской армии. В начале декабря по его настойчивой просьбе он был отправлен на фронт, в Эльзас. 14 декабря Макс Барту был убит осколком разорвавшегося немецкого артиллерийского снаряда на улице эльзасского городка Танна. На следующий день полковник Пенелон из ставки командования эльзасского фронта по телефону сообщил об этом Пуанкаре. Президент Французской Республики направился на квартиру Барту, чтобы лично сообщить отцу о гибели единственного сына. Луи Барту был подавлен горем. В беседе с Пуанкаре он многократно вспоминал час расставания с Максом, энтузиазм сына, заверявшего отца, что он не посрамит его имени. «Бедный мальчик! Он стремился на фронт!» — повторял Луи Барту Раймону Пуанкаре в их «горестной и дружеской» беседе.

Гибель единственного 19-летнего сына стала тяжелым ударом для родителей. Госпожа Барту так и не смогла оправиться от него. Она тяжело заболела. Луи на время отошел от активной парламентской деятельности. До осени 1917 года он не появлялся на министерской сцене. Но это не было затворничеством, самоизоляцией. Наоборот, он искал человеческого общения, контактов с новым кругом людей, посещал литературно-политические салоны Парижа.

В зимний сезон 1916/17 года Барту близко знакомится с такими людьми, как Поль Валери и Эдуард Эррио. С Валери его сближают не только любовь к французской

литературе, интерес к новейшей французской поэзии, творчеству Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме, но и ненависть к кайзеровскому милитаризму. Оценку германо-прусской военной машины как орудия агрессии, данную Валери в его статье «Германское завоевание» (1897 г.), неоднократно перепечатанной в годы войны, целиком разделяет Барту. Как и Валери, Барту видит в кайзеровском милитаризме антигуманное, бездуховное начало, порабощающее человеческий разум, превращающее людей в слепое орудие насилия и войны. Знакомство Барту с Эдуардом Эррио, мэром Лиона, третьего по значимости промышленного города тогдашней Франции, и одним из восходящих лидеров радикалов, быстро превращается в дружбу. «Он был моим замечательным другом», — вспоминал Эррио. Многие сближало этих людей, хотя их социальные позиции и политические взгляды были далеко не однозначными. В частых и длительных беседах в парижских элитарных салонах Барту и Эррио избегают касаться тех вопросов, которые разделяют их, ведь они принадлежали к различным политическим партиям. Эррио вспоминал, что говорить с Барту «о вещах, не относящихся непосредственно к политике, было отдыхом, исполненным очарования».

Среди завсегдатаев салонов Барту не был человеком, праздно проводившим время. Дружеское общение с Валери и Эррио оттачивало его мысли, будило творческую энергию. Барту возвращается к литературному труду, плодом которого стали две объемистые книги: «Ламартин», посвященная прошлому, и «По пути права» — о настоящем и будущем.

Неудачное выступление французских армий, начатое в середине апреля 1917 года и стоившее французам громадных потерь — с 16 по 25 апреля французские войска потеряли 32 тыс. человек убитыми, 80 тыс. ранеными, 5 тыс. оказались в германском плену, — произвело тяжелое впечатление в стране. Революционные события, развернувшиеся в России, — свержение царской монархии, образование Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — оказывали громадное воздействие на рост антивоенного и антиимпериалистического движения.

В палате депутатов и за ее кулисами развертывалась острая борьба между сторонниками продолжения войны до победы и сторонниками поисков «компромиссного мира» с кайзеровской Германией. Барту находился в числе

первых. Вместе с Клемансо он непримиримо выступал против «пораженцев» и «капитулянтов», признавая только одну цель — полную военную победу над врагом.

Л. Барту вместе с Р. Пуанкаре решительно выступили против плана сепаратного сговора с кайзеровской Германией за спиной и за счет основного союзника — России. Конечно, ими руководило не сочувствие русской революции, а то, что подобная «уступка» не только усиливала европейские позиции кайзеровского милитаризма, но и вела к разрушению франко-русского союза, к международной изоляции Франции. Барту и Пуанкаре видели в победе над Германией главное средство преодоления нараставших социальных потрясений. Во имя скорейшего достижения победы они поддерживали родившийся во французских руководящих военных кругах проект укрепления русского фронта путем быстрой переброски японского экспедиционного корпуса. Японский империализм, выступавший на стороне Антанты, рассматривался также как сила, способная задушить революционное брожение в русской армии и стране.

25 октября Луи Барту, опираясь на поддержку Р. Пуанкаре, стал министром иностранных дел. Он впервые за уже многие годы своей политической деятельности водворился на Кэ д'Орсе — так называли французский МИД, со времен Второй империи размещавшийся в здании на набережной Сены Орсе. Здесь Луи Барту осенью 1917 года пришлось проработать недолго, всего несколько недель, но ему предстояло еще вернуться сюда через 17 лет.

Барту как министр иностранных дел прежде всего четко определил свою позицию в том вопросе, который считал основным. Выступая в палате депутатов с программной внешнеполитической речью, он заявил: «Я декларирую от имени правительства следующее: может ли Франция в том, что касается Эльзаса — Лотарингии, пойти на какие-либо уступки? Нет! Нет! Никогда!» И вслед за этой энергичной декларацией он не менее горячо подчеркнул: «Эльзас и Лотарингия являются ключом от ворот Франции и символом французского национального единства». Слова Барту были твердым ответом на германо-австрийские закулисные интриги и заявление кайзеровского министра иностранных дел Кюльмана, сделанное в германском рейхстаге 9 октября 1917 года, о том, что Германия никогда не отдаст Эльзас и Лотарингию.

Барту ясно понимал, что единственным путем к возвращению этих территорий является победа над кайзеровской Германией. Ради достижения этой победы он стремился активизировать франко-русский союз, был заинтересован в восстановлении боеспособности русской армии, значение которой возрастало еще и потому, что французы не могли быстро оправиться от тяжелых потерь, понесенных в упорных боях 1916—1917 годов. Например, одно только неудачное наступление на участке Западного фронта между Реймсом и Сауссоном весной 1917 года стоило французам около 100 тыс. человек убитыми и ранеными. Вместе с тем Барту смотрел на франко-русский союз не только как на средство достижения победы, но и как на важнейшую опору Третьей республики в послевоенное время. Еще весной 1917 года в ходе франко-русских переговоров, проходивших в Петрограде с участием парламентария-радикала Г. Думерга, французское правительство добилось русской поддержки в вопросе о возвращении Франции Эльзаса и Лотарингии, что предстояло закрепить в будущем мирном договоре по итогам войны.

Учитывая, что русский фронт сковывал почти 160 германо-австро-турецких дивизий (на 17 дивизий больше сил противника, действовавших на Западном фронте), кабинет Пенлеве — Барту всемерно стремился удержать Россию в войне. 13 октября 1917 года русское посольство в Париже сообщило Временному правительству, что Франция готова принять участие в «реорганизации» русской армии с целью повышения ее боеспособности. Это означало приток новых французских капиталовложений в Россию.

Правительство Пенлеве — Барту с возрастающей тревогой и враждебностью следило за развитием революционного движения в России. Французское посольство в Петрограде, следуя инструкциям МИД, энергично и настойчиво требовало от буржуазного Временного правительства принятия срочных мер для обеспечения охраны французской собственности и капиталовложений, направляя российскому министру иностранных дел Терещенко ноту за нотой. Посол США в Петрограде сообщал тогда, что «французы предпринимают активные шаги для защиты своего имущества» и что «с этой целью ожидают даже французские войска».

25 октября 1917 года, когда Барту красноречиво и категорично заявил о французском требовании относи-

тельно Эльзаса и Лотарингии и добился полного его одобрения парламентариями, австро-венгерские войска перешли в наступление на итальянском фронте. В двухдневном сражении при Капоретто итальянская армия потерпела сокрушительное поражение. 300 тыс. итальянских солдат и офицеров оказались в плену. То была подлинная военная катастрофа Италии, союза с которой так упорно добивалась Франция в предвоенные годы. А через две недели после победы Великой Октябрьской социалистической революции парижская газета «Матен» уверяла: «Было бы удивительно, если бы переворот, только что совершенный в Петрограде маленькой группой смельчаков, изменил судьбу России». Однако уже 10 ноября та же газета, отметив, что в России в ходе революционного переворота «не было особенно серьезного кровопролития», писала, что пришедшее к власти «правительство максималистов» (большевиков) «вместе с обещаниями мира говорит о разделе помещичьих земель», что укрепляет его позиции.

В этой обстановке правительство Пенлеве — Барту должно было определить свое отношение к Советской России. Но ему не пришлось этого делать. В связи с итальянским поражением при Капоретто, вызвавшим бурные парламентские дебаты, палата депутатов отказала кабинету Пенлеве — Барту в доверии. После этого Жорж Клемансо сформировал новое правительство. Барту в него не вошел.

11 ноября 1918 года подписанием перемирия в штабном вагоне французского маршала Фердинанда Фоша, стоявшем на станции Ретонда в Компьенском лесу, закончились боевые действия на фронтах первой мировой войны. Антанта, а значит, и Франция одержали трудную победу.

20 января 1920 года президент Французской Республики Раймон Пуанкаре принял уходившего в отставку с поста премьер-министра Жоржа Клемансо. Аудиенция была краткой. Пытаясь сохранить власть и отстоять бывшее влияние, Клемансо сказал президенту: «Поскольку я веду переговоры с королями, министрами, послами вот уже два года, я готов поделиться с вами своими соображениями». «Не затрудняйтесь!» — резко бросил в ответ Пуанкаре. На смену старому «Тигру» к руководству внешней политикой Франции были призваны другие люди, ставленники сложившегося в ходе парламентских выборов Национального блока — блока правых буржуаз-

ных партий: Демократического союза, Республиканской федерации и примкнувших к ним группировок. И среди них — Луи Барту.

К 1920 году он занял прочные позиции в руководящих политических кругах Третьей республики как один из опытных деятелей. Его имя фигурировало в ряду «творцов» французской победы в войне 1914—1918 годов. 6 февраля 1919 года он был избран в состав Французской академии наук, став одним из «бессмертных», как французы называли, академиков.

В январе 1920 года Барту, возобновивший свой депутатский мандат по списку Демократического союза, был избран председателем Комиссии по иностранным делам палаты депутатов. Это было парламентское признание значительно возросшего авторитета Барту в международных и дипломатических делах. На одном из первых заседаний комиссии Барту заявил, что он является противником тайной дипломатии, политики «королевских секретов». Внешнеполитическая деятельность, подчеркнул он, должна быть взята под парламентский контроль «ничем не стесняемой гласности». В сущности, это заявление Барту выражало стремление поднять роль возглавленной им комиссии.

Барту считал полную и безоговорочную реализацию Версальского договора, вступившего в силу 10 января 1920 года, главной, определяющей все остальное внешнеполитической задачей Франции. Но вместе с тем он видел, что крах интервенции, разгром русских белогвардейцев и окончание гражданской войны в России имели громадное международное значение. На мировую арену вступала новая сила, которую нельзя было игнорировать, — Советское государство. 16 января Верховный совет Антанты вынужден был принять решение о фактическом снятии блокады с Советской страны.

Жорж Клемансо и его единомышленники, непримиримо относившиеся к Советской России, рассчитывали сдержать реваншистские устремления Германии путем закрепления доминирующего положения Франции на Европейском континенте. Созданная на Парижской мирной конференции Лига Наций — международное сообщество капиталистических государств, бывших участников Антанты военного времени, — и военно-политические союзы, созданные Францией в Восточной и Центральной Европе, так называемые «тыловые союзы» — франко-польский союз и блок придунайских стран (Чехословакии,

Югославии, Румынии), вскоре получивший название Малой Антанты, — должны были гарантировать национальную безопасность Франции. «Самая твердая наша гарантия от германской агрессии, — уверял Клемансо, — заключается в том, что за спиной Германии стоят Чехословакия и Польша, занимающие великолепное стратегическое положение». По существу, Клемансо и его сторонники рассчитывали заменить «тыловыми союзами» былой и столь важный для Франции союз с Россией. Но дело было не только в этом. «Тыловые союзы», с их точки зрения, должны были получить не только антигерманскую, но и антисоветскую направленность, стать «антибольшевистским санитарным кордоном» вдоль западных рубежей Советского государства, изолировать его от Европы. «Мы стремимся, — говорил Жорж Клемансо, — окружить большевизм заграждениями из колючей проволоки, создав препятствие на его пути в Европу».

Луи Барту смотрел на складывавшееся международное положение иначе. Безусловно, он ни в какой мере не сочувствовал большевизму. Но Барту видел, что вопросы европейской, да и всей мировой политики невозможно серьезно решать без учета такого нового и важного фактора, как появление на политической арене нового государства — Советской России. Игнорирование ее французскими правящими кругами, попытки продолжить борьбу против нее — это все яснее и отчетливее сознавал Барту — будут играть только на руку германским милитаристам и реваншистам, ибо поведут к ослаблению международных позиций Франции, и следовательно, укреплению позиций Германии.

Барту, несомненно, знал, что Советское правительство готово к «установлению контакта» с Францией и желает его. Еще в феврале 1919 года оно предложило французскому правительству начать переговоры о нормализации отношений на основе разумного компромисса, который базировался бы на утверждении и защите международного мира. В декабре это советское предложение было подтверждено еще раз. Барту оказался в числе тогда еще немногочисленных французских буржуазных парламентариев и политиков, которые понимали разумность и реализм советских инициатив. Он сознавал, что они встречают положительный отклик французских трудящихся, всего народа в целом, что, как он писал немного позднее советскому наркому иностранных дел Г. В. Чиче-

рину, «Франция... сохранила к русской нации... чувство преданной дружбы».

15 января 1922 года Р. Пуанкаре сформировал новое правительство Третьей республики. Барту вошел в кабинет Пуанкаре в качестве министра юстиции и одновременно министра по делам Эльзаса и Лотарингии. Главной задачей нового правительства стала подготовка к конференции в Генуе. Главой французской делегации был назначен Барту.

На международной экономической конференции, состоявшейся в Генуе в старинном дворце Сан-Джорджо 10 апреля — 19 мая 1922 года, Барту впервые вступил в непосредственный контакт с дипломатией первого в истории социалистического государства, провозгласившего новые принципы внешней политики и международных отношений — принципы мирного сосуществования и равноправного взаимовыгодного сотрудничества государств с различными социально-политическими системами. Признание и принятие этих принципов для буржуазных политиков, в том числе и для Барту, оказалось далеко не простым делом. «Трудное прошлое в Генуе» — так позднее оценил Барту в беседе с советским полпредом в Париже эту страницу своей политической биографии.

Французская делегация на Генуэзскую конференцию была сформирована из опытных дипломатов. Но Пуанкаре установил над делегацией личную опеку, которую Барту ощущал почти ежечасно. «Я только что получил от Пуанкаре девятисотую телеграмму!» — с плохо скрываемым раздражением сказал он Ллойд Джорджу перед началом одного из заседаний конференции.

Дипломатическая дуэль с Г. В. Чичериным привела к тому, что Л. Барту, попытавшийся захватить инициативу в работе конференции, потерял ее. 13 апреля Д. Ллойд Джордж предложил советской делегации провести переговоры в резиденции британских дипломатов в Генуе — на вилле «Альбертис». Переговоры предлагалось провести в узком составе. Кроме советских представителей, сюда были приглашены представители делегаций Франции, Италии и Бельгии. Барту попытался использовать предложенные Ллойд Джорджем переговоры, чтобы затушевать свой дипломатический промах, сгладить впечатление от неудачи на пленарном заседании. 15 апреля перед началом встречи на вилле Барту бросил краткую, но многозначительную фразу, сразу же подхваченную жур-

налистами: «Только сегодня начинается Генуэзская конференция».

На вилле «Альбертис» в кабинете Д. Ллойд Джорджа Барту за круглым столом, накрытым зеленым сукном, впервые лично встретился с советскими дипломатами Г. В. Чичериным, М. М. Литвиновым, Л. Б. Красиным, получив возможность близко познакомиться с ними. Ведя разговор на французском языке, которым прекрасно владели его советские партнеры, Барту имел все условия показать себя образованным и лояльным собеседником, о котором М. М. Литвинов позднее вспоминал с добрыми чувствами. Но политическая позиция Барту по-прежнему не была конструктивной. Выражая стремление к нормализации франко-советских отношений, подчеркнуто напоминая, что он, Барту, является тем государственным деятелем Третьей республики, который еще в 1920 году в специальной парламентской интерпелляции предложил начать переговоры с Советской Россией, он, следуя инструкциям Пуанкаре, настаивал на подчинении Советской страны франко-британскому диктату. Британская дипломатия сразу же использовала позицию кабинета Пуанкаре и попыталась сколотить единый антисоветский фронт капиталистических держав.

В качестве предварительного обязательного условия нормализации отношений с Советским государством Барту, вместе с поддержавшим его позицию Ллойд Джоржем, выдвинул вопрос о погашении задолженности царского и Временного буржуазного правительств. «Невозможно разбираться в делах будущего до тех пор, пока не разберутся в делах прошлого, — декларировал Барту и подчеркнул: — Как можно ожидать, чтобы кто-либо вложил новый капитал в России, не будучи уверенным в судьбе капитала, вложенного ранее. Весьма важно, — продолжал он, — чтобы Советское правительство признало обязательства своих предшественников как гарантию того, что последующее за ним правительство признает и его обязательства». Прозрачный намек на мнимую «непрочность» и «временность» советского режима был всего лишь попыткой дипломатического давления. Хотя в совместном англо-французском меморандуме, переданном советской делегации, общая сумма долговых обязательств старой России не была названа, зарубежная, в частности французская, печать определяла ее приблизительно в 18,5 млрд. золотых рублей. Это была астрономическая цифра, выражавшая грабительские устремления

французского, британского и американского капитала.

На откровенный нажим Барту, поддержанный Ллойд Джорджем, советская делегация совершила ответный демарш, оказавшийся неожиданным для главы французской делегации. Г. В. Чичерин от имени Советского правительства выразил готовность к урегулированию долговой проблемы на справедливой основе — на базе взаимного возмещения убытков: «Убытки русского народа и государства дают гораздо более бесспорное право на возмещение, чем претензии бывших владельцев в России и русских займов, принадлежащих к нациям, победившим в мировой войне и получившим с побежденных колоссальные контрибуции, тогда как их претензии предъявляются к стране, полностью разоренной войной, иностранной интервенцией». По приблизительным подсчетам, убытки советского народа определялись в 50 млрд. золотых рублей. Громадные размеры ущерба, нанесенного России войной и интервенцией, в том числе французской, смутили Барту. В интервью американской газете «Нью-Йорк геральд трибюн» он с плохо скрываемой растерянностью говорил: «50 млрд. рублей золотом — это вдвое больше, чем та сумма, которую Франция требует от Германии за четырехлетнюю опустошительную войну... Я отказываюсь входить в обсуждение обязательств по отношению к государству, которое своих обязательств не выполняет». В ходе продолжавшейся на вилле «Альбертис» дискуссии растерянность Барту выразилась в том, что он опять, как и на пленарном заседании конференции, прибег к ультиматуму. «Необходимо прежде всего, чтобы Советское правительство признало долги, — категорически заявил Барту. — Если г-н Чичерин ответит на этот вопрос утвердительно, работа будет продолжаться. Если ответ будет отрицательным, придется работу закончить. Если он не может сказать ни «да», ни «нет», работа будет ждать».

Ультимативно-жесткая позиция Барту, уповавшего на возможность единого антисоветского фронта капиталистических держав, оказалась его громадным дипломатическим просчетом. Он явно недооценивал политические возможности Советского государства, дальновидность и реализм его дипломатии. 16 апреля в предместье Генуи, городке Рапалло, был подписан двусторонний советско-германский договор, основанный на взаимном отказе от долговых претензий и открывший путь к полной нормализации отношений между обеими странами.

Французская делегация в Генуе увидела в Рапалль-

ском договоре свою неудачу. «Союзников обвели вокруг пальца. Германия и Россия сотрудничают. Какая опасность для будущего!» — так писал Эдуард Эррио, оценивая результат Рапалльского договора для Франции. Так же думал и Барту, сознававший громадный политический и дипломатический просчет, допущенный Францией на Генуэзской конференции. Его обмен письмами с Г. В. Чичериным в связи с подписанием Рапалльского договора был выдержан в примирительном духе. В ответ на заверение Г. В. Чичерина, что Рапалльский договор никоим образом не имеет антифранцузской направленности, Барту писал 1 мая 1922 года, что «не сомневается в искренности намерений, продиктованных в письме российской делегации», и тут же отметил громадную историческую значимость для Франции ее боевого сотрудничества с Россией в годы первой мировой войны.

Это было пусть несколько прикрытое, но все же достаточно ясно выраженное признание несправедливости жесткой позиции по «долговой проблеме». «Некоторых политических деятелей, — говорил Барту в одной из своих частных бесед, — обвиняют в том, что они, как флюгеры, всегда повернуты по ветру. Но как раз и нужно повертываться по ветру. Слабость политических деятелей состоит в том, что они, если можно так выразиться, поворачиваются против ветра!» На Генуэзской конференции, не принесшей Франции никакого осязаемого результата, Барту, следуя инструкциям Пуанкаре, действовал именно таким образом, проявив несомненную «слабость», о которой выразительно сказал сам. И это стало для него уроком.

Барту понимал, насколько нуждается Франция в твердой международной опоре. Только имея подобную опору, Третья республика может сохранить себя как великая держава, как оплот версальского порядка в Европе. Такую опору Барту видел в нормализации франко-советских отношений. С годами эта мысль крепла и развивалась, приобретая все более отчетливое, целенаправленное очертание. «Трудное прошлое в Генуе» стало, как отмечал сам Барту, плодотворной основой для этого развития.

На такой основе крепло политическое сближение Барту с Эдуардом Эррио, лидером во многом противостоявшей Демократическому союзу партии радикалов. Определяя свою внешнеполитическую программу, Эррио говорил: «Оставить Россию вне концерна европейских дер-

жав — это значит толкать ее на союз с Германией... Я подпишу соглашение о восстановлении отношений между Парижем и Москвой. Это будет конец политики «колючей проволоки». Барту целиком разделял эту политическую линию Эррио, ее предпосылки и цели. Более того, сама формулировка Эррио его позиции почти буквально совпадала с тем, о чем говорил Барту в феврале 1920 года в своей парламентской интерpellации, которая, конечно, была хорошо известна лидеру радикалов. Барту оказался в числе тех политиков и парламентариев Третьей республики, которые одобрили восстановление франко-советских дипломатических отношений, осуществленное 28 октября 1924 года кабинетом Левого картеля — блоком радикалов и социалистов — во главе с Эррио, пришедшим на смену правительству Пуанкаре. Не войдя в состав кабинета, Барту остался на посту председателя репарационной комиссии.

23 июля 1926 года Луи Барту вошел в состав очередного кабинета Р. Пуанкаре, сформированного после крушения Левого картеля. Это был обновленный кабинет прежнего Национального блока, основу которого, как и раньше, составил Демократический союз — буржуазно-консервативная политическая группировка, которую и представлял в кабинете Барту, получивший портфели министра юстиции и министра по делам Эльзаса и Лотарингии. Коллегами Барту по кабинету стали А. Бриан (министр иностранных дел), П. Пенлеве (военный министр), А. Сарро (министр внутренних дел), Э. Эррио (министр просвещения). Это были представители разных политических направлений — от крайне правых до леворадикальных парламентских группировок.

Хотя министерские обязанности Барту были связаны с проведением внутренней политики, его основное внимание поглощала внешняя политика. Между ним и Брианом сложились довольно близкие, приятельские отношения. Барту иногда проводил каникулярный отдых у Бриана в поместье Кошрель в Нормандии. Он многое ценил в Бриане-политике, и прежде всего его дипломатическую гибкость, умение быстро уловить и учесть изменения в политической ситуации. И позднее, вспоминая об уроках Бриана, Барту часто спрашивал его бывших близких дипломатических сотрудников: «Скажите-ка мне, что сделал бы Бриан, если бы он был на моем месте?»

Но вместе с тем Барту с тревогой следил за бриановским курсом на «замирание» капиталистической Европы

путем поисков беспринципного франко-германского «компромисса».

Как министр по делам Эльзаса и Лотарингии Барту настаивает на всемерном укреплении французских восточных границ, активно поддерживает в этом позицию генерального штаба. Как вспоминал генерал М. Вейган, влиятельные военные круги были озабочены тем, чтобы «никогда шахты Лотарингии и уголь Севера не попали снова в руки врага». В 1927 году Верховный военный совет Французской Республики по инициативе кабинета Пуанкаре — Барту одобрил проект строительства линии укреплений на восточной и северо-восточной границах, названной в честь военного министра Анри Мажино.

В ноябре 1929 года после продолжительного, 11-дневного, министерского кризиса кабинет возглавил А. Тардьё, Барту в него не вошел. Это не было связано с остротой борьбы за министерские кресла.

В это время его подстерегало горе — умирала жена. В письме одному из своих друзей Барту писал: «Моя жена тяжело больна, и этим объясняется мое нежелание занять министерский пост, но я не оставляю надежды на ее выздоровление». Однако скоро эта надежда рухнула: 15 января 1930 года мадам Барту скончалась.

После потери жены Барту трудно было оставаться в Париже. Он совершает поездку в Норвегию, много времени проводит в Швейцарии, в Альпах. Швейцарский Бюргеншток становится излюбленным местом его отдыха. Там он совершает длительные горные прогулки, восстановившие его душевное состояние, позволившие вернуться к активной политической деятельности. Свое 70-летие Барту встретил, не имея министерского портфеля, не сохранив активное место в политической борьбе. Часто встречавшаяся со стареющим Барту Ж. Табуи свидетельствовала, что его жизненные силы были далеко не на исходе. Его энергия казалась неиссякаемой. Он не изменил установленного в молодости распорядка дня. Он по-прежнему встает в 5 часов утра, ежедневно делает гимнастику, в 6 часов 30 минут садится за рабочий стол в своей библиотеке.

10 февраля 1934 года Луи Барту второй раз в жизни занял кресло в кабинете французского министра иностранных дел на Кэ д'Орсе. На следующий день в его кабинете состоялось первое заседание правительства Думерга. Барту сразу поставил в центр внимания собравшихся министров проблемы формирования внешнеполи-

тического курса Третьей республики. Барту, как он сам писал Эррио, предложил принять за его основу четко определенную концепцию. Исходным моментом внешнеполитической концепции Барту стало осознание того, что после захвата Гитлером власти в Германии в центре Европы сложился очаг войны, и стремление не допустить международную изоляцию Франции перед возможной перспективой консолидации сил агрессоров, добивавшихся ревизии Версальского договора и реванша, — гитлеровской Германии и фашистской Италии. Цель, которую поставил Барту, заключалась в том, чтобы обеспечить международный мир на основе сложившегося после первой мировой войны в Европе положения, в том числе версальских границ, путем укрепления позиций Франции в отношении Германии. Эта цель означала стремление сохранить мир на Европейском континенте на основе версальского статус-кво. Но она означала также осознание тесной связи коренных национальных интересов Франции с сохранением и защитой европейского мира, обузданием германских фашистов, предотвращением новой империалистической войны.

Многие историки считают, что на Барту большое впечатление произвело обстоятельное прочтение книги Гитлера «Майн кампф». Уильям Скотт даже полагает, что Барту «являлся одним из немногих» французских политиков и дипломатов, читавших ее. Барту настораживала не сама книга, а осознание единства слов и дел германского «фюрера», то есть антифранцузской направленности его реваншистской внешней политики; основу которой составляла набиравшая темпы ремилитаризация Германии. В феврале 1934 года военное министерство Третьей республики располагало тревожными данными: численность германского рейхсвера вместе с резервистами достигла 840 тыс. человек. Министр авиации Денэн даже полагал, что Германии «достаточно будет трех месяцев, чтобы создать авиацию, боевая мощь которой станет равной французским военно-воздушным силам».

Перед Третьей республикой вставала грозная перспектива. «Если Германия будет и дальше иметь свободу действий, — говорил в октябре 1932 года Эррио, — произойдет то же, что и в 1811—1812 годах: рейх восстановит армию, которая станет самой сильной в Европе. Таким образом, мы стоим перед поворотным моментом истории».

Барту считал, что политика уступок Германии подо-

шла к тому пределу, за которым она станет роковой для Франции, необратимо изменит соотношение сил в Европе. «Если мы сделаем этот роковой шаг,— говорил Барту в феврале 1934 года в беседе с одним из журналистов,— нам предъявят в скором времени новые, более обширные требования. В один прекрасный день мы должны будем наконец остановиться. Лучше сделать это сейчас, пока козыри еще в наших руках». Важнейшим «козырем» французской дипломатии, по мнению Барту, являлась возможность опереться на СССР. «Министр иностранных дел Барту,— пишет французский историк Поль-Мари де Лагорс,— выдвинул ту же концепцию, какой придерживались французские правящие круги в 1870—1914 годах. После захвата власти Гитлером, с его точки зрения, союз с Россией был основной целью французской дипломатии».

Барту без промедления взялся за его подготовку. 24 февраля он встретился с советским полпредом в Париже В. С. Довгалеvским. «Барту принял меня очень приветливо,— отметил полпред.— Он несколько раз подчеркнул, что его отношение будет не только любезным, но и сердечным». В ходе беседы с полпредом французский министр иностранных дел четко изложил свою позицию. Напомнив о «трудном прошлом в Генуе», он дал ясно понять, что им извлечены из него соответствующие уроки. «Он рад отметить,— писал полпред,— что основы международной политики, невмешательство во внутренние дела ничем не были омрачены за последние годы в отношениях между нашими странами.»

По свидетельству Ж. Табуи, ссылавшейся на слова самого Барту, он с первых же дней пребывания на Кэ д'Орсе думал «о военном и политическом союзе, более действенном, чем он когда-либо был с царской Россией». Кабинет Думерга и МИД Франции должны были определить свое конкретное отношение к советскому предложению, выдвинутому еще в декабре 1933 года. Его основные положения сводились к следующему: «1) СССР согласен на известных условиях вступить в Лигу Наций; 2) СССР не возражает против того, чтобы в рамках Лиги Наций заключить региональное соглашение о взаимной защите от агрессии со стороны Германии; 3) СССР согласен на участие в этом соглашении Бельгии, Франции, Чехословакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии или некоторых из этих стран, но с обязательным участием Франции и Польши».

Вокруг советского предложения среди министров кабинета Думерга и на Кэ д'Орсе развернулась острая борьба. Дневниковые записи и мемуары Эррио свидетельствуют, что по инициативе Барту кабинет Думерга в феврале — апреле 1934 года неоднократно обсуждал перспективы франко-советских отношений. Министры Тардьё, Маркс упорно выступали против какого-либо соглашения, а тем более сотрудничества с СССР. Маркс заявил, что «не считает Красную Армию серьезной силой на международной арене». Тардьё ссылаясь на то, что сближение с СССР окажет негативное воздействие на франко-японские отношения и поставит под угрозу французские колониальные позиции в Индокитае и Китае.

Развернувшаяся борьба тормозила принятие окончательного решения. Думерг колебался. «Сближение с Россией опять откладывается. Премьер-министр, по-видимому, не торопится с этим делом», — писал Эррио 10 апреля после очередного правительственного заседания, на котором обсуждались вопросы франко-советских отношений.

Почти через два месяца после первой беседы с В. С. Довгалевским относительно налаживания франко-советского сближения, 20 апреля, Барту принял на Кэ д'Орсе представителя советского полпредства в Париже и сообщил, что французское правительство «уполномочило его продолжать» франко-советские переговоры, начатые осенью 1933 года. Однако, прежде чем передать СССР французский проект соглашения, Барту выехал в Варшаву и Прагу. То была своего рода инспекционная поездка, проверка состояния важнейших «тыловых союзов» Третьей республики.

Вместе с тем Барту стремился прозондировать ситуацию у французских союзников в Центральной и Восточной Европе на предмет сближения с Советской страной, подготовить их к принятию нового французского внешнеполитического курса. «Наши малые союзники в Европе, — говорил Барту в беседе с Ж. Табуи, — должны быть готовы смотреть на Россию как на опору против Германии».

Дождливым днем 22 апреля Барту прибыл в Варшаву. Он был поражен ледяным приемом со стороны польского правительства и МИД. Глава внешнеполитического ведомства Польской Республики Ю. Бек даже не прибыл на вокзал для встречи французского министра. Барту встре-

тили чиновники польского МИД во главе с заведующим протокольным отделом. В ходе переговоров с польскими лидерами этот ледяной прием проявился с большей силой. 23 апреля Барту встретился с Пилсудским. Встреча состоялась в его резиденции — Белведерском дворце. По свидетельству Табуи, в ходе беседы с Барту Пилсудский «был настолько неприятен, насколько это возможно». Он откровенно выразил свое удовлетворение достигнутым польско-германским соглашением о «ненападении». Пилсудский мотивировал взятый им прогерманский курс неверием в «твердость» французской позиции в отношении ремилитаризации Германии.

Как сообщил германский посланник в Польше Г. фон Мольтке, Пилсудский «предостерегал французского министра иностранных дел Барту во время его пребывания в Варшаве против каких бы то ни было тесных связей с Россией». «Предостережения» Пилсудского означали, что Польша отвергает саму основу внешнеполитического курса Барту.

Во время пребывания в Варшаве Барту пытался воздействовать на представителей польской аристократии, военщины и буржуазии во имя сохранения союза с Францией. «Можно не достигнуть согласия в семейной жизни, но оставаться друзьями после развода» — так в светски-фривольном тоне мадам Бек, жена польского министра, подвела итог этим попыткам Барту.

Поездка Барту в Варшаву, выявившая глубокие расхождения во франко-польских отношениях, вызвала противоречивую реакцию в политических кругах Парижа. Задуманная им «проверка настроения» польских буржуазно-помещичьих верхов удалась, но она выявила явно неблагоприятные обстоятельства. Противники внешнеполитического курса Барту торжествовали: в их руках оказались новые «аргументы» против сотрудничества с СССР. Даже Леже сделал пессимистический вывод о перспективах курса, взятого Барту. 24 апреля, еще до возвращения Барту в Париж, он в беседе с представителем советского полпредства дал понять, что надежды на разработку какого-либо варианта франко-советской «конвенции» о сотрудничестве практически нереальны, ибо «без Польши конвенция географически неосуществима».

В Праге, которую Барту посетил после Варшавы, ему пришлось провести, по существу, не менее сложные переговоры, хотя внешняя обстановка их проведения была

иной: правящие круги Чехословакии демонстрировали дружественное отношение к своему французскому союзнику. Президент Чехословацкой Республики Т. Масарик и министр иностранных дел Э. Бенеш горячо излагали свои франкофильские симпатии, что произвело впечатление на Барту.

Однако за «дружественным» фасадом дипломатических речей чехословацких руководителей скрывалось и другое — их благодушие в отношении гитлеровской Германии, граничившее с готовностью капитулировать перед ней. «Бенеш,— сообщал тогда советский представитель из Праги,— уверен в том, что в ближайшие годы вообще не может быть и речи о коренных сдвигах в Европе. Что касается Чехословакии, то именно поэтому Бенеш считает возможным дожидаться и ничего не бояться. На худой конец он может сказать, что чехи уже 12 столетий жили на своей земле под чужим игом и чужое окружение для них не новость. Ну, пусть будет аншлюс, и чехи окажутся в тисках. Ну, пусть будет перекройка европейской карты. Чехам, дескать, не привыкать».

Барту предложил начать «строго конфиденциально» франко-советские переговоры, отлично ощущал ту общность интересов Франции и СССР в деле сохранения европейского мира, которая составляла основу их совместных действий в борьбе за обуздание агрессии, прежде всего гитлеровского фашизма.

Встреча М. М. Литвинова и Луи Барту состоялась 18 мая в Ментоне, курортном городке на Средиземноморском побережье Франции. Хотя она, как настаивал Барту, сохранила полную «конфиденциальность», все же приезд советского наркома, писал М. М. Литвинов, «вызвал много толков», что вынудило участников провести короткие переговоры. Это была не первая встреча Барту с советским государственным деятелем и дипломатом. М. М. Литвинов участвовал в переговорах в Генуе, в том числе и на вилле «Альбертис». Но в Ментоне они впервые вели переговоры как ответственные руководители внешнеполитических ведомств своих стран.

Барту предельно четко изложил свою позицию: он намерен добиваться действенного и прочного соглашения с СССР, «вплоть до военного союза».

Переговоры в Ментоне прошли в деловой, доброжелательной атмосфере. Барту сумел доказать М. М. Литвинову, что французская дипломатия занимает искреннюю позицию поисков конструктивных решений. Переговоры

в Ментоне стали первым этапом на этом сложном пути. В правительстве ситуация по-прежнему оставалась сложной. Ряд министров продолжали колебаться, настаивая прежде всего на поисках «компромисса» с Германией, в качестве аргументов ссылаясь на «плохое общеэкономическое положение», на «ослабление деловой активности из-за страха перед войной». П. Лаваль особенно энергично выступил против предложения Барту. «Лаваль,— записал Эррио,— относится исключительно благоприятно к союзу с Германией и враждебно к сближению с Россией, что якобы принесло бы нам Интернационал и красное знамя». Однако большинство министров поддержало предложение Барту, который «был уполномочен продолжать переговоры».

С лета 1934 года внешнеполитическая деятельность Луи Барту привлекала всеобщее внимание. Мир с удивлением наблюдал за Францией, которая обрела, казалось, второе дыхание.

Вступление Советского Союза в Лигу Наций, серьезные шаги, сделанные Барту в сторону создания системы коллективной безопасности в Европе на базе советско-французского сотрудничества, встретили злобную реакцию фашистской Германии.

Гитлер с возрастающей тревогой и злобой следил за дипломатической деятельностью Барту. Дни, когда он не получал новых известий о внешнеполитических шагах французского министра, были для него отдыхом. После одной из бесед с Гитлером его соратник А. Розенберг записал 8 июня в своем дневнике характерные слова о состоянии «фюрера»: «После тяжелых дней у него наступила разрядка. Барту не произносил своих жалоб по поводу нашего вооружения, не прибегал ни к каким морально-правовым формулам, чтобы произвести нападение».

Но подобная «разрядка» была непродолжительной: Барту энергично продолжал борьбу за коллективную безопасность. Гитлер прибег к использованию своего излюбленного и, как он считал, безотказного средства — политического террора, прочно вошедшего к лету 1934 года в арсенал «дипломатических» средств фашистской Германии. «Револьверные выстрелы или ручные гранаты,— писал французский журналист Пертинакс в те дни,— беспощадно уничтожают тех государственных деятелей, которые являются предполагаемой угрозой для фашистских государств в борьбе против «среднеевропейских планов». Так, в декабре прошлого года был убит

румынский премьер Дука, в июле погиб австрийский канцлер Дольфус. Чья очередь завтра?» На этот вопрос ответил фон Кестнер, без стеснения сообщивший в частной беседе с Ж. Табуи «список» политических деятелей европейских стран, намеченных к «устранению», в котором числились югославский король Александр I, бельгийский король Альберт, чехословацкий министр иностранных дел Бенеш. «Последним в этом «черном списке», — вспоминала Ж. Табуи, — он назвал Луи Барту». О том, что Барту намечен в качестве объекта террористического акта, говорил и тот факт, что в июне, во время возвращения французского министра из Чехословакии, в его поезд, следовавший через Австрию, была брошена бомба.

Объявленный заранее визит югославского короля во Францию открыл перед гитлеровцами подходящую для них возможность для террористического акта. Дело заключалось в том, что Александр I Карагеоргиевич являлся одним из основных «объектов» террористической деятельности созданной в январе 1929 года хорватской националистической организации фашистского толка, члены которой называли себя усташами (повстанцами). Лидеры усташей А. Павелич и Е. Кватерник имели давние связи с правящими фашистскими кругами Венгрии, Италии и Германии, пользовались их поддержкой.

Организация террористического акта против югославского короля на территории Франции во всех отношениях была выгодна гитлеровской Германии. Подобный акт сразу же непоправимо осложнил бы, если не сорвал, намеченные Барту франко-итало-югославские переговоры, его проект создания Средиземноморской Антанты. Террористический акт против югославского короля мог также привести к падению и без того ставшего к осени 1934 года вследствие многих внутривластных причин неустойчивым кабинета Думерга, а в очередной перетасовке министерских постов Барту мог остаться за бортом нового правительства. Но главный расчет делался все же на французское устранение Барту.

Террористический акт против Барту был подготовлен с личной санкции, если не по инициативе, Гитлера при активном участии Г. Геринга и аппарата германского посольства в Париже, в частности помощника военного атташе капитана Г. Шпейделя. Он получил кодовое название «Тевтонский меч». Для непосредственного исполнения задуманного убийства были привлечены участники македонской террористической организации, в частности

37-летний опытный профессиональный террорист В. Георгиев, именовавшийся в секретной переписке Шпейделя с Герингом как «Владо-шофер». Словом, гитлеровцы осуществили свой замысел «руками македонских террористов, прикрыв покушение усташским плащом». О том, что усташки служили ширмой, свидетельствует тот факт, что парижская печать за несколько часов до прибытия югославского короля, следовавшего на эсминце «Дубровник» в порт Марсея, сообщила о намерении хорватских террористов устранить Александра I Карагеоргиевича.

Осуществление террористического акта было, однако, обеспечено гитлеровской агентурой, достаточно широко внедрившейся в государственный, особенно военно-полицейский, аппарат Третьей республики. «Предатели, — вспоминал А. де Кериллис, — находились в основном среди высшего общества — маркизов, банкиров, промышленников, политиков, влиятельных журналистов, академиков, генералов и офицеров генерального штаба». Югославский публицист Л. Адамич писал о том, что «кто-то или какая-то группа лив в Париже решили или договорились, что в случае покушения на короля в Марселе те, кто ответствен за его охрану, не сделают ничего, чтобы предотвратить покушение». О том, что подобный сговор существовал, свидетельствовали факты откровенного пособничества террористам со стороны французских властей.

Министерство внутренних дел возложило организацию охраны югославского короля на местную полицию Марсея, в порт которого должен был прибыть югославский эсминец «Дубровник», на борту которого Александр I направился во Францию. Югославская охрана короля не допускалась на французский берег. Предложение британского Скотланд-Ярда взять на себя обеспечение королевской безопасности было отклонено. Не было выполнено распоряжение полицейских властей Марсея об усиленной охране короля и встречавшего его Барту плотным кордоном из мотоциклистов: они почему-то были направлены в какое-то другое место. Для следования короля и прибывших встречать его французских официальных лиц была предложена автомашина устаревшего образца, которая давно уже не использовалась для подобных целей. Небронированный лимузин с большими окнами и широкими подножками во всю длину кабины, от переднего до заднего крыла, не давал никакой защиты

в случае попытки покушения на сидящих в нем людей и, наоборот, был чрезвычайно удобен для террориста.

Визит югославского короля во Францию был заранее «широко разрекламирован прессой». Эта «реклама» стала исходной базой для разработки террористической акции. Гитлер решил, что ему представляется уникальный случай устранить Барту. 1 сентября из Берлина в германское посольство в Париже на имя помощника военного атташе капитана Шпейделя была направлена подписанная Герингом инструкция по реализации операции «Тевтонский меч». 3 октября Шпейдель информировал Берлин, что подготовка операции «Тевтонский меч» уже завершена. К этому времени ему был детально известен план церемонии встречи югославского монарха в Марселе и передвижения его по французской территории. Было известно даже то, что «предусмотренный ранее эскорт мотоциклистов будет отменен». 30 сентября усташа были доставлены в Париж, где им представителем посольства была передана вся необходимая информация относительно предстоявшей в Марселе церемонии встречи югославского короля. Убийца В. Георгиев прибыл во Францию с фальшивым паспортом на имя П. Келемена. «Владошофер» подготовлен», — рапортовал Шпейдель Герингу 3 октября.

Недели, предшествовавшие прибытию югославского короля во Францию, в Париже были тревожными. По городу ползли зловещие слухи о возможном покушении на Александра I. Один из сотрудников Барту без обиняков заявил министру иностранных дел, что он «предпочел бы, чтобы король поехал куда угодно, только не в Марсель».

Однако Барту, по свидетельству Ж. Табуи, осведомленный о подготовке террористического акта, не принял никаких ответных мер. И это не было его легкомыслием, политической беспечностью. Барту трезво оценивал степень опасности своего личного риска. Готовясь к поездке в Марсель, он отдавал себе ясный отчет в том, что может не вернуться в Париж живым. В приватной беседе с одним из своих ближайших сотрудников Барту говорил: «Мои похороны, запомни это хорошенько, должны быть самыми скромными... Обряд в церкви в память о моей жене, который я обещал, и всего лишь несколько близких друзей!» Руководитель Кэ д'Орсе без колебаний шел на открытый риск.

Вечером в пятницу, 8 октября, Барту вместе с военно-

морским министром Пьетри и представителем военного руководства генералом Жоржем специальным поездом выехал в Марсель.

Ритуал встречи югославского короля был прост, но торжествен. Александр I не случайно должен был вступить на французскую землю в Марселе. Отсюда, из марсельского порта, в начале первой мировой войны французские войска отправлялись на помощь Сербии. Здесь, в Марселе, стоял памятник французским солдатам и офицерам, погибшим на Балканах и на Салоникском фронте. К подножию этого памятника югославский король в присутствии Барту и генерала Жоржа, занимавшего в годы первой мировой войны пост начальника штаба Салоникского фронта, должен был возложить венок, открыв свой государственный визит напоминанием о франко-сербском боевом союзе, о совместном вкладе в победу Антанты.

Непосредственно из марсельского порта маршрут высокого гостя лежал по одной из центральных городских улиц — улице Ла Канебьер — к площади Биржи, где находилось здание местного муниципалитета. В этом здании, над которым были подняты французский и югославский национальные флаги, должна была состояться первая беседа Барту и Александра I. На франко-югославские переговоры французский министр возлагал большие надежды.

В 2 часа пополудни «Дубровник», встреченный эскортом французских миноносцев, вошел в марсельскую гавань. Прогремел артиллерийский салют. Югославский король, одетый в адмиральскую форму, сошел на берег Старого порта Марселя, где был встречен Барту, Пьетри, генералом Жоржем и сопровождавшими их чиновниками французского дипломатического и военного ведомств. Генерал Жорж и Александр I обменялись речами, подчеркнув незыблемость уз, связывающих оба государства — Французскую Республику и Югославское королевство. После этой вступительной торжественной церемонии король и Барту направились к ожидавшей их машине.

Барту не мог не заметить отсутствия запланированного эскорта мотоциклистов. Он видел, что охрана короля преступно слаба — всего лишь полицейский кордон на улицах, причем охранники стояли шагах в десяти один от другого. Здесь, на марсельской улице, ему стала очевидной та грозная опасность, которой подвергаются югос-

лавский король, а вместе с ним и задуманные им, Барту, внешнеполитические планы. Король, как вспоминали очевидцы, нервничал, испуганно глядя на толпу, собравшуюся на тротуарах улицы Ла Канебьер, по которой машина, двигаясь с ничтожной скоростью — 4 километра в час — вместо положенной в этих случаях скорости 20 километров, направилась к площади Биржи. В непосредственной близости к королевской машине, где рядом с Александром I сидел Барту, гарцевали только два конных охранника.

Кортеж уже достиг площади Биржи, когда в толпе зрителей раздался свист и к королевской машине кинулся человек. Это был Георгиев. Вскочив на широкую подножку автомашины, террорист открыл стрельбу. Две пули — в грудь югославскому королю, третья — в левое предплечье Барту. Водитель остановил машину, но террорист продолжал стрелять. Тяжело ранен генерал Жорж. Через несколько секунд один из конных охранников ударом сабли по голове сбил Георгиева с ног. Вскоре тот, не приходя в сознание, умер в марсельском госпитале. В наступившей сумятице Барту не думал о себе, хотя его рана сильно кровоточила. Он старался помочь скорейшей госпитализации короля — высокого гостя Французской Республики. В течение 45 минут Барту, истекавший кровью, находился на площади: повязка, сделанная кем-то наспех, не остановила кровотечение. В санитарной машине он потерял сознание. Врачи пытались спасти его, сделали операцию, извлекли пулю, но во время операции произошло кровоизлияние. Не приходя в сознание, Барту скончался.

Раскрывая суть разыгравшейся в Марселе трагедии, «Юманите» писала в те дни: «Барту был убит не случайно. Убийца, реализации замыслов которого способствовали преступная небрежность и соучастие полицейских властей, сознательно целил в него. Международный фашизм одновременно хотел убить представителя Малой Антанты и министра, связавшего свое имя с политикой франко-советского сближения».

...Осенним днем 13 октября Париж провожал Луи Барту в последний путь на кладбище Пер-Лашез. В официальной государственной церемонии участвовали все министры кабинета Думерга. По словам Эррио, Думергу было не по себе. За день до этого он назначил преемником Барту на Кэ д'Орсе Пьера Лавалья, для приличия сославшись на то, что он был раньше председателем совета

министров. Лаваль не мог скрыть своего торжества. По свидетельству современника, стоя на официальной трибуне, мимо которой медленно двигался траурный кортеж, Лаваль оживленно беседовал с прибывшим из Берлина на похороны французским послом.

Торжественные звуки траурных мелодий. Четкий, церемониальный шаг французских солдат — пехотинцев, моряков, летчиков. Служба по католическому обряду в церкви Дворца инвалидов. Прощальная церемония дипломатического корпуса. Последние официальные почести. Прощальная дробь военных барабанов. «И потом, — вспоминал Эррио, — в самом конце, в наступающих сумерках на кладбище Пер-Лашез вокруг узкой могилы под большими, еще зелеными деревьями столпились вдоль аллеи парижане. Они переживали происходившую драму гораздо глубже всех актеров официальной церемонии».

2 мая 1935 года в Париже благодаря настойчивым усилиям советской дипломатии и антифашистских сил Франции, в том числе сторонников Луи Барту во главе с Э. Эррио, был подписан советско-французский пакт о взаимной помощи.

Одобрил бы Луи Барту этот крупнейший шаг, принятый Парижем в то сложное время? Думается, одобрил бы. Возможно также, что Луи Барту оказался бы в числе тех, кто активно выступал против мюнхенского сговора, открывшего путь фашистской агрессии и второй мировой войне. Можно предполагать, что Луи Барту встал бы в ряды тех французских политиков, которые, подобно Шарлю де Голлю, включились в антифашистскую борьбу на стороне антигитлеровской коалиции народов и государств.

К. Малафеев

**Преступление
в пригороде
Мехико**



НОЧНОЙ НАЛЕТ

Более полувека тому назад в пригороде столицы Мексики было совершено преступление, подробности которого в нашей стране долго хранились в тайне. Впрочем, ровно столько же замалчивалось и имя человека, который был жестоко убит, — Льва Троцкого. Документальная повесть Юрия Папорова — первая попытка рассказать эту историю. Автор основывается на материалах, собранных им в 50-е годы, когда он работал в Мексике в качестве культурного атташе, встречался и дружил с непосредственными участниками тех событий. Свидетельство Ю. Папорова освещает много темных, непонятных сторон этого убийства.

Была ночь... Дождь низвергался водопадом. Ближе к четырем часам утра совершенно высветлило.

Она шла, покачивая бедрами. Он ждал ее и покинул пост. Жаркие объятия и поцелуи слышали и видели те, чьи руки тут же оторвали его от тела женщины, зажали рот, перехватили веревкой локти, завели их за спину.

Остальные полицейские, находившиеся в будке на углу улиц Вена и Морелос, откуда осуществлялась наружная охрана обнесенного высокой стеной дома напротив, увидев людей, которыми командовал лейтенант-пехотинец, и услышав приказ: «Руки вверх, сучьи дети!» — не успели оказать сопротивления, быстро были обезоружены, связаны и оставлены под охраной двух вооруженных в штатском.

Военные и полицейские — группа около двадцати человек под командой пехотного майора — приблизились к воротам, и майор нажал на кнопку звонка. Почти тут же за воротами послышался голос: «Кто там?» Один из пришедших ответил, и дверь в воротах отворилась. Расположение дома им было известно до мельчайших подробностей, хотя никто из них прежде в нем не бывал, каждый знал, что ему следовало делать.

Спальня... Там, на широкой кровати, укрывшись с головой легкими одеялами, лежали два разбуженных выстрелами человека. Появившиеся у открытого окна снаружи и в дверях, ведущих в спальню и детскую, чужие люди принялись стрелять по укрывшимся под одеялами из автоматического оружия. Было выпущено множество пуль. Этот поток свинцового дождя не вызвал у пришельцев ни малейшего сомнения — те, кто до их прихода спал сном праведников, теперь уже спят вечным сном.

Можно и надо было уходить, и майор — плотный, умеющий носить форму и командовать твердым голосом, в котором ликование било через край, — отдал короткий приказ.

Стрельба прекратилась. Нападавшие заспешили оставить двор. Ворота распахнулись, и две автомашины — старый «форд» и новый «додж», стоявшие внутри двора и теперь битком набитые нападавшими, вместе с охранником, впусившим их в дом, помчались прочь, обдавая тротуары брызгами и жидкой грязью.

За рулем «доджа» сидел Роберт Шелдон Харт — охранник дома, в котором летом 1940 года проживал Л. Д. Троцкий, один из вождей Октябрьской революции, председатель РВС РСФСР, организатор Красной Армии, ближайший соратник Ленина.

Остальные, как и люди в штатском, охранявшие разрушенных полицейских, мгновенно растворились в ночи.

Вскоре «форд» застрял в грязи и был брошен, а управляемый Шелдоном «додж», в котором находились «главный», «майор» и его подчиненные, долго петлял по улицам спавшего Мехико, выкидывая из себя на перекрестках то одного, то другого пассажира.

Потом был ресторан... «Майор», уже в штатском, без темных очков и прежде приклеенных усов, сидел за столом напротив того, кто час назад был «лейтенантом» и кого звали художник Антонио Пухоль. Их компанию разделял еще один живописец, Луис Ареналь. Бражничавшие поднимали одну рюмку текилы за другой. Шутили:

— Давид, теперь ты станешь генералом! — смеялся Луис.

— А тебе дадут народного художника, — парировал Давид.

— Я попрошу, — Антонио облизнул губы, — чтобы меня на год взяли к себе. О, там у них отличные бабы!

Градусы текилы, крепкого кактусового напитка, хме-

лили головы и души, переполненные радостью одержанной победы и тем, что мы называем предвкушением славы.

Но... в шесть утра включилось радио, и первыми словами диктора были: «Два часа назад группа неизвестных совершила нападение на дом, в котором правительство Мексики предоставило убежище Льву Троцкому. Нападавшие выпустили из автоматического оружия более трехсот пуль. Однако никто из находившихся в доме не пострадал. Троцкий и его жена живы! Они не стали жертвами злоумышленников. Полиция ведет расследование!»...

Изложенное выше дословно слышал из уст известного мексиканского художника Давида Альфара Сикейроса в июне 1957 года. Проживая и работая в ту пору в Мексике, с Сикейросом я был хорошо знаком. Мы часто виделись в самых различных ситуациях на протяжении более трех лет. Но только в июне 1957 года он сам, по собственной инициативе, заговорил об этой странице своей биографии. Почему? Читатель узнает об этом чуть позднее. Сейчас же я попытаюсь свести воедино исследования разных авторов, свидетельства очевидцев, газетные публикации и архивные документы, прежде всего материалы следственных дел, с тем чтобы сообщить читателю, как вошло в историю Мексики «событие в Койоакане в ночь с 23 на 24 мая 1940 года». Ряд текстов, в оригинале написанных на русском, в этом повествовании будет являться переводами с испанского и английского языков.

Полковника Леандро Санчеса Саласара, начальника тайной полиции Мексики, разбудили телефонным звонком. Через полчаса он был на месте преступления, казавшегося невероятным и не сулившего тайной полиции абсолютно ничего приятного.

Опросив продолжавших находиться без оружия полицейских, полковник Санчес Саласар и его помощники направились к воротам дома. Калитка приоткрылась ровно настолько, чтобы в щель можно было разглядеть лица звонивших и сквозь нее получить предъявленные ими удостоверения.

— Что здесь произошло, сеньоры? — спросил начальник тайной полиции у сгрудившихся вокруг него секретарей Троцкого и охранников его дома.

Молодые лица их были спокойны, каждый в руках держал оружие.

— Они убили дона Леона?

— Нет, полковник!

— Есть другие убитые или раненые в доме?

— Нет, полковник! Однако лучше вы сами поговорите с Троцким.

Полицейские чины переглянулись.

Уже рассвело. Сева, четырнадцатилетний внук Троцкого, недавно прибывший из Парижа в Мексику, играл на лестнице. У него была перевязана левая нога.

— Что с ним? — спросил полковник.

— Ничего серьезного. Пуля слегка оцарапала кожу, — ответил один из секретарей.

Прибыл генерал Нуньес, начальник полиции Мексики, и они с полковником вошли в спальню, где в халатах, накинутых поверх пижам, их встретили Троцкий и его жена Наталья Седова. Оба «пострадавшие» сохраняли совершенное спокойствие, словно бы в доме ничего не произошло, а их собственные жизни только что не подвергались смертельной опасности. Троцкий улыбался светлыми глазами из-под нависавших над ними лохматых бровей сквозь стекла очков в черепаховой оправе. Это еще больше настораживало. И добродушное лицо хозяйки, обрамленное аккуратно причесанными белокурыми с пепельным оттенком волосами, некогда, должно быть, красивое, сохранявшее и сейчас признаки нежного, кроткого характера, было поразительно спокойным.

Полковник стал размышлять: «Жизнь, которую они ведут, лишила их страха? Уже ничто не может вызвать в них волнения? Или это... хорошо разыгранное нападение? Русский политэмигрант желает привлечь к себе внимание и бросить тень на своих врагов?»

Троцкий пригласил полицейских в кабинет, усадил на стулья и на хорошем испанском языке сообщил:

— Наталья и я крепко спали. Наша комната находится, как вы заметили, между кабинетом и детской. Внезапно нас разбудили звуки выстрелов. Поначалу мне показалось, что это разрывались ракеты и петарды по случаю очередного религиозного праздника. Нет! То были выстрелы из огнестрельного оружия. Мы тут же оставили нашу постель, и Наталья увлекла меня с собой в дальний угол, вынудила лечь на пол, и тут послышался крик внука: «Дедушка!» Наталья замерла. Она еще стояла некоторое время, заслоняя меня собою, пока я не потребовал, чтобы она легла на пол. Это и спасло нас обоих. Выстрелы, направленные на нашу постель, производились со

стороны дверей комнаты Севы, кабинета и открытого окна нашей спальни. Это был смертельный для нас перекрестный огонь. Мы лежали в углу без движения. Когда стрельба прекратилась и нападавшие покинули дом, мы обнаружили у дверей спальни оставленную там зажигательную бомбу. Однако нас больше беспокоила жизнь мальчика...

Полковник слушал и дивился самообладанию говорившего: «В чем причина столь превосходного владения собой?»

— Полагаю, что нас атаквало не менее двадцати человек с автоматами. Конечно, они были уверены, что закончили с нами. Так должно было случиться... Более того, убегая, нападавшие разбросали зажигательные устройства, желая поджечь дом. Другого смысла не вижу.

— Вы считаете, затем, чтобы замести следы, дон Леон? — спросил полковник, стараясь голосом не выдать своих сомнений.

— Естественно! Но еще и затем, чтобы ликвидировать архивы. В Париже им удалось вскрыть сейф и уничтожить семьдесят шесть килограммов бумаг. Сейчас, более чем когда-либо, эти люди заинтересованы в уничтожении моих архивов. Все знают, и конечно же НКВД, что в настоящее время я работаю над биографией Сталина. Для этой работы я располагаю несравненными документами. Потому они и прихватили с собой бомбы!

Полковник слушал и думал: «Около двадцати человек, выпущено две с половиной сотни пуль, семьдесят три из них в спальне, а результатов никаких».

— Нас прежде всего беспокоила судьба Севы. Его похитили? Мы сразу бросились к нему. Оказалось, что и он не потерял хладнокровия. Проснувшись, как и мы, от выстрелов, он позвал на помощь, но тут же сообразил забраться под кровать, и там его лишь слегка задела одна пуля. Тут же нас окружили мои помощники и охранники. Мы обнаружили, что ни одна из дверей не была взломана. Возник вопрос: как могли эти люди оказаться внутри дома? Вскоре стало известно, что исчез Боб Шелдон. Нападавшие увели его силой.

— Вы подозреваете кого-либо, кто мог руководить этим покушением на вас, дон Леон? — спросил полковник.

— Как? Вы еще спрашиваете? У меня нет абсолютно

никакого сомнения! — взволнованно заявил хозяин дома. — Прошу вас на секунду, полковник.

Генерал Нуньес, убедившись, что Троцкий жив, откланялся и удалился, чтобы лично доложить президенту Мексики Ласаро Карденасу о покушении. Хозяин дома доверчиво положил руку на плечо полковника и провел его во двор, к клеткам кроликов. Там Троцкий огляделся и зашептал полицейскому:

— Организовал покушение Иосиф Сталин. Он действовал средствами НКВД. Сталин! Он зачинщик покушения. Разве вы не читали? Я совсем недавно писал, что авторы кампании против меня, раздуваемой в прессе, уже готовы сменить перья на пулеметы.

Полковника Санчеса Саласара охватили еще большие сомнения. Он ожидал услышать имя человека, который бы находился в поле деятельности полиции Мексики, а тут... Идея «самопокушения» после этих слов Троцкого казалась еще более реальной.

— Опросите местных сталинистов! Задержите наиболее видных из них, и вы очень скоро обнаружите исполнителей.

Полковник подумал: «Дон Леон желает направить меня по ложному пути. Нет, меня ему не сбить!» — и обратился с одним вопросом ко всем: начальнику внутренней охраны Гарольду Робинсу, секретарям и охранникам — немцу Отто Шуисслеру, англичанину Вальтеру Керлею и просто охранникам Чарлзу Корнеллу и Жаку Куперу.

— Кто нес охрану ворот и калитки в момент нападения?

— Роберт Шелдон Харт.

— И он исчез с нападавшими! Его увезли или он сам уехал?

Мнение всех, и прежде всего Троцкого, было единым: «Боб не мог быть соучастником покушавшихся!»

В доме, кроме упомянутых выше лиц, находилась повариха, служанка и садовник — все трое мексиканцы, а также гостившие Альфред и Маргерит Розмеры, давние — со времен, предшествующих первой мировой войне, — друзья семьи Троцких. Альфред Розмер, писатель и журналист, являлся одним из основателей Французской компартии и Коминтерна, а последние двадцать лет — одним из наиболее верных последователей Троцкого. Они с женой привезли с собой в Мексику Севу и вскоре собирались отправиться в Нью-Йорк.

— Почему никто из внутренней охраны даже не по-

пытался стать на защиту Троцкого? — спросил Санчес Саласар.

— Я только было собрался стрелять в нападавших, как после первой же очереди заклинило затвор ручного пулемета,— заявил Отто Шуисслер.

Остальные пояснили, что не успели, поскольку события развивались с необыкновенной быстротой, нападавших было много и их действия были четко организованы.

Полковник отвел в сторону своих ближайших помощников, заместителя Симона Эстраду и начальника управления агентами — офицерами секретной службы Хесуса Галиндо. Оба они думали одинаково, точно так же, как и Санчес Саласар. Полиция имела дело с хорошо организованной симуляцией вооруженного нападения.

К этому времени специалисты тщательно осмотрели все системы защиты дома и пришли к заключению, что опытный революционер, очевидно, хорошо знавший силу и возможности своих врагов, их методы и их ненависть к нему, учел все до мельчайших деталей в организации защиты, и это делало его дом действительно крепостью.

Отто Шуисслер, который по графику обязан был дежурить ночью вместе с Шелдоном, пояснил:

— Трудно сказать сейчас, как это произошло. Должно быть, Боб узнал или принял за друга дома того, кто звонил... Только сам Боб может пояснить.

— В четыре часа утра? В это время сеньор Троцкий принимает гостей? — спросил полковник.

— Отыщется Боб, он расскажет.

— У кого находились ключи от автомашин?

— Мы всегда оставляли их в авто. Специально, на случай опасности.

— Однако нападавшие сами не могли и не должны были знать этой подробности. Как могло прийти им в голову воспользоваться машинами именно «на случай опасности»?

Не получив ответа, полковник пообещал держать дона Леона Троцкого в курсе дальнейшего расследования дела и отправился к себе в офис.

Однако прежде Санчес Саласар разослал в разные стороны от дома, расположенного на улице Вена, своих людей на поиски улик.

Улица Вена... Дом Троцкого...

О наличии улицы, названной в честь столицы Австрии, в Койоакане, пригороде Мехико, тогда уже входившем «колонией» (районом) в черту города, я узнал чуть

более года спустя после приезда на работу в советское посольство.

Мы с третьим секретарем посольства Евгением Поповым направлялись в киностудию «Чурубуско», проскочили нужный поворот и петляли в поисках верной дороги. Помню, я свернул с улицы Лондона на улицу Морелоса и уже было проехал перекресток с улицей Берлин, как услышал истошный крик приятеля:

— Стоп! Назад! Скорее назад! Разворачивайся!

Не видя препятствия и какой-либо веской причины, я все же повиновался. Резко затормозив, я быстро подал назад и повел машину вверх по улице Берлин. Евгений Михайлович сидел сжавшись и молчал.

Проехав с квартал, я вопросительно поглядел на Попова. Он с трудом улыбнулся.

— Давай! Давай! — И еще через несколько секунд: — Мы чуть не вляпались! Понимаешь? Там впереди, на углу улицы Вена, дом Троцкого!

Еще не было XX съезда КПСС, я же был исправным советским гражданином, в достаточной степени вымуштрованным «порядками», бытовавшими в те времена в советских посольствах, поскольку имел четырехгодичный опыт работы в другой латиноамериканской стране. И все же!.. В душе зашевелилось то, что было запрятано, загнано вглубь... Оно запротестовало: «Какого черта? Это же дикий бред! Абсурд! Что, изменю Родине, случайно проехав мимо бывшего дома Троцкого? Дома, в котором он не живет уже пятнадцать лет. В чем дело?.. Правда, а отчего это я до сих пор даже не слышал ни от кого в посольстве о существовании дома Троцкого, столь опасного для гренадера, силача, доброго бражника, не трепетавшего даже перед послом, каким был Евгений Попов».

Но вернемся в кабинет начальника тайной полиции Мексики. Там очень скоро после возвращения его из дома Троцкого уже лежали на столе морская веревочная лестница с деревянными перекладинами, железная балка, ножницы для резки колючей проволоки, электрическая пила, инструмент, которым обычно пользуются мексиканские жулики для взлома дверей, маузеры, отобранные у наружных полицейских охранников, большое количество патронов 45-го калибра и целый диск от пулемета Томпсона.

Был обнаружен и брошенный «додж». В салоне его в беспорядке валялись одежда полицейских, два полных патронташа с патронами 38-го калибра и кинжал в нож-

нах. Версия Санчеса Саласара и его помощников была несколько поколеблена. Кто же были нападавшие? Действительно люди, направленные Сталиным, или, быть может, политические враги президента Карденаса? В стране проходила горячая предвыборная кампания. Полковник рассуждал, но не желал отказываться от первой версии.

— Похоже, нападавших действительно было не менее двадцати,— говорил он своим помощникам.— В таком случае разгадка наступит скоро. Однако настоящих подстрекателей и организаторов мы вряд ли отыщем. Если прав Троцкий, в этом случае мы имеем дело с НКВД, превосходно действующей организацией. Троцкий не желает слышать о соучастии Боба, а полицейские видели, что он убежал с ними. Его не увозили. Сержант, командовавший группой охранников, настаивает, что без участия кого-либо из своих в дом войти было совершенно невозможно. Он твердит одно и то же: почему Боб открыл двери, а потом и ворота, когда внутрь не пускают даже хорошо знакомых им полицейских? Да еще в четыре часа утра?

— И повариха утверждает, что видела, как Шуисслер, едва началась стрельба, выскочил из своей спальни в пижаме, с револьвером в руке. Она полагает, что потом он отсиделся на кухне. Почему не стрелял? — заметил Галиндо.

— Арестуйте Шуисслера и Корнелла, доставьте сюда,— неожиданно распорядился полковник и залпом осушил стакан воды с соком лимона.

Через час Корнелл объяснял, что он проснулся, хотел было взять оружие, но услышал, как кто-то сказал по-английски: «Спокойно, не высовывайся, и с тобой ничего не случится!» Затем Корнелл вспомнил, что накануне отдал свой револьвер Гарольду Робинсу — такое прежде часто случалось. Когда Корнелл хотел было выйти из комнаты, он услышал голос Гарольда: «Нагни голову! Они не должны тебя видеть!» Не обращая внимания на команду, Корнелл натянул на очень светлую пижаму темные брюки и рубаху, схватил винтовку и уже потянул на себя дверь, как услышал приказ Гарольда: «Не высовывайся, Чарлз! Боже мой! Нагни голову!»

Полковник понял, что этот приказ старшего товарища спас жизнь Корнелла. Однако, как только в поле зрения охранника показалась фигура неизвестного, он выстрелил, но промахнулся и тут же увидел, как из своей ком-

наты выскочил Отто Шуисслер.

— Корнелл, вам не кажется подозрительным исчезновение Боба? — спросил полковник. — Вы продолжаете верить, что он не виноват?

— Абсолютно! Пока не будет доказано, мы в это не поверим!

Тут полковнику доставили в кабинет новую важную информацию. Электрическую пилу в магазине «Наследники В. Клемента» приобрел хорошо одетый человек, подъезжавший к магазину на огромной черной машине с номерным знаком города Нью-Йорка. Это означало, что в деле подготовки, а возможно, и в нападении участвовали иностранцы.

На следующий день стало известно, что президент Карденас поддержал протест Троцкого против полиции, намеревавшейся обвинить в нападении известного художника Диего Риверу и арестовавшей Корнелла и Шуисслера. Последних пришлось отпустить. Тут же полковнику подали письмо от Троцкого, в котором тот возлагал ответственность за нападение на руководителя мексиканских профсоюзов Висенте Ломбардо Толедано и вождей Мексиканской компартии, проводивших до этого против Троцкого широкую кампанию в прессе. Письмо заканчивалось словами: «До настоящего момента я молчал, не желая мешать ходу расследования. Однако, видя направление, которое ему придется, я оставляю за собой право прибегнуть к помощи мексиканского и международного общественного мнения».

Троцкий знал, на какие пружины следовало нажимать. Пресса буйствовала, преподнося читателям разного рода сенсации, полные измышления, что серьезно мешало работе полиции.

Полковник отправился на встречу с Троцким и после нее полностью отказался от прежней своей версии «само-нападения». Однако печать, газеты и журналы, контролируемые МКП, раздували эту версию как могли. И полковник после встречи с Троцким вдруг ясно увидел в этом желание отвести от себя всякие подозрения.

Неделю спустя после нападения пострадавший направил прокурору республики пространное письмо. В нем Троцкий сообщал, что, отвечая на вопросы репортеров, он обращал особое внимание прокурора Мексики на причастность к делу Сталина, как на единственное ответственное за нападение лицо, однако эту часть его заявления кто-то преднамеренно изъяс. Далее Троцкий ставил

в известность прокурора о методах ГПУ, рассказывал, как, по его убеждению, был ликвидирован агентами целый ряд политических деятелей и бывших работников ГПУ, его сын Лев Львович Седов, просил в расследовании не сбрасывать со счетов и агентов гестапо — секретной полиции Гитлера, поскольку, по мнению Троцкого, она работала с ГПУ по методу сообщающихся сосудов. Известный политэмигрант обрушивался на Ломбардо Толедано и руководителей МКП и позволял себе думать, что им, «как и Давиду Альфаро Сикейросу, убежденному сталинисту, должна быть известна личность представителя ГПУ в Мексике». Одновременно Троцкий защищал арестованных полковником Санчесом Саласаром по подозрению в соучастии сержанта и с ним пяти полицейских-охранников, утверждая, что не верит в возможность их вербовки агентами ГПУ, «хотя эта организация, как никакая другая, располагает набором средств, чтобы любого уговорить, заставить, подкупить».

УЗНИК № 2 ТЮРЬМЫ «ЛЕКУМБЕРИ»

В пору моего пребывания в Мексике многие во время дружеских бесед заговаривали о Троцком и особенно о его убийце, отсиживавшем свой срок в тюрьме «Лекумбери». Бывало, и журналисты, надеясь на мою раскрепощенность, нетрадиционную для сотрудников посольства, с упорством, достойным лучших тореро, наваливались на меня, чаще в конце приемов или встреч с выпивкой. В основном их интересовало, кто в посольстве и каким образом передает крупные суммы денег заключенному № 2 главной тюрьмы страны. Тот, как и узник № 1 — известнейший гангстер, мастер разных темных и мокрых делишек, многие годы «снял» в тюрьме «Лекумбери» роскошный отдельный «номер» со всеми удобствами. Мягкая двуспальная кровать, собственная библиотека, радиоприемник и даже новинка — телевизор, особая кухня... и двухразовое в неделю посещение в «номере» при закрытом глазке жены — женщины, ставшей женой узника № 2 уже во время его пребывания в заключении. Все это, так считали мексиканские журналисты, «не могло быть без денег».

Постоянно отрицая возможность передачи денег в «Лекумбери» кем-либо из посольства, я сам, конечно же,

знал, что деньги попадали в руки владельца второго номера не с неба, как манна людям пророка Моисея...

Полковник Санчес Саласар в те дни с трудом мог работать. Большая часть его сил уходила на оборону. «Событие в Койоакане» всколыхнуло мировое общественное мнение, серьезное беспокойство начали проявлять и дипломаты. Троцкий же от слов перешел к делу. Он наводнял прессу сообщениями и заявлениями, претендуя на роль оракула и духовного руководителя расследования. Мексиканская компартия сделала официальное заявление с требованием к полиции должным образом вести дело и обвиняла в покушении на Троцкого местную реакцию, бывших владельцев экспроприированных нефтяных компаний и североамериканский империализм. МКП заявляла, что покушение на жизнь Троцкого — это провокация против Мексики, и требовала изгнания Троцкого из страны.

Усилия следствия не приносили желаемых результатов, работа шла впустую. Наконец, случайно, когда один из агентов, решив подкрепиться, зашел в бар, находившийся неподалеку от помещения тайной полиции, он там услышал разговор за соседним столиком. Говоривший сообщал собеседникам, что следователь района Такубайи совсем недавно предоставлял кому-то на время три комплекта полицейской формы. —

Агент выскочил из бара и помчался к шефу.

Буквально через полчаса следователь района Такубайи предстал перед полковником.

— Вы занимаете официальный пост и обязаны помогать правительству. Не верю, чтобы вам не было известно, зачем я вызвал вас сюда. Так что прошу рассказать мне всю правду! Если вы назовете мне имя человека, которому оказали услугу, даю вам честное слово, слово солдата, а не полицейского, я не причиню вам никакой неприятности.

— В это дело я оказался замешан против своей воли. Семнадцатого мая меня навестил приятель Луис Матео Мартинес и просил дать ему на время три комплекта полицейской формы. Он и его друзья узнали, что противники генерала Карденаса имеют склад оружия. Они хотели в этом убедиться, чтобы затем сообщить властям. Сначала я было согласился, но, к счастью, в тот день на месте не оказалось каптенармуса. Однако, подумав хорошенько, на следующей встрече я отказал моему приятелю в содействии.

— Вы хотите сказать, что не передали ему полицейской формы?

— Да, мой полковник! Теперь вижу, что я поступил правильно.

Уже через два часа полковник допрашивал учителя, члена МКП, который вопреки ожиданиям Санчеса Саласара не стал ничего скрывать. Луис Матео Мартинес тут же сообщил, что хотел заполучить полицейскую форму для Давида Серрано Андонегги, бывшего майора, участника войны в Испании.

В девять часов вечера полиция ворвалась в дом, где проживал Серрано Андонегги, арестовала его и прихватила с собой достаточное количество различных документов. По ним Серрано Андонегги являлся давним и активным членом МКП, входил в состав ее ЦК. Среди его бумаг был обнаружен конверт со штампом «Отель Мажестик», адресованный капитану Нестору Санчесу Эрнандесу, проживавшему на авениде Гватемала в доме № 54. Там полицейские агенты получили сведения о том, что Нестор Санчес Эрнандес, в прошлом капитан испанской республиканской армии, некоторое время назад проживал в этом доме вместе с другими испанскими эмигрантами. Полковнику стало ясно, что нападение на Троцкого совершили в основном участники недавней войны в Испании.

Агентов заинтересовал и другой адрес: улица Корреидора, дом № 101, где работал привратником и проживал дядя капитана Санчеса.

Полковник сам направился туда и быстро нашел оставленный племянником на хранение запертый на замок чемодан. В нем оказались комплект полицейской формы со значком 7-й роты, пистолет системы «Стар», находившийся на вооружении полиции и явно отобранный на улице Вена у наружных охранников.

Через два дня агенты, дежурившие круглые сутки у дома № 101, задержали и самого бывшего капитана. На допросе он не признал свою принадлежность к компартии.

— Тогда по какой причине вы приняли участие в нападении на Троцкого? — в лоб спросил полковник.

— По причине дружбы с Давидом Альфаро Сикейросом.

— Ага! Значит, и Давид Альфаро Сикейрос...

— Он был организатором и прямым руководителем. Мы познакомились с Давидом в Париже во время граж-

данской войны в Испании, а в конце апреля он предложил мне принять участие «в деле огромной важности».

— И вы станете утверждать, что не поинтересовались, о чем шла речь? — с ухмылкой спросил полковник.

— Да! Я сразу согласился. Во-первых, потому как имел революционное прошлое, во-вторых, — обожаю опасность и сильные ощущения. Конечно, вскоре я узнал, что речь шла о Троцком, что на карту поставлена его жизнь. Он ведь был заклятым контрреволюционером! Опасным! Врагом номер один русской революции, а значит, и мексиканской..

— Выходит, Сикейрос, а не иностранцы, руководил покушением?

— Я их не видел, однако думаю, что настоящие организаторы и руководители специально для этого приезжали в Мехико. Давид постоянно встречался со странными людьми, когда надо было что-либо решать. Сикейрос был инструментом в их руках.

Далее, ничего не утаивая, бывший капитан Санчес подробно рассказал о том, как готовилось нападение на дом Троцкого, что один из активных его участников, Антонио Пухоль, вошел в дом с ручным пулеметом в руках. Из признаний Санчеса полковник понял, что в группе мексиканцев и испанцев были еще и кубинцы, и люди, говорившие по-испански с акцентом.

— Вы утверждаете, что ворота дома тут же открылись. Кто их открыл?

— Теперь я знаю, это был Шелдон. По пути к дому в Койоакане Сикейрос еще раз заверил нас, что все получится самым лучшим образом, потому как один из «пистолеро» Троцкого заодно с нами. Позже я узнал: он говорил о Шелдоне. Я остался караулить разоруженных полицейских. Стрельба началась сразу, как только Сикейрос и остальные вошли во двор. Я подумал еще: «Зачем так сразу?» Стреляли всего несколько минут. Затем ворота распахнулись, и из них выехало два автомобиля. Из одного выскочил человек, похожий на француза или еврея, и приказал нам обоим сесть в машину. Ее вел Шелдон. Он все время требовал от дававшего ему указания «француза» говорить с ним по-английски. Этот «француз» за каждым углом заставлял нас по одному выходить из машины.

— Хорошо! Мне очень важно знать, насколько вы убеждены в соучастии Шелдона, — сказал полковник, и капитан с готовностью ответил:

— Я абсолютно в этом убежден! Нападение было совершено именно когда он дежурил. Он без звука впустил нападавших. Его, это точно, подкупил французский еврей. Сомнений нет, они были прежде знакомы. Чувствовалось, что они доверяют друг другу.

— А как звали этого, как вы говорите, французского еврея?

— Раз или два я слышал, как его называли Филиппом.

На следующий день во время тщательного осмотра комнаты Шелдона были обнаружены ключ от номера в гостинице «Европа», чемодан с московской наклейкой и ящик пива. Оказалось, ночь с 21 на 22 мая Шелдон провел в номере «Европы» с известной полицией проституткой. Она сообщила, что ее клиент был достаточно пьян и имел при себе крупную сумму денег. В показаниях одного из секретарей Троцкого значилось, что Шелдон, прибывший в дом Троцкого всего за полтора месяца до дня покушения, не раз получал доллары, поступавшие через «Американ Экспресс Травелерс», по адресу «Уэллс Фарго и К^о». Шелдон был рекомендован Троцкому его сторонниками в Нью-Йорке.

Вскоре после его исчезновения в Мехико прилетел отец Шелдона, как выяснилось, состоятельный человек, имевший на прилет одобрение руководителя ФБР мистера Гувера, с которым их связывала давняя дружба. Гувер сообщил отцу Шелдона, что, по мнению ФБР, главным дирижером нападения на Троцкого является некий Минк, прибывший в Мехико из Филадельфии, один из главных агентов ГПУ, прежде выполнявший ответственные задания в Испании, Японии и Соединенных Штатах.

Внимание полковника, однако, в большей степени привлекло заявление Джесси Х. Шелдона о том, что он никогда не делал денежных переводов сыну и что тот, уезжая из США, не сообщил отцу, что станет служить у Троцкого, «к которому, как мы знали, он никогда не испытывал симпатии, поскольку был сторонником Сталина, что подтверждается находкой большого портрета этого деятеля братьями Боба в его нью-йоркской квартире».

Через пару дней, после того как подозрения Санчеса Саласара в том, что Роберт Шелдон являлся соучастником покушения на Троцкого, получили солидное подкрепление, позвонили из тюрьмы «Лекумбери» и сообщили, что Нестор Санчес требует новой встречи с полковником...

— Я вызвал вас, потому что вспомнил... Это может очень вас заинтересовать,— начал Нестор Санчес и отхлебнул из чашечки глоток черного кофе, которым заключенных в тюрьме не баловали.— Дней за двадцать до нападения я по поручению Сикейроса посещал один из домов на улице Вена, где проживали будущие участники дела. Надо было узнать, не нуждается ли в чем шахтер из Остотипакильо. Он не был знаком с городом, не умел ни читать, ни писать. В разговоре со мной этот шахтер несколько раз упоминал селение Синко-Минас. В том доме я познакомился и с Мариано Эррерой, который жил за счет Сикейроса неподалеку от дома Троцкого. Так вот, в доме Эрреры меня однажды представили французскому еврею по имени Филипп. На прощание он заявил мне: «Я дам тебе номер телефона на случай, если потребуется срочно меня найти. Но запомни: я запрещаю тебе где-либо его записывать. Напрягись, заучи наизусть». Я вспомнил этот номер и хочу его вам сообщить.

Начальник тайной полиции глубоко вздохнул. «По-перло везение»,— подумал он и прямо из тюрьмы проехал на Центральную телефонную станцию. Получив там нужные сведения, Санчес Саласар не то что побледнел, его зашатало. Он понял, что знаменитый «французский еврей», духовный организатор и участник покушения на Троцкого, всего несколько дней назад практически был в руках полковника.

В тот вечер, когда Санчес Саласар по приказу президента республики освободил и сам доставил в дом Троцкого двух его секретарей, там с полковником говорила русская эмигрантка, которая сообщила, что в доме на улице Акаций, рядом с ее квартирой, последний месяц по ночам собираются неизвестные люди, притом в большом количестве. «Чем они там занимаются? В доме рядом с жилищем Льва Давыдовича?» — эмигрантка закончила свой рассказ вопросами, на которые полковнику и самому непременно хотелось поскорее получить ответ.

Санчес Саласар поручил Хесусу Галиндо установить наблюдение за этим домом, а сам вместе с одним агентом отправился в мастерскую Диего Риверы, расположенную в районе Сан-Анхель. У начальника тайной полиции Мексики было достаточно оснований подозревать Риверу как возможного организатора нападения. Однако тщательный обыск не дал никаких результатов, и полковник лично принес извинения известному художнику, совсем еще недавно бывшему ближайшим другом Троцкого.

Недовольный собою, полковник поехал на улицу Акаций и прежде всего решил поговорить с хозяйкой дома напротив. Когда Санчес Саласар уже нажал на кнопку звонка, к особняку, указанному русской эмигранткой, подкатил шикарный черный автомобиль. Сидевший за рулем поднял боковые стекла, вышел из машины, закрыл ее на ключ. Одет он был в дорогой костюм. Приехавший не спеша подошел к калитке, отпер ее, спокойно пересек садик и вошел в дом. Номер машины, как потом выяснилось, был нью-йоркский.

Тем временем сын хозяйки дома, куда вошел Санчес Саласар, рассказал полковнику о том, что знал о посетителях особняка напротив.

— Они гуляки! Кутят по ночам, а днем отсыпаются. Среди них есть американцы и кубинцы. Похоже, туристы. Скандалов не устраивают.

Полковник попросил разрешения позвонить и по телефону получил сведения, из которых вытекало, что владелец особняка — личный друг генерала Нуньеса, имевший удостоверение почетного майора полиции, — недавно сдал в аренду особняк за приличную сумму достойному приезжему коммерсанту.

Теперь полковник понял, что в тот вечер подъезжал на своей шикарной машине не кто иной, как «французский еврей».

Санчес Саласар сломя голову бросился в дом напротив. Однако дом уже был оставлен арендатором. Взломав дверь, полицейские обнаружили в качестве вещественного доказательства лишь нижнее белье, приобретенное в Париже, на бульваре Сен-Мишель. «Неужели, полковник, ты упустил самого Джорджа Минка?» — спросил себя Санчес Саласар и поехал в тюрьму. Там он внезапно вошел в камеру, где находился первый арестованный по делу Луис Матео Мартинес, который явно, как казалось полковнику, не все сказал, и рассерженным голосом произнес:

— Послушай, Матео, если ты сейчас не расскажешь мне все, что знаешь, я прикажу арестовать твою жену!

— Она не в курсе! — в полном страхе прокричал Матео.

— Должна знать! Она расскажет то, что ты пытаешься скрыть!

— Умоляю вас, полковник, не трогайте ее. Она не виновна. Я все вам сказал!

— Даю тебе два часа на размышление! — Полковник

с раздражением захлопнул дверь и отправился в другую камеру.

Не прошло и четверти часа, как Санчесу Саласару сообщили, что Матео перерезал себе вены. Призванным на помощь врачам с трудом удалось спасти его от смерти.

Между тем начальнику тайной полиции было необходимо как можно быстрее найти двух главных исполнителей несостоявшегося покушения на жизнь Троцкого: Давида Альфаро Сикейроса и Антонио Пухоля. Всем гражданским и военным властям республики был разослан строгий приказ в случае обнаружения немедленно задерживать упомянутых лиц.

Затем полковник отправился в дом к матери Антонио Пухоля. Она ничего не знала о местонахождении сына, но полковник обратил внимание на новенький чемодан среди прочего хлама. В нем оказались дорогое белье и предметы женского туалета, принадлежавшие, по словам матери Пухоля, североамериканской подруге сына. Отец также не дал каких-либо стоящих сведений. Раздосадованный неудачей, полковник уже спускался вниз по лестнице, когда два его агента подвели к нему провинциала в брюках наездника и шахтерских ботинках. Задержанный у входа в дом после долгих и настойчивых допросов назвал себя Мариано Эррерой Васкесом. Два года назад он оставил ряды МКП, по профессии был электриком и находился в незарегистрированном браке с Аной Лопес.

— Ана Лопес, ты сказал? А знаешь ли Хулию?

— Хулиа Баррадас Эрнандес, первая жена Давида Серрано Андонегги, подруга Аны. Я хорошо ее знаю.

Нити вновь потянулись в район, где жил Троцкий. Там, в небольшом домике, по поручению и на деньги Сикейроса подруги Ана и Хулиа открыли маленькую лавчонку. Хулиа тут же сделалась любовницей одного из десяти полицейских охранников дома Троцкого.

— Ана познакомила меня с французом, — рассказала Эррера Васкес. — Тот платил мне пять песо в день. От меня требовалось только, чтобы я каждое утро ровно в десять был на углу Тампико и авениды Чапультепек. На четвертый день ко мне там подошел Давид Альфаро Сикейрос. Он пообещал десятку в сутки. Мы поехали в Койоакан, на улицу Лондон, и там он поселил меня вместе с Луисом Матео Мартинесом. У нас появились хорошие деньги. Такая жизнь меня устраивала, тем более что я постоянно мог видеть Ану, имевшую лавку совсем рядом.

— А зачем Сикейрос все это делал? Он говорил тебе?

— Нет, но надо было быть полным идиотом, чтобы не догадаться. Все только и трещали кругом об этом. Троцкий был злейшим врагом Сталина и коммунизма... Коммунизм всех бедных должен сделать богатыми. Троцкого следовало убрать!

Мариано Эррера Васкес сообщил, что 17 мая Сикейрос приказал ему быть на знакомом углу улицы Тампико. Художник приехал туда вместе со своей женой Анхеликой Ареналь и Антонио Пухолем. Они купили раскладушку, спальные вещи, краски, кисти и поехали в деревушку Санта-Роса. Там он и Анхелика перенесли купленные вещи к домику, стоявшему в стороне и казавшемуся необитаемым. Анхелика тут же уехала, а Эррера вошел в дом и обнаружил в нем братьев Анхелики Луиса и Леопольдо Ареналей и еще двух неизвестных ему парней. Вскоре братья уехали, а оставшиеся четыре дня бездельничали, пили и отсыпались. 22 мая приехал Сикейрос, он привез деньги. На следующий день Эррера отпросился в город, там крепко выпил и к назначенному часу не вернулся, а в это время за ним приезжал Антонио Пухоль, чтобы забрать на дело. Опоздание Эрреры лишило его возможности принять участие в нападении на дом Троцкого. 25 мая в домике вновь появился Луис Ареналь. Он вручил Эррере семьдесят песо и сказал, что тот может проветриться. Он спешно поехал в дом к Ане и обнаружил, что лавочка закрыта. Тогда он помчался в дом к родителям Аны и там узнал о нападении на Троцкого.

Теперь полковнику предстояло немедленно найти и арестовать этих двух женщин. Тем временем газеты уже поливали полицию грязью. Дни шли, а ощутимых результатов не было — основные участники покушения гуляли на свободе. Одна из газет даже сообщила, что полковник Санчес Саласар снимается со своего поста. Скрипя зубами начальник тайной полиции читал эту заметку, когда на его столе затрещал телефон и агент обрадовал словами: «Мой полковник, Хулиа сидит в моей машине. Я нашел ее в районе Чурубуско». Полковник немедля отправился к месту, где находилась задержанная. У нее в сумочке, на оборотной стороне лотерейного билета, был обнаружен телефон квартиры, где скрывалась Ана Лопес.

Женщин допрашивали семьдесят два часа подряд. Семьдесят из них они упорно молчали, а потом... Тайная полиция Мексики теперь уже имела полную картину со-

вершенного покушения. Но где находились Шелдон, Сикейрос, Антонио Пухоль и Луис Ареналь?

Их еще следовало искать!

Все имевшиеся в распоряжении полиции адреса были проверены. Оставалось только разыскать домик неподалеку от деревушки Санта-Роса, где жил электрик Мариано Эррера Васкес, пассивный соучастник неудавшегося покушения на жизнь Троцкого. Начальник тайной полиции Мексики, полковник Санчес Саласар, прихватил с собой лучших агентов и отправился в сторону Десьерто-делос-Леонес. На 22-м километре по шоссе от города и метрах в пятистах от шоссе выше в горы стоял одинокий, заброшенный домик, известный в округе как Ранчо-де-Тланинилапа.

Дверь домика была заперта, но это не явилось препятствием для полицейских. Первое, что они увидели, — повсюду разбросанные газеты. Свежие, вышедшие после 24 мая 1940 года. Стало ясно, что некоторые из нападавших на дом Троцкого затем скрывались здесь, и, как всякие преступники, хотели знать, что о них сообщает пресса.

В спальне на новой раскладушке лежал матрац, странным образом изрезанный бритвой или острым ножом в изголовье. В соседней комнате оказался мольберт с чистым холстом, рядом на полу лежали нетронутые кисти и краски в тубиках. Валялось множество окурков американских сигарет, пустой пакет «Лаки» и гильзы от оружия 22-го мелкого калибра. В углу — тюфяк, так же странно изрезанный с одного края. В этой комнате, как и в спальне, пол густо посыпан известью.

Несколько ниже по склону, во дворе за домиком, были сарай и кухня с земляным полом. В одном из ее углов земля показалась рыхлой. Едва начали копать, стало ясно — земля еще не слежалась. На глубине локтя она оказалась смешанной с известью, из ямы потянуло смрадом.

За окнами спустилась ночь, пошел дождь. Полковник остановил копавшего. Следовало пригласить к месту обнаружения трупа представителей судебных властей. Они прибыли в полночь. Вошедшие в кухню натянули противогазы, пожарники начали работать.

Когда труп извлекли из ямы, Санчес Саласар отрезал клочок волос, вышел под продолжавший хлестать проливной дождь и промыл волос в луже. Подозрения подтвердились, волосы имели рыжий оттенок.

— Вот и Боб Шелдон! — сокрушенно сообщил пол-

ковник. Преступники хотели, чтобы известь быстрее уничтожила труп.

Тщательный осмотр находки и повторное исследование комнат позволили полицейским и судебным властям сделать вывод: Роберт Шелдон Харт убит во время сна. Последующее вскрытие трупа показало, что смерть наступила от двух выстрелов в голову из мелкокалиберного оружия. Одна пуля застряла в черепе.

— ...Стрелял не я! — сказал Давид Альфаро Сикейрос почти без эмоций. Было неясно, он осуждал или сожалел. И только после паузы: — Все это произошло без меня. Я не причастен. Но так было надо! Таков был приказ, а все мы были солдатами.

— Чьими, Давид? — спросил я тогда и сам удивился вопросу.

Сикейрос немного помедлил, поглядел на Анхелику Ареналь, сидящую рядом, и ответил просто:

— Революции! Твоей революции...

Я кивнул головой и продолжая слушать; в моем сознании «революция» каким-то необъяснимым чудом — не иначе — спокойно укладывалась рядом с преступлением. И все же что-то мешало мне до конца поверить в искренность его слов. Он был «майором». Мог он не знать, что брат его жены Луис Ареналь выпустил в спавшего Шелдона, только-только сделавшего важное дело для «революции», две смертельные пули?..

Ровно месяц и один день прошли со дня покушения на Троцкого. Так же лил дождь, и машина полковника, обдавая тротуары брызгами и жидкой грязью, подъехала к дому, который стал за это время еще более неприступной для нападения крепостью.

Теперь ворота были бронированными, над углами стен поднялись кирпичные башенки с бойницами. Санчес Саласар посигналил автомобильным рожком, и тут же луч прожектора облил светом машину полковника. Он вышел и подал условный сигнал, калитка приоткрылась, но в нее человек мог войти лишь после того, как дежуривший в башенке нажмет на вторую электрическую кнопку. В воротах показался Шуисслер с оружием в руках.

— Доброе утро, Отто.— И полковник прошел во двор.— Мне необходимо переговорить с доном Леоном. Нами обнаружен труп Боба Шелдона.

— Как! — воскликнул Шуисслер.— Не понимаю! Где? Да вы проходите, проходите! Гарольд! Гарольд! Иди сюда немедленно!

Полковник извлек из кармана клочок волос и показал их Отто.

— Его! — ахнул Шуисслер. — Боже мой! Его! Что ж это происходит, полковник? Где он?

Подошел Гарольд Робинс, начальник охраны, и у него не было сомнений. Гарольд отправился в спальню Троцкого. Однако тот, приняв снотворное, крепко спал, и ни охранники, ни Наталья Ивановна не стали его беспокоить.

Полковник пригласил Отто Шуисслера проехать с ним, чтобы опознать труп. Когда машина приближалась к деревушке Санта-Роса, начался рассвет. Солнце мгновенно выкатывалось из-за горной цепи, обрамляющей плодородную высокогорную долину, и все вокруг начало сиять.

...Но теперь Отто не до красок рассвета.

Приложив платок к носу и поглядев на труп, Отто с трудом выдавливает из себя:

— Да, это Боб...

Когда труп доставили в полицейский участок, солнце уже давно рассталось с горами. Прибыл генерал Нуньес, стал отвечать на вопросы обступивших его журналистов. На улице толпился народ. Вскоре во дворе послышались возгласы:

— Троцкий! Приехал Троцкий!

Приблизившись к трупу своего бывшего секретаря, Троцкий долго не мог оторвать от него взгляда. Глаза человека, прошедшего огонь и воду и медные трубы, наполнились слезами...

Пишу и вновь вспоминаю... Образ стального современного Гая Юлия Цезаря. Он сложился в детские годы из рассказов отца. Окончив в 1918 году медфак Киевского университета, отец добровольно пошел в ряды Красной Армии. Вскоре стал ординатором военного госпиталя, стоявшего в Витебске, а возможно, и в Орше, это не очень точно запомнилось. В том же городе находился и штаб Западного фронта гражданской войны. Отец нес ночное дежурство, когда к зданию, занимаемому госпиталем, лихо подкатила тачанка, и из нее выскочил молодой, по всему видно не знавший препятствий, красный командир. Им оказался порученец наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого.

— Где тут у вас наркотики? — походя представившись, спросил порученец.

— Это на какой предмет? — поинтересовался дежур-

ный врач и подошел ближе к столу, где в одном из ящиков лежал его револьвер.

— Не задавайте вопросов! Нужна срочно порция морфия.

— Вы не ответили, по какой причине и кому понадобилась доза морфина.

После возникшего недолгого препирательства порученец сдался и заявил:

— Самому Троцкому!

— Не положено!

— Как это так? Ему не положено? — возмутился порученец, положил руку на кобуру. Дежурный врач тут же отодвинул ящик своего стола.

— А вот так! Я могу выдать наркотик из аптеки госпиталя только по личному разрешению моего непосредственного начальника, главного врача.— И, увидев неопишное удивление на лице порученца наркома, продолжил: — Даже если на вашем месте сейчас стоял бы сам нарком...

Порученец кричал, угрожал расправой, но в конце концов был вынужден соединиться по телефону со штабом фронта, а затем разыскать жившего неподалеку главного врача госпиталя.

Отец мой получил разрешение начальника и приказ доставить дозу морфина в порошке по назначению.

В просторной комнате штаба фронта нарком в присутствии командующего Тухачевского, члена РВС Уншлихта и начальника штаба, пощипывая свою бородку, диктовал письма сразу трем машинисткам и то и дело давал указания адъютанту.

Врач увидел глаза больного и чрезвычайно уставшего человека. Нарком не обратил внимания на вновь вошедшего, и тот терпеливо, с порошком в руке и стаканом воды в другой, стоял несколько минут в ожидании.

Машинки стучали, фразы наркома, хоть и произносились севшим голосом, были отточенными, содержали четкие разъяснения и категорические, ясные приказы. Вошел телеграфист с лентой, подал ее наркому. Троцкий пробежал глазами по тексту, метнул рукой в сторону одной из машинисток, продиктовал ей несколько фраз, попросил заменить ими прежнюю концовку письма. Додиктовал второй машинистке и тут же отдал приказ начальнику штаба фронта.

— Вы согласны, Михаил Николаевич? — спросил Троцкий командующего.

— Возражений нет. Но откуда вам, Лев Давыдович, известно, что в стыке этих двух армий дыра?

— А бывает иначе? Завтра начнем, а противник через нее пойдет к нам в тыл. А вы кто? — Нарком обратился к отцу.

— Врач из госпиталя. Вы просили, — пояснил Тухачевский.

— А! Давайте! Извините, доктор, дело требует. — И, допив стакан до дна, тут же забыл о враче.

— Он был наркоманом, что ли? — спросил я тогда, будучи хорошо наслышан в доме о том, кто такие наркоманы.

— Нет! Человеком, валившимся с ног, которому в ту ночь еще предстояло принять окончательный план начала наступления на белополяков по всему Западному фронту...

Генерал Нуньес изъявил желание отвезти Троцкого в своей машине, тот согласился и протянул генералу газету «Эль Популяр» за 20 июня, где было опубликовано заявление МКП и говорилось, что ни один из арестованных по делу не является членом МКП, что главный виновник нападения на Троцкого — Шелдон Харт и что все это «дело» — выдумки провокаторов-троцкистов.

Через неделю на стене флигеля, где обычно находились дежурные секретари и охранники, Троцкий повесил чугунную доску, на которой были отлиты имя, фамилия, годы жизни погибшего и слова, объявлявшие Роберта Шелдона Харта жертвой Сталина. Эта доска находится на том месте и по сей день...

Полковник занялся розыском убийц Шелдона. Следовало дать точный ответ на вопрос: Шелдон соучастник или жертва?

Когда обнаружили труп, полковник уже знал, что владельцем домика в Санта-Роса был столичный инженер Даниэль Р. Бенитес, постоянно проживающий в Мехико.

Вечером инженер Бенитес давал показания в Главном управлении полиции.

Как-то в начале мая он довольно поздно возвращался домой. Навстречу ему из автомашины марки «паккард» с нью-йоркским номером шагнул эlegantный незнакомец.

— Хочу арендовать у вас домик в деревне Санта-Роса. Вы ведь его хозяин? Всего на три месяца. Я художник...

Они сошлись на 45 песо, и арендатор обещал подгото-

вить необходимую расписку, однако хозяин больше его никогда не видел.

Полковнику было ясно, что арендатором мог быть один из троих: Давид Альфаро Сикейрос, Луис Ареналь или Антонио Пухоль.

...По просьбе защитника Серрано Андонегги и Луиса Матео Мартинеса 2 июня состоялась встреча с Троцким, его адвокатом Антонио Франко Ригальтом, Натальей Седовой и секретарями-охранниками. Разговор, при котором присутствовали судьи первой инстанции района Койоакан, представитель прокурора и журналисты, занял более трех часов.

Интересны ответы Троцкого на вопросы защитника.

— С каких пор вы начали опасаться нападения на ваш дом?

— По-настоящему я готов был к нему два года назад, сразу как только приехал. Однако, начиная с января, а то и с прошлого декабря, я ожидал нападения с большей уверенностью. Я разоблачил захват Россией Польши и части Финляндии, вскрыл и обнародовал причину союза Москвы с Гитлером. Эти мои заявления вызвали шок. Последний съезд Мексиканской компартии проходил под девизом борьбы с Львом Троцким, с троцкизмом. Призывом съезда было: «Смерть Троцкому!»

— Вы считаете, что Шелдон был верен вам до последнего дня?

— Шелдон Харт... Я абсолютно уверен, что Роберт Шелдон до конца был верен своим идеям, а значит, и мне, и стал жертвой именно этой верности. Если бы здесь я мог изложить свои соображения более подробно, я бы указал на ряд ошибок, допущенных теми, кто вел расследование. Несмотря на то что генерал Нуньес и полковник Санчес Саласар энергичные и знающие дело люди, они следовали ложной гипотезе.

Заявление Троцкого вызвало бурную реакцию генерала и полковника. Саласар тут же, как прочел это заявление Троцкого в газете, направился в тюрьму заново допросить Мариано Эрреру Васкеса.

Полковник не сомневался в том, что Шелдон являлся соучастником. Однако почему он был убит?

На этот вопрос могли ответить Сикейрос и братья Аренали. Однако их поиск был затруднен двумя серьезными причинами. В связи с предвыборной кампанией в стране шла острая политическая борьба, а 20 августа 1940 года был убит Л. Д. Троцкий. Только закончив рас-

следование убийства и освободившись от дел, связанных с внутренней политикой,— президентом был избран генерал Авила Камачо и члены нового состава Конгресса заняли свои места,— полковник Санчес Саласар мог вернуться к поискам наиболее активных участников майского покушения на Троцкого.

К этому времени полиция знала, что Леопольдо Ареналя скрылся на Кубе, а Луиса видели в Нью-Йорке. Было известно и то, что жена Луиса Ареналя, узнав об этом, отправилась вместе с детьми в США. Она посетила консульство СССР в Лос-Анджелесе, и след ее пропал. Полиция полагала, что семья Л. Ареналя была направлена на жительство в СССР.

Где же находился Давид Альфаро Сикейрос?

Еще 15 июня Троцкий писал полковнику Санчесу Саласару: «Газеты утверждают, что братья Аренали и Сикейрос находятся в Мансанильо. Я твердо знаю, что в ближайшие дни в порт войдет советский пароход. Якобы за металлом для Японии. Скорее всего, на самом деле этот корабль прибудет, чтобы вывезти Сикейроса, Ареналей и других агентов ГПУ».

Все пароходы, город и местность вокруг были осмотрены, но безрезультатно.

Между тем Сикейрос посылал в газеты и журналы статьи с резкой критикой в адрес правительства, и один из журналов даже опубликовал интервью своего корреспондента с художником, поместив серию свежих фотографий.

Полковник нервничал, пока наконец из Гвадалахары, столицы Халиско, не поступили сведения, что Сикейроса и его жену следует искать в Осто, так сокращенно мексиканцы называют город Остотипакильо.

В конце сентября, заверив генерала Нуньеса, что он не возвратится в Мехико, пока не обнаружит Сикейроса, полковник и шесть его агентов отправились в Осто.

Два лучших агента под видом продавцов кукол исколесили Осто, но ничего интересного не обнаружили. Тогда наиболее смысленный из агентов пошел в церковь и в исповедальне поведал священнику о своей тяжелой жизни. Сообщил, что собирается уехать в горы, однако там партизанят коммунисты — заклятые враги религии, под предводительством некоего Сикейроса, и верующий боится встречи с ним. Священник подтвердил сомнения исповедовавшегося: он тоже слышал, что Сикейрос находится поблизости в горах, и его следует опасаться, так

как он пользуется покровительством муниципальных властей.

Полковник должен был действовать быстро и точно и остановил свой выбор на давно не работающем в шахте, страдающем силикозом Кристобале Родригесе Кастильо, с которым Сикейрос еще в 1926 году вместе создавал шахтерский профсоюз в Синко-Минас. Придя в дом к Родригесу Кастильо и оставшись наедине с ним, полковник без обиняков заявил:

— Вы серьезно больны. Вам необходимы отдых, уход и лечение. Тюрьма для вас — верная смерть и несчастье для семьи. Я понимаю и разделяю ваши чувства друга и соратника по партии. Однако так сложилась ваша судьба, вам сейчас предстоит выбирать. Помочь правосудию и сохранить себе жизнь или выдать полиции друга. Иного вам не дано!

После двухчасового разговора, утомленный и измученный, старый шахтер произнес:

— Поезжайте в Ранчо-де-сан-Бласито... у подножия горы...

Сикейрос, обросший до неузнаваемости и в грязной одежде, был обнаружен спавшим на тюфяке прямо в зарослях и задержан. При нем оказалось портмоне, в нем 1600 песо и 100 долларов, охотничий нож, авторучка, тюбик зубной пасты, флакон бриллиантина и несколько маисовых лепешек в походной сумке.

Увидев полковника, Сикейрос явно занервничал, побледнел и стал утверждать, что он ни от кого не скрывается, себя виновным не считает и что никакого участия в нападении на Троцкого не принимал...

Теперь предоставим слово самому Сикейросу — его рассказ я записал сразу, как только услышал.

— Обнаружили меня в горах у Ранчо-де-сан-Бласито солдаты четвертого армейского батальона, которыми командовал знакомый полковник Хесус Очоа Чавес. Я спал в лесу. Солдаты связали меня и бросили в яму, чтобы местные шахтеры не отбили. Начальник тайной полиции Мексики полковник Санчес Саласар прибыл во главе бригады в шестьдесят агентов. Увидев, в каком я нахожусь состоянии, полковник тут же приказал: «Немедленно развяжите пленного! Сеньор Сикейрос преступник и должен ответить по закону, но он и ветеран революции, служил в рядах славной армии Обрегона. Командир вашей части полковник Хесус Очоа Чавес его друг. Кроме того, сеньор Сикейрос великий художник, он слава нашей ро-

дины. Сикейрос не пленник, он ваш командир!»

— В таком случае, полковник, разрешите солдатам разойтись,— предложил я, и все присутствующие рассмеялись, а затем мы сели по машинам, а жители селения принялись меня приветствовать: «Да здравствует Сикейрос! Ура товарищу Сикейросу!».

Мы отправились в Осто, где в здании муниципалитета уже были накрыты столы. Санчес Саласар, агент, который руководил моим задержанием и хвастался всем, что совершил геройский поступок в день своего рождения, алькальд, представители местной власти уселись за столы, и началось угощение. Все норовили пожать мне руку, сняться со мной на память.

Застолье продолжалось до поздней ночи. Произносились тосты за здоровье Карденаса, нового президента Авилы Камачо, начальника тайной полиции, мое. Потом все в муниципалитете устроились на ночлег. До самого утра под окнами местные музыканты пели для меня революционные песни...

Так все было или иначе, но в итоге следствия прокуратура и судебные власти предъявили Сикейросу и его сообщникам обвинения в девяти преступлениях: убийство Роберта Шелдона, попытка убийства Троцкого, создание группы в преступных целях, стрельба из огнестрельного оружия, присвоение полномочий полицейских и армейских офицеров, незаконное ношение военной и полицейской одежды, похищение двух автомобилей, нападение на чужое жилище, нанесение ему материального ущерба. Любое из этих преступлений предусматривает серьезное наказание, Сикейрос сумел его избежать.

Через год он добился разрешения выйти на свободу под залог.

Однако прежде, думается мне, надо рассказать читателю об одном эпизоде из биографии Сикейроса, как поведал его Давид.

— Как-то,— я уже было загрустил: год в тюрьме,— в камеру ко мне входит ее начальник и сообщает, что он получил приказ доставить меня в одно место за пределами тюрьмы. Мы были друзьями еще со времен революции, и я поехал, не беспокоясь, что таким образом власти могут разделаться со мной классическим способом: «при попытке к бегству». Я совсем успокоился, когда у выхода из тюрьмы увидел генерального прокурора и группу полицейских агентов. Мы сели в машину и скоро подъехали к загородной резиденции президента Мексики.

Я чуть не спятил, когда президент встретил меня на пороге дома словами:

— Мне доставляет большое удовольствие приветствовать вас! Как вы поживаете?

Тут уж я пришел в себя и подумал: «Какого черта спрашивать меня об этом и держать в тюрьме?» А президент задал очередной вопрос, еще более странный:

— Вы не помните меня, сеньор Сикейрос?

— Я вас не помню, сеньор президент? — сбитый с толку, я ответил вопросом.

— Нет! Конечно, вы меня не помните, а ведь мы с вами вместе спали.

Вот тут я снова опешил. Мексиканцу услышать такое! Потом, однако, оказалось, что во время революции, перед решающим сражением за город Гвадалахару, моя часть стояла на постое у асьенды «Кастильо». На дворе лил сильный дождь, а я и мои бойцы вповалку дрыхли в индейской хижине. Среди ночи в хижину вошел промокший до костей молоденький лейтенант и пожелал устроиться, чтобы обсохнуть и отдохнуть. Мои солдаты принялись прогонять лейтенанта, а я пригласил его на мою походную соломенную подстилку. Он был страшно рад! А теперь он — президент страны. Когда генерал Авила Камачо закончил рассказ, он сделал серьезное лицо и заявил:

— А сейчас перейдем к делу! Я предлагаю вам временно покинуть страну и отправиться в Чили. Там вы сможете заниматься живописью. С чилийским правительством мы договорились. Завтра вы с женой и дочерью на самолете вылетаете в Гавану. Там получите билет до Сантьяго. Не считайте это изгнанием. Примите как меру, предназначенную обезопасить вашу жизнь.

Это, конечно же, было куда лучше, чем предстать перед судом. Я тут же согласился, но сказал, что меня собираются отпустить под залог и десять тысяч песо уже внесены. Президент заверил, что эта сумма будет возвращена, а стоимость билетов оплатит государство. Я улетел. Было много разных приключений, но три года я прожил в чилийском городе Чильяне.

В июне 1957 года Давид Альфаро Сикейрос сделал мне очень неожиданное признание... Но прежде должен объяснить читателю ситуацию, в которой я тогда оказался.

В то время, в мае и в июне, Народный антикоммунистический фронт Мексики использовал страницы ряда столичных газет для открытых нападок на меня, требуя

высылки из страны как персоны нон грата.

Так, 18 мая солидная газета «Эксельсиор» писала о студенческих беспорядках в городе Гвадалахаре, упоминала имена тех, кто будто бы их затеял, и сообщала читателям: «Однако за их спинами стоят два человека, почти никому не известные: Юрий Папоров и Николай Трофимов, оба атташе Посольства СССР в Мексике. В действительности же они являются агентами МИДа, то есть контрразведывательной советской организации».

Противник был слаб, коль скоро во имя преследуемой им цели валил в кучу все, о чем имел смутное представление.

Другая, не менее популярная «Новедадес» 20 мая сообщила: «...мы располагаем неопровержимыми сведениями о том, что Юрий Папоров на протяжении января, февраля и марта месяцев несколько раз бывал в Гвадалахаре... и теперь приезжал в апреле, когда начались беспорядки, в результате которых пролилась кровь местных студентов».

Все в посольстве знали, что в Гвадалахаре с лекцией я выступал год назад, и последнее время там не бывал и никакого отношения к студенческим волнениям не имел. Между тем в той ситуации мне следовало чаще бывать на людях, но теперь уже не одному. И вскоре к неприятному ощущению от пребывания под обстрелом прибавилось чувство горечи. Вчерашние друзья и единомышленники «стеснялись» теперь выходить со мною вместе за пределы посольства.

Вот такая была обстановка в Мексике, когда мой хороший знакомый Давид Альфаро Сикейрос тайно, через свою жену, совершенно неожиданно назначил мне встречу.

Мне позвонила знакомая журналистка и сообщила, что со мной срочно хочет свидеться жена Сикейроса. Это известие вызвало у меня недоумение: мы с Сикейросом договорились провести вместе предстоящую субботу, съездить за город. В чем смысл поспешного и столь тайного свидания?

В доме журналистки меня ждала Анхелика Ареналь. Она тут же усадила меня в свой автомобиль и повезла какими-то неведомыми прежде улочками в кафе, где нас ждал Давид.

Когда мы вошли в помещение, он стоял у огромного окна, укрывшись шторой, и внимательно глядел на улицу. Указав нам рукой на занятый им столик, Давид еще ми-

нугу-другую явно убеждался в том, не привезли ли мы за собой «хвоста».

Меня эта ситуация несколько начинала волновать, а когда Давид пошел ко мне с раскинутыми руками для объятия, совершенно не так, как он это делал прежде, я понял, что сейчас произойдет что-то важное.

— Наконец! Я ждал этого момента столько лет! — взволнованно и страстно, как умел это делать Давид Альфаро Сикейрос, заговорил он. — Вся наша группа в порядке! Мы можем начать действовать хоть завтра!

Признаюсь, я с трудом не потерял контроля над собой, а Сикейрос продолжал:

— Мы покажем этим писакам! У нас есть силы зажать им рот! Наконец-то, Юрий, наконец! Давай указания!

Я собрался с духом. Следовало немедленно остановить Сикейроса, а то он наговорит такое, что мне потом будет не просто справиться с грузом, наваленным им на меня.

— Давид! О чем ты? Прости, но я тебя совершенно не понимаю. Что такое ты говоришь? — Для вящей убедительности я сделал испуганное лицо и в недоумении развел руками.

— То есть как? — с искренним удивлением спросил Сикейрос и, обмякнув, опустился на стул.

— Просто не понимаю тебя, Давид. Погоди... или... Ты что, всерьез принял газетные публикации? Ну, знаешь! — Я уже обрел спокойствие. — Кто-либо другой, но не ты мог попасться на эту удочку.

— Не ври! — Сикейрос не хотел поверить в ошибку. — Неужели? Юрий, прошло столько лет. После смерти Троцкого все связи потеряны, и я никак не могу их найти.

— Давид, дорогой, в этом, поверь, и я не смогу тебе помочь. Извини! Однако вот ведь как действуют на людей платные публикации. Над этим надо задуматься. — И далее я постарался перевести разговор на другую тему.

Однако Сикейрос не сдавался, и тогда я попросил его рассказать мне, как было им организовано и совершено покушение на Троцкого. Это до конца остудило заговорщика, потому как он поведал мне без деталей известную из прессы версию, изложенную им во время следствия.

Новым в рассказе сквозила открытая неприязнь к Диего Ривере, который благодаря моим стараниям несколько месяцев провел в Москве, после того как его кожное

раковое заболевание отказались лечить американские врачи.

Соперничество двух крупных художников и двух очень своеобразных людей продолжалось...

На прощание я сказал:

— Прощу тебя, Давид, выбрось из головы. В этом деле я тебе не помощник.

Подобным заявлением я лишил себя возможности провести ближайшую субботу в компании Сикейроса. На следующий день в посольство позвонила Анхелика и с извинениями сообщила, что Давиду нужно срочно выехать на несколько дней в другой город.

Я долго не размышлял. Тут же набрал номер телефона Диего Риверы и договорился провести освободившуюся субботу вместе с ним.

Мне было интересно, что скажет по поводу казуса, случившегося между мной и Сикейросом, этот человек.

Весь вечер пятницы я провел в университетской библиотеке. Я намеревался совершить «преступление» почище случайного проезда на машине мимо бывшего дома Троцкого. Правда, в тот вечер мне уже было известно, что там продолжала жить вдова, и появление поблизости машины с номерным знаком советского посольства могло быть истолковано как факт готовящегося на нее покушения.

В библиотеке я впервые держал в руках дюжину «подрывных», «контрреволюционных», «антисоветских» книг, необходимых мне, чтобы на следующий день, в субботу, быть подкованным в разговоре с Диего Риверой о причине приезда Троцкого в Мексику.

В общении с Риверой всегда следовало помнить слова, сказанные им Маяковскому во время пребывания поэта в Мексике: «Имейте в виду, и моя жена это подтвердит, что половину из всего сказанного я привираю».

Я увлекся чтением и... мгновенно покрылся холодным потом, когда на мое плечо легла чья-то рука. Это был мой друг известный поэт Эфраин Уэрта. Он, увидев книги, лежавшие на моем столе, тут же вывел меня в коридор и рассказал «историю, которую тебе никто не расскажет», — о романе Фриды Кало и Льва Троцкого. Фрида Кало, весьма своеобразная художница, была в конце тридцатых годов женой Диего Риверы.

К закрытию библиотеки я уже знал, что в августе 1936 года Троцкий, находясь в Норвегии, сразу, как только отправил в издательство рукопись книги «Что такое

СССР и куда он идет?» (более известной на Западе под названием «Преданная революция»), вместе со своим другом Конрадом Кнудсеном поехал отдохнуть к нему на небольшой островок. И буквально следующей же ночью группа переодетых в полицейскую форму сторонников Видкуна Квислинга (организатора и лидера фашистской партии Норвегии, оказавшей в будущем активное содействие захвату страны Гитлером) ворвалась в дом Кнудсена. Однако дочь норвежского коммуниста сумела не допустить нападавших в комнату, где работал Троцкий. Эта смелая женщина подняла на ноги соседей, и штурмовики вынуждены были бежать. Троцкому стало ясно, что в этом случае нападавшие не стремились разделаться с ним, а лишь искали доказательства участия Троцкого в политической жизни Норвегии, что нарушало условие его пребывания в этой стране и могло быть использовано как предлог для его изгнания. Для них, норвежских фашистов, Троцкий тоже был врагом.

Там, на заброшенном островке, Кнудсен 15 августа услышал по радио сообщение, что в Москве должны предстать перед судом Зиновьев, Каменев и еще 14 человек, планировавших убийство Сталина, и что Норвегия объявляется страной, откуда Троцкий руководил заговорщицкой организацией и посылал убийц к вождю народов.

Троцкий немедленно направил в прессу заявление, что Сталин «намерен устроить фарс, которого не знала мировая история», и готовит судебный процесс с целью подавить недовольство его политикой. Троцкий впервые громко, на весь мир заявил: «Созданная Сталиным партийная бюрократия считает любую критику и любую форму оппозиции заговором против режима».

На следующий день после окончания процесса в Москве, 26 августа, дом Кнудсена посетили два полицейских чина высокого ранга, заявили Троцкому, что он нарушил данное им прежде обещание, и просили его подписать обязательство впредь не вмешиваться, прямо или косвенно, устно или письменно, в текущую политику Норвегии и других стран. Полицейские прибыли по указанию Трюгве Ли, министра юстиции и полиции, исполнявшего в то время и обязанности министра иностранных дел. Троцкий отнесся к этому требованию как к издевательству. Как мог молчать он, которого только что объявили сообщником Гитлера? И кто? Сталин! Молчание Троцкого, совершенно естественно, общественное мировое мне-

ние сочтет за признание обвинений.

Троцкий не понимал разительной перемены в позиции руководителей Норвегии. Вчерашние друзья, гордившиеся тем, что они предоставили убежище Троцкому, теперь от него отворачивались. Троцкий отказался подписывать предложенную ему бумагу и выставил за дверь полицейских чинов. Наутро он был подвергнут домашнему аресту, а вскоре узнал, что посол СССР в Норвегии Якубович 29 августа вручил правительству Осло ноту с требованием высылки Троцкого, который использует Норвегию как плацдарм для враждебной деятельности. СССР угрожал прекратить покупку у Норвегии селедки. Правительство боялось разрыва отношений прежде всего потому, что на носу были выборы и осложнение в торговле с СССР обязательно привело бы к проигрышу тех, кто являлся в те дни руководителем Норвегии.

Одновременно было оказано сильное давление на членов правительства со стороны рыбопромышленников и пароходных магнатов, утверждавших, что в период экономического застоя и безработицы разрыв торговли с СССР может привести к краху экономики страны. Под давлением большинства Трюгве Ли и другие министры предложили даже арестовать Троцкого.

В те дни в Осло проходил суд над сторонниками Квислинга, нападшими на жилище Троцкого. Подсудимые, имевшие на руках копию статьи Троцкого «Французская революция началась» (единственный документ, который им удалось похитить в день нападения), утверждали, что ее автор обрушивался с критикой на Народный фронт и правительство Леона Блюма, лидера Французской социалистической партии, если не прямо, то косвенно солидаризируясь с немецким фашизмом.

— Разве это не враждебные действия, направленные против дружественного нам правительства? — спрашивал один из сидевших на скамье подсудимых.

В результате Троцкий, вызванный в суд в качестве свидетеля, оказался обвиняемым. Судья постановил, что Троцкий нарушил данное им прежде обещание, и вынес решение немедленно удалить его из зала суда. На улице Троцкого ждали полицейские. Они доставили его в кабинет Трюгве Ли. Министр в присутствии своих помощников потребовал от Троцкого, как единственное условие его дальнейшего пребывания в Норвегии, немедленно подписать следующую декларацию: «Я, Лев Троцкий, заявляю, что я, моя жена и мои секретари не станем зани-

маться никакой политической деятельностью, направленной против дружественных Норвегии государств. Заявляю, что готов жить в любом избранном для меня правительством месте... и что ни я, ни моя жена, ни мои секретари никоим образом не будем вмешиваться в политическую жизнь Норвегии или иного государства... что моя творческая деятельность как писателя будет ограничена работами исторического, биографического и международного характера и что мои творческие работы не будут направлены против какого-либо иностранного государства. Кроме того, я согласен с тем, что вся моя корреспонденция, телеграммы и телефонные переговоры, исходящие от меня и поступающие ко мне, будут подвергаться цензуре».

Троцкий прочел текст декларации, бросил бумагу на стол Трюгве Ли и заявил:

— Как вы могли набраться наглости предложить мне подписать столь позорную бумагу? Неужели вы надеетесь, что человек с моим прошлым ее подпишет? Если бы я мог пойти на такое, то не находился бы сейчас в изгнании и не подвергался бы сомнительному гостеприимству Норвегии. Вы, господин Трюгве Ли, считаете себя столь могущественным, что полагаете заполучить от меня то, что был не в силах выжать из меня сам Сталин? Когда мне предоставлялось политическое убежище, правительство знало, с кем имело дело. Так почему господин министр набирается теперь наглости просить меня пойти на то, чтобы мои творческие работы не были направлены против какого-либо иностранного государства? Лучше ответьте, позволил ли я себе хоть раз вмешаться в дела Норвегии? Может ли норвежское правительство в этом меня упрекнуть?

— Нет! Ни в коем случае.

— Тогда считает ли норвежское правительство, что я использовал Норвегию как плацдарм для террористической деятельности?

— Нет! Правительство категорически отказывается этому верить.

— Обвиняет ли правительство меня в конспиративных, нелегальных действиях, направленных против иностранных государств?

— Нет,— вновь вынужден был признать Трюгве Ли,— однако правительство обвиняет вас в нарушении обещания воздержаться от всякой политической деятельности, а ваша статья «Французская революция началась»

и ваши связи с некоторыми интернационалистами...

Министр юстиции и полиции не договорил.

— Я никогда не давал подобного обещания! И ни один другой настоящий коммунист, социалист никогда и ни при каких обстоятельствах не сделал бы этого. И вообще, чтобы кончить наш разговор, ответьте мне, как может правительство Норвегии позволить шайке агентов Гитлера определять его решения? Это первый шаг на пути капитуляции вашей страны перед фашизмом! Вам это дорого обойдется! Вы сейчас чувствуете себя свободным поступать как вам вздумается с политическим изгнанником. Однако день уже близок — запомните это, — очень близок день, когда нацисты изгонят вас самих из вашей же собственной страны!

После этой встречи Трюве Ли установил еще больший контроль над Троцким, поместив полицейских агентов не на улице, а в самом доме Кнудсена.

Затем 2 сентября Троцкого и его жену в принудительном порядке полицейские перевезли на остров Хурум, находившийся в 30 километрах от Осло, где их поселили в доме с тридцатью полицейскими, постоянно курившими зловонные трубки и шумно игравшими в карты. Никто, кроме норвежского адвоката Троцкого, не имел теперь права навещать политэмигранта. И это происходило в стране, конституция которой не позволяла вообще кого-либо лишать свободы без решения суда.

Троцкого же не только лишили свободы, но и не позволили совершать прогулки и даже делать утреннюю зарядку. Тем временем Кнудсен был избран членом парламента. Однако и это обстоятельство не помогло: Трюве Ли не разрешил им встречаться.

Вместе с тем Троцкий не сидел сложа руки. Он ухитрялся писать статьи, разоблачавшие суть фальсифицированного судилища в Москве, посылал их через своего сына, жившего в Париже, своим сторонникам. Однако открытая корреспонденция по указанию Трюве Ли оседала в столе цензора. Узнав об этом, Троцкий устроил скандал полицейским, которые на день прекратили курить и играть в карты, но не более того. Между тем Московское радио продолжало обвинять Троцкого во всех смертных грехах, а он молчал. И 15 сентября 1936 года Вышинский в журнале «Большевик» заявил, что Троцкий совершенно очевидно не имеет что сказать в свою защиту, поскольку в противном случае он бы не молчал. Это заявление Вышинского было перепечатано в двух нор-

вежских газетах, и Троцкий подал на них в суд. Был назначен день слушания дела, но правительство своим решением отменило заседание. Тогда Троцкий через норвежского адвоката подал в суд на главных редакторов ряда периодических изданий Франции, Чехословакии, Испании, Бельгии и Швейцарии, надеясь таким образом получить трибуну, но и здесь Трюгве Ли нашел возможность помешать делу.

Троцкий не сдавался, и неведомо, каким способом — Трюгве Ли затем обвинил Троцкого в использовании им нелегальных каналов и «симпатических чернил», — связался со своим французским адвокатом Герардом Розенталем. Вскоре сын опубликовал «Красную книгу» о московском процессе, где, ссылаясь на отца, указал на ряд весьма важных неточностей и прямых измышлений в материалах процесса.

Сторонники Троцкого понимали, что столь строгий домашний арест не только лишал его всякой возможности работать, но и может окончиться для Троцкого трагически. Друзья и приверженцы его в США делали все возможное, чтобы он мог получить право на политическое убежище в Мексике, где это право уважалось, но и где, как писал сын отцу, «нанимают убийц всего за несколько долларов».

Троцкий же продолжал надеяться, что все-таки сумеет получить возможность говорить в полный голос и в Норвегии. 11 декабря ему предстояло вновь быть в суде, где продолжалось слушание дела о квислинговцах. Однако Трюгве Ли разгадал тайные намерения Троцкого, и, как только тот появился в зале, полиция немедленно удалила из него публику и журналистов, а судья теперь был предельно вежлив и корректен с Троцким.

В тот же день вечером Трюгве Ли навестил Троцкого и сообщил ему, что вынужден, поскольку министерство юстиции не в состоянии оплачивать столь многочисленных полицейских, охранявших его, перевезти Троцкого подальше на север.

— Север, господин Трюгве Ли, мне противопоказан, — заявил Троцкий, — как и ваше гостеприимство. Я жду со дня на день сообщения от моего мексиканского друга, известного художника Диего Риверы о предоставлении мне возможности перебраться в Мексику.

Неделю спустя тот же Трюгве Ли сообщил Троцкому, что Мексика предоставила ему убежище и что министр уже сделал все необходимое для отъезда, назначенного на завтра.

Такая поспешность насторожила Троцкого, и он спросил министра:

— А что, если Сталину известны название парохода и его маршрут? Нас могут торпедировать, и мы не доплывем до Ла-Манша.

Трювге Ли не стал отвечать, а Троцкий на прощанье отказался пожать ему руку и еще раз заявил:

— Через три года... все вы будете эмигрантами!

Перед отъездом, полагая, что его из одной западни перемещают в другую, Троцкий ухитрился написать симпатическими чернилами статью «Стыд» как ответ ряду деятелей и особенно тем западным адвокатам, которые «свидетельствовали» юридическую правоту процесса над Зиновьевым, Каменевым и другими. Она заканчивалась словами: «Я дам окончательный ответ обвинителям и их лакеям... в Мексике, если, конечно, я доеду туда». А на следующий день написал сыну: «Кажется, завтра нас отправляют в Мексику. Это наше последнее письмо из Европы. Если что-либо произойдет с нами по дороге или в каком-либо другом месте, ты и Сергей — мои наследники. Это письмо должно иметь силу завещания».

...Диего Ривера в субботу встретил меня у ворот своего дома-мастерской. Он явно меня ждал (я тут же подумал: он знает о сорвавшейся встрече с Сикейросом!). Мы проговорили целый день. Ближе к обеду к нам присоединилась жена художника Эмма Уртадо, знаток живописи, владелица небольшой картинной галереи. Эмма нет-нет да и подправляла живописные рассказы мужа.

Нефтевоз «Рут» с изгнанниками и начальником полицейской охраны Троцкого отправился в путь 19 декабря. Как ни старалось правительство Норвегии скрыть факт отъезда Троцкого (еще долго полицейские курили трубки и играли в карты в доме без узника), тайну сохранить не удалось. Капитан получил указания, и пароход шел, часто меняя курс и избегая хоженных дорог. Редакции крупных газет и журналов мира пытались связаться с Троцким по радио. Однако на сей счет у капитана тоже было указание, и он его не нарушил.

9 января 1937 года «Рут» вошел в мексиканский порт Тампико. Троцкий и его жена отказывались сойти на берег до тех пор, пока не убедятся, что их встречают друзья. Норвежский полицейский уже хотел было применить силу, как к борту «Рут» подошла белоснежная моторная яхта, и мексиканский генерал, в окружении портовых чиновников, радушно приветствовал путешествен-

ников от имени президента страны Ласаро Карденаса: «Добро пожаловать!»

Карденас прислал в Тампико свой личный железнодорожный состав. На пристани прибывших ждали представители троцкистской группы США Джордж Новак, Макс Шахтман, являвшийся секретарем Троцкого в Турции, и жена Диего Риверы художница Фрида Кало. Последняя тут же сообщила, что Диего Ривера и она предоставляют Троцкому, его жене и его секретарям и охранникам в полное их распоряжение свой дом в Койоакане на улице Лондон.

— Лев Давыдович и Наталья Ивановна были так сильно напуганы своими же собственными мыслями по поводу дальнейшей их участи, что, когда их усадили в комфортабельный президентский поезд, они продолжали думать, что их везут в новое место заточения,— видно было, что Диего Ривера с удовольствием вспоминал события тех дней.— Я специально не поехал в Тампико. Мне надо было,— Диего очень по-русски подмигнул,— снять их с поезда на маленькой станции Лечерия под самой столицей и отвезти на автомобиле к себе домой. Мы называли наш дом Каса-Асуль — Синий дом. Я видел, как Лев Давыдович щипал себя,— ему казалось, что он спит, что наш прием и все вокруг — это сон...

Здесь непременно следует сказать несколько слов о Диего Ривере, строптивом, но и душевном человеке, очень неровном политическом деятеле и мятежном художнике. Ривера был в 1922 году одним из организаторов в Мексике компартии и членом ее ЦК, весьма рьяным и активным. Однако в ноябре 1927 года по приглашению ЦК ВКП(б) он находился в Советском Союзе и там стал свидетелем разгрома оппозиции, что его чрезвычайно удивило и озаботило. Ривера возвратился из Москвы настолько озадаченным, что вскоре вышел из рядов Мексиканской компартии. На этой почве Ривера порвал дружеские отношения и с Давидом Сикейросом, однозначно принявшим сторону Сталина.

С Сикейросом Ривера познакомился в 1919 году в Париже, куда тот, после окончания Мексиканской буржуазно-демократической революции, прибыл для получения военного образования. Ривера убедил Сикейроса бросить военную службу и стать художником на службе революции.

— Я, как только прочел призыв великого Ленина использовать в интересах пролетарской революции монументальное искусство,—

ментальное искусство, больше не рассуждал. Мы с Давидом поклялись на крови отдать все свои силы этому делу. Однако у вас в России призыв Ленина остался призывом, а в Мексике мы, последователи его идей, на деле осуществили план вождя Октябрьской революции и сделали монументальное искусство средством просвещения и коммунистического воспитания широких народных масс, — Ривера излагал, видимо, сотни раз произносимые им вслух мысли. — Многие, особенно у вас в Москве, утверждают, что Давид поставил меня на революционный путь. Чепуха! Виновата русская женщина! А его поставил — я! В голове у мексиканского революционера бродило пульке. Я помог ему выдержать пульке до кондиции текилы. (Крепкий спиртной напиток — результат перегонки пульке, бродящего сока агавы).

— Диего, я читал статью Сикейроса в американском журнале «Нью-Мэссис». Давид в ней серьезно критиковал не только твою политическую позицию, но все творчество. Извини, но он утверждал, что твое оппортунистическое поведение наложило неизгладимый отпечаток на все твои росписи. Еще раз извини, но Сикейрос обвинял тебя «в спекуляции на революционную тематику, в буржуазном гедонизме, в дешевой экзотичности...».

— Болтовня все это! Давид дошел до того, что обозвал мои фрески «живописью для туристов». А все потому, что, когда он возвратился из Парижа в Мексику, я уже начал осуществлять наши планы. Он не мог скрыть зависти. А потом вскоре в Мексику приехал Володя Маяковский. Он познакомился с Давидом, видел его работы. Ну, что я мог поделаться, если Маяковский не обратил на них внимания. А Давид крыл меня последними словами за то, что я не мог заставить Маяковского, говоря о революционной живописи Мексики, упоминать и Сикейроса. Маяковскому не нравился Сикейрос... и все тут!

— Однако столь серьезные обвинения Давид не мог делать в твой адрес только из-за зависти или на основе личной антипатии, — заметил я, полагая, что подливаю масла в огонь.

— В тридцать пятом году Давид организовал дискуссию мексиканских художников. Проходила она три дня во Дворце изящных искусств. Шумели, кричали, ругались. Давид обвинял меня не за мое искусство, а потому что я вышел из компартии. Я тогда сказал: «Пока Сикейрос разглагольствует, я пишу!» Скажи сам, кто мог такое? Изобразить Ленина и Троцкого на стене Рокфел-

леровского центра в Нью-Йорке? Кто смог так возвеличить борьбу классов и дело коммунистов? Кто? Диего Ривера. Я и глазом не моргнул, когда заказчик вскоре уничтожил фреску. А губошлепы, которые только и знали пить спиртное за счет денег советских рабочих и крестьян, набирались наглости заявить, что я антикоммунист.

Ривера встал с кресла, подошел к библиотечной полке, снял с нее богато переплетенный том, открыл нужную страницу и протянул мне. Я увидел заглавие статьи «Искусство и революция», известной еще и как письмо Троцкого в журнал «Партизан Ревью» за 17.VII.38. Когда я прочел отчеркнутое место, почувствовал, что должен тут же его переписать в свою тетрадь. Этим я сделаю приятное Ривере. Вот текст: «В области искусства Октябрьская революция обрела своего лучшего толкователя не в СССР, а в далекой Мексике, не среди официальных друзей, а в лице известного «врага народа», которым гордится IV Интернационал, имея его в своих рядах. Хотите вы видеть своими глазами секретные пружины социалистической революции? Смотрите фрески Риверы! Хотите знать, что такое революционное искусство? Смотрите фрески Риверы! Перед нами не просто «картина», предмет пассивного эстетического обозрения, а живой кусок социальной борьбы. В то же время это вершина искусства».

— Диего, но многие уважаемые люди считают, что ты удостоился такой оценки потому, что Троцкий обязан был оплатить твоё гостеприимство,— заметил я, зная, что эти слова неприятны Ривере.

— Послушай, если бы я не знал тебя хорошо, вызвал бы на дуэль. Вспомни, что говорил Маяковский: «Диего из кольта попадает в монету на лету». Ты говоришь «оплатить». Я художник! Моими картинами торгует жена, Эмма. А те, кто произносит слово «оплатить», и есть торгаши, а не революционеры и художники. Торгаши, они и проторгуют революцию.

— Диего, другие утверждают, объясняя мне причину, почему ты так горячо ратовал за приглашение Троцкого в Мексику, что в этом случае художник возобладал над политиком. Ты желал иметь Троцкого в своем доме, чтобы писать с натуры портреты председателя Петроградского Совета, человека непоколебимой воли, близкого Ленину деятеля.

— Это мои друзья! Они так старались задобрить Сталина, успокоить местных коммунистов. Меня, если хо-

чешь знать, с Троцким связывало давнее знакомство. Мы знали друг друга по Парижу в годы мировой войны. Он видел мои работы. А потом один французский друг послал Троцкому, уже в Алма-Ату, альбом репродукций моих произведений революционного периода. Троцкий был очень рад. Он высоко их оценил. Над таким человеком нависла угроза быть уничтоженным агентами Сталина. После процесса над Зиновьевым и Каменевым мне стало ясно, что Сталин получил моральное право разделаться с Троцким в Норвегии. Но главная причина приглашения — политическая. Троцкий оставался истинным революционером, в то время как Сталин изменял идеям ленинской революции, — Ривера замолчал.

— И все? — Я ожидал более подробного объяснения.

— Нет! Не все! Диего Ривера желал, как утверждает Давид, быть рядом с Троцким, чтобы купаться в его славе, чтобы таким образом войти в историю. Давид забывал, что мне творческие взгляды Троцкого на искусство просто были близки.

— И все же, Диего, раскрой точнее твои политические позиции того времени, — попросил я. — Рано или поздно я о них напишу.

— Ты помнишь слова прокурора Вышинского? Требую, чтобы каждая бешеная собака была расстреляна! Если в СССР истинных революционеров стали считать за бешеных собак, как я мог дальше поддерживать твою партию? Смертельный приговор Зиновьеву и Каменеву означал приговор и Троцкому с его сыном, который вскоре и умер в Париже при очень странных обстоятельствах. Их признали виновными в организации и личном руководстве терактами в СССР, и потому, в случае их обнаружения на территории СССР, они подлежали немедленно аресту, суду военного трибунала. То есть расстрел без всякого суда. А Трюгве Ли был на стороне Сталина. Это означало, что в любой день Троцкого могли похитить, и он оказался бы на территории СССР якобы для того, чтобы лично руководить убийством Сталина.

— Диего, это похоже на фантазию. Норвежское правительство тщательно охраняло Троцкого.

— Ты молод еще, а я много знаю. После такого приговора в Норвегии их могла ждать лишь очень скорая смерть.

— Диего Ривера руководствовался гуманными соображениями, — заметил я. — Так и запишем.

— Не только! Сталин для процесса избрал не случай-

но август тридцать шестого. Гитлер, которому явно симпатизировал Сталин, уже крепко держал власть, а во Франции сложилось правительство Народного фронта. Процесс в Москве был шантажом! Он бил по рабочему движению и особенно по интеллигенции Запада, видевшей в Народном фронте союзника против Гитлера. И потом, не ЦК дал власть Сталину. Он сам ее захватил ценою смерти многих настоящих коммунистов. Вспомни завещание Ленина! Ты, может быть, даже и не знаешь о его существовании, а Ленин в своем завещании предупреждал, что Сталин сконцентрирует в своих руках невероятную власть и будет ею пользоваться во вред остальным членам партии. Так и случилось! А Лев Давыдович от этой власти отказался. Сам! Добровольно!

— В это трудно поверить. Насколько я знаю, Троцкий, будучи председателем РВС, очень любил власть.

— Это другое дело! Он применял ее на пользу революции. Троцкий строго наказывал разгильдяев и подлецов. Но ты знаешь, что Троцкий и не подумал бороться за место вождя, когда умер Ленин. Сталин и его товарищи наговорили потом на Троцкого черт-те что, а сами сделали все, чтобы он даже не смог прибыть в Москву и участвовать в похоронах Ленина.

Надо признаться, что мне тогда, в 1957 году, было не очень понятно, о чем говорил Диего Ривера, даже страшновато было его слушать.

— Ты не стесняйся, записывай, записывай! — Диего указал на письменный стол. — Все, что я скажу, не забудешь. Записывай! Я знаю, ты думаешь, ты можешь думать, что Диего Ривера недисциплинированный человек, любит всякие «выходки», — это слово художник произнес по-русски. — Нет! Диего Ривера не только художник, он и философ. Я политик! И я видел, что Троцкий и Ленин пытались найти выход из того, что стало с Россией за пять лет революции. Нужны были нэп и железная дисциплина. Такая, которую требовал Троцкий. И профсоюзы под ружье. На время! «Кто был ничем» не мог на следующий день после революции стать «всеми». А Сталин... честнейших и умнейших коммунистов отшвыривал от власти и окружал себя надутыми... (Диего произнес слово, которое я не решаюсь поведать читателю.) Ворошилов, Буденный, Каганович... Молотов. А Ленин это предвидел. Ленин говорил, что пролетариат в России, получив диктатуру, оказался в таком страшно тяжелом положении, в каком он никогда прежде не находился.

Я тоже так считал, когда увидел Москву в двадцать седьмом году. И я был на стороне оппозиции, возглавляемой лучшими умами России, которых худшие умы уничтожили. Потому я и вышел из Мексиканской компартии.

— Ты считал Троцкого искренним сторонником Ленина?

— Конечно! Троцкий поддержал Ленина, когда тот надеялся, что созданием Центральной Ревизионной Комиссии спасет дело революции и партию от узурпации Сталина. Ленин и Троцкий думали, что она будет параллельным органом и независима от сталинского ЦК. Ты, конечно, не знаешь, но большинство членов ЦК, которое уже поддерживало Сталина, хотело скрыть письмо Ленина от партии. Кто выступил за обнародование? Троцкий! Его поддержал Каменев. Куйбышев же, например, чтобы обмануть больного Ленина, предложил отпечатать один экземпляр «Правды» с текстом и послать его Ленину. Как это называть? Это было подло! Троцкий сразу после смерти Ленина — а что это было, как не продолжение его дела? — принялся хлопотать об образовании молодых революционеров. Он понимал, что они ни политически, ни в силу своего образования не могли дальше с успехом вести дело строительства социализма. Ты, конечно, не читал предисловие Троцкого «Уроки Октябрьского восстания» к работам Ленина за семнадцатый год. Два тома. В предисловии Троцкий призывал улучшить отбор руководящих товарищей, требовал учитывать их знания и способности. Это была основная причина, почему Троцкого не поддержали партийные массы. Я думаю, сейчас главная слабость твоей партии и Советского Союза в людях. Я сужу не только по тем работникам, которые приезжают сюда работать в посольстве...

— Диего, ты напрасно обижаешь тех, кто к тебе прекрасно относится.

— Не все! Я знаю! Улыбаются, а думают другое... Они приезжают, чтобы увозить чемоданы! А потом, правда никому никогда не нравилась. Я был сейчас в Москве и видел. То, что вами построено, — это совсем не то, что хотели иметь Ленин и Троцкий в результате Октябрьской революции. Я видел, как живут колхозники. Видел деревни под Москвой. Это под Москвой! А Троцкий — Сталин его обвинял как раз в обратном, — именно Троцкий был одним из инициаторов нэпа, и только потому, что хотел сблизить крестьян с революцией. А партийные и госбюрократы? Восхищает лишь их упрямая, бычья вера

в свою непогрешимость и правоту. А компартии Латинской Америки, партия Мексики? Что сделал Сталин с ними? Превратил в придаток своей воли. Он превратил истинный марксизм-ленинизм в мясорубку, из которой немногие выдавливают себе средства к существованию, а рабочему классу и крестьянству от этого абсолютным счетом ничего. В Мексике партии нет! Есть дельцы, группа мечтателей и вождь на зарплате. Ты можешь этого не знать, но все, кому надо, знают, на чьи деньги живет Дионисио Энсинас (тогдашний руководитель Мексиканской компартии). Он делал все, что нужно было Сталину. Я знаю, что говорю!

— Скажи, Диего, тебе очень трудно было уговорить генерала Карденаса предоставить убежище Троцкому?

— Нет! Политическая обстановка в Мексике тогда благоприятствовала приезду Троцкого. Президент Карденас подписал декрет о раздаче земли крестьянам. Земля была отобрана у крупных помещиков. Я знал, что готовился и другой, еще более важный декрет — о национализации американских и английских нефтяных компаний. Помещики, католики и крупные иностранные капиталисты были страшно нами недовольны. Но Карденас твердо опирался на поддержку крестьян и Конфедерации трудящихся. Тогда это были мощные силы.

— Насколько я знаю, у генерала Карденаса были трудности.

— Естественно, были! Карденас открыто заявил, что Мексика, давая убежище Троцкому, проявляет революционную солидарность.

— Но Карденас не только предоставил убежище, он еще объявил Троцкого гостем правительства. Недруги Карденаса сразу и завопили, что президент проводит национализацию нефтяных компаний под влиянием Троцкого.

— Враги-то завопили, но это чепуха! Опаснее было другое. Конфедерация трудящихся и компартия, которые прежде поддерживали Карденаса, теперь заявили, что не согласны с ним и будут бороться против его решения до тех пор, пока вождь авангарда контрреволюции не будет изгнан из страны. Карденас через меня просил Троцкого не принимать участия во внутренних делах Мексики...

После того как Троцкий поселился в Мексике, компартия и Конфедерация трудящихся, равно как и отдельные группы просталински настроенных интеллигентов,

почти тут же развязали против него кампанию в прессе. Президент Карденас вынужден был установить постоянную полицейскую охрану дома снаружи.

Однако беда подкрадывалась изнутри. И виновницей была жена Риверы — Фрида Кало. И она тихо — иначе быть не могло, потому как узнай об этом Диго Ривера, он тут же бы ее убил — влюбилась в легендарного Льва Давыдовича Троцкого. Не устоял перед двадцативосьмилетней красавицей и бывший грозный красный комиссар, организатор армии рабочих и крестьян.

Наталья Ивановна Седова оказалась первой, кто испытал боль и тяжесть возникшей ситуации.

Троцкий уехал в отдаленную асьенду штата Идальго, чтобы дистанция и время стали врачом и лекарством в его отношениях с женой.

Оказавшись в асьенде один, Троцкий начал вести дневник («только для нас») и каждый день отправлял жене по письму, которое начинал утром, вторую часть писал после обеда и третью — перед сном.

Вот несколько отрывков из этих писем. 12 июля 1937 года: «Живу воспоминаниями бурных дней, страданий, которыми были оба охвачены... Я понял — сообщение Фриды есть измышление... Наталочка, твое письмо мне принесло радость, нежность (как я тебя люблю, Ната, моя единственная, моя вечная, моя верная, моя любовь и моя жертва!..), но также и слезы, слезы сострадания, раскаяния и печали».

Ответы жены были сдержанными, а муж продолжал писать. 20 июля: «Наталочка, мои сомнения овладели тобой. Не следует теперь сомневаться! Ты поправишься! Ты вернешь свои силы! Ты помолодеешь. Ты пишешь: «Каждый человек в глубине своей страшно одинок». Эта фраза разрывает мое сердце, она для меня источник страдания. Хочу вырвать тебя из твоего одиночества, слиться с тобой в бесконечности, растворить тебя в себе полностью со всеми твоими мыслями и чувствами самыми секретными... Моя бедная и давняя подруга! Моя дорогая, моя вечно любимая! Но для тебя никогда не было одиночества, нет и нет его сейчас. Мы живем один для другого!..

Поправляйся, и тогда поставим точку, все выдержим! Ната, Ната! Люблю. Твой Л.».

Однако наконец увидев, что признания в любви не приводят к желаемому результату, Лев Давыдович, оказавшийся и в этих делах опытным человеком, перешел к атакам. Конечно же, считая, что нападение — лучшая

форма защиты. Он припомнил давние грешки Натальи Ивановны: случай, когда она в 1919 году в Москве возглавляла Отдел музеев и флиртовала с одним из своих подчиненных.

К сентябрю семейный конфликт был исчерпан. Троцкий занялся работой, а Диего Ривера пока ничего не подозревал, хотя Фрида ходила как в воду опущенная, постоянно стремилась куда-нибудь уехать писать свои картины.

Трещина в отношениях Риверы и Троцкого образовалась внезапно. И Троцкий не знал истинной причины. Ривера почти совсем перестал посещать Синий дом, и когда один из секретарей Троцкого спросил — почему, Ривера ответил: «Вы знаете, я ведь немного анархист!»

— Диего, а в чем состояла причина вашего разрыва с Троцким? — В ту субботу я до конца не понимал, в какое неловкое положение ставлю моего собеседника.

Однако ответ Риверы был лаконичен и логикой своей не вызвал сомнений:

— Он любил командовать, решать за других! А ты знаешь, я тоже это люблю.

— Да, конечно. А теперь, Диего, мне бы хотелось услышать о том, как же удалось Рамону Меркадере совершить убийство Троцкого.

— Нас ждет накрытый стол. Мексиканская кухня! Все блюда с чиле — самым острым перцем Америки.

И Диего Ривера, возможно, в десятый раз за время нашего знакомства поведал о том, что сила потенции мексиканского мужчины... происходит от чиле.

Я улыбаюсь и согласно киваю, но это не убеждает Риверу.

— Гватемальцы, сальвадорцы, панамцы, колумбийцы, перуанцы... Разве их можно сравнить с нами? А все — чиле!

Жена художника Эмма просит мужа перестать говорить глупости и приглашает нас спуститься вниз, в столовую, а Диего обещает:

— После кофе с ликером узнаешь о Джексона-Морнаре-Меркадере.

ЗНАКОМСТВО С ТАЙНЫМ УМЫСЛОМ

Как-то утром в августе 1940 года Троцкий пригласил в кабинет нового секретаря-охранника Джозефа Гансена, высказал ему свои сомнения по поводу Джексона и попросил навести о нем справки.

Возьмись Гансен за дело и проведи его с достаточным рвением, он узнал бы очень любопытную историю.

В начале 1938 года в Нью-Йорке, в одном из кафе на Бродвее, «случайно» познакомились некая миловидная мисс и Сильвия Агелофф-Маслов, совсем непривлекательная молодая женщина русского происхождения, являвшаяся активным членом северо-американской секции сторонников Троцкого. У Сильвии была сестра Рут Агелофф, некоторое время работавшая в Мексике секретаршей Троцкого. Мисс, выказывая знаки внимания Сильвии, быстро подружилась с ней и, узнав, что та собирается в начале лета в Париж, увязалась вместе в поездку.

В Париже, в один из первых же вечеров, она представила Сильвии Жака Морнара, сына дипломата, молодого, состоятельного бельгийца, надеявшегося вскоре сделаться журналистом. Жак был красавцем и с первых же часов знакомства проявил к Сильвии чрезвычайное расположение. Сильвии нравилось, что Жак расходовал на нее солидные суммы денег.

Мисс (ее звали Руби Вель), впоследствии оказавшаяся секретарем Луи Буденца, главного редактора ежедневной марксистской газеты США «Дейли уоркер», сделав свое дело, вскоре возвратилась в Нью-Йорк, а Жак Морнар и Сильвия стали любовниками. Жак, по его словам, занимался на курсах журналистики в Сорбонне, Сильвия готовила учредительную конференцию IV Интернационала. Вечерами они встречались, и Сильвию обижало, что Жак, будущий журналист, совершенно не интересуется политикой. Ее беспрестанно разыскивали французские, бельгийские, американские, немецкие и даже русские журналисты, а Жаку было совершенно наплевать на то, что происходило в доме Альфредо и Маргерит Розмеров, где шла подготовка и вскоре должна была состояться конференция IV Интернационала. Она как-то пригласила Жака в дом Розмеров, желая представить друзьям, но он наотрез отказался.

Не менее удивляло Сильвию и то обстоятельство, что Жак, несколько раз возивший ее на своем автомобиле

в Брюссель, не считав нужным представить невесту своей матери. Вместе с тем он тратил на Сильвию, на прогулки с ней, вечеринки большие деньги и постоянно твердил о готовности жениться.

По окончании конференции Сильвия возвратилась в США, получив от Жака слово в ближайшие месяцы приехать к ней. Некоторое время они переписывались, а затем Жак неожиданно позвонил Сильвии по телефону из Нью-Йорка, куда, оказалось, он прибыл вовсе не как Жак Морнар, а с паспортом на имя канадского гражданина Фрэнка Джексона. Любовь Сильвии позволила принять за чистую монету объяснение Жака, будто он поступил так, чтобы избежать призыва на военную службу в Бельгии. Еще сказал, что прежде никогда не бывал в Нью-Йорке, однако Сильвия тут же обратила внимание, с какой легкостью он ориентировался в очень сложном и большом городе.

Сильвия снова пыталась вызвать у любимого интерес к волновавшим ее идеям. Однако Жак был неумолим: он занимался коммерческой деятельностью и не желал ничего знать о политике.

Сильвия даже испугалась, когда, пробыв в Нью-Йорке всего лишь месяц, Жак неожиданно заявил ей, что вскоре намерен уехать в Мексику представителем агентства по импорту и экспорту. Сильвия решила, что ее настойчивые намерения приобщить жениха к политике и свести с друзьями вынудили Жака принять такое решение.

Он уехал в октябре 1939 года, оставив Сильвии на жизнь три тысячи долларов, по тем временам приличный полугодовой заработок служащего, и тут же принялся клясться в письмах, что любит и не может без нее жить. В январе она приехала в Мехико. Любовники поселились вместе, а уже через неделю Сильвия стала помогать в работе Троцкому. Фрэнк Джексон — он убедил Сильвию в необходимости теперь только так его называть — ежедневно отвозил ее к дому на улице Вена и порой подолгу поджидал у ворот, сам никогда не пытаясь войти в дом Троцкого. Охранники, как наружные, так и внутренние, уже хорошо знали его и с охотой принимали то американские сигареты, то конфеты. Внутренние охранники, говорившие по-французски, не лишали себя удовольствия поболтать с приятным малым, женихом Сильвии. Она же не теряла надежды пробудить в будущем супруге интерес к политике, которая ее так волновала. Жак-Фрэнк в ответ лишь подтрунивал над ней и не постеснялся

ся сделать это открыто в присутствии Альфредо и Маргерит Розмеров, гостивших, как читатель знает, у Троцкого с октября 1939 года. Как-то Сильвия вышла из дома Троцкого вместе с Розмерами, и Джексон с удовольствием предложил подвезти их к месту, куда они направлялись. Он понравился Маргерит, которая впредь иначе и не называла Фрэнка как «приятный молодой человек».

К радости Сильвии, Жак-Фрэнк охотно поддержал знакомство с супругами Розмерами, стал приглашать их на совместные обеды и ужины в дорогие рестораны и вывозить на загородные прогулки.

В последние дни марта 1940 года, за день до отъезда Сильвии в Нью-Йорк, Лев Давыдович предложил ей пригласить своего друга в дом. Он считал неприличным, что она всякий раз оставляла жениха за воротами. Однако, покидая Мехико, Сильвия взяла слово с Джексона, что он без нее не станет посещать Троцкого.

— Ты ведь живешь в Мексике под чужим именем. В случае, если полиция или противники Льва Давыдовича узнают, это может нанести ему вред.

В действительности же Сильвия не могла забыть случай, который произошел совсем недавно и очень ее насторожил.

Она спросила адрес учреждения, где работал Жак-Фрэнк, и он ответил: «Здание Эрмита, комната 820». Когда же Сильвия направила туда свою сестру, то оказалось, что в здании Эрмита нет комнаты под № 820 и вообще там ни о каком Джексоне никто не слышал...

— Итак Джексон-Морнар-Меркадер! Ты спрашиваешь, как же удалось ему совершить убийство Троцкого? — начал Диего Ривера, после кофе с банановым ликером устраиваясь удобнее в мягком кресле, напротив письменного стола. — Убийство Троцкого должно было состояться в любом случае. Он был обречен, приговорен Сталиным! Тем более потому, что писал о нем книгу! И те, кому надлежало исполнить этот приказ, знали, что, если они не приведут его в исполнение, будет отдан другой приказ... и они сами будут расстреляны. Если убить Троцкого не удалось Давиду Альфаро Сикейросу с его группой; это обязан был сделать кто-либо другой. Жребий пал на испанца Рамона Меркадера. И он справился с этим делом. Проявил слабость лишь в то мгновение, когда Троцкий лежал на полу в соседней комнате с раскроенным черепом, а его охранники принялись в кабинете избивать убийцу. Воскликнул: «Я повязан по рукам

и ногам! Они держат в заложницах мою мать!» В остальном он был безупречен! И даже симпатичен.

— Убийца?

— А почему ты так не говоришь о Сталине? — спросил лукаво Ривера, прищурил глаз и, не ожидая ответа, продолжил: — О Рамоне тебе могут рассказать Эстер Чапа и Мария Асунсуло.

Я был знаком с доктором Чапа, несколько лет работавшей врачом в «Лекумбери», центральной тюрьме города Мехико, и с общественной деятельницей Асунсуло, близкой подругой той мексиканской женщины, которая неожиданно стала женой Меркадера, после того как его осудили за убийство Троцкого на двадцать лет. Эти обе женщины были в восторге от симпатичного, как они утверждали, начитанного, серьезного, железного, душевного и волевого человека.

— Дело Меркадера — богатейший материал для серьезного научного исследования психолога, тема, достойная настоящего писателя.

— Не пойму, Диего, ты на стороне Меркадера?

— Сейчас поймешь! Рамон Меркадер — профессиональный убийца? Фанатик идеи? Садист? Добровольный палач или жертва? Когда ты ответишь на эти вопросы, все дело убийства Троцкого окрасится в иные тона. Моя палитра их не знает... Он жертва! Вдвойне!

— Почему вдвойне?

— Поначалу он был избран участником, но не палачом. Потом, однако, не мог сделать ничего другого. У Сикейроса сорвалось, и Меркадер должен был выполнить приказ. Подумай, и ты мог бы оказаться на его месте. И сделал бы то же самое. Вот что страшно! Чрезвычайно! И для вашего социализма, и для коммунизма всей планеты! Ни денег, ни людей Сталин не жалел — их прибыло тогда в Мехико не менее пятидесяти человек, — потому они и не утруждали себя быть профессионалами. Офис восьмьсот двадцатый в здании Эрмита принадлежал Давиду Альфаро Сикейросу. Только кошачья любовь Сильвии помешала раскрыть этот факт. Кто знает? Может, и убийства никакого не было бы!

Джексон дал слово Сильвии не бывать без нее в доме Троцкого, но слова не сдержал.

Уже в одном из первых писем сообщил невесте, что вынужден был, поскольку «не решился отказать в просьбе Альфреду Розмеру» перевезти его из больницы в дом Троцкого, к которому, по мере того как ближе узнавал

русского революционера, проникался искренней симпатией.

Обратите внимание, что очень скоро условия игры изменятся, и Жак-Фрэнк обязан будет утверждать обратное. Однако в те дни заверения любимого о том, что он проникается симпатией к Троцкому, успокоили Сильвию.

Но вот мировую общественность всколыхнуло сообщение из Мехико: «В ночь с 23 на 24 мая группа неизвестных глубокой ночью ворвалась в дом Троцкого и пыталась лишить жизни русского эмигранта и его жену, расстреляв в спавших более двух сотен патронов. Они чудом остались живы». Сильвия немедленно связалась по телефону с Жаком-Фрэнком и услышала в ответ:

— Я последние дни был очень занят, у них не бывал. Подробности не знаю, но презираю тех, кто пытался это сделать!

Читатель вправе спросить: «Принимал ли Джексон-Морнар участие в первом покушении на Троцкого или нет?» Вот что по этому поводу думал Диего Ривера:

— В нашей прессе много говорили, что главным в неудавшемся покушении на Троцкого был некий Филипп, «французский еврей». Теперь мы знаем, что за именем Филипп скрывался доктор Григорий Рабинович, представитель советского Красного Креста в Нью-Йорке. У него в подчинении находился испанский эмигрант под фамилией Карлос Контрерас, человек русско-итальянского происхождения. С ним я познакомился в Мехико еще в двадцать восьмом году, когда он приезжал от Коминтерна помогать в работе партии. Настоящая его фамилия Витторио Видали, но его у нас и в Испании знали как Энеаса Сорменти. У Контрераса, в свою очередь, находились в подчинении прибывшие специально из Москвы под вымышленными именами с заданием привести приговор Сталина в исполнение три бывших испанских военных, в то время слушатели московской военной академии,— Мартинес, Альварес и Хименес. Вот этим четверым и подчинялся Давид Альфаро Сикейрос со своей группой. Рабинович же получал необходимые указания от двух имевших специальные полномочия москвичей. Главным из них был известный в Испании «товарищ Пабло». Его там называли еще «товарищ Котов» и «генерал Леонов». Настоящее его имя Леонид Эйтингон, и он возглавлял в Москве специальный отдел, созданный для ликвидации Троцкого. Рамон Меркадер был в том деле простой пеш-

кой. Ему следовало проникнуть в дом Троцкого и подтвердить имевшийся у Сикейроса план расположения комнат. Что он и сделал. Это потом Меркадеру пришлось, когда Сикейрос не справился, стать главной фигурой...

Можно, слегка иронизируя, допустить, что выбор пал на Меркадера из-за особой симпатии к нему Леонида Эйтингона. Как утверждают исследователи дела об убийстве Троцкого, Эйтингон находился в самых близких отношениях с дочерью бывшего испанского помещика на Кубе Эустасией Марией Каридад дель Рио, еще весьма интересной, сохранившей женские прелести креолкой, матерью Меркадера. Генерал и потом, после сорокового года, чаще, чем того требовала профессиональная необходимость, посещал одну из московских квартир. Эта «вольность» также вменилась в вину генерала, когда военный трибунал в 1954 году выносил ему приговор: 12 лет лишения свободы.

Три дня спустя после неудавшегося покушения супруги Розмеры должны были отправиться в порт Веракрус, чтобы сесть на пароход, отплывавший во Францию. Маргерит уговорила мужа согласиться с предложением «симпатичного молодого человека» отвезти их на своей машине. 28 мая, когда он на шикарном «бьюике» подъехал к дому на улице Вена, его пригласили войти в дом, а затем впервые и к столу, за которым завтракали Троцкий, его жена, Розмеры и начальник охраны Робинс.

После завтрака, пока путешественники заканчивали сбор вещей в дорогу, Джексон прошел во двор и, увидев, как рабочие наращивают стены и выкладывают башенку, спросил охранника:

— Для чего ведете эти работы?

— Ради безопасности. Предосторожности!

— Против ГПУ стены не помогут. В следующий раз будет использован совсем иной метод.

Что это? Бравада или точный расчет? А может быть, шалость человека, которому не за что пока отвечать? Такой ситуации никакая инструкция не могла предусмотреть. Да и вряд ли какой-либо чекист мог бы одобрить подобную «шалость»...

Провожать в Веракрус Розмеров отправилась и Наталья Ивановна, которая на обратном пути в течение пяти часов беседовала с Джексоном и должна была согласиться с мнением о нем Маргерит. В свою очередь, Джексон по дороге закупил Наталье Ивановне разных мекси-

канских сувениров, а в городе — огромную коробку конфет.

По возвращении из Веракруса Джексон не появлялся в доме на улице Вена две недели. Нетрудно допустить, что шла разработка нового плана действия. Вновь он заехал 12 июня, чтобы сообщить в те десять минут, пока беседовал с Троцким во дворе у кроличьих клеток, о своем отъезде в Нью-Йорк в связи с тем, что патрон решил закрыть дело, и о желании на время своего отсутствия оставить «бьюик» ребятам из охраны.

Джексон отсутствовал в Мехико месяц и, когда возвратился вместе с Сильвией, поначалу не только не проявлял инициативы, чтобы встретиться с Троцким, но сам избегал этой встречи. Джексон заметно нервничал, сильно похудел, ночами плохо спал, а днем часами валялся на постели в 113-м номере отеля «Монтехо», не желая даже разговаривать с Сильвией. И тогда Наталья Ивановна решила пригласить Сильвию с женихом на чашку чая. Эта встреча 29 июля длилась чуть более часа.

Следующая встреча состоялась 8 августа. Джексон пришел с букетом цветов от Сильвии и огромной коробкой конфет. В беседе с секретарями Троцкого он впервые заговорил о развитии мирового троцкистского движения, называл имена его руководителей в разных странах и намекнул, что мог бы оказать этому движению материальную помощь. В беседе с Троцким Джексон повторил это предложение и выразил готовность составить компанию Троцкому и отправиться с ним на экскурсию в горы.

Когда Джексон ушел, Троцкий заметил:

— Похоже, Джексон становится симпатизирующим.

— Ну да! — возразил Гансен. — Был в Нью-Йорке и даже не зашел ни в одно из наших бюро.

— Ладно, что вы хотите? Жених Сильвии легкомысленный человек и, пожалуй, никогда не станет настоящим товарищем. А впрочем, кто знает? Однако партии нужны всякие люди.

— Он предлагает денежную помощь. Откуда у него деньги? — заметила Наталья Ивановна.

— Вот этим надо поинтересоваться. А то получится, что его «финансовый гений» не более чем крупный спекулянт. Пока лучше бы воздержаться принимать жениха Сильвии. — Троцкий вернулся к кроличьим клеткам.

Однако 17 августа Джексон появился снова и сообщил Троцкому, что написал статью против тех членов секции в США, которые намерены отойти от Троцкого,

и хотел бы знать мнение Льва Давыдовича, насколько статья удалась. Он надеется на замечания Троцкого.

Был солнечный день, но Джексон пришел в шляпе и с перекинутым через руку плащом.

Как считают все авторы книг о Троцком, Джексон умело затронул слабую сторону своей будущей жертвы: желание видеть своих товарищей и последователей более подготовленными к борьбе. Троцкий пригласил Джексона пройти в кабинет. Однако уже через десять минут Лев Давыдович вышел с Джексоном во двор, явно взволнованный и озабоченный.

Проводив гостя до калитки, Троцкий тут же пояснил жене:

— Он принес статью, скорее, черновик... Общие, казенные фразы. Чехарда мыслей. Я посоветовал ему, как надо исправить. Посмотрим. Но вел он себя сегодня странно — ни следа французской воспитанности. Тут же сел на стол и не снял шляпы.

— Ты прав, Лева, это странно! Он никогда прежде ее не носил.

— Сел прямо над моей головой и не выпускал из рук плаща... Знаешь, Ната, давай его больше не будем принимать. Статья — детский лепет...

На следующее утро Троцкий пригласил к себе в кабинет Джозефа Гансена и просил навести справки...

Утром 20 августа Троцкий поднялся рано, быстро привел себя в порядок, отправился покормить кроликов, полил разводимые им в саду кактусы. Для Натальи Ивановны это означало, что муж превосходно себя чувствует и предстоит радостный рабочий день.

— Вот бы сегодня никто не мешал. Хочу поработать до вечера. Надо спешить, Ната, пока нам предоставили отсрочку, — сказал Лев Давыдович в конце завтрака.

Перед обедом занятия Троцкого на несколько минут прервал адвокат Ригальт, пришедший по делу о покушении 24 мая. После его ухода Троцкий сообщил жене:

— Больше не могу молчать! Сегодня же сяду за ответ Ломбардо Толедано. Его газета переходит все границы. Я чувствую себя, как никогда, крепким. Силы возвращаются ко мне. И надо основательно садиться за книгу о Сталине. Все ее ждут...

Вслед за непродолжительным послеобеденным отдыхом Троцкий наговорил на диктофон несколько страниц ответа газете «Эль Популярь», а сразу после пятичасового чая вновь прошел к кроличьим клеткам, где его и застал

Фрэнк Джексон. Увидев жениха Сильвии рядом с мужем, Наталья Ивановна подумала: «Опять он! Зачем так зачастил?» — и подошла.

— Меня мучает жажда. Вы не дадите мне стакан воды? — поздоровавшись с Натальей Ивановной, попросил гость.

— Может быть, чашку чаю?

— Нет, нет! Я только что поел, и еда стоит вот здесь. — Джексон провел рукой по горлу. — Лучше воды.

Наталья Ивановна вновь обратила внимание на перекинутый через руку плащ и неснятую шляпу.

— Вы плохо выглядите, Фрэнк. Сегодня весь день солнце. Зачем вам плащ и шляпа? — спросила Наталья Ивановна. — Как чувствует себя Сильвия?

Ответил не сразу, казалось, он отсутствовал.

— А, Сильвия! Хорошо, спасибо.

— Вы что, принесли статью? Отпечатанную на машинке? Лев Давыдович не любит читать рукописи.

В это время Троцкий сказал по-русски жене:

— Ты знаешь, он ждет Сильвию. Они завтра уезжают.

— Как? Я ничего об этом не слышала от Сильвии.

И опять наступило тяжелое молчание, его нарушил Троцкий:

— Хорошо, вы покажете мне свою статью?

Они прошли в кабинет. Троцкий сел в кресло к столу. Джексон встал по левую руку, ближе к окну. Когда Троцкий прочел первую страницу и собирался было ее перевернуть, Джексон сделал шаг назад, выхватил из-под плаща «пиолет» — альпинистский ледоруб — и со всей силой, на которую был способен, нанес плоским концом удар по голове.

Троцкий вскочил, как развернутая пружина, издал душераздирающий вопль и бросился на Джексона, пытаясь схватить его руку, помешать нанести еще удар. Оттолкнув его от себя, Троцкий выскочил из кабинета, но почувствовал, что ноги ему не подчиняются, оперся о косяк двери между столовой и террасой. Тут его, с лицом, залитым кровью, застала Наталья Ивановна.

— Джексон! Наташа, я люблю тебя... — и упал на руки жены.

— Ох! Теперь будем проверять каждого, кто приходит!

Мимо пробежали охранники, и Троцкий сказал:

— Надо убрать Севу... Я чувствовал... я полагал, что

он намерен это сделать. Он еще раз хотел ударить, но я помешал...

Из кабинета донесся крик.

— Что станем делать, Левочка?

— О, нет! Пусть его не убивают. Надо заставить его говорить!

В это время в кабинете Робинс и Корнелл наносили удары Джексону по лицу, голове, шее и спине рукоятками револьверов.

— Не убивайте! Он должен говорить! Так требует Троцкий, — трясясь от возбуждения, повторял Гансен.

— Я не убью его! Пусть говорит! ГПУ тебя послало? Они? Они!

— Нет! Не ГПУ! Один человек! Я его плохо знаю. Они... Я повязан по рукам и ногам! Они держат в заложницах мою мать!

Далее, уже сбитый ударами на пол, Джексон прокричал, что человека, который приказал ему убить Троцкого, зовут Бартоло Перес или Парис. Он не знает точно. Познакомился он с ним в Париже, а три недели назад получил от него строгий приказ в ночном Кит-Кат-Клубе, который находится на углу авеню Индепенденсия и улицы Долорес.

Джексон хотел было подняться, но теперь на него набросился Гансен, и тогда Джексон закричал:

— Убейте! Убейте меня сразу! Я не должен жить! Убейте! Никакого ГПУ я не знаю, но все равно убейте... Убейте!

Прибыл врач, осмотрел рану Троцкого и, скрывая свое волнение, сообщил, что рана не опасна. Однако Троцкий, приложив руку к сердцу, заявил:

— Чувствую здесь... это конец... На сей раз они одолели...

Прибыл начальник полиции генерал Нуньес, и только тогда Троцкого отвезли в клинику «Скорой помощи» и положили в палату, куда уже собирались для консилиума светила.

А в это время полковник Санчес Саласар приступил к осмотру места происшествия. Естественно, начал он с кабинета. Тот был полон свидетельств недавней трагической борьбы: кресло, стул, корзина для мусора, книги и газеты в беспорядке разбросаны по полу, к окну отлетели диктофон и подставка к нему, у полки с книгами и кнопкой тревоги лужа крови. Полковник подумал, что такой человек, как Троцкий, только так и должен был уме-

реть, в своем рабочем кабинете, наклонившись над очередной работой, окруженный бумагами, книгами, архивами.

Тут же лежал плащ цвета хаки, с которым на сгибе руки вошел в кабинет Джексон, скрывая под ним «пиолет» с заранее укороченной ручкой и пришитой тесьмой, удерживающей орудие убийства с внутренней стороны плаща. В правом кармане нашли кинжал длиной в тридцать пять и шириной в три сантиметра в чехле, украшенном серебряной нитью. В другом кармане находился пистолет «Стар» 45-го калибра с патроном в стволе и семью в обойме.

— Столько оружия, — сказал своему заместителю Санчес Саласар. — Сомнений нет, он еще дома знал, что идет сюда, чтобы обязательно убить Троцкого. Только почему не стрелял? Надеялся тихо уйти. Конечно! И «бьюик» свой на этот раз поставил не как всегда, а развернул лицом в сторону автострады, ведущей из Койокана.

(Диего Ривера по этому поводу утверждал, что Джексона неподалеку от дома Троцкого в двух разных машинах ждали его мать Эустасия Мария Каридад дель Рио и «товарищ Пабло» — Леонид Эйтингон.)

Тут полковнику подали конверт с письмом, которое преступник вручил врачу кареты «Скорой помощи», отвозившей Джексона в ту же самую больницу, куда поместили и жертву. Оно было написано по-французски, на пишущей машинке. Только число «20.08.1940» и подпись «Жак» были подписаны карандашом. Опыт полковника сразу подсказал, что письмо изготовлено за много дней до того, как под ним поставлена подпись.

— Неряшливость, отсутствие знаний или особый расчет? — спросил Санчес Саласар. — Объяснение мотива поступка. Поглядим! Пока ни слова о письме. Почитаем, что скажут завтра «Эль Популяр» и «Мачете» (орган ЦК Мексиканской компартии).

«Текст письма был неграмотен, — уверял меня Диего Ривера. — Полиция могла цепляться к каждой фразе. Например, Джексон утверждал, что он разочаровался в Троцком. Когда успел, если в общей сложности общался с Троцким четыре часа? Джексон утверждал, что Троцкий предложил ему отправиться в Россию, чтобы совершить там ряд убийств руководителей партии и Красной Армии. Когда и как Троцкий мог доверить такое неизвестному человеку, с которым — это показывают записи

в книге внутренних охранников — Троцкий находился наедине всего десять минут 17 августа».

Около восьми вечера в дом Троцкого примчалась Сильвия Агелофф. Она не дождалась Фрэнка в 113-м номере отеля «Монтехо» и позвонила Наталье Ивановне, вдруг подумав, что Фрэнк мог поехать к ним. Днем она и Фрэнк случайно встретили Отто Шуисслера с невестой в центре города и договорились вместе отужинать. Фрэнк должен был заехать за Сильвией в отель в семь вечера. Агелофф была арестована и отправлена в помещение, которое занимал Жак-Фрэнк Морнар-Джексон.

Жертве покушения тем временем лучшие врачи Мексики сделали операцию на черепе, но мозг оказался сильно поврежденным, и Лев Давыдович Троцкий скончался 21 августа 1940 года в девятнадцать часов двадцать минут.

Вся пресса Мексики осудила «подлое вооруженное нападение с целью убийства». Ломбардо Толедано также осудил совершенное покушение, обвинив в нем провокаторов, заинтересованных измазать в грязи доброе имя Мексики. Вскоре, однако, прогрессивная пресса принялась на все лады излагать суть письма, приготовленного убийцей в свое оправдание, что окончательно убедило полицию в существовании связи этой прессы с теми, кто стоял за спиной Джексона.

На первом же допросе, проведенном полковником прямо в приемном покое больницы, Джексон, обретая полное спокойствие и выдержку, рассказал — это очень быстро полковник почувствовал — заранее приготовленную легенду. Он сообщил, что настоящее его имя Жак Морнар Вандендреш, что он бельгиец и что приехал в Мексику по рекомендации какого-то деятеля IV Интернационала, имя которого он забыл, чтобы стать активным троцкистом, но, узнав Троцкого, разочаровался в нем настолько, что идея убить Троцкого пришла к нему за неделю до дня покушения. Джексон настойчиво утверждал, что у него не было заранее разработанного плана и что пистолет и кинжал были приготовлены для самоубийства, а «пиолет» оказался у него потому, что он любитель альпинист и привез эту дорогую ему вещь из Франции. По поводу мотива его последней месячной поездки в Нью-Йорк Джексон заявил, что ездил туда только с единственной целью быть рядом с Сильвией, без которой он жить не может.

Полковник отправился в помещение, где под наблю-

дением агента полиции и медсестры находилась не перестававшая плакать Сильвия Агелофф, то и дело теряющая сознание. Когда же ее приводили в чувство, молодая женщина принималась ругаться на всех языках, которые знала, и требовать, чтобы Джексона-Морнара немедленно лишили жизни.

— Что вы думаете об убийстве Троцкого? — спросил полковник Сильвию.

— Что я могу думать? Сейчас я твердо знаю, я была инструментом в руках Джексона. Я познакомила его с Троцким. Я виновница его смерти! Сталин — заинтересованное лицо в гибели Троцкого. Я оказалась инструментом в его руках.

— Когда вы жили с Джексоном в Нью-Йорке и здесь, в Мехико, вы видели у него «пиолет», которым он совершил убийство?

— В Нью-Йорке «пиолета» не было. Я увидела ледоруб впервые несколько дней назад, и Джексон пояснил, что собирается совершить восхождение на вершины потухших вулканов Орисаба и Попокатепетл.

В моих записях рассказа Диего Риверы говорится: «На первом же допросе Джексон повторил легенду, составленную кем-то очень неряшливо. Авторы не беспокоились о последствиях — им важен был результат. Полиция быстро обнаружила хозяина «пиолета». Им оказался сынишка англичанина, владельца туристского отеля, где для своих тайных дел Меркадер снимал номер и где хранилось оружие, с которым Сикейрос совершил нападение. За несколько дней до убийства Джексон спер ледоруб у мальчишки».

— По какому адресу вы направляли письма Джексо-ну из США?

— По адресу «Уэллс Фарго и К^о».

Полковник отметил, что туда же приходили письма и переводы Роберту Шелдону Харту.

По окончании допроса Санчес Саласар пришел к выводу, что Сильвия Агелофф-Маслов не причастна к преступлению. Однако следовало в этом убедиться, и полковник устроил очную ставку. Сильвия продолжала плакать, когда агенты ввели в комнату Джексона. Ни он, ни она не знали о готовящейся встрече.

— Зачем привели меня сюда? Что вы делаете, полковник? — быстро заговорил Джексон. — Уберите меня отсюда!

— Если вы действительно любите Сильвию, как гово-

рите, подойдите к ней, приласкайте, успокойте!

— Убийца! Убейте его, как он убил Троцкого! Убейте! Убейте! — бесновалась Сильвия.

— Джексон утверждает, что вы являетесь причиной гибели Троцкого, что вы жертва его интриг, — заявил полковник.

— Вранье! — взывала Сильвия. — Обманщик, лгун! Убийца!

— Вы не вправе этого говорить. Джексон утверждает, что Троцкий, чьим ярым сторонником он был, разочаровал его, потому что хотел разрушить счастье вас обоих, развести вас в результате интриг.

— Глупости! — прокричала в еще большем негодовании Сильвия. — Да он его хорошо и не знал. Троцкий отнесся к нему как к новичку. Скажи, негодяй, что это неправда! Не лги, предатель!

— Полковник, полковник, что вы делаете? — взмолился Джексон.

— Ты все время врал! Скажи хоть сейчас правду! Ты агент ГПУ! Они тебя заставили! По приказу Сталина заставили убить Троцкого! Начиная с Парижа, ты обманывал меня. Думал только о том, как покончить с Троцким. Тебе нужно было использовать меня. Каналья!

— Джексон также утверждает, что Троцкий собирался направить его в Россию через Шанхай с секретным поручением. Обещал оплатить дорогу. — Полковнику было жалко страдавшую женщину, но он исполнял свой служебный долг.

— Очередное вранье!

— Джексон говорит, что он получил пять тысяч долларов от своей матери из Брюсселя и три тысячи передал вам.

— Три тысячи! Да! Но деньги эти принадлежат ГПУ! Это аванс за убийство Троцкого! Да, да, убийца, тебе заплатили они...

— Вы слышали, что говорит ваша невеста! Отвечайте ей!

— Не стану! Не стану! Умоляю, полковник, прикажите меня увести.

— Джексон принадлежал Четвертому Интернационалу?

— Никогда! Он ни с кем, кроме меня, не был знаком. Он притворялся симпатизирующим, чтобы приблизиться к Троцкому. Убийца!

После этого Санчес Саласар прекратил очную ставку

и распорядился выпустить на свободу Сильвию Агелофф.

Вскоре полковник получил информацию из Канады. Оказалось, что паспорт, по которому Джексон прибыл в Мексику в качестве туриста, был выдан 22 марта 1937 года в Оттаве на имя Тони Бабица, уроженца Югославии, но гражданина Канады, тот отправился в Испанию, где и погиб в бою, будучи бойцом интербригады. Три года спустя этот паспорт с другим именем и другой фотографией оказался в Мексике. Полковник признал это косвенной уликой принадлежности Джексона к ГПУ, поскольку было известно, что среди троцкистов не имелось мастеров, которые бы так чисто подделывали документы.

Ведя расследование, Санчес Саласар пригласил поверенного в делах Бельгии в Мексике М. В. Лоридана и сотрудника посольства Влетхалити на встречу с Джексоном-Морнар, и в руках полиции оказался документ, свидетельствующий о том, что Джексон-Морнар не бельгиец.

Дипломат заявил, что в бельгийской миссии в Тегеране, где, как утверждает преступник, он родился, никогда не работал человек по фамилии Морнар; что сын не мог назвать ни одного другого места, где до или затем работал его отец; что утверждение, якобы Джексон являлся кадетом военного училища в Дихсмюде и одновременно учился в Брюссельском университете, не может иметь под собой почвы, поскольку ни одному кадету этого не разрешают правила училища; что в Брюсселе нет улицы Гавр, где живет, по заявлению Джексона, его мать, а имеется улица Вавр, и дом № 1 занимает известный в городе магазин и что, наконец, бельгиец, тем более кадет военного училища Дихсмюда, не может совершенно не знать фламандский.

— Сколько вы заплатили за пистолет? — спрашивал полковник на очередном допросе.

— Сто шестьдесят или сто семьдесят. Не помню. Кроме того, я отдал Бартоло Пересу или Парису пишущую машинку.

— Как вы узнали, что этот Бартоло торгует оружием?

— Я не знал, что он торгует. Это такой тип, которого можно встретить в Париже, Константинополе, в любом городе мира. Я не могу утверждать, что это его настоящее имя.

— Повторите, что требовал Троцкий, посылая вас в Россию?

— Я обязан был вступить в контакт с его сторонниками в Советском Союзе с целью организации и проведения серии актов саботажа в армии, на заводах и фабриках. Он не успел дойти до деталей. Я ушел, потому как на меня словно бы свалился дом.

— И это вынудило вас подумать о его убийстве?

— Я думал неделю...

— Как вы планировали совершить преступление?

— У меня не было плана. Я просто хотел убить его и тут же застрелиться.

— Почему не застрелились?

— Не успел.

— Почему?

— Я думал, что одним ударом покончу с ним.

— Вы планировали выйти сухим из воды?

— Может быть. Но все равно я бы покончил с собой в первом удобном месте.

— Значит, вы не боялись, что секретари могут убить вас?

— Наоборот! Я этого ждал. Сорок, пятьдесят раз я просил их об этом.

— Когда вы написали письмо, которое вручили врачу?

— За день до покушения в парке Чапультепек...

— В парке? На траве? Но письмо написано на машинке.

— Я купил ее в Монте-де-Пьедад и оставил на хранение у Бартоло, с которым познакомился в Вит-Кат-Клубе.

— В Париже или в Клубе?

— Не важно!

— Прежде вы говорили о Париже.

— Не важно! Когда я написал письмо и взял у него пистолет, я отдаю ему машинку. Она мне была не нужна.

— А когда вы купили машинку?

— Вскоре после того, как Сильвия уехала в Нью-Йорк.

— Выходит, Сильвия не видела этой машинки?

— Нет!

— Но письмо написано не вами!

— Мной, сеньор! Я сам его написал!

Полковник послал в магазин Монте-де-Пьедад опытного агента. Ни он, ни другие полицейские, посетившие все городские магазины, торгующие пишущими машинками, не нашли следов продажи той, на которой было

составлено письмо. Да и как это Джексон, собиравшийся совершить убийство человека, потащится с незнакомым ему типом в парк Чапультепек, чтобы там сочинять довольно пространное письмо, на что должно было пойти не менее трех-четырёх часов? Санчес Саласар сделал вывод: пишущая машинка, на которой было написано «оправдательное письмо», никогда не существовала в Мексике.

— Судя по ответам Меркадера на следствии, полковник Санчес Саласар и прокурор ясно видели, что он врал, но Меркадер держался так стойко, что его не могли сломать.— Диэго Ривера был явно на стороне Джексона-Морнара-Меркадера.— И меня бы не сломили!

— А как стало известно настоящее имя убийцы? Он ведь его так и не назвал.

— Доктор Кирос Куарон проводил исследование перед судом, не является ли убийца умалишенным. Меркадер, то есть Морнар, так заинтересовал доктора, что уже много лет спустя, по собственной инициативе, он отправился в Испанию. Там доктор обнаружил в архиве полицейского управления Мадрида фотографии Рамона Меркадера дель Рио в профиль и анфас. Рамон был арестован и посажен в тюрьму как коммунист и просидел до победы Народного фронта. Полиция предоставила доктору и отпечаток указательного пальца правой руки. Фото и дактилоскопический отпечаток лишили кого-либо всяких сомнений. Но даже и при этом Меркадер молчал.

— А полиция?

— А зачем? Преступник осужден, наказан. Живет в одиночной, просторной камере со всеми удобствами, с радио и приходящей женой. Все, от кого он зависит, довольны. Зачем лишать себя удовольствия?

— Меркадеру были созданы особые условия?

— Ты что, не читал в газетах? И все же он страдал! Несколько раз полиции становилось известно, что определенные люди намеревались устроить Рамону Меркадеру побег. Но как только об этом узнавал сам Рамон, он отказывался и потом категорически заявил, что ни в коем случае не согласится на побег и будет продолжать отсиживать свой срок в тюрьме.

Теперь, естественно, никто не станет возражать против того, что Рамон Меркадер правильно выбрал из нескольких зол наименьшее. Скорее всего — мне почему-то так хочется думать — он просто не желал больше видеть лица тех, кто вынудил его совершить недостойный посту-

шок. Тогда я спросил Диего Риверу:

— Он боялся?

— Не только! Он исправно нес свое наказание, потому как знал, что его заслужил. Конечно, он мог опасаться досрочного выхода из тюрьмы, особенно при жизни Сталина. Он хорошо знал его способности. Но вот врач Чапа не уставала всем говорить, что глаза у Морнара постоянно были полны меланхолии, очень похожей на угрыzenie совести.

На этом можно бы и закончить повествование, но прежде необходимо поведать читателю о книге дневниковых записей бывшего президента Мексики Ласаро Карденаса, вышедшей в свет в 1972 году: «Сегодня умер гр-н Троцкий в результате нападения на него, совершенного вчера Жаком Морнар, по национальности бельгийцем, посещавшим его дом в качестве друга. Нападение было совершено при помощи ледоруба во время беседы наедине в кабинете Троцкого, в Койоакане. Морнар — фанатик на службе врагов Троцкого, он приехал из-за границы шесть месяцев назад. Ему 28 лет. Гр-н Ривера ходатайствовал о разрешении на проживание Троцкого в Мексике, поскольку другие страны отказали Троцкому в убежище. Дела и идеи народов не исчезают со смертью их лидеров, наоборот — утверждаются еще больше кровью жертв святого дела. Кровь Троцкого станет удобрением в сердцах людей его родины».

И совсем в заключение хочется напомнить читателю о том, что прах того, кто, исполняя чужую волю, пролил эту кровь, нанеся смертельный удар, прах убийцы, покоится ныне на Кунцевском кладбище Москвы под могильной плитой с надписью: «Герой Советского Союза ЛОПЕС Рамон Иванович».

Освободившись из мексиканской тюрьмы «Лекумбери» в мае 1960 года, он прожил ряд разочаровавших его лет в Москве, Чехословакии и на Кубе, где и умер шестидесяти пяти лет от роду, в 1978 году. Он не раз говаривал друзьям и журналистам: «Как вы не можете понять, что тогда было совершенно другое время? Повторись все это сейчас, я бы, наверное, вел себя и действовал совсем иначе!»

Ю. Папоров

Даллаская трагедия



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА

Стояла поздняя техасская осень. Небо было затянуто тяжелыми свинцово-синими облаками. Моросил дождь. Казалось, утро 22 ноября 1963 года так и не порадует солнцем техасцев. Однако вскоре погода начала проясняться, и к 11 часам утра над Далласом засверкало все еще яркое южное солнце.

В 11 часов 35 минут на далласский аэродром произвел посадку самолет военно-воздушных сил США под № 2. В нем прибыл вице-президент США Линдон Джонсон. А пятью минутами позже по взлетному полю стремительно заскользила тень второго самолета американских ВВС под № 1. В нем находился 45-летний президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди.

Президент и вице-президент, как всегда, летели на разных самолетах, чтобы не подвергать США опасности, в случае катастрофы одного из них, сразу лишиться двух ведущих политических деятелей.

...Самолет президента медленно подруливал к зданию аэропорта. Трудно сказать, о чем думал Кеннеди, готовясь покинуть самолет, перед которым уже собралась довольно большая толпа встречающих. Однако есть все основания считать, что в глубине души он испытывал мрачные опасения в связи со своей поездкой в этот неспокойный южный город.

Опасения тревожили не только самого Кеннеди, но и его супругу Жаклин и близкого друга Кеннеди О'Доннелла. Не случайно все трое утром 22 ноября, позавтракав в гостинице перед тем, как вылететь в Даллас, беседовали на не совсем обычную тему — о степени риска, которому подвергается Джон Кеннеди во время своих публичных выступлений. Кеннеди сказал тогда: «Если бы кто-нибудь действительно захотел застрелить президента США, то это была бы не очень трудная работа. Все, что ему надо было бы сделать, так это забраться в высокое здание,

имея телескопическую винтовку, и никто ничего не мог бы сделать, чтобы предотвратить подобную попытку...»

Президент не подозревал, насколько он был близок к истине.

Основной причиной поездки Джона Кеннеди в Техас явилось желание укрепить в этом южном штате, на родине вице-президента Джонсона, свой престиж накануне президентских выборов 1964 года. На выборах 1960 года Кеннеди чуть было не проиграл в Техасе выборы представителю республиканской партии Никсону. Решение Кеннеди совершить эту поездку укрепилось и после скандального приема, который оказали жители Далласа, или по крайней мере часть из них, члену правительства США Эдлаю Стивенсону, когда он выступил там с призывом поддерживать политику Кеннеди. Стивенсон подвергся физическому насилию. Какой-то берчист ударил его избирательным плакатом по голове.

Подготовка программы и маршрута поездки Кеннеди была поручена губернатору штата Техас Коннели и специальному помощнику президента О'Доннелу. Было решено, что в Далласе на поездку автомобилем от аэродрома до места, где в честь Кеннеди городские власти и бизнесмены планировали дать обед, будет отведено 45 минут. 19 ноября в далласских газетах был опубликован маршрут следования президентского кортежа. На одном из его участков автомашина президента должна была проехать по Эльм-стрит, постепенно спускавшейся под железнодорожный виадук. Секретная служба США не возражала против такого маршрута, так же как и против поездки Кеннеди в открытом, незащищенном автомобиле.

И вот Кеннеди в Далласе. В 11.50 по местному времени президентский кортеж направился с аэродрома в город. В первой автомашине на заднем сиденье расположились Кеннеди с супругой, а на откидных сиденьях — губернатор штата Техас Коннели с супругой. На переднем сиденье автомашины разместились два агента секретной службы по охране президента. Непосредственно за автомашиной Кеннеди шла вторая, в которой находилось еще восемь агентов охраны. Третьей следовала автомашина вице-президента Л. Джонсона, за которой также ехала автомашина с охранниками. За ней тянулись автомобили встречавших Кеннеди местных представителей и прессы.

Остался позади пригород Далласа. Президентский кортеж въехал на Мэйн-стрит, основную артерию торго-

вого района города, пересекавшую его с востока на запад. Встречающих становилось все больше. Щурясь от солнца, Кеннеди с любопытством разглядывал стоявших на тротуарах людей, пришедших если не приветствовать его, то уж во всяком случае посмотреть на президента США. Ничто, казалось, не предвещало опасности.

В конце Мэйн-стрит колонна автомобилей повернула вправо, на Хьюстон-стрит. Впереди, на перекрестке Хьюстон-стрит с Эльм-стрит, возвышалось семиэтажное оранжевое кирпичное здание. Это был книжный склад. Время на часах одного из зданий показывало 12.30. Машина президента медленно сделала левый поворот на Эльм-стрит.

Секундами позже в быстрой последовательности раздалась сухие щелчки выстрелов. Позднее очевидцы убийства Кеннеди утверждали, что стреляли как из книжного склада, так и со стороны железнодорожного виадука. Последнее, однако, упорно отрицалось официальным следствием. Джон Кеннеди был смертельно ранен — в шею и голову.

Трагические события развивались с калейдоскопической быстротой. Вряд ли стоит их вновь подробно пересказывать. Однако если воспроизвести хронику событий пятницы 22 ноября 1963 года в изложении американских телеграфных агентств (по далласкому времени), приведенном в книге Поля Лесура «Кто вы, г-н Джонсон?», то она выглядит примерно следующим образом:

12 час. 43 мин. Неизвестный стрелял в Кеннеди, когда он проезжал по улицам Далласа.

12 час. 45 мин. Фотограф из свиты президента заявил, что у Кеннеди хлынула кровь из головы.

12 час. 46 мин. Г-жа Кеннеди, сидевшая рядом с мужем, склонилась к нему и воскликнула: «О нет, нет!»

12 час. 47 мин. Президент Кеннеди отправлен в госпиталь.

12 час. 49 мин. Фотограф добавил, что слышал два выстрела.

12 час. 52 мин. Помощник президента Кеннет О'Доннел не дал ответа на вопрос корреспондента Ассошиэтед Пресс: «Жив ли президент?»

Президент Кеннеди находится в Парклэндском госпитале, близ Далласа.

12 час. 54 мин. Президент Кеннеди и губернатор штата Техас Джон Коннели стали сегодня жертвами покушения, но еще не известно, убит ли кто-нибудь из них.

12 час. 57 мин. Пресс-служба Белого дома в Вашингтоне заявила, что не располагает другими сведениями о покушении на Кеннеди, кроме тех, которые были опубликованы в печати.

12 час. 50 мин. Сообщается, что по автомобилю президента Кеннеди было сделано три выстрела. Репортеры видели президента, лежащего в автомобиле, который въезжал во двор госпиталя.

13 час. 02 мин. Представитель тexasской организации демократической партии сказал, что состояние президента «очень тяжелое».

13 час. 08 мин. Президент Кеннеди по-прежнему находится в палате неотложной помощи госпиталя в Далласе, куда его отвезли. Другая жертва покушения — губернатор штата Техас отправлен в операционную.

13 час. 11 мин. Секретарь Белого дома по делам печати заявил, что к изголовью президента Кеннеди вызваны два католических священника.

13 час. 15 мин. Из госпиталя в Далласе сообщили, что для спасения жизни президента Кеннеди ему сделано несколько переливаний крови.

13 час. 21 мин. Распространился слух, что Кеннеди умер; официальных подтверждений нет.

13 час. 31 мин. Священник, соборовавший Кеннеди, по выходе из госпиталя заявил, что «не верит, что президент Кеннеди умрет».

13 час. 34 мин. Джон Фитцджеральд Кеннеди скончался.

13 час. 36 мин. Вашингтон подтвердил сообщение о смерти президента.

13 час. 38 мин. Полиция ищет человека в возрасте около 30 лет, который, возможно, совершил покушение.

13 час. 41 мин. Вице-президент Джонсон автоматически становится президентом США.

13 час. 46 мин. Сенат США прекратил работу.

13 час. 47 мин. В Нью-Йорке закрылась биржа.

13 час. 48 мин. В толпе людей раздались рыдания, когда священники, соборовавшие президента Кеннеди, объявили о его смерти.

13 час. 49 мин. ТАСС сообщил о покушении на президента Кеннеди.

15 час. 41 мин. Гроб с телом президента США помещен в самолет, направлявшийся в Вашингтон.

16 час. 21 мин. В разных местах Далласа арестовано несколько подозрительных лиц, у которых найдено оружие.

17 час. 53 мин. Бронзовый гроб с телом президента Кеннеди доставлен в Вашингтон.

18 час. 23 мин. Новый президент созвал совещание лидеров обеих партий в конгрессе.

20 час. 00 мин. Освальду предъявлено официальное обвинение в убийстве...

С первых дней убийства Кеннеди всех, естественно, волнует вопрос, кто был его убийцей. И по сей день ответа на этот вопрос, по существу, не дано. Похоже, что все концы преступления запрятаны глубоко в воду.

Как известно, человек, которому предъявили обвинение в убийстве Кеннеди, Ли Харви Освальд, был застрелен в полицейском участке владельцем ночного кабаре неким Джеком Руби, позже умершим в тюремном госпитале. Тогда, в ноябре 1963 года, все, в том числе и в США, задавали себе вопрос, как могло случиться, что опытная секретная служба Соединенных Штатов, которой поручено охранять президента, допустила столько легкомыслия и ошибок, не сумев предотвратить его трагического убийства? Как могло случиться, что единственный американец, схваченный за якобы совершенное им преступление, был тут же прикончен буквально на глазах у всех и, естественно, уже не мог дать никаких показаний?

Эти вопросы волновали мировую общественность, и прежде всего американский народ. Ожидали быстрого и самого тщательного правительственного расследования. 29 ноября 1963 года приказом президента Джонсона была учреждена специальная комиссия по расследованию обстоятельств убийства президента Кеннеди. Во главе комиссии, состоявшей из семи человек (двух сенаторов, двух членов палаты представителей, бывшего руководителя ЦРУ Аллена Даллеса и банкира Джона Макклоя), был поставлен председатель Верховного суда США Эрл Уоррен. Последний некоторое время решительно отказывался от назначения, и только личное обращение к нему Линдона Джонсона заставило Уоррена согласиться взяться за расследование.

Почти десять месяцев продолжалась работа комиссии Уоррена. Основной ее задачей, согласно указанию Джонсона, было установить факты, имевшие место во время убийства Кеннеди и последующего убийства Освальда. 24 сентября 1964 года комиссия Уоррена представила Белому дому пространный доклад, допросив 552 свидетеля. Основной вывод комиссии гласил, что выстрелы,

жившиеся причиной смерти президента Кеннеди, были сделаны американцем Ли Харви Освальдом. Комиссия также пришла к выводу, что убийство президента не было делом рук какой-либо группы заговорщиков и что Освальд действовал в одиночку. Такова официальная версия об убийстве Джона Кеннеди.

Но как считают многие в США, расследование не было в достаточной степени ни скрупулезным, ни беспристрастным. Далеко не всех американцев удовлетворил 27-томный доклад комиссии Уоррена, и не всем он показался убедительным.

На Западе, в том числе и в США, появились многочисленные статьи и целые исследования, авторы которых считают, что загадка убийства Джона Кеннеди все еще не разгадана. Об этом во всеуслышание заявляют ученые и юристы, журналисты и историки. Для примера можно назвать имена Сильвана Фокса, Гарольда Вайсберга, Томаса Бьюкенена, Эдварда Эпштейна, Марка Лейна, Фреда Кука, Иоахима Иостена, Хью Тревор-Ропера, Джошиа Томпсона и многих других, которые склоняются к тому, что убийство президента — дело целой группы людей, а не «одиночки». Правительство США все версии, кроме официальной, опровергало.

Можно, конечно, верить или не верить официальной версии убийства Кеннеди. Можно принимать или отвергать приводимые в ней факты и суждения, порой более похожие на полуправду. Но нельзя, на наш взгляд, следовать точке зрения, будто убийство в Далласе было совершенно случайным явлением. И дело здесь не в личности убийцы, кто бы им ни был.

Вопрос о том, кто убил президента, может никогда не получить четкого и ясного ответа. По-другому, однако, обстоит дело с вопросом, почему был убит Кеннеди. Ответ на него возможен.

«Убийство века» могло иметь целый ряд причин, которые, сплетаясь в тугий зловеший клубок, побудили убийцу или убийц совершить свое преступление. Общеизвестно, например, какую яростную конкурентную борьбу ведут между собой различные группы американского монополистического капитала и к каким трагическим последствиям это нередко приводит для отдельных даже очень влиятельных и богатых лиц. Принадлежавший к бостонской финансовой группировке, тесно связанной с Уолл-стритом, Джон Кеннеди, без сомнения, не устраивал многих соперников-монополистов. Они не только завидовали

ему, но и побаивались его. Ведь, находясь в Белом доме, Джон Кеннеди обладал широкими возможностями давать «зеленую улицу» одним бизнесменам, «не замечая», а то и ущемляя других.

Водоворот конкурентной борьбы, втягивающий в себя в Америке всех и вся, породил кое у кого в отношении молодого, энергичного и в общем-то удачливого президента чувство сначала зависти и недовольства, а затем, по мере того как Кеннеди стал проявлять политический реализм, и злобы, переросшей в ненависть. Ведь ни для кого не секрет, что в ряде штатов США, в том числе и в Техасе. местные газеты, находящиеся под контролем влиятельных сил, изо дня в день подвергали нападкам президента, сравнивая его с «уголовным преступником». Можно смело считать, что ни один из главных редакторов этих газет не действовал в кампании против Кеннеди, что называется, на свой страх и риск. Совсем нет! Разумно предположить, что он отражал настроения своих хозяев.

На последнем году своего президентства Джон Кеннеди в ряде вопросов внешней политики и советско-американских отношений стал в какой-то мере отходить от догм «холодной войны». И хотя это был еле заметный шаг, но и его многие из правящей верхушки США сочли «опасным». «Лучше быть на грани войны, чем бояться, как курица», — кричали летом и осенью 1963 года многие техасские газеты.

Что же касается берчистов и других американских ультра, то они решили от брани по адресу президента перейти к вполне конкретным угрозам. Траурная рамка, которой было обведено «частное объявление», обливающее грязью Кеннеди (оно появилось в одной из газет Далласа в роковой день его приезда туда), оказалась символической. Было очевидно: в США есть силы, которые готовы любым способом убрать Кеннеди из Белого дома.

Кто же он был, Джон Кеннеди? Из какого рода и какой прошел путь, прежде чем стал хозяином Белого дома?

ДОРОГА В БЕЛЫЙ ДОМ

В 40-х годах прошлого столетия Ирландия переживала тяжелые времена. Голод душил ирландских крестьян. А когда в стране в 1845 и 1846 годах, два года подряд, случился неурожай картофеля, кормившего крестьян, по-

ложение многих из них стало катастрофическим. Ирландцы массами эмигрировали за океан. Пароходы были забиты тысячами измученных людей. Среди них был и Патрик Кеннеди, покинувший Ирландию в 1850 году.

Кеннеди обосновались в Бостоне. Будущий отец Джона — Джозеф Кеннеди родился в 1888 году. Молодой Джо рано усвоил, что в Америке деньги — это все. Сколотить капитал стало его целью.

Двумя важными событиями в жизни Джо были женитьба на дочери мэра Бостона и избрание его в возрасте 25 лет президентом спасенного им же самим от банкротства небольшого городского банка. Последний шаг Джозефа Кеннеди был связан со значительным риском, так как для того, чтобы поправить дела банка, ему пришлось залезть в долги. Но с долгами предприимчивый Джо, породнившийся с семьей одного из самых влиятельных людей города, расплатился довольно быстро.

В 1917 году Джозеф Кеннеди поднялся в деловом мире еще на ступеньку выше. Он стал помощником главного управляющего компании «Бетлихем стил». В это время в Европе бушевала первая мировая война. Кровь лилась рекой. Компания же, в которой работал Джозеф Кеннеди, процветала на военном бизнесе.

К 1930 году Джозеф Кеннеди стал крупным миллионером. Он решает заняться политикой и в 1932 году поддерживает кандидатуру Франклина Делано Рузвельта на пост президента США, жертвуя на его избирательную кампанию десятки тысяч долларов. Джозеф Кеннеди вносит в фонд избирательной кампании Рузвельта 75 тыс. долл. Вскоре для этих же целей он собирает еще 100 тыс. долл. «от друзей». В 1936 году пишет книгу «Я — за Рузвельта», в которой в основном поддерживает политику президента. Кеннеди начинает регулярно жертвовать крупные суммы в фонд демократической партии.

С его мнением начинает считаться сам президент.

Джон Кеннеди, второй сын из девяти детей Джозефа и Розы Кеннеди, родился 29 мая 1917 года в предместье Бостона — Бруклайне. Здесь прошли его первые детские годы. Затем семья Джозефа Кеннеди переезжает в Нью-Йорк. Джона отдают в местную начальную школу, где он довольно прилежно учится, проявляя особый интерес к истории.

Джон Кеннеди был болезненным ребенком и отличался замкнутым характером. Часто оставаясь в одино-

честве и предпочитая его шумным играм, мальчик брался за книги. Пожалуй, в семействе Кеннеди Джон был единственным, кто любил читать. Больше всего он увлекался историей и географией, книгами о похождениях рыцарей, о приключениях первых белых поселенцев Америки и военных баталиях.

В 13 лет Джона отдают в католическую школу-интернат в штате Коннектикут. Там он проучился всего год. Недовольный образованием, которое сыну давали в католической школе, отец отдает его в Чоатскую частную школу, где учились дети только из очень состоятельных семей. Джозеф Кеннеди уделял много времени воспитанию и образованию своих детей в буржуазном духе, настойчиво прививал своим сыновьям интерес к политике. Вот как впоследствии вспоминал об этом брат будущего президента Роберт Кеннеди: «Я могу с трудом вспомнить время, когда семья собралась бы за обеденным столом и не велось беседы на тему о том, какую политику проводит Франклин Рузвельт или что происходит во всем мире». Джозеф Кеннеди старался приобщить своих сыновей к мысли о необходимости активного участия в политической жизни США.

После того как Кеннеди закончил школу в Чоате, Джозеф направил его учиться в Лондонскую школу экономики, где в то время преподавал известный лейборист профессор Гарольд Ласки. Вскоре из-за желтухи занятия в Лондоне пришлось прервать и вернуться в США. Затем, по совету отца, Джон поступает в Гарвардский университет. Во время учебы в университете с ним произошел случай, наложивший заметный отпечаток на всю его жизнь. Играя в американский футбол, Джон повредил себе позвоночник. Впрочем, тогда казалось, что инцидент остался без серьезных последствий.

Во время учебы в Гарвардском университете Кеннеди изучает государственное право и механизм деятельности буржуазного государства. На первых порах учился он довольно посредственно, мало чем увлекался помимо футбола и книг по истории. А тем временем на Европу надвигались зловещие события. Гитлеровская Германия и фашистская Италия набирали силы. Вскоре они применили их на практике. В Испании шла ожесточенная гражданская война, в которой франкисты получали большую помощь от фашистских держав.

После окончания первого курса университета Джон Кеннеди совершает поездку по странам континентальной

Европы. Перед его глазами проходят пестрые картины европейской жизни кануна второй мировой войны.

Летом 1937 года в письме своему отцу из Испании Джон отмечает: «95 % населения США находятся почти полностью в неведении о положении в этой стране». Говоря о настроениях среди знакомых ему американцев в отношении гражданской войны в Испании, Кеннеди признает, что большинство из них «поддерживают Франко». Он с удивлением обнаруживает, что в республиканской Испании многое делалось для блага народа. В своем дневнике Джон пишет, что «настроен прореспубликански в отношении войны в Испании». Однако это его сочувствие республиканцам, боровшимся против объединенного фронта сил фашизма, вскоре исчезло. По признанию самого Кеннеди, он «охладел» к республиканскому режиму в Испании. В целом Джон Кеннеди не сумел правильно разобраться в реальной ситуации в Европе. Так, он считал, что для Германии и Италии фашизм является «естественным состоянием». (Для США и Англии, по его мнению, естественным состоянием являлась «демократия».)

В конце 1937 года президент Рузвельт назначает Джозефа Кеннеди послом в Великобританию. В своих донесениях Рузвельту новый посол расхваливал пресловутую политику «умиротворения» правительства Чемберлена. Советуя Рузвельту не ввязываться в назревавший в Европе военный конфликт, Джозеф Кеннеди давал президенту совет «вооружаться для самообороны ввиду возможности всяких случайностей». Поражение Франции весной 1940 года усилило изоляционистские настроения Джозефа Кеннеди.

Пользуясь представившейся возможностью, Джон Кеннеди проводит в Лондоне и во Франции почти все свои каникулы.

Кеннеди приходится по душе образ жизни английского высшего света. Одним из его ближайших друзей становится аристократ Дэвид Ормсби-Гор, впоследствии, когда Кеннеди стал президентом, назначенный английским послом в США. Джон Кеннеди много читает, проглатывая одну за другой книги идеологов британской буржуазии. Он проникается уважением к Англии вигов.

В характере Кеннеди начинает преобладать консервативная осторожность. Он восхищен книгой Джона Бьюкена «Путь пилигрима». И это вполне понятно. Кеннеди нашел у Бьюкена высказывание, принадлежавшее лорду

Фолкленду, которое он любил впоследствии цитировать: «Когда менять не надо — менять не следует».

Другим «героем» Кеннеди становится лорд Рандольф Черчилль, отец Уинстона Черчилля. С самим Уинстоном Черчиллем Джон Кеннеди длительное время так и не встречался. (Только перед тем, как стать президентом США, отдыхая на юге Франции, Кеннеди был однажды приглашен отобедать на яхте богатого греческого судовладельца Онассиса. На встрече присутствовал и Черчилль. Это был уже дряхлый старик, и, как впоследствии вспоминал Кеннеди, беседы между ними не получилось.)

Однако У. Черчилль также произвел на Кеннеди впечатление тем, что энергично отстаивал интересы английской буржуазии, проявляя верх политической изворотливости в борьбе с ее империалистическими соперниками. Такая настойчивая и гибкая защита интересов буржуазии своей страны нравилась Кеннеди.

В 1938—1939 годах Джон Кеннеди совершает вторую поездку по странам Европы. На этот раз он посещает Советский Союз, Балканские страны и Средний Восток. На обратном пути Кеннеди останавливается на короткое время в Берлине и Париже.

Во время посещения Берлина Кеннеди с двумя друзьями отправился на автомашине осмотреть город. Когда они проезжали мимо одного из памятников и замедлили ход, чтобы лучше его рассмотреть, им представилась следующая картина: штурмовики разложили на мостовой костер из книг, орали, пели фашистский гимн. В огонь летели произведения Маркса, Гёте, Шиллера. Увидев американцев, штурмовики завопили еще громче, а затем стали швырять кирпичами в машину, где находился Кеннеди. Джон и его приятели поспешно ретировались. Джон находился в полном недоумении. «Почему на нас напали?» — спросил он. Американец Вайзер Уайт, живший в Берлине, объяснил: «На нашем автомобиле прикреплен английский номерной знак...»

Так Кеннеди получает возможность увидеть бесчинства нацистов, убедиться, насколько накалена обстановка в Европе, как близка война. Кеннеди размышляет о том, почему Англия так пассивна в отношении агрессивной политики Гитлера, и не находит ответа на этот вопрос.

В 1940 году Джон Кеннеди с отличием заканчивает Гарвардский университет. Отец поздравляет сына и «награждает» денежным чеком на солидную сумму. Свою дипломную работу Кеннеди посвящает английской внеш-

ней политике, озаглавив ее «Умиротворение в Мюнхене». В этом сочинении Джон Кеннеди, явно находясь под влиянием отца, пытается оправдать действия Чемберлена, доказывая, что английское правительство якобы было «вынуждено» проводить политику «умиротворения» под давлением английских деловых кругов и пацифистов. Эта работа впоследствии была им с помощью Джозефа Кеннеди опубликована под названием «Почему спала Англия?». Предисловие к книге написал владелец газетного концерна Г. Люс.

Пытаясь разобраться в причинах пассивности руководителей Англии перед надвигавшейся угрозой второй мировой войны, Кеннеди приходит к выводу, что дело здесь не столько в личности того или иного английского политика, сколько в «общей слабости демократии».

Кеннеди не смог вскрыть действительные причины, обусловившие соглашательский, мюнхенский дух английской внешней политики перед лицом давления со стороны гитлеровской Германии. Он объяснял эту пассивность главным образом «миролюбием западных демократий», которые, по его мнению, не занимались серьезно своим перевооружением, а «уповали на мир». Он «не заметил» главного — что правители Европы надеялись отвести от себя гитлеровскую агрессию, направив ее на Восток, против Советского Союза.

Книга «Почему спала Англия?» разошлась в США и Великобритании тиражом 80 тыс. экз. Она принесла молодому Кеннеди первую известность и гонорар 40 тыс. долл.

Политическая карьера его отца — Джозефа Кеннеди — рухнула довольно неожиданно. После того как правительство Чемберлена пошло на сделку с Гитлером, заключив позорное Мюнхенское соглашение, Джозеф Кеннеди не скрывает своего одобрения этого курса. В своих выступлениях на английской земле он превозносит Чемберлена и политику «умиротворения» фашистских государств. Это вызывает недовольство президента Рузвельта. Уинстон Черчилль, хорошо чувствующий надвигающуюся на Англию опасность со стороны держав оси Берлин — Рим — Токио, расценивает выступления Джозефа Кеннеди в защиту политики Чемберлена как «прямое вмешательство в английские дела».

1 сентября 1939 года гитлеровские войска ворвались в Польшу, началась вторая мировая война. Осенью 1940 года, возвратившись в США, чтобы принять участие

в очередной избирательной кампании по выборам Ф. Рузвельта президентом, Джозеф Кеннеди допускает в отношении Англии бестактное высказывание. В интервью журналистам бостонских газет американский посол в Великобритании заявил: «Я готов использовать все свое влияние, чтобы мы не были втянуты в войну. Нет смысла в нее ввязываться... С демократией в Англии покончено». Даже американское общественное мнение было поставлено в тупик этим заявлением Джозефа Кеннеди. В печати его именовали не иначе как «сторонник умиротворения» фашистской Германии. Рузвельт в нем окончательно разочаровывается. Сразу же после избрания Рузвельта президентом США в 1940 году последовала отставка Джозефа Кеннеди с поста посла США в Лондоне. С этих пор он уже больше не играл в американских правительственных кругах какой-либо видной роли.

После нападения Японии на Пирл-Харбор и начала войны на Тихом океане Джон Кеннеди подает заявление о приеме в армию. Сначала оно отклоняется из-за болезни его позвоночника. Все же ему удается поступить на службу в военно-морской флот. В конце 1942 года Джон Кеннеди получает назначение в отряд торпедных катеров ВМС США. В 1943 году молодого офицера направляют в южную часть Тихого океана, где он командует торпедным катером.

2 августа 1943 года Кеннеди едва не погиб, когда в штормовую темную ночь в проливе Фергюсона японский эсминец «Амагири» таранил его торпедный катер РТ-109, расколов судно пополам. Сильный удар бросил стоявшего у штурвала Кеннеди на палубу. «Так вот как погибают!» — только и успел подумать он. Кеннеди ударяется о палубу больной спиной. Экипаж мгновенно затонувшего торпедного катера, в том числе и Кеннеди, оказался в воде. Японский миноносец скрылся во мгле так же внезапно, как и появился, не подобрав никого из американцев. Кеннеди и его люди (из 13 членов экипажа погибли 2) некоторое время держались на воде, уцепившись за обломки катера, а затем с трудом вплавь добрались до ближайшего небольшого островка, с которого их затем, после длительных мытарств, снял американский спасательный отряд.

Война, однако, не была так милостива к его старшему брату пилоту Джо. Бомбардировщик, в котором он находился, по неизвестной причине взорвался во время поле-

та в направлении немецкой базы подводных лодок. Это случилось в 1944 году.

После окончания второй мировой войны Кеннеди пробует свои силы на журналистском поприще. В июне 1945 года в качестве представителя херстовской прессы он направляется на Сан-Францисскую конференцию, где, как известно, было достигнуто соглашение об учреждении Организации Объединенных Наций. Кеннеди не понял значения ООН и был разочарован принятым Уставом этой международной организации. В это время он увлекался утопической идеей создания мирового правительства, высказывался в пользу отказа государств от своего суверенитета, считая, что это единственный надежный путь предотвратить новые войны. Кеннеди откровенно заявлял, что настроен «пессимистично в отношении будущего своей страны».

Вскоре Джон Кеннеди расстается с журналистикой. У него просыпается желание попытаться счастья на ринге политической борьбы. Эти планы Кеннеди находят самую энергичную поддержку у его отца, который после смерти старшего сына стал возлагать на Джона свои честолюбивые надежды.

Преимственность политической карьеры членов семейства Кеннеди неоднократно затем подчеркивалась Джоном. «Если я умру,— заявил он однажды,— то тогда мой брат Боб захочет стать сенатором, а если что-нибудь случится с ним, то мой брат Тэдди будет стремиться попасть туда вместо нас».

В 1946 году Джон Кеннеди возвращается в Бостон для того, чтобы с головой окунуться в политическую жизнь города.

Политическая карьера Джона Кеннеди началась в одиннадцатом избирательном округе города Бостона по выборам в конгресс США. По свидетельству очевидцев, Джон некоторое время никак не мог привыкнуть к темным закулисным сторонам политической жизни штата Массачусетс. Он часто говорил: «Пришлось надеть сапоги Джо. Если бы он был жив, то мне никогда не довелось бы заниматься этим...»

Джону Кеннеди было 29 лет, когда в 1947 году он избирается членом палаты представителей конгресса США. Поначалу он чувствовал себя совершенно затерявшимся среди 435 членов палаты. Однако постепенно Кеннеди осознает, что если его намерение заняться политической карьерой является «постоянным бизнесом», то не-

обходимо позаботиться и о своей популярности. Он совершает многочисленные агитационные поездки по штату Массачусетс.

Недовольство американских трудящихся традиционной пассивностью правительства США в социальной области — вот тот конек, которого на первых порах оседлал Кеннеди для завоевания престижа у избирателей, и прежде всего в американских профсоюзах. Он понимает, что конгрессмену-демократу необходима поддержка правых профсоюзных лидеров и их подручных на местах, чтобы добиться успеха в борьбе с республиканскими соперниками.

После нескольких лет службы в палате представителей Джон Кеннеди начинает подумывать о том, чтобы сделать следующий шаг по политической лестнице. У него постепенно созревает решение подготовить почву для своего выдвижения сенатором от штата Массачусетс. Этой цели он добивается с большим упорством, совершая десятки агитационных поездок. К началу 1952 года Кеннеди, например, уже выступил на митингах в сотнях городов и поселков штата.

Вместе с тем Кеннеди «знает свое место» и поэтому дорогу крупным политическим деятелям, как говорится, не перебегает. Прежде чем решиться на борьбу за место сенатора от штата Массачусетс с известным республиканским сенатором Лоджем, Кеннеди покорно ожидает решения губернатора штата Массачусетс Девера.

Поразмыслив, Девер приходит к выводу, что самому ему выступать против опытного Лоджа рискованно: можно потерять пост губернатора и не попасть в сенат. И он предлагает Кеннеди бороться вместо него за место в сенате. Кеннеди принимает это предложение.

Решение Кеннеди бороться с Лоджем многим, в том числе даже родственникам, показалось верхом неосторожности. Было известно, что Лодж обладает хорошими связями по всему штату. Кеннеди придерживался другого мнения. Он верил в силу своей избирательной машины, в силу денег. И хотя у Лоджа их было не меньше, чем у Кеннеди, тем не менее тот решил вступить в борьбу.

В подготовке избирательной кампании Джона Кеннеди в штате Массачусетс принимал участие весь клан Кеннеди, даже его мать Роза. Она проявила себя недюжинным оратором и всегда тонко оценивала ситуацию. Выступая перед избирателями итальянского происхождения, Роза Кеннеди обязательно произносила несколько

слов по-итальянски. В Дорчестере с теплотой вспоминала годы, проведенные в тамошней школе. Когда же место проведения митинга не позволяло матери Кеннеди использовать для расположения к себе слушателей данные своей биографии, она доверительно говорила присутствующим на встрече женщинам: «А теперь позвольте рассказать вам о новых модах, которые в прошлом месяце видела в Париже».

Как заметил один из друзей Кеннеди, «бедный Лодж в общем-то не имел шансов на победу. Кеннеди напоминали танковую дивизию, продвигавшуюся по всему штату». Члены клана вложили в избирательную кампанию Джона Кеннеди в общей сложности 70 тыс. долл. В избирательный фонд Кеннеди также поступило более 200 других вкладов по тысяче долларов.

Избирательная штаб-квартира Кеннеди в Бостоне действовала как хорошо отлаженный механизм. Специалисты по рекламе разрабатывали программы телевизионных передач, агитировавших за избрание Кеннеди. По всему штату книжные фургоны развозили тысячи экземпляров журнала «Ридерс дайджест» со статьей «Спасение», в которой рассказывалось о мужестве, проявленном Кеннеди во время войны. Для агитаторов, работавших на Кеннеди, был подготовлен специальный справочник, в котором обыгрывались сведения о голосовании Кеннеди в конгрессе. По всему штату семейством Кеннеди устраиваются приемы.

Накануне дня выборов, когда Кеннеди совершал свою последнюю избирательную поездку по штату, для поднятия престижа Лоджа в Бостон прилетел и выступил там сам президент Эйзенхауэр. Однако и это последнее усилие республиканской партии не помогло Лоджу. Кеннеди легко его победил.

Почему это произошло?

Лодж являлся одним из главных кандидатов республиканской партии на всеобщих выборах 1952 года. На эту избирательную кампанию Национальный комитет республиканской партии расходовал миллионы долларов, и, конечно, часть из них перепала Лоджу. Так что недостатка в финансовых средствах в поединке с Кеннеди последний не чувствовал. Главное заключалось в другом: Лодж не смог противостоять активной тактике Кеннеди. Ко дню выборов Кеннеди побывал уже в 351 городе и поселке штата, выступив в каждом из них. Сказались, конечно, и финансовое могущество клана Кеннеди, и широ-

кое использование Джоном массовых средств информации для популяризации в штате своей кандидатуры.

Рассказывают, что, когда в начале января 1953 года Кеннеди приехал в Вашингтон и попытался сесть в вагон подземной железной дороги, связывающей конгресс США со зданием, где расположилась канцелярия сената, местный служащий велел ему отойти в сторону, «чтобы сенаторы могли первыми войти в вагон». Кеннеди не обиделся. Он знал, что выглядит гораздо моложе своих лет.

В сенате Джон Кеннеди становится членом комиссии труда и общественного благосостояния. Первые два года своей деятельности он уделяет главным образом делам штата Массачусетс. Кеннеди сообщают, что Лодж не расстался с мыслью снова вернуться в сенат. Поэтому Кеннеди стремится закрепить свою популярность в деловых кругах штата. Он вносит в сенат ряд законопроектов, которые были призваны стимулировать развитие текстильной, судостроительной и часовой промышленности штата. Кеннеди также добивается принятия закона о модернизации Бостонского порта. Деловой мир штата был им доволен.

Ряд довольно откровенных высказываний Кеннеди об американской политической жизни объясняет его поведение в сенате. В своей записной книжке он, например, отметил: «Политика — это джунгли. Это необходимость выбирать между справедливыми действиями и сохранением себя в должности, между местными интересами и национальными интересами, между частными интересами политика и общими интересами».

Кеннеди считал, что бескомпромиссная позиция любого буржуазного политического деятеля в защите тех или иных принципов неизбежно приведет к тому, что он «сломает себе шею» и исчезнет с политической арены. Современники Кеннеди объясняли подобные его взгляды тем, что у будущего президента был чрезвычайно развит «политический инстинкт самосохранения». Правда, они же как бы вскользь замечали, что Кеннеди был «по натуре радикалом». Можно, однако, не сомневаться, что «политический инстинкт самосохранения» всегда был у Кеннеди на первом месте, а «радикализм» — на втором почти на протяжении всей его политической карьеры.

Так в Кеннеди сочетались прагматизм, консерватизм и довольно радикальные взгляды. Поэтому многие политические деятели, будь то консерваторы или либералы, считали его «своим человеком». К этому Кеннеди и стре-

мился. Он все лучше понимает, что американский политический деятель, для того чтобы добиться успеха, должен уметь хитрить и лавировать, идти на сделки. Ему же хотелось добиться не просто успеха, а сенсационного успеха. Кеннеди задумывается над тем, чтобы попытаться стать президентом США.

В 1953 году Джон Кеннеди женится на Жаклин Буэе — дочери нью-йоркского банкира французского происхождения, фоторепортере вашингтонской «Таймс геральд». За неделю до свадьбы она спросила Джона: «Какую черту своего характера ты считаешь наилучшей и какую наихудшей?» Как потом вспоминала супруга будущего президента, Кеннеди ей ответил, что лучшей чертой своего характера он считает любознательность, а худшей — раздражительность.

Со стороны могло показаться, что Джон Кеннеди начала и середины 50-х годов являлся всего лишь преуспевающим молодым политическим деятелем, довольно способным, обладающим большим состоянием и не знающим особых забот. Мало кто в то время знал, как тяжело он был болен. Недомогание сенатора тщательно скрывалось, так как могло стать для него значительным препятствием для очередного взлета на политической арене.

Боли в поврежденном позвоночнике становились все сильнее. Первая операция не дает положительных результатов. Врачи также предупреждают Кеннеди, что у него, возможно, развивается рак крови и, вполне вероятно, он проживет лишь несколько лет. Только через три года выясняется, что никакого рака крови у Кеннеди нет и налицо лишь сильное осложнение после малярии, которой он переболел во время военной службы на Тихом океане.

В начале 1954 года боли в позвоночнике настолько усиливаются, что Кеннеди решается на повторную операцию. Врачам, которые высказывают сомнение в успешном ее исходе, он заявляет: «Мне это безразлично, больше я так жить не могу». Кеннеди делают вторую операцию, в его позвоночнике закрепляют стальную пластинку. Однако больному становилось все хуже. Пластинку пришлось срочно удалить.

Неизвестно, как бы сложилась далее личная жизнь и политическая карьера Джона Кеннеди, если бы весной 1955 года он не услышал о нью-йоркском враче Жаннет Травель. Примененные ею уколы новокаина дали Кеннеди временное облегчение. И тут помог случай. Доктор Травель обнаружила, что в результате ранения и опера-

ций, которым подвергался Кеннеди, его левая нога стала короче правой. Это способствовало усилению боли в спине. Для Кеннеди были срочно заказаны специальная обувь и корсет. После этого его здоровье резко улучшилось. Сам Кеннеди считал, что именно доктор Травель вернула его к активной жизни.

Прикованный болезнью к кровати, Джон Кеннеди пишет книгу «Черты мужества», которая увидела свет в начале 1956 года.

Книга имела в США довольно шумный успех и, без сомнения, способствовала дальнейшему росту популярности Кеннеди. Она попала в число бестселлеров, т. е. наиболее популярных книг. Через год после опубликования книги Кеннеди получает за нее Пулитцеровскую премию по разделу биографий. Ему вручают премию, которую от тут же передает негритянскому колледжу. Последний шаг был направлен на привлечение на свою сторону негритянских избирателей.

28 октября 1959 года в небольшом городке Хианиспорт штата Массачусетс в доме Роберта Кеннеди собралась группа людей. Они удобно расположились в гостиной, в которой живописными островками виднелись зеленые и желтые кресла. За окном стояла золотая осень. Все еще изумрудный газон перед домом засыпали сухие опавшие листья.

На совещании, созванном Джоном Кеннеди, присутствовало 16 человек. Не все из них оставили яркий след в избирательной кампании Кеннеди. Но без помощи большинства собравшихся Кеннеди вряд ли стал бы президентом.

Кто же были эти люди?

Кроме Джона Кеннеди и его брата Роберта в комнате присутствовали два ирландца, давних помощника Кеннеди. Один из них — Кеннет О'Доннел, худощавый брюнет 35 лет, бывший капитан футбольной команды Гарвардского университета. Другой — Лоуренс О'Брайн, 42 лет, широкоскулый, полный мужчина. Оба они находились на службе у Джона Кеннеди вот уже восемь лет.

О'Доннел и О'Брайн имели каждый свое амплуа. О'Доннел был отличным тактиком избирательных кампаний, в то время как за О'Брайном закрепилась слава превосходного организатора. Эта пара хорошо сработалась между собой и стала своеобразным тандемом, с помощью которого Кеннеди, оставляя позади соперников, побеждал на выборах. Используя средства семьи Кеннеди,

мился. Он все лучше понимает, что американский политический деятель, для того чтобы добиться успеха, должен уметь хитрить и лавировать, идти на сделки. Ему же хотелось добиться не просто успеха, а сенсационного успеха. Кеннеди задумывается над тем, чтобы попытаться стать президентом США.

В 1953 году Джон Кеннеди женится на Жаклин Буэе — дочери нью-йоркского банкира французского происхождения, фоторепортере вашингтонской «Таймс геральд». За неделю до свадьбы она спросила Джона: «Какую черту своего характера ты считаешь наилучшей и какую наихудшей?» Как потом вспоминала супруга будущего президента, Кеннеди ей ответил, что лучшей чертой своего характера он считает любознательность, а худшей — раздражительность.

Со стороны могло показаться, что Джон Кеннеди начала и середины 50-х годов являлся всего лишь преуспевающим молодым политическим деятелем, довольно способным, обладающим большим состоянием и не знающим особых забот. Мало кто в то время знал, как тяжело он был болен. Недомогание сенатора тщательно скрывалось, так как могло стать для него значительным препятствием для очередного взлета на политической арене.

Боли в поврежденном позвоночнике становились все сильнее. Первая операция не дает положительных результатов. Врачи также предупреждают Кеннеди, что у него, возможно, развивается рак крови и, вполне вероятно, он проживет лишь несколько лет. Только через три года выясняется, что никакого рака крови у Кеннеди нет и налицо лишь сильное осложнение после малярии, которой он переболел во время военной службы на Тихом океане.

В начале 1954 года боли в позвоночнике настолько усиливаются, что Кеннеди решается на повторную операцию. Врачам, которые высказывают сомнение в успешном ее исходе, он заявляет: «Мне это безразлично, больше я так жить не могу». Кеннеди делают вторую операцию, в его позвоночнике закрепляют стальную пластинку. Однако больному становилось все хуже. Пластинку пришлось срочно удалить.

Неизвестно, как бы сложилась далее личная жизнь и политическая карьера Джона Кеннеди, если бы весной 1955 года он не услышал о нью-йоркском враче Жаннет Травель. Примененные ею уколы новокаина дали Кеннеди временное облегчение. И тут помог случай. Доктор Травель обнаружила, что в результате ранения и опера-

ций, которым подвергался Кеннеди, его левая нога стала короче правой. Это способствовало усилению боли в спине. Для Кеннеди были срочно заказаны специальная обувь и корсет. После этого его здоровье резко улучшилось. Сам Кеннеди считал, что именно доктор Травель вернула его к активной жизни.

Прикованный болезнью к кровати, Джон Кеннеди пишет книгу «Черты мужества», которая увидела свет в начале 1956 года.

Книга имела в США довольно шумный успех и, без сомнения, способствовала дальнейшему росту популярности Кеннеди. Она попала в число бестселлеров, т. е. наиболее популярных книг. Через год после опубликования книги Кеннеди получает за нее Пулитцеровскую премию по разделу биографий. Ему вручают премию, которую от тут же передает негритянскому колледжу. Последний шаг был направлен на привлечение на свою сторону негритянских избирателей.

28 октября 1959 года в небольшом городке Хианисспорт штата Массачусетс в доме Роберта Кеннеди собралась группа людей. Они удобно расположились в гостиной, в которой живописными островками виднелись зеленые и желтые кресла. За окном стояла золотая осень. Все еще изумрудный газон перед домом засыпали сухие опавшие листья.

На совещании, созванном Джоном Кеннеди, присутствовало 16 человек. Не все из них оставили яркий след в избирательной кампании Кеннеди. Но без помощи большинства собравшихся Кеннеди вряд ли стал бы президентом.

Кто же были эти люди?

Кроме Джона Кеннеди и его брата Роберта в комнате присутствовали два ирландца, давних помощника Кеннеди. Один из них — Кеннет О'Доннел, худощавый брюнет 35 лет, бывший капитан футбольной команды Гарвардского университета. Другой — Лоуренс О'Брайн, 42 лет, широкоскулый, полный мужчина. Оба они находились на службе у Джона Кеннеди вот уже восемь лет.

О'Доннел и О'Брайн имели каждый свое амплуа. О'Доннел был отличным тактиком избирательных кампаний, в то время как за О'Брайном закрепилась слава превосходного организатора. Эта пара хорошо сработалась между собой и стала своеобразным тандемом, с помощью которого Кеннеди, оставляя позади соперников, побеждал на выборах. Используя средства семьи Кеннеди,

О'Доннел и О'Брайн сумели привлечь на сторону своего патрона большое число честолюбивых молодых людей, также добивавшихся для Джона Кеннеди успехов в политической жизни штата Массачусетс.

Недалеко от ирландцев расположился в кресле совсем еще молодой человек по имени Теодор Соренсен, 31 года. Соренсен никогда не говорил громко. Казалось, он больше слушал, чем убеждал других. На службе у Кеннеди Соренсен находился уже семь лет. Это был знающий, высокообразованный человек, умевший четко, быстро и ясно излагать свои мысли в хорошем литературном стиле. Кеннеди называл его «мой интеллектуальный банк». Но самое главное состояло в том, что Джон Кеннеди и Соренсен, как правило, мыслили «на одной волне». Именно Соренсену Кеннеди чаще, чем другим, поручал подготовить проекты своих речей. Соренсен стал «альтер эго» — «вторым я» Кеннеди. Он принимал самое непосредственное участие в оформлении политической платформы Кеннеди, являясь как бы поставщиком идей для него.

Еще один участник совещания — Стефан Смит, муж сестры Кеннеди Джейн, человек больших административных и организаторских способностей. Впоследствии, во время избирательной кампании, он стал лицом, ответственным за ее финансовую сторону. На Смита также была возложена задача мобилизовать тысячи «добровольцев», которые должны были претворять в жизнь указания избирательной штаб-квартиры Кеннеди.

В числе других следует назвать Луиса Харриса, видного специалиста по изучению американского общественного мнения. Еще совсем молодым человеком Харрис создал фирму по изучению торгового рынка США. Эта работа пошла у него настолько успешно, что Кеннеди приметил Харриса и пригласил его к себе на службу.

Немаловажную роль предстояло сыграть Пьеру Селинджеру. В этом 34-летнем брюнете с округлым лицом было что-то от француза. Он умел ладить с журналистами. Впоследствии Селинджер стал представителем Джона Кеннеди по вопросам печати.

И наконец, нельзя не упомянуть о Джоне Бейли, председателе демократической партии штата Коннектикут. Это был высокий лысый человек, говоривший уверенным тоном. Бейли руководил одной из самых эффективных местных политических машин в США. Он возглавил избирательную кампанию Джона Кеннеди в

северо-восточных штатах — основной политической базе борьбы Джона Кеннеди за пост президента США.

Собравшиеся в Хианисспорте были, как нетрудно заметить, сравнительно молодые люди. Никто из них, кроме Джона Бейли, не был политическим боссом штата или большого города. А ведь именно эти боссы обычно играют значительную роль в избирательных кампаниях. Таким образом, осенью 1959 года Джон Кеннеди не располагал людьми из национального аппарата демократической партии. И это было естественно, так как Кеннеди в общенациональном масштабе являлся все же новичком в политической жизни США. В октябре 1959 года на американском небосклоне сияли «звезды» куда большей величины. В их сторону и смотрело подавляющее большинство политических лидеров штатов и городов, так как этим «звездам» прочили победу на выборах.

Кеннеди, однако, был полон желания вступить в решающую схватку. Он собрал вышеназванную группу способных людей для того, чтобы детально обсудить с ними планы выдвижения своей кандидатуры на пост президента США. Конечно, их способности мало что значили, если бы семейство Кеннеди не обладало большим личным богатством, которое оно решило использовать для осуществления планов Джона Кеннеди.

В спорах и столкновении мнений рождался стратегический план, с помощью которого Кеннеди решил бороться за власть.

Так как у Джона Кеннеди не было большого числа активных сторонников в профессиональном аппарате демократической партии, то единственным путем продемонстрировать свое влияние на избирателей был для него путь участия в праймериз. Предварительные выборы являлись тем высоким барьером, который Кеннеди надо было обязательно взять, чтобы выйти на финишную прямую с необходимым запасом голосов выборщиков.

Но вернемся к совещанию в Хианисспорте. Первым выступил Джон Кеннеди. Он охарактеризовал обстановку в основных штатах страны, упомянул противостоящие группировки, отметил, каких людей в штатах нужно попытаться перетянуть на свою сторону. Кеннеди показал хорошее понимание внутривнутриполитического положения США. Иногда он просил кого-либо из присутствующих прокомментировать свои высказывания о политической ситуации.

Основные черты ее сводились к следующему. Предва-

рительные выборы имеют место всего в 16 штатах. Каждые из них регулируются законами штата. В некоторых из праймериз принимать участие почти бесполезно, так как заранее известно, что на них с помощью политических боссов будут избраны так называемые «популярные сынки» штатов, чаще всего сами губернаторы. В других штатах в предварительных выборах не стоило участвовать из-за того, что они были малозначительны и давали лишь небольшое число голосов, которые могли бы быть использованы на съезде демократической партии.

И все же среди этих 16 штатов было несколько, где, безусловно, следовало принять участие в предварительных выборах. К таким штатам относились Нью-Гэмпшир, Висконсин, Мэриленд, Индиана, Орегон, Вест-Вирджиния, Огайо и Калифорния. В этих штатах Кеннеди должен был доказать руководителям демократической партии, что он может быть ее достойным кандидатом.

...Вечером совещание было продолжено. На этот раз его вел Роберт Кеннеди. Джон сидел несколько в стороне, с удовлетворением наблюдая за своим братом. Он ценил Роберта как организатора. Последнему, может быть, не хватало глубокого знания американской политической жизни, но что касается организаторских способностей, то старший брат на него полагался целиком.

Распределялись задания. Джону Бейли досталась Новая Англия и штат Нью-Йорк, а также северная часть штата Нью-Джерси. За западные штаты отвечал чикагский юрист Раскин. Он также должен был обеспечить успех Кеннеди в своем родном штате Айова. В помощь Раскину был придан младший брат Джона Эдвард Кеннеди (его «объектом» в основном были штаты района «Роки-Маунтенз», Скалистых гор).

Роберту Кеннеди достался один из самых сложных районов. Ему поручили установить контакты с лидерами организаций демократической партии в южных штатах и выяснить, может ли Кеннеди рассчитывать на них. О'Брайн обеспечивал создание костяка организации в поддержку Кеннеди во всех штатах. В его обязанность также входило следить за политической ситуацией в штатах Мэриленд, Индиана и Висконсин.

Несколькими основными штатами, обладавшими большим числом голосов выборщиков, такими, как Огайо, Пенсильвания, Мичиган и Калифорния, Кеннеди решил в дальнейшем заняться сам. Ведь от успеха в этих штатах в первую очередь зависел успех всей кампании. Поз-

тому необходимо было установить личный контакт с руководителями местных политических машин демократической партии.

Не остались без заданий Селинджер, О'Доннел и Харрис.

А через несколько дней личный самолет Кеннеди доставил всю «команду» в Вашингтон. Отсюда и из Нью-Йорка ее члены повели свою кропотливую работу, продолжавшуюся немногим более двух месяцев. Первые результаты вселяли надежду. Но об этом было известно лишь приближенным Кеннеди. Оставалось открыто бросить вызов соперникам.

2 января 1960 года, к удивлению многих, сравнительно малоизвестный сенатор Джон Фитцджеральд Кеннеди объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Кто же были основные соперники демократов, и в частности Кеннеди, в республиканской правящей партии? Ими были вице-президент США Ричард Никсон и губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер. Фаворитом считался Никсон.

Сам Кеннеди относительно спокойно реагировал на выступления своих основных соперников, направленные против него. Основное внимание он продолжал уделять организационной стороне своей избирательной кампании. К лету 1960 года Кеннеди удалось доказать, что он — самый перспективный кандидат от демократической партии на пост президента США: популярность сенатора была продемонстрирована во многих штатах с самым различным населением. Уже в ходе предварительных выборов Кеннеди удалось заручиться поддержкой большого числа голосов выборщиков.

Победу Кеннеди в ходе праймериз решили несколько факторов.

Во-первых, семейство Кеннеди принадлежало к бостонской монополистической группировке, тесно связанной с Уолл-стритом, и вполне удовлетворяло требованиям этой наиболее могущественной региональной группировки. Джон Кеннеди вполне устраивал монополистов северо-востока США. Когда он сделал серьезную заявку на власть, ему особенно не препятствовали в борьбе с другими соперниками из числа демократов.

Во-вторых, в ходе избирательной борьбы Кеннеди израсходовал значительно больше средств, чем любой другой кандидат. Избирательные кампании Стивенсона,

Хэмфри и Джонсона стоили по 250 тыс. долл. каждая. Саймингтон израсходовал 350 тыс. долл. Кеннеди же затратил около 1 млн. долл.— почти столько же, сколько все четыре вышеназванные кандидата, вместе взятые. Недостатка в средствах он не испытывал. Состояние Джозефа Кеннеди, активно помогавшего сыну, по самым минимальным оценкам, достигало 400 млн. долл.

В-третьих, Кеннеди сумел создать эффективно действующую собственную избирательную машину, которая была укомплектована преданными ему и способными людьми. Кеннеди использовал большее число помощников, чем любой из его соперников. Как уже отмечалось, на Кеннеди работали тысячи «добровольных организаторов».

В-четвертых, значительную роль сыграла активность самого Кеннеди. За период 1956—1960 годов ни один деятель демократической партии, даже ее лидер Эдлай Стивенсон, не выступал в различных штатах столь часто, как Джон Кеннеди. Его энергия была поистине впечатляющей и завоевала многих на его сторону.

СХВАТКА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Наступило время решающей схватки. В июле 1960 года в Лос-Анджелесе состоялся национальный съезд демократической партии.

К концу первой недели июля в Лос-Анджелес съехались со всех концов США делегаты, представлявшие голоса выборщиков штатов. Всего же в город, как подсчитали местные власти, прибыло 45 тыс. человек, так или иначе связанных с работой съезда, в том числе 4750 корреспондентов. Эпицентром всех страстей стала гостиница «Билтмор». Сюда спешили руководители делегаций. Перед входом в гостиницу собирались большие толпы зевак. Днем и ночью здесь дежурили фоторепортеры. С полок книжных магазинов Лос-Анджелеса быстро распродавались книги Кеннеди и Стивенсона.

Со стороны могло показаться, что съезд демократической партии проходил довольно хаотично. Но это было обманчивое впечатление. Невидимые нити протягивались из «Билтмора» к прибывавшим на съезд делегациям. Особенно многочисленные контакты осуществлялись из номера 8315, где находился оперативный центр Джона Кеннеди. Здесь собрались все его основные помощники, почти все те, кто на совещании в Хианисспорте опреде-

лял тактику и стратегию избирательной кампании Кеннеди. Эти нити, контролировавшие голоса выборщиков, держали в своих руках братья претендента Роберт и Эдвард Кеннеди, а также Кеннет О'Доннел, Лоуренс О'Брайн, Джон Бейли, Хай Раскин, Пьер Селинджер и другие помощники Кеннеди. Роберт Кеннеди непосредственно руководил работой 40 человек, которые обеспечивали постоянный контакт со всеми делегациями штатов.

Джон Кеннеди сделал все возможное для того, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократической партии. Он ждал решающего часа, и этот час пришел.

Наступил день голосования. Оно началось со штата Алабама. Алабама отдает 20 голосов Джонсону, 3,5 голоса Кеннеди (ряд делегатов на съездах демократической партии имеют по $1/2$ голоса, т. е. один голос делится пополам между двумя делегатами. Они могут голосовать за разных кандидатов), 3,5 голоса Саймингтону и полголоса Стивенсону... Голосует штат Иллинойс — за Кеннеди подано уже 100 голосов... Штат Айова — число голосов «за» вырастает до 200... Штат Массачусетс — «за» подано 300 голосов... Штат Нью-Йорк — почти 500 голосов... Голосует штат Пенсильвания — Кеннеди получает более 650 голосов.

К тому времени, когда голосование дошло до штата Вайоминг, за Кеннеди уже было подано 748 голосов. Напряжение в зале достигает апогея.

Всматриваясь в телевизионный экран, Джон Кеннеди ожидает результатов очередного голосования. Телекамеры выхватывают из зала заседаний делегацию Вайоминга. Среди ее представителей ясно видна фигура младшего брата Джона Кеннеди — Эдварда, который горячо убеждает в чем-то делегатов штата. И вот голосование. Штат Вайоминг отдает свои 15 голосов за Джона Кеннеди. Это была долгожданная победа. Кеннеди набрал 763 голоса. Больше, чем требовалось для того, чтобы стать кандидатом в президенты от демократической партии.

Когда голосование закончилось, за Кеннеди было подано 806 голосов, за Джонсона — 409, за Саймингтона — 86, за Стивенсона — 79,5, за других кандидатов — 140,5.

Обращает на себя внимание незначительное число голосов, поданных за Эдлая Стивенсона. А ведь всего за день до голосования зал заседаний, где собрались делегаты, содрогался от громких возгласов: «Мы хотим Стивенсона!» Тысячи его сторонников заполнили зал. Они

беспрерывно скандировали лозунги в поддержку своего кумира. Их энтузиазм, казалось, стал передаваться и делегациям штатов. Однако возгласы одобрения по адресу Стивенсона не могли заменить контроль над делегациями штатов, которым обладал Кеннеди. Стивенсон пришел на съезд без своей организации, и это свело на нет все усилия его сторонников.

Впереди была борьба с Никсоном.

Джон Кеннеди понимал, что в этой борьбе, чтобы победить, ему понадобится поддержка не только партийных боссов восточных и северо-восточных штатов, но и поддержка организаций демократической партии южных штатов. Новому кандидату в президенты понадобилось немного времени, чтобы прийти к выводу, что бывший до этого момента его основным соперником Линдон Джонсон является наиболее подходящим кандидатом для того, чтобы баллотироваться на пост вице-президента США. Джонсон после некоторого колебания и молниеносных консультаций, в том числе с деловыми кругами Техаса, согласился на это предложение.

Через два дня после своего избрания кандидатом в президенты Джон Кеннеди выступил по телевидению США с речью, в которой призвал американцев отдать ему свои голоса. Его смотрели и слушали 35 млн. американцев. Одним из них был вице-президент США Ричард Никсон.

В этот день Кеннеди не был в своей лучшей форме. На его лице проступила явная усталость. Все это не ускользнуло от внимания Никсона. Он с удовлетворением наблюдал, как утомленный Кеннеди скороговоркой заканчивал свое выступление. По мнению Никсона, ему достался довольно слабый, «выдохшийся» соперник на президентских выборах.

Борьба Джона Кеннеди за пост президента США вступила в решающую стадию. Положение соперника Кеннеди — вице-президента Ричарда Никсона — было предпочтительнее, чем у Кеннеди. Никсон был достаточно хорошо известен американским избирателям. Его активно поддерживал президент Эйзенхауэр. Никсона расхваливали на все лады в республиканской партии и в подавляющем большинстве газет. Многие ведущие политические обозреватели уверенно заявляли, что Никсон достоин занять пост президента США.

Группировке Кеннеди было ясно одно: «неистового Дика» можно победить только в ожесточенной схватке.

Но нужно было и еще одно: немножечко везения. И надо сказать, что фортуна и здесь улыбнулась Джону Кеннеди. В ходе избирательной кампании Никсон совершил немало ошибок, облегчивших Кеннеди приход в Белый дом.

20 января 1961 года в Вашингтоне состоялась инаугурация — официальное вступление Джона Фитцджеральда Кеннеди в должность президента США. Кеннеди, без пальто, на сильном пронизывающем ветру, произнес речь. О чем же поведал собравшимся 35-й президент США?

Речь Кеннеди была краткой. Обращало на себя внимание, что, по сути дела, он не сделал никакого заявления о новом политическом курсе. Рассказывают, что Эйзенхауэр, сидевший рядом с Кеннеди на трибуне, был «приятно тронут» его речью. Ведь Кеннеди в своем выступлении не выдвинул ни одной цели, которой в свое время не касался бы республиканский президент.

Ряд высказываний Кеннеди все же обращал на себя внимание, так как в них делался определенный акцент на необходимость для США учитывать изменившуюся международную обстановку. «Сегодня мир стал совсем иным», — заявил Джон Кеннеди. «Человек в своих смертных руках держит силу... способную уничтожить все формы человеческой жизни». Далее новый президент призвал США совместно с другими странами «заново начать поиски мира». Он обратил внимание на «слишком большое бремя стоимости современных видов оружия», выразил обеспокоенность «неуклонным распространением смертоносного атома», призвал США «не страшиться переговоров». Кеннеди также выступил за то, чтобы «не обострять» разделяющие мир международные проблемы; за то, чтобы, несмотря на «джунгли подозрений», расчищать «площадку сотрудничества»; за то, чтобы государства повели борьбу против общих врагов человека — «тирании, нищеты, болезней и самой войны».

Все эти высказывания Кеннеди, хотя они и были слишком расплывчаты, казалось, свидетельствовали о том, что новый президент действительно намерен проводить миролюбивый курс на международной арене. Но на практике все оказалось гораздо сложнее, и даже незначительное отступление 35-го президента США от традиционной политики отцов нации «стоило» ему жизни...

А. Громько

СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Угченко.</i> Зловещий сон жены Юлия Цезаря . . .	7
<i>Б. Борисовский.</i> Что утаил военный трибунал после убийства Авраама Линкольна	81
<i>Е. Зильберман, В. Холявин.</i> Охота на Александра II	127
<i>С. Волк.</i> Пятнадцать лет спустя	161
Выстрел в киевском театре	176
<i>Б. Майский.</i> Арестант «Косого капонира» . . .	189
<i>А. Измайлович.</i> Записки из Мальцевской тюрьмы . . .	223
Тайна черного озера	267
<i>К. Малафеев.</i> Операция «Тевтонский меч»	299
<i>Ю. Папоров.</i> Преступление в пригороде Мехико	338
<i>А. Громыко.</i> Даллаская трагедия	404

Литературно-художественное издание

ПОКУШЕНИЕ, или УБИЙСТВО ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

Составитель
Вольский Вячеслав Тихонович

Редактор *Т. И. Улевич*
Художник *В. Г. Мищенко*
Художественный редактор *И. Г. Славянин*
Технический редактор *И. П. Кастеукая*
Корректоры *Р. П. Иваненко,*
Л. И. Коротких, Н. Н. Масаренко

Сдано в набор 27.12.91. Подп. в печ. 18.12.92. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Гарнитура Тип таймс. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,41. Уч.-изд. л. 24,27. Тираж 50 000 экз. Зак. 1853.

Ордена Дружбы народов издательство «Беларусь» Министерства информации Республики Беларусь. 220600, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005. Минск, Красная, 23.

OCR - Давид Титиевский, март 2017 г., Хайфа

**Покушение
или
Убийство
по
политическим
мотивам:**

Юлия Цезаря,



Авраама Линкольна,

Александра II



Петра Столыпина,

Луи Барту,



Льва Троцкого,

Джона Кеннеди



**Зловещий сон жены
Юлия Цезаря**

**Что утаил
военный трибунал
после убийства
Авраама Линкольна**

Охота на Александра II

Выстрел в Киевском театре

**Записки
из Мальцевской тюрьмы**

Операция «Тевтонский меч»

Тайна Чёрного озера

**Преступление
в пригороде Мехико**

Даллаская трагедия

МИНСК „БЕЛАРУСЬ“